

ISSN 0012-6756



Дружба народов

10/2019



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

10'2019

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2019.
Подписано в печать 27.09.2019.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 4019. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. Всё это я. Стихи	3
Валерий АЙРАПЕТЯН. Паранойя. Рассказ	7
Емельян МАРКОВ. Укромная жизнь. Рассказы	26
Пётр МАТЮКОВ. Представитель ойкумены. Стихи	41
Андрей РЯБОЙ. Ночная голова. Повесть	44
Айгерим ТАЖИ. Ещё один круг под корой. Стихи	92
Полина ИВАНУШКИНА. Приходи ко мне зимовать. Рассказы	95
Джасур ИСХАКОВ. «Деспот ты мой восточный!..» Рассказ	103
Эли СМОЛХА. Дикие львы и домашние фикусы. Рассказ	114
Андрей ДМИТРИЕВ. Ниспосланный поводырь. Стихи	119
Ася УМАРОВА. Унесённая ветром. Рассказ	122
Даур НАЧКЕБИЯ. Жертвоприношение. Рассказ. С абхазского. Перевод автора ..	128
Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Рассказы	132
Татьяна КАЛЕЦКАЯ. Рассказы. Публикация Александра Гельмана	148

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Мария МАРТЫСЕВИЧ. «Я нарадзілася тут, я здзейсніла хібу».	
Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»:	
Евгения Джен БАРАНОВА, Наталия БЕЛЬЧЕНКО, Герман ВЛАСОВ, Иван ВОЛОСЮК,	
Инга КУЗНЕЦОВА, Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ	157

НАЦИЯ И МИР

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Черкесские сады, или Плач под лезгинку. Окончание ...	162
Оксана МАТИЕВСКАЯ. «Хоть чем-то почтись...»	179

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О страхе и мужестве	189
--	-----

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Валентин КУРБАТОВ. Наводка на резкость. Из дневниковых записей	196
--	-----

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

Самостоятельная система. Разговор на полях Форума молодых писателей	217
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Путешествие Книжника на край ночи. (В.Мартинovich. «Ночь»)	233
---	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Келейное экспериментаторство или магическое мировыговаривание?	
Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА и Ольга ГЕРТМАН о новой книге Дениса Осокина ..	239

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Евгений ЕРМОЛИН. Испанская грусть. (В.Ставецкий. «Жизнь А.Г.»)	247
Евгений АБДУЛЛАЕВ. Тень осьминога. (Х.Ольшванг. «Свёртки / Scrolls»)	249
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Вне зоны комфорта. (А.Стегин. «Нью-йоркский обход») ..	251
Дмитрий АРТИС. Принцесса пишет. (Е.Дж.Баранова. «Хвойная музыка»)	253
Леонид БАХНОВ. «Их протирают, как стекло».	
(Т.Щербина. «Антропологические путешествия»)	255
Даниил ЧКОНИЯ. Счастьем оказалась сама жизнь.	
(Л.Сергеева. «Жизнь оказалась длинной»)	257

БЛОГ-ПОСТ

Ольга БРЕЙНИНГЕР. Мы только начали	262
--	-----

Ганна Шевченко

Всё это я

* * *

В сводках гидрометцентра исключены ошибки —
мерно, по закоулкам, дело идёт к тому:
небо замироточит, ветры достанут скрипки,
птицы рекою станут и утекут во тьму.
Час зазеркальных буден: в каждой глубокой луже
будет виднеться стая тёмных, китовых туч,
в лужах — дома и небо, серое дно — снаружи,
и прикрепит к деревьям злую печаль сургуч.
Это неотвратимо — кровью рябины брызнут,
словно перед скамейкой произошла резня,
осень, как золотую форму постмодернизма,
выдумал Тарантино и в Голливуде снял.
Только не удаляйся — гугли, в фейсбуке висни,
Ванга и Нострадамус знали всё наперёд —
осень — объект простейший, дикая форма жизни,
вспыхнет, побудет с нами, съёжится и пройдёт.

* * *

Строительство стеной обнесено,
у входа клён раскинулся, дряхлея;
посмотрит сторож в тёмное окно —
и вспомнит Канта или Галилея.

Он по ночам, как водится, не спит,
за ухо треплет рыжего котёнка
и слушает, как дом — растущий кит —
поёт во сне пронзительно и звонко.

Он держит пистолет за рукоять,
ведь он один из сотен миллионов
постиг искусство — честно охранять
поющие дома микрорайонов.

Потухли звёзды, ночь умерщвлена;
охранник видит: цвета солидола
плывёт в шелка одетая луна
и выпадает свет из-под подола.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась на Украине, в г. Енакиево. По образованию финансист. Автор трех сборников стихов, в том числе «Обитатель перекрёстка» (М., 2015), «Форточка, ветер» (М., 2017), и книг прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса им. Фазиля Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

* * *

Похож на земли феодала
в царапинах неровных пашен
мирок, в котором я рождалась,
из грязи, пыли и ромашек.

Проулок, солнечный до дрожи,
бугор, покрытый ковылями,
и белый папин запорожец
по-над пшеничными полями.

Недолгий дождь, остатки лета,
вода, ползущая с отката,
сквозняк и проволока света
в холодном брюхе комбината.

Тот мир далёк и многоцветен,
осыпан росами тумана —
всё это я — и степь, и ветер,
и шахта с запахом тимьяна.

* * *

Я видела Бога — высокий, прямой,
он мимо неспешно прошёл,
прибрежные ивы зажглись бахромой,
туман навалился, тяжёл.

Лягушки затихли. Игольчатый лес
казался расчёской вдали,
испуганный филин из тёмных древес
смотрел, как младенец Дали.

На джинсовом небе виднелся разрыв.
Горячим венцом мельтеша,
отбившись случайно от чьей-то игры,
стоял огнедышащий шар —

как будто гоняли в командный крикет
ветра, облачившись в деним.
Я видела Бога, он шёл по реке,
и рыбы летели за ним.

* * *

Приходит ночь тяжёлой полосой
и открывает студию бессонниц —
но смерть не ку-клус-клановец с косой,
а девочка, ловящая лимонниц.

Я побывала бабочкой в саду
и к полночи телесность подытожу —
в природу, как лимонница, уйду,
через сачок отцеживая кожу.

* * *

Полынь, крапива, подорожник,
случайных флоксов белый клоч;
за гаражами, как заложник,
родной природы уголок.

Еду приносит ей старуха,
из листьев блюдо мастерит,
собака, приподнявши ухо,
грызёт мослы и сухари.

В раю, в кустах, за гаражами,
щенков неугомонный ком
собака с чёрными ушами
выкармливает молоком.

Старуха, что-то балаболя,
вздыхает, молится кусту —
здесь нет ни радости, ни боли,
природа любит пустоту.

* * *

У истока лесного ручья,
где вода из природы восстала,
вы о чём бы мечтали? А я
о высоком бы росте мечтала.

Чтоб легко, без особой нужды,
так, как будто тебе поддаются,
дотянуться до синей звезды
и до центра земли дотянуться,

без условий и очередей
прикарманить себе втихомолку
то, что боги для лучших людей
положили на верхнюю полку.

* * *

Разливая по улицам свет,
ходит солнечный круг, как молочница,
а за ним по небесной траве
облака молодые волочатся.

По аллеям трясутся дубы,
словно кто-то их палкой отряхивал —
это бум скандинавской ходьбы,
а не новая титаномахия.

И река, раскрутившая жгут
вод ребристых, течёт лесопарками,
и туда же от смерти бегут
стайки бабушек с лыжными палками.

* * *

Выйдешь к речке прогуляться — всюду неги и уют,
птицы местность обживают, на деревьях гнёзда выют,

держат удочки мужчины в ожидании плотвы,
хорохорятся лягушки в гуще залитой травы,

переполненный сиренью, воздух сладок и лилов,
за рекой видны макушки невысоких куполов,

дамы парами гуляют — речи томные слышны,
светел Бог, как на иконах, лишь бы не было войны.

* * *

Хлещет небо, воды не щадя,
грозовой разливается гимн —
неразумную форму дождя
содержаньем наполню своим:
ткань дождя — серебристый вельвет,
покрывающий крону сосны
до верхушки, вода — это свет,
источаемый богом весны;
льются воды на крыши дворов
совершенные, как на подбор —
это жидкие души ветров
растаются с вершинами гор;
в атмосфере гудит водомёт,
разрывая небесную твердь, —
это слёзы о тех, кто живёт
и пока не готов умереть.

Валерий Айрапетян

Паранойя

Рассказ

Не успел Уляшин войти в квартиру, как понял — та самая. Жена стояла в залитом светом широком коридоре и улыбалась агенту. Уляшин знал эту улыбку, знал, что улыбка эта появляется на лице супруги в моменты полного согласия внутреннего мира с миром внешним. До этого они просмотрели две квартиры, одна из которых — двушка с хорошим ремонтом и мебелью, но на шестом этаже без лифта, с низкими потолками и темная. За нее просили сорок тысяч плюс к/у, но отталкивала не столько цена (которая была для Уляшиных всё же высока), а перспектива по несколько раз в день взбираться на шестой этаж по крутой лестнице с детьми и сумками, что уж говорить о часто навещающих внуков бабушках, страдающих гипертонией и разными артрозами. Вторая — крохотная однушка без мебели и с ванной размером с тазик — напоминала кошачий приют, покинутый его обитателями: ковровин с вросшими в него комками шерсти и едкий запах кошачьей мочи, не ослабевающий даже при распахнутых окнах. «Всего-навсего тридцать тысяч плюс коммуналка!» — с какой-то фатальной торжественностью заявила агентша, словно речь шла не о сдаче плохой квартиры за хорошие деньги, а об обмене фамильного изумрудного кольца на вяленого леща. Уляшин ответил, что подумает и перезвонит. Переезд с женой и двумя мальчиками-погодками трех и четырех лет из собственной коммунальной комнаты в грязную однокомнатную крохотку с доплатой казался Уляшину сомнительной удачей. После второго просмотра супруги шли по улице Восстания и смеялись своей возможной жизни в заброшенном кошатнике, вырисовывая смешные и нелепые бытовые сцены в тесной и зловонной квартирке. Однако смех этот не перекрывал расползающегося внутри беспокойства, и Нина, жена Уляшина — худая и робкая блондинка, перестав вдруг смеяться, посмотрела на мужа и тихо, словно в себя, произнесла: «Видимо, Сережа, не найдем мы нашу квартирку...» Уляшин запнулся и некоторое время они шли молча. «Посмотрим», — сказал он уже на Невском, подгреб жену к себе и поцеловал в прохладную щеку.

Валерий Айрапетян — прозаик. Родился в 1980 году в Баку. В 1988 г. в связи с карабахскими событиями переехал с семьей в Армению. С 1993 года живет в России. Окончил медучилище и университет им.А.С.Пушкина. Работал пастухом, грузчиком, разнорабочим, озеленителем, сопровождающим тургрупп, маляром, массажистом, гирудотерапевтом.

Проза публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Урал», «Аврора», «Нева», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Флорида», «Эмигрантская Лира» и др. Автор двух книг прозы.

Член Союза писателей СПб. Живет и работает в Санкт-Петербурге

* * *

Жизнь в коммуналке становилась для Уляшиных все более невозможной не только в виду обстоятельств, обусловленных тесным пространством — комнатой в пятнадцать квадратов, но и вследствие участившихся в квартире скандалов. Если приравнять семью к комнате, а в пятикомнатной коммуналке жили пять семей, то получалось, что первая от входа комната враждует с третьей и пятой, вторая с первой, третьей и четвертой, третья со второй и первой, четвертая со второй, а пятая с первой. Уляшины жили в четвертой, и нельзя было сказать, что они враждовали со второй комнатой — пожилой парой, где муж был глубоко поражен альцгеймером, медлителен и глух, а жена, напротив, быстра и сверхчувствительна к любым звукам, исходившим не от ее телевизора, работавшего день и ночь, как проклятый. Скандал мог спровоцировать пробежавший мимо второй комнаты ребенок Уляшиных во время трансляции ток-шоу, обычно посвященных тайнам из жизни звезд или каким-то громким разоблачениям. Старуха («Старуша-Каркуша» называли ее в коммуналке за шапку седых, в завитках, волос и острый, похожий на клюв, нос) выбегала в коридор и раздражалась длинной тирадой, сплетенной из нотаций, предупреждений и угроз, которые веселили взрослых, но пугали детей. Иногда вся коммуналка, будто сговорившись и по свистку, начинала внутри и между комнат выяснять отношения — бытового, личного, экономического и политического свойства — и так же разом завершала, оглашая финал громкой серией захлопывающихся дверей.

После подобных инцидентов Нина словно уменьшалась в размерах, молчала, изредка обращая к мужу взгляд, полный мольбы, боли, унижения и упрека. Сергей понимал жену, которую любил и жалел, играл желваками, злился на себя, что так и не научился к тридцати пяти годам «делать деньги», выходил курить и утешал себя мыслью, что «все обойдется».

Каким образом все должно было «обойтись», Уляшин не понимал, но мысль эта успокаивала его и грела надеждой. «Надо бы разбогатеть, — размышлял он, — но вот как?» Уляшин занимался ремонтом самой разной техники, в основном сотовых телефонов и ноутбуков. Работал в сервисной точке недалеко от дома, выезжал к клиентам на адреса, брал работу на дом. Жена сидела с детьми, зарабатывал он, но в целом на жизнь хватало, не слишком сытую, но и не голодную. И именно это среднее существование унижало Сергея, который, чем больше работал, тем больше убеждался, что денег, которые он может заработать на этом поприще, впахивая день и ночь, едва хватит, чтоб закрывая дыры здесь и там, накопить за год хотя бы на недельный семейный тур к морю. Уляшину же хотелось таких денег, чтобы можно было легко купить квартиру, дом, пару автомобилей, много путешествовать, дорого лечиться и не беспокоиться о будущем детей.

И Уляшин мечтал.

Поначалу эти грезы, в которых Сергей представлял себя вдруг разбогатевшим человеком, приходили во время перекуров и успокаивали, спустя время навещали перед сном, потом все чаще и чаще, чтоб через полгода уже полностью завладеть его сознанием. За завтраком, по пути на работу, во время работы, возвращаясь домой и дома, он то воображал, как находит огромные деньги на улице, а потом пытается скрыться с ними — так, чтоб обмануть камеры наблюдения, или как выигрывает в лотерею миллиард — и размышлял как, в какой валюте и в каких банках надежнее хранить средства, считал проценты, что-то покупал, продавал, кому-то дарил и давал в долг, и подолгу злился на воображаемого заемщика, если тот скрывался или подолгу не возвращал деньги; возил родителей за границу, путешествовал на яхте с друзьями, даже вырисовывал в голове маршрут этого путешествия; то представлял себя наследником внезапно почившего неизвестного дяди-олигарха, то еще какую-то

историю, обязательной составляющей которой являлось внезапное и громадное обогащение.

Он так глубоко погружался в эти видения, что жене порой требовалось трижды повторить вопрос, чтобы обратить на себя внимание мужа. Жизнь в новой воображаемой реальности поначалу не смущала его, но когда он поймал себя на том, что не может пройти мимо мусорного бака, не заглянув внутрь (в одной из фантазий Уляшин нашел в мусорном баке чемодан с миллионом тремястами тысяч долларов, на двести тысяч купил квартиру, сто оставил на жизнь, а миллион положил в банк под два процента в год и очень переживал, что банк лопнет или у него отзовут лицензию), его передернуло.

Он пытался обдумать свое новое положение, но едва ему удавалось сформулировать вопрос, как мысль эта расползалась, рассеивалась, и на авансцене сознания вновь вырастала значительная конструкция из упакованных в пачки банкнот, требующая немедленного и грамотного распределения. Не сумев справиться с наваждениями, Уляшин решил по привычке пустить дело на самотек, а там — «как-то да обойдется».

* * *

За два месяца до просмотров квартир Уляшину, менявшему на работе битое стекло айфона на новое и прикидывавшему, в каких валютах надежнее всего хранить свои миллионы, позвонил мужчина, представился Зазой и поинтересовался, сможет ли мастер приехать к нему на дом, починить два смартфона и ноутбук. Уляшин, задав пару уточняющих вопросов, сказал, что сможет подъехать после 20.00, записал адрес и снова вернулся к своей внутренней бухгалтерии.

Он нашел нужный адрес на Лиговке, вошел в арку, повернул налево и набрал номер квартиры на домофоне. Ему открыли, он легко вбежал на третий этаж (Уляшин был чемпионом Политеха по легкой атлетике, высоким и сухим) и, не найдя звонка, постучал в железную дверь. Послышалось шевеление, потом за дверью замерли и, многожды клацая механизмами замка, отворили. На пороге стоял невысокий, крепко сбитый молодой человек с волнистыми каштановыми волосами и красивыми серыми глазами, каких Уляшин раньше никогда не видал: глубокие и холодные, но без выражения, они глядели на него и как бы сквозь него, ничего ему не сообщая о себе, зато, и Уляшин это почувствовал, все зная о нем. На лбу слева, у границы волос, Уляшин заметил странной формы бугорок, похожий на нерассосавшуюся шишку.

— Как говорится, милости просим. Я — Заза, — представился сероглазый, не отрывая от мастера пристального взгляда.

Уляшину показалось, что в сказанном прозвучали нотки иронии, с какой сильные и уверенные в своей силе люди зачастую обращаются к более слабым, но не с целью унижить или вызвать на конфликт, а как бы ненароком выстраивая иерархию, предлагая взамен подчинения покровительство и всякую поддержку.

Сергей вошел, пожал протянутую ему руку, разулся, не обнаружил тапочек и немного замялся.

— Да, не обжился еще, понимаешь, ноги можешь не снимать, но смотри сам, полы чистые, хотя зуб не дам, — сообщил Заза, и тут Уляшин понял, что то, что показалось ему иронией, был легкий кавказский акцент, странным образом извинявший несогласованный переход на «ты»; впрочем, ирония тоже была. А «снятие ног» — даже немного умилило. — Проходи в комнату, все там.

Уляшин пошел по коридору вслед за хозяином, разглядывая дорогого кроя приталенный пиджак, натянутый на могучее туловище Зазы, словно доспехи. Они вошли в большую гостиную, меблированную сложенным диваном-книжкой, двумя стульями и овальным столом, на котором лежали два смартфона корейского производства и ноутбук — японского.

— Проверь, что не так, и если найдешь что, исправь, хорошо? — Заза, улыбаясь, приглашал одной рукой мастера к столу, а другой придвигал к себе стул.

Уляшин поставил свой большой оранжевый рюкзак с инструментами и запчастями на паркетный пол и взялся за осмотр техники. Заза внимательно следил за его действиями и молчал, выставив вперед кулаки, взглянув на которые Сергей поразился их крепости и затаенной в них силе. На одном смартфоне пришлось заменить аккумулятор и стекло, на другом — микрофон; ноутбук оказался в целом исправен, но отсутствовало зарядное устройство, о чем настойчиво напоминал мигающий на экране значок батарейки с иссякающим красным доньшком.

— Шнура нет, но будет, — сказал Заза, и Уляшин вдруг понял, что техника не имеет никакого отношения к Зазе. — Ну, как там? Жить будет?

— Да, все хорошего качества, работать будет долго и счастливо, — хотел пошутить мастер, но еще выговаривая последнее слово, понял, что шутка не получилась.

— А ты долго и счастливо хочешь работать? — спросил Заза.

— Кто ж не хочет...

— Очень хорошо. Ты, смотрю, пацан ровный и мастер хороший. Я дам твой телефон человеку, Игнату, он тебя наберет. Расклад такой — чинишь технику, за каждую единицу тысяча рублей, детали с нас. Диагностика — пятьсот. Сколько стоят детали на это? — Заза провел ладонью над столом.

— Ну... тыщи две, — ответил Уляшин, чувствуя, что жизнь его выходит на какую-то новую орбиту, а хорошо это или плохо, понять не мог.

— Значит две тысячи плюс тысяча за каждый смартфон и пятьсот за ноутбук, итого 4500, да?

— Ноутбук не считается, я не чинил....

— Вах, мама! Но диагностику провел? Провел. Значит, считается. Как у доктора на консультации: ничего не починил, зато поговорили! — Заза засмеялся, обнажив ровный ряд белых крупных зубов. — На, держи бабки и жди звонка от Игната. Работы будет много. Чай-кофе не предлагаю, потому что нету, сам понимаешь, только заехал...

Заза проводил мастера до двери, и когда пожимал ему на прощание руку, легко, но резко потянул ее на себя и, не меняя выражения лица и устремленных на Уляшина пустых серых глаз, тихо произнес:

— Смотри не болтай там.

Сергей сделал вид, что не испугался, кивнул и вышел, только на улице ощутив расползающийся по животу холод.

* * *

Жизнь понемногу налаживалась.

Работы оказалось так много, что Уляшину едва удавалось совмещать ее с занятостью в сервисной точке, и через пару недель он принял несвойственное ему решение уйти с основной работы (с точки) на халтуру (в подвал). Игнат (мрачный и молчаливый брюнет с широким лицом и сломанным носом) встретил его у Московского вокзала, вез почти до конца Лиговки, свернул вправо, въехал в промзону, петлял по узким улочкам мимо двухэтажных из красного и черного кирпича зданий и остановился у входа в одно из них. «На месте», — сказал он, не глядя на Уляшина, вышел из машины, подошел к местами ржавой железной двери и позвонил в звонок. Через минуту лязгнуло, отворилась тяжелая дверь, в проеме которой показался поджарый, в телогрейке, старик с серым отвислым лицом, усыпанным островками серебрищейся щетины. Игнат кивнул, и все трое спустились по крутой лестнице, далее пошли по длинному узкому коридору, в конце которого старик открыл дверь и отошел в сторону, вроде как приглашая войти.

Уляшин оказался в достаточно большом помещении с низким потолком и без окон. Напротив входа, вдоль длинной стены стояли открытые кабинки, разделенные между собой, по типу офисных, перегородками; в некоторых, спиной к входящим,

работали. Взгляд мастера сразу лег на коробки с китайскими аналогами деталей преимущественно для смартфонов и планшетов и на многочисленные, разбросанные по большому столу в центре смартфоны, видеокамеры, ноутбуки и планшеты.

— Рядом с Игоряном место есть, — сказал Игнат, обращаясь к Уляшину, но не глядя на него. — Игорян, вот, знакомься, это Сергей, будет с нами.

Игорян обернулся, снял очки, сощурился, взглядываясь в Уляшина, надел очки, кивнул и снова принялся за работу.

— Ладно, работайте, вечером заеду, рассчитаемся.

Игнат кивнул старику и вышел.

Сергей взял со стола несколько смартфонов и вернулся в свою кабинку. Сверху прозвучал вопрос:

— От Зазы?

Уляшин глянул вверх. Из-за перегородки торчала голова Игоряна.

— Не, от Игната, — сухо ответил Сергей, не любивший пустых разговоров, но больше раздраженный тем, что этот вопрос отвлек его от решаемой сейчас задачи: где лучше открыть офшор — на Кипре или Виргинских островах.

— Понятно. Значит от Зазы. Тут все от Зазы. Даже Игнат от Зазы, — тихо, как заговорщик, доложил Игорян.

Сергей не ответил, только разок глубоко вдохнул и выдохнул, словно говоря — «хорошо, хорошо, я тебя услышал, а теперь — иди к черту», а сам подумал: «маньяк какой-то».

Не заполучив в новом работнике собеседника, Игорян поправил очки, сел на свое место и впредь не тревожил Уляшина разговорами, не имеющими отношения к рабочему процессу.

Работать приходилось шесть дней в неделю, зато не с утра, а с обеда и до 23. Уляшин не задавал лишних вопросов, чинил, перепрошивал, диагностировал, приводил в товарный вид технику со стола. Старик — Казбек — следил за процессом, делая пометки в блокноте. К двадцати трем появлялся Игнат, сверялся с записями Казбека, расплачивался с работниками, забирал отлаженный товар и уезжал. К началу рабочего дня опустевший прошлым вечером стол был снова усыпан самой разнообразной техникой. Домой Уляшин возвращался ближе к полуночи, страшно довольный как увеличившимся втрое заработком, так и тем, что навязчивые мысли постепенно теряли над ним свою власть, и тот плотный и сладкий туман, который они вызывали в его душе, рассеивался, слабел и уже не питал ощущениями те мысли, от которых происходил. Спустя два месяца Сергей вдруг обнаружил себя весьма состоятельным человеком, не таким, конечно, каким воображал, а таким, что вполне мог позволить себе снять трехкомнатную квартиру в центре города, купить жене и детям обновки и откладывать на отпуск.

* * *

Это была та самая квартира, о которой Уляшины мечтали, и хотя квартира мечты не имела конкретных параметров, увидев эту, они сразу сошлись в том, что мечтали именно о ней. Просторная трешка на Советской улице, выкрашенные белой краской стены, высокие потолки, вместительные антресоли, простая и удобная мебель, большая кухня, окна во двор, много горшечных растений, и все это — за 35 000 в месяц, что совсем недорого, если учесть, что сдача комнаты в коммуналке отобьет пятнадцать тысяч, а собрать двадцатку при нынешних заработках можно было, даже на затягивая поясов.

Уляшин, не читая, подписал с хозяйкой типовой договор аренды («Да, да, почти как няню Пушкина», — привычно и несколько кокетливо отвечала она на удивленный взгляд Уляшина, фотографировавшего разворот паспорта Арины Родионовой), внес залог, оплатил месяц аренды и выдал комиссионные агенту Розе, грузной и говорливой

восточной женщине, имевшей талант с первых минут общения расположить к себе клиента. Уточнив некоторые детали (Арина жила в Бельгии, приезжала в Питер раз в год («вот и сейчас выбралась на недельку»), потому просила переводить деньги на счет карты, присылать по электронной почте фото оплаченных квитанций, соблюдать чистоту, поливать растения и не ссориться с соседями), Уляшин взял две пары ключей, жену, Розу, и, попрощавшись с хозяйкой, все вышли на воздух.

Решили отметить в кафе, там и разговорились. Роза, недавно познакомившаяся с Ариной, рассказала, что та не замужем, в разводе уже лет, наверное, пять, что бывший ее муж в прошлом году разбился в аварии на соседней улице и она горюет, поскольку, хоть и не жили вместе, а дружили, а теперь ни детей, ни бывшего мужа, а одна граница и работа в Европе.

Переехали на следующий день (к неудовольствию Игната, Уляшин взял выходной посреди недели) и стали обживать, радуясь всему сразу — простору, свету, отсутствию скандалящих соседей и толкучки в местах общего пользования.

В один из дней, когда родители завтракали, а дети бегали и весело кричали, не опасаясь быть отруганными Старушей-Каркушей, Ваня, старший сын, влетел на кухню, запустил с маху плюшевого слоника и, сам не понимая отчего, расплакался. Пока Нина успокаивала малыша, Сергей, обернувшись, поискал игрушку на полу, но не нашел, заглянул под стол, пробежал взглядом по столешнице и даже встал на табурет, чтобы поглядеть на кухонных шкафчиках. Слоника не было нигде. Тогда Уляшин встал в дверях и внимательно, метр за метром, оглядел кухню. «Ну, конечно!» — обрадовался он и рванул искать за газовой плитой. Согнувшись, вытянув шею, осматривал щель между задней стенкой плиты и стеной. На прорезиненном газовом шланге лежал слоник, весь в ошметках слежалой пыли. Сергей просунул руку в щель, зацепил пыльный шланг, задел коробку, на которую ранее не обратил внимания, вытащил слоника, потряхнул его и вернул сыну.

Вечером, после работы, он вспомнил, что задел коробку, полез за плиту, но тут же, как от ожога, отдернул руку и часто задышал. Забытое наваждение подступило к горлу, почти душило. «Сколько там денег, интересно? — зазвучал в голове знакомый голос. — Миллион евро. Нет, долларов. Нет, рублей, и не миллион, а двадцать миллионов, или нет, наверное, десять, но все же много. Так, ок, десять миллионов, два — в банк, на шесть куплю квартиру, или нет, не на шесть, а на семь, вот эту, нет, другую, нет, эту...» Уляшина сразу взял в оборот этот подсчет, он сидел и считал, пока не влепил себе пощечину. «Дебил! Что за херня! Какие миллионы в коробке, в мусорке, какие лотереи, какое наследство, взрослый ведь мужик, отец двоих детей, что за идиотизм!» — клял себя Уляшин, опасаясь возвращения этого безумного круговорота отрешенных от реальности мыслей, принял контрастный душ, тихо прошел в спальню, приобнял спящую жену и немедленно уснул.

Утром он ходил по кухне и жевал бутерброд, хотя прежде всегда ел сидя, и нервничал, если жена или дети ели на ходу. Он то подходил к плите, открывал и закрывал крышку кастрюли, то отходил к раковине — включал и выключал кран, потом снова возвращался к плите, крутил ручки, открыл дверцу духового шкафа (Арина извинилась, что духовка не работает, но Уляшиным было все равно: они не пекли, не запекали и опасались, что дети могут обжечься), осмотрел его чернеющие полости, закрыл дверцу, потом снова подошел к раковине, потом опять к плите.

— Что это с тобой? — услышал он голос жены, наблюдавшей за странными перемещениями мужа.

— А, — отмахнулся Сергей, сел и сосредоточенно стал есть.

— Ты что-то искал? — спросила Нина, как и всякая женщина, придающая большое значение маленьким изменениям в поведении своего мужчины.

— Ой, ну брось ты, — сморщился Сергей. — Что тут вообще искать? Да, миллионы искал!

— Ну, да, конечно, — улынулась Нина. — Арина просила передать, что миллион для Сереженьки лежит в пакете за мусорным ведром.

Оба засмеялись, а Уляшин вдруг почувствовал сильное облегчение, какое приходит к ребенку после ночного кошмара в присутствии улыбающейся мамы.

Эти наваждения накатывали все реже, но всегда с большой силой, и Сергей с трудом сдерживал острое, почти наркоманское желание ринуться к плите и достать коробку. Он знал, что стоит ему сделать это и убедиться, что коробка пуста или полна хлама, как он тотчас проиграет, а терзающий его враг, наоборот, выиграет и окрепнет, а там и до психушки рукой подать. И Уляшин держался, опасаясь развития этих состояний и возможного помешательства, решив для себя, что единственным средством от распада должна стать дисциплина, огненными буквами предписывающая ему «НЕ ТРОГАТЬ КОРОБКУ». Он остался доволен этим решением, и если даже продолжал в голове складывать, вычитать, умножать и тратить свои несуществующие богатства, то относился теперь к этому как к упражнению в арифметике. А сопровождающие эти подсчеты всплески чувств относил к особенностям эмоционального склада.

Так прошло два месяца. Жена, казалось, была счастлива, дети веселы, денег хватало на текущие расходы, и даже удалось немного отложить. В самый обычный день, подходя к рабочему флигелю и размышляя, кому из друзей мог бы доверить управление своими капиталами, Уляшин еще издали приметил у входа две полицейские легковушки и один микроавтобус, в который полицейские затаскивали коробки с техникой. Возле машин, помимо полицейских, стояли двое гражданских — мужчина и женщина. Картина была ясна, следовало спокойно свернуть и уходить по соседней улице, но, повинаясь какому-то странному чувству, некоему тревожному интересу, он пошел как обычно, пытаясь быть расслабленным, проходящим мимо пешеходом. Поравнявшись с машинами, Уляшин заметил на заднем сиденье Казбека с отрешенным выражением лица и с заведенными за спину руками. Уляшин прошел мимо, свернул в конце улицы в низкую арку, прошел два двора и через крайнюю промзоновскую улочку вышел к Лиговке.

Рядом с метро, у зазывалы, призывающего прохожих воспользоваться рекламной акцией и без регистрации приобрести сим-карты самого дешевого сотового оператора, он купил две симки, одну вставил вместо своей, а другую убрал в сумку, и с нового номера набрал Игната. Абонент был недоступен. Позвонил Зазе, но робот сообщил ему, что номер не обслуживается. Уляшин вытащил симку, выбросил ее, вставил свою и пошел к дому. Через пару дней он снова набрал Игната с другой новой симки, но абонент был все еще недоступен, и Уляшин решил пройтись до промзоны — осмотреться. Наткнувшись на опечатанную железную дверь флигеля, повернул обратно, пытаясь справиться с разрастающейся в животе и груди тучей, готовой разрешиться кислотным, разъедающим надежду, спокойствие и уверенность, дождем. Отложенных денег хватало на месяц аренды и пару недель жизни. Уляшин пытался думать, но тяжелое беспокойство сковывало мысли, которые то вязли, то, едва возникнув, обрывались, то липли друг к другу или наваливались разом, создавая путаницу и еще больше усиливая беспокойство.

Сергей пришел домой, разделся, лег под одеяло и пролежал с температурой и в слабости четыре дня, прилагая огромные усилия, чтобы встать и дойти до туалета. Месяц спустя Уляшины съехали с квартиры обратно в комнату. Перед тем как начать грузить упакованные мешки и коробки в подъехавшую «газель», Нина и Сергей сидели на кухне и молчали. Уляшин заметил, как резко постарела жена, как она разочарована и как несчастна, и по привычке винил во всем себя, страдая и проклиная жизнь. Он подумал, что раз уж все потеряно, то надо бы достать коробку из-за плиты, но тут позвонил водитель «газели», сообщив, что у него еще три заказа и хорошо бы приступить к погрузке. Уляшины вскочили и начали спускать вниз вещи.

После переезда следовало забрать детей у тещи с тестем, которые были уверены, что Сергей никчемный муж, погубивший жизнь их дочери, и мысль, что предстоит встреча с ними и надо будет что-то говорить и говорить так, будто он не знает этого их отношения к себе, сокрушала его не меньше, чем потеря работы, безденежье и возвращение в коммуналку.

* * *

Хлопин был уверен в том, что живет *правильно*, и возвращаясь иногда к каким-то событиям своей жизни, которые память непроизвольно извлекала из своих архивов и вдруг предъявляла ему, будто требуя немедленных разъяснений, всегда приходил к выводу, что поступил в тех обстоятельствах единственно возможным и верным образом. Он работал начальником отдела в страховой компании, но желал большего, будучи уверенным, что *большее* само придет в его жизнь, когда он, Хлопин, будет к этому готов. И Хлопин готовился, *прокачивая свои силы*, посредством прохождения разного рода тренингов.

Он посещал тренинги личностного роста, тренинги эффективных продаж и тренинги, посвященные управлению персоналом, и каждый раз убеждался, что склад его личности и жизненные принципы не то что не входят в противоречие с получаемой на тренингах информацией, но как будто подтверждают все, там озвученное. Ему говорили: «Будь собой, стремись к успеху, и Вселенная тебе поможет», — и, оглядываясь назад, он понимал, что — да: следуя исключительно в собственных интересах, он преуспел. Ему говорили, что чувство вины есть самая деструктивная сила, и Хлопин, никогда не считавший себя виноватым, охотно соглашался. Ему говорили: «Деньги — это награда Вселенной за правильное мышление», «Инвестиции — высшая ценность, требующая защиты любой ценой», «Если ты хорошо продаешь — ты состоялся как личность», — а он только поражался тому, насколько щедро одарен *Вселенной* и насколько *Вселенная* к нему благосклонна. Но более всего ему льстило, что он не только не расточал этих даров, а своим трудом, дисциплиной и *правильным мышлением*, основанным на позитивном отношении к жизни, старался их приумножить.

На тренингах еще говорили о служении делу и людям, о важности семьи и отношений, но говорили как бы между прочим как обо всех известных и уже надоевших понятиях, которые вроде и важны, но не настолько, чтобы на их основе строить новых людей и *эффективных продажников*. На тренингах никогда не звучали слова «Бог», «правда», «совесть», но были «Вселенная», «результат», «чувство вины», что являлось дополнительным бонусом для Хлопина, не верившего ни в Бога, ни в черта, ни в душу, ни в какие бы то ни было эфемерные нравственные категории. И сейчас, разбирая архивные справки памяти, он понимал, что все в своей жизни сделал правильно.

Год назад, на одном из тренингов, он познакомился с симпатичной девушкой Жанной, обладавшей немного вытянутым лицом с немного выступающим вперед подбородком и красивым, изготовленным в фитнес-клубе телом, облаченным в дорогие *брендовые* вещи и аксессуары. Хлопин, мысливший позитивно, сначала оценил спортивную подтянутость ее фигуры: «личный тренер, дисциплина, стремление к результату»; после — одежду и аксессуары: «да тут только часы дороже моего форда!»; а увидев, как она, кокетливо подмигивая подходящему к своему позапрошлогоднему форду Хлопину, запрыгивает в немецкий джип последней модели, поймал себя на том, что почти влюблен.

Под влюбленностью Хлопин понимал неудержимое желание приобщиться к блестящему миру успешных во всем людей, к которым, без сомнения, принадлежала Жанна, оказавшаяся дочерью *третьего человека* в крупной газовой компании. Мать Жанны после развода вышла замуж за американца и жила в Штатах, общаясь с дочерью

по скайпу. Дважды в год, пересекая океан, дочь навещала мать, гостила у нее дней десять и летела обратно.

Хлопин был женат, имел сына пяти лет, считал себя хорошим отцом и мужем, и то обстоятельство, что большую часть заработанных денег он тратил на свой гардероб, тренировки, фитнес-клуб и рестораны, никак не смущало, а напротив, даже подчеркивало его способность достигать поставленной цели и, как искренне считал Хлопин, во благо семьи. Так, недавно, купив со скидкой 50% швейцарские часы, отдав за них половину зарплаты, все отложенные на летний семейный отдых деньги и взятую у матери в долг (который никогда не возвращал) сумму в три ее пенсии, — остался крайне доволен как покупкой, так и тем, что *нашел возможность реализовать свою мечту*.

Роман с Жанной закрутился после очередной сессии «лидерского тренинга», на котором поставленные друг против друга пары должны были описать внешность своего визави исключительно в комплементарном ключе. Хлопину досталась зрелая в потертом свитере дама, с оспенным лицом, выступающими вперед и кверху зубами и косящим влево правым глазом, и как он ни вглядывался в эти черты в надежде отыскать хотя бы намек на присутствие одной, достойной комплимента, так и не нашел, еле сдерживая себя, чтоб не рассмеяться в голос. В итоге, собрав волю в кулак, ничего не придумав лучше, как воскликнуть: «Вы вся такая обворожительная!» Дама смущенно зарделась, а ставивший баллы тренер, который в любом другом случае не засчитал бы этот комплимент, подойдя к паре и взглянув на даму, выставил Хлопину высший балл и ободряюще ему кивнул.

Сам Хлопин был из тех миловидных, синеглазых блондинов с белоснежной улыбкой, которых с самого детства называют «блондинчиками». Жанна, стоявшая по соседству и выслушивающая комплименты в свой адрес от закодированного, трижды разведенного алкоголика, решившего, наконец, стать хозяином своей жизни, косилась то на даму, то на Хлопина, то на визави, и широко улыбалась. После тренинга он подсел к Жанне в кафе напротив, они пили кофе, ржали над сегодняшним тренингом, обсуждали пользу приседов со штангой, спортивное питание, качество городских бассейнов и стратегию продвижения аккаунта в инстаграме, а через некоторое время Хлопин вдруг обнаружил себя целующимся с ней в прихожей ее квартиры. Он пытался изображать охваченность страстью, то прижимая ее к себе, то немного отстраняя, чтобы прижать с новой силой, оглаживал ее бока то плавно, то прерывисто и впивался в нее с яростью, какую и Леонид Ильич Брежнев счел бы чрезмерной. Но тут в сознании Хлопина вспыхнул отец Жанны, третий человек в крупной газовой компании, представший в виде статного смуглого bruneta с массивным подбородком, который *оптимистично улыбался* и показывал Хлопину выставленный вверх над кулаком большой палец — «Класс!». И этот образ, обещавший ему доступ к самым разным благам в случае счастливого соединения своей жизни с жизнью его дочери, так поразил Хлопина, что он напрочь забыл о подбородке и вытянутом лице, чуть смущавших его прежде, и полностью отдался — на этот раз — подлинной страсти.

Через три месяца отношений Жанна потребовала от Хлопина уйти из семьи и жить с нею. Хлопин ушел из семьи просто: сообщил жене, что их отношения зашли в тупик, что это все не то, чего он ожидал от брака, что они слишком разные, чтобы, живя вместе, *развиваться и реализовываться*. Собрал вещи, обещал платить алименты (зарплата была белая, схитрить бы не удалось, и он мысленно уже распрощался с 25% получаемых на карточку денег), обозначил, что будет забирать сына через воскресенье, попрощался и, оставив ошарашенных жену и сына в коридоре, вышел из квартиры, волоча за собой огромную сумку.

Отец Жанны (к удивлению Хлопина оказавшийся маленьким, лысым и круглым) был не против брака, но считал, что сначала необходимо немного пожить вместе, «притереться». Жених отцу понравился, а отец девушки понравился жениху. «У тебя

прекрасный отец, прирожденный лидер!» — сказал он невесте, когда они возвращались из ресторана, где состоялось знакомство. Но вместо даров, которыми, как думал Хлопин, будущий тесть одарит его в ближайшее время, на следующий день он получил от него телефонный разговор, смысл которого заключался в том, что он понимает и уважает стремление Хлопина самому обеспечивать свою новую семью, но, как отец Жанны, он хотел бы немного помочь и полностью взять на себя следующие расходы: оплатить свадьбу, подарить молодоженам романтическое путешествие и купить молодым большую квартиру в только что сданном *клубном доме*. Но сначала, продолжал он, необходимо продать квартиру Жанны, снять на время ремонта временное жилье и после свадьбы уже переехать в «новое уютное гнездышко». «А дальше сами», — резюмировал будущий тесть и коротко засмеялся смехом человека, принесшего своему другу радостную и веселую весть.

Хлопин едва не поперхнулся от этих новостей, особенно от «самому обеспечивать новую семью» и «дальше сами», но, настроенный позитивно, не придавал серьезного значения этому, уверенный, что отец лукавит, что дочку свою (и ее мужа) не оставит без шоколада, а просто проверяет таким образом реакцию будущего зятя. Эта мысль успокоила его, и жизнь с Жанной снова представилась ему перспективной. Они продали ее квартиру, передали деньги отцу и принялись искать жилье в центре города, по определению Жанны такое, чтоб: «было чисто и недорого, без лишнего пафоса, чтобы потом на контрасте переехать в свою сказку». Они нашли подходящий вариант, встретились с агентом Розой, тут же влюбившей их в себя, вышли через скайп на связь с Ариной из Бельгии, которая, приложив разворот паспорта к камере, подтверждала, что является хозяйкой квартиры, и «да, почти как у няни Пушкина, только фамилия, а не отчество, ха-ха, въезжайте, конечно, а то люди внезапно съехали, прям под вас, удивительно, правда, да-да, Роза все оформит от моего имени, будем держать связь, всего хорошего, тоже рада познакомиться».

Пара въехала и стала обживать. «Столько растений! Это хорошо по фэн-шуй!» — ликовал Хлопин, радуясь, однако, не растениям, а тому, что арендная плата, которую он, скрепя сердце, взял на себя, была невысока. Жанна, фанатка правильного питания, ничего не жарившая на сковороде, а всегда только запекавшая в духовом шкафу, была неприятно удивлена неработающей духовкой. «Я так хотела порадовать тебя запеченной форелью!» — сказала она вошедшему на кухню жениху и выпустила из слезного канала капельку. Хлопин немедленно связался с Розой, та с Ариной, и было решено купить новую плиту, «естественно в счет оплаты аренды, простите, прошлые жильцы не пользовались, спасибо, что займетесь этим вопросом». В субботу утром привезли новую плиту. Жанна ушла на йогу, предоставив Хлопину полную свободу в сфере, которая, по ее словам, «прокачивала мужские энергии». Грузчики-установщики из «Ленгаза» внесли запечатанную в короб плиту в коридор. Хлопин провел их на кухню и остался для контроля демонтажа старой техники и установки новой. Рабочие перекрыли газовый кран, отсоединили шланг и выдвинули плиту вперед.

— Хозяин, тут коробка. Надо бы ее это... убрать в общем, — обратился к Хлопину высокий и грузный установщик.

Хлопин протянул руку:

— Да не вопрос, давайте ее сюда.

Он прошел в ванную, поставил пыльную, неряшливо обмотанную скотчем, коробку под раковину и вернулся на кухню. Через полчаса новая плита была установлена и подключена, рабочие сделали отметку в техническом паспорте, Хлопин рассчитался, придержал дверь, пока выносили старую плиту, выдохнул и пошел мыть руки. Вспомнил о коробке, поставил ее на дно ванны, принес с кухни фланелевую тряпку и принялся оттирать от пыли, обнажив логотип японского производителя техники: «А, из-под ноутбука».

Хлопин несколько раз аккуратно перевернул коробку и слегка встряхнул. Внутри коробки перекатывались какие-то составные части, будто бы кубики. «Не, точно не ноут», — заключил Хлопин, принес с кухни ножик, подрезал по периметру коробки ленту скотча, поднял крышку, вскрикнул и тут же закрыл коробку. Он прерывисто задышал, его качнуло, и, едва избежав падения, он сполз по кафельной стене на пол. Успокоившись, Хлопин открыл коробку еще раз. Раскиданные по коробке плотные запечатанные пачки банкнот номиналом в 500 евро переливались волшебным фиолетовым светом. Хлопин, судорожно трясясь, принялся считать пачки, насчитав 29 штук. Помножив 29 на 50 000, Хлопин получил сумму 1 450 000 евро, быстро перевел ее по действующему курсу в рубли, и вспыхнувшая в голове цифра в сто миллионов на несколько мгновений ослепила его. Он несколько раз с силой зажмурился, потом, как ушибленный током, вскочил и посмотрел на часы. Жанна вернется с йоги примерно через час с хвостиком. Хлопин быстро сложил пачки стопкой и убрал их в свой рабочий портфель, а сам портфель — в большую сумку, ту самую, в которой вывозил от жены свои вещи. В коридоре собрал в кучу раскиданные лентазовцами листы упаковочного картона, лохмотья целлофана и плексигласовый поддон, кинул сверху коробку от ноутбука, обмотал все это по спирали скотчем, взял в охапку и вынес к мусорным бакам. Вернулся в квартиру, умылся холодной водой, посмотрел на себя в зеркало, хищнически оскалился улыбкой успешного человека, сел на краю ванны и задумался.

Хлопин пришел к выводу, что его жестоко обманули и унизили. Он вспомнил телефонный разговор с отцом Жанны, «с этим мерзким толстым уродом», который сразу дал понять, что будущему зятю не видать его денег и помощи в продвижении, а придется пахать и содержать семью самому; следом вспомнил кричащую Жанну, требовавшую от него немедленного ухода из семьи («какая бесчувственная холодная сука!»); ее вытянутое лицо и подбородок, каким, как казалось ему теперь, обладает не каждый боец смешанных единоборств; вспомнил, как целовался с нею, и свое ощущение, что к их поцелую привешена пудровая гиря («это не подбородок, а кувалда какая-то!»); и, что самое ужасное, вспомнил ее ночной храп, который будил его и не давал потом заснуть, а он не решался, боясь испортить отношения, сделать ей замечание и все терпел, терпел, терпел. Но всё! Достаточно! Стоп! Он начнет свою игру! Игру Лидера!

Хлопин вскочил и решительно направился в комнату, открыл бельевого шкафа и стал извлекать свои вещи, заботливо сложенные Жанной в аккуратные ряды. Еще раз проверил портфель в сумке, сложил в сумку вещи из шкафа, запихнул ноутбук, планшет, папку с документами, застегнул молнию и выставил в коридор.

«Нет, — замешкался он перед дверью. — Надо хотя бы эсэмэс отправить. А лучше записку. Да, точно, от руки! Чтобы как от сердца!»

Хлопин взглянул на часы, еще полчаса назад бывшие самой статусной и любимой его вещью, которую он при каждом удобном случае как бы невзначай демонстрировал собеседнику, и казавшиеся сейчас свидетелями его позора, который, в представлении Хлопина, начинался у границ среднего достатка, разрастался в бедности и достигал своего апогея в нищете. Будто часы говорили ему: «Ты купил нас, самую дешевую модель в линейке, на распродаже. Еще и хвастался. Нищесброд! Тьфу!» До прихода Жанны оставалось минут сорок.

Хлопин вытянул из пачки, что лежала на холодильнике, лист формата А4, сел за кухонный стол, взял оставленную на столе с момента росписи в гарантийном талоне ручку и написал:

«Кисуль, привет! Сегодня утром я проснулся в какой-то тревоге и долго не мог понять, что это такое. Я стал медитировать над своей тревогой, и Вселенная послала мне ответ. Я понял, что не могу соответствовать тебе. Ты изумительная, прекрасная, сексуальная, умная и развитая киса, стремящаяся к осознанности. Я тоже решил стать

осознанным, потому что я раньше думал, что я осознанный, а оказалось, что нет. Вселенная дала мне ответ. Хлопин, ты ни хера не осознанный чел, сказала мне Вселенная. И получилось так, что сегодня я проснулся два раза. Один раз я проснулся, когда проснулся, а другой раз, когда Вселенная дала мне ответ. Это был настоящий инсайт! Вселенная так и сказала мне: «Ты недостойн кисы, Хлопин». Киса, я недостойн тебя. Недостойн быть зятем твоего отца, настоящего Лидера. Я ухожу, киса. Это мой выбор. Выбор свободного человека. Но ухожу только для того, чтобы тоже стать Лидером. И тогда, если Вселенной будет угодно, мы соединим наши энергии. Как на том кармическом тренинге по очистке чакр, помнишь? Мне нужно развитие, малышка. И я благодарю Вселенную, что она мне дала через тебя этот опыт. Это знание. Эту уверенность в себе. Где бы я ни был, я всегда с тобой, бэйби. У меня нет больших денег, но есть амбиции, а это больше, чем богатство. Ты — мой главный успех. Наши энергетические пуповины в синхроне, киса. Помни это и не грусти. Твой Хлопик. П.С. Ключи в почтовом ящике».

Под письмом Хлопин нарисовал улыбающееся солнышко с радиально расходящимися лучиками и на обращенной к рисунку стрелке написал «Ты». Напротив лучистого солнца изобразил словно выдавленную из кондитерского пистолета какашку, тоже с улыбкой, и на стрелке написал «Я». Хлопин остался доволен письмом, особенно принесенным извинением, которое он зашифровал в рисунке.

Хлопин выволок сумку на лестничную площадку, запер дверь, спустился к выходу, бросил ключи в почтовый ящик, прошел к своему «форду», загрузил сумку на заднее сиденье, выехал на Суворовский проспект и повернул к Невскому. Хлопин хотел написать бывшей жене ободряющую эсэмэску, что-то вроде: «Теперь у вас все будет хорошо», но не стал, понимая, что к ней он не вернется. Отключил телефон и глубоко вдохнул. Он не знал, куда поедет дальше, но теперь это не имело никакого значения. Он снова подумал о том, что Вселенная вознаградила его за правильное мышление, за правильную жизнь, за позитив и целеустремленность. Вселенная никогда не ошибается в своем выборе. Все справедливо. «Да, — с тихим торжеством человека, долго сомневавшегося в своих предположениях, но доказавшего их подлинность, подумал Хлопин, — я Избранный».

Светофор горел красным непривычно долго. Пешеходы — офисный работник в дешевом костюме, грустная женщина с двумя детьми и долговязым потрепанным мужчиной с большим оранжевым рюкзаком за спиной, бабушка с тележкой, гастарбайтер с засаленной спортивной сумкой, два смеющихся розовощеких курсанта, стайка китайских туристов с селфи-палками, опухший от пьянства мужик в рваном ботинке, — всё переходили и переходили дорогу.

— Как же я вас всех не-на-ви-жу! — громко зашипел Хлопин, ощущая, как радостное возбуждение заполняет его тело.

* * *

Всю ночь лил дождь, и Илья Родионов, не любивший дождя, спал плохо, потел, просыпался, долго не мог уснуть, а когда засыпал, то погружался в какие-то кошмарные сны. Ему снилась заплаканная Арина, снился психопат Хазик — старшак, главный враг его детства, часто избивавший Родионова, снились смеющиеся мужчина с женщиной без лиц, бывшие во сне его родителями, с которых он, напуганный и плачущий мальчик, пытался содрать скрывающую лица пелену, но всякий раз его отшвыривали и начинали смеяться еще громче.

С самого детства, прошедшего в детском доме, его не покидало чувство, что внутри него, не переставая, идут дожди: тоскливые измороси да печальные ливни. И если бы он поделился этим ощущением, например, с коллегой или знакомым, тот принял бы это за шутку, потому что только спортивный, хорошо организованный, ответственный человек, обладавший, ко всему прочему, таким редким, чистым,

удалым и заразительным смехом, — только такой человек может пошутить про нескончаемую тоску в своей душе. И лишь Арина, с которой Илья сожительствовал пять лет, дал ей свою фамилию, но так и не вступил с нею в брак, и от которой ушел пять лет назад, — только она знала и любила эту ненастную душу, стараясь быть для мужа ненавязчивой, ясной и нежной, как апрельское солнце, женой. Родионов несколько раз спрашивал себя — почему он стал жить с Ариной и почему от нее ушел, но никак не находил ответа, ощущая только смутную тревогу, тоску и печаль, которые поднимались в нем от этих вопросов.

Он проснулся по будильнику в своей панельной однушке, растер лицо, прошел босиком в уборную, долго, сосредотачиваясь, стоял над унитазом, потом долго умывался, быстро позавтракал овсянкой на воде, принял душ, выпил кофе, оделся. Немного постоял перед выходом, выбирая между серой ветровкой и черной кожанкой, надел ветровку и вышел. Следовало, как обычно, заехать на Каменный остров, припарковать свою «тойоту» рядом с особняком Владимира Петровича — шефа, владельца известной в городе строительной корпорации, дожидаться, пока охранник откроет ворота, въехать во двор, пересечь в шефский «майбах», завести мотор и ждать. Из дома вышел телохранитель Петровича — Котов Саша, которого друзья и коллеги называли просто — Кот, огляделся по сторонам и бодро зашагал к машине, открыл заднюю дверь и застыл; за ним — Владимир Петрович, крупный и энергичный, имевший поразительную способность усаживать свое тело в машину с легкостью балерины. Маршрут был короткий: до Петроградской набережной, к главному офису компании.

Личным водителем у Петровича Илья работал четвертый год. Шеф ценил Родионова не только как мастера быстрой и аккуратной езды, знавшего все объездные дороги в городе, но еще за целый ряд качеств: за неболтливость, трезвость, пунктуальность, за внешний вид, характер и порядочность. Илья дорожил этим реноме и старался соответствовать ему, но не лез при этом из кожи вон, не делал, по его выражению, «лишних движений», не навязывал себя шефу, а стремился выполнять свою работу «ровно, четко и по существу».

Владимир Петрович был человеком старой формации и легко общался с подчиненными любого уровня, не прибегая в этом деле к помощи такой сомнительной, на его взгляд, прокладке, как личный помощник. Личного помощника — Нестерова — шеф нагружал по полной, вешая на него телефонные звонки, переписку, свой график, организацию встреч, делопроизводство, контроль над слаженной работой отделов компании, сопровождение ценных грузов и многое другое.

По дороге к офису Петрович — чемпион СССР по вольной борьбе, квадратный, с крестьянским широким лицом, на котором будто застыла хмельная улыбка и смеялись быстрые умные глаза — ставил перед Ильей и Котовым задачу:

— Саша, в 20.00 жду в кабинете, передам посылку для человека, отвезете с Ильей. Илья, машину в паркинге оставь, вечером возьми у Шуки ключи от бэхи, поедете на ней. Припаркуетесь рядом с «Ленинград-центром», у Таврического. — Петрович сделал паузу. Родионов кивнул, мол, да, понял куда. — Так. Человек будет в 21, вы — пораньше. Илья, у человека твой номер на всякий. Подъедет, пересядет к вам, передаст папку с документами. Котов, сфотографируй каждый и отправь по ватсапу главному юристу Панченко, он в Москве сейчас, но на связи, будет ждать, — мало ли, бумажку потеряли, пока везли. Есть его номер? — Оба кивнули. — Хорошо. Если Панченко даст «добро», отдает посылку и с документами на базу. Если нет, то набираете сразу Нестерова, он со мной будет. Дело серьезное, головой отвечаете. Вопросы?

— Вопросов нет.

Обычно Нестеров сопровождал такого рода поездки, но сегодня вечером были по плану немцы, у которых шеф, решивший расширить парк строительной техники,

собирался приобрести семнадцать башенных кранов и много другой техники, и хорошо говоривший по-немецки Нестеров, над шутками которого немцы смеялись до упаду, был его козырем.

Владимир Петрович приступал к новому крупному проекту — строительству жилого квартала на восемьсот квартир в районе станции «Парнас». Предпроект был на руках, земельное пятно (Петрович был в восторге от участка) выбрано, собственник пятна (знакомый Петровича) готов был выставлять пятно на торги и торопил с оформлением документов, собственные средства компании подготовлены, двухмиллиардный кредит под низкий процент предварительно одобрен банком. Оставалось собрать целый ряд согласований с городом, строительными комитетами, Водоканалом, Ленэнерго, МЧС и еще с полусотней организаций, пройти множество экспертиз и комиссий, после которых, имея на руках полный пакет документов, смело можно приступать к созданию проектной декларации, покупке пятна, получению разрешения на строительство и заняться, наконец, делом — стройкой.

Владимир Петрович был коммерсантом, не первый год в строительном бизнесе, и хорошо знал, что согласование документов может тянуться дольше самой стройки, что за это время облюбованное им земельное пятно уйдет к конкуренту, а ты потом стой и разводи руками. Петрович же, как борец и чемпион, если и разводил руки в стороны, то только для того, чтобы в нужный момент сомкнуть их вокруг шеи противника и держать, пока тот не признает себя проигравшим.

Он хорошо понимал устройство административной машины; знал, какие шестеренки следует подмазать, чтобы система заработала в его пользу; относился снисходительно к человеческим порокам, в основе которых, по его глубокому убеждению, лежала жадность; но, даже имея это понимание и это снисхождение, он не переставал поражаться аппетитам и жадности чиновников, впавших в состояние какой-то феноменальной и неудержимой денежной похоти. Вот и сейчас, чтобы предоставить полный пакет утвержденных согласований, озвучили сумму в твердой валюте, в полтора раза превышавшую озвученную двумя годами ранее. Это был единственный и отлаженный канал, гарантирующий быстрое и надежное получение всех необходимых для дела документов, и Владимир Петрович согласился.

Было еще одно обстоятельство, которое торопило Петровича: вездесущий Нестеров донес, что Рыбин, один из конкурентов, запал на парнасское пятно и обхаживает всю собственника, с которым у Петровича договоренность; ее собственник может легко нарушить, если ему предложат больше.

Въезжали в подземный паркинг. Головной офис представлял собой пятиэтажный особняк, построенный компанией Петровича в период строительного бума. Здание располагалось на второй линии от набережной, за бизнес-центром, и было защищено от стороннего наблюдателя высоким фасадом впереди стоящего соседа. Петрович с Котовым поднялись наверх. Родионов тут же, в паркинге, нашел Шуку — Шукина, второго водителя, которому шеф доверял задания меньшей важности и который, в случае отсутствия Родионова, заменял его. Илья передал Шукке приказ шефа, чтоб к двадцати часам машина была свободна. Шука тяжело вздохнул и обреченно кивнул. «Не любит меня, поди. Понимаю, чего уж тут...» — подумал Родионов и вернулся в «майбах».

Вечером Илья сидел в черной БМВ пятой модели и ожидал Котова с «посылкой».

— Погнали, — сказал Кот, усаживая свое массивное тело. — Готов.

На коленях его лежала дорожная сумка мягкой кожи, так искусно выделанной, что хотелось ее погладить, и Илья, пока ехали, скашивал глаз и любовался вещью. «Красивая вещь, — думал он. — Для красивой жизни. А моя жизнь, какая она — красивая или уродливая?» Родионов вспомнил сегодняшний сон, в котором всплыло самое для него болезненное: родители, которых он не знал, детдом и Арина. Вспомнил службу в армии — один из самых радостных отрезков жизни, учебу в ДОСААФ на

водителя, жизнь в коммунальной комнате, выделенной ему как детдомовцу. Нахлынули воспоминания. После детдома — несколько лет шатаний, случайные заработки, случайные женщины, случайные друзья. Знакомство с Ариной. В кафе подсел к девушке, разговорились — студентка биофака, аспирантка. «Арина, как здорово! А я Родионов, если поженимся, то будешь Ариной Родионовой, почти как...» Девушка смеялась. Через неделю стали жить вместе. Арине досталась от бабушки трешка на Советской улице. Потихоньку делали ремонт, меняли мебель. Устроился в такси, накопил на свою, бомбил. Детей не было. Проверялись. Нашли у нее что-то. Долго лечилась, но без толку. Очень мучилась, бедняжка. Но потом как-то отлегло. Смирилась. Разводила комнатные растения. Целая оранжерея — на подоконниках, на стойках, в висячих вдоль стен горшках. Защитила диссертацию. Предлагали работу в Германии, в какой-то лаборатории. Отказалась. Так и жили. А потом взял и ушел сам. Зачем ушел, так и не понял. Любила ведь, и жили тихо-мирно. Полгода пил, потом надоело. Еще хуже от бухла. Завязал, снова сел за руль. Подвозил мужика, тот оценил езду, позвал водилой в стройкомпанию — главного инженера возить. А тот возьми и помри через три месяца. Пошел на повышение, взяли вторым водителем к шефу, как Щука сейчас. Через два месяца личный водила переехал в Москву. По семейным обстоятельствам. Перевелся в личные к шефу, и вот, катаемся с Котом который год уже. Комнату продал, добавил, купил однушку на Академке. С Ариной общались все это время, иногда ужинали вместе. Так себе никого не нашла. А год назад переехала в Брюссель, пригласили на хорошее место. Оставила ключи: «Родионов, поливай хотя бы раз в неделю, помрут ведь. Считай, что наши дети», — и давай рыдать. Пришлось заезжать, поливать.

Были на месте за сорок минут до назначенной встречи с «человеком». Начинало темнеть. Илья взглянул на Котова и поразился перемене, произошедшей в нем за время пути. Бледный, с мокрым лбом, он сжимал челюсти и тискал бочки сумки.

— Эй, Кот, ты чего?

— Ох, мля... днище рвет... не могу терпеть... — страдальчески выговорил Котов.

— В чем проблема-то? Времени до хрена еще, сходи вон в «Ленинград», расслабься.

— По ходу надо, да, — прокряхтел Котов. — Не хватало еще перед человеком обосраться. Иди потом, докладывай шефу обстановку.

Родионов засмеялся шутке, а еще тому, что Котову тоже стало смешно, но тот с трудом пытался подавить в себе смех, отчего лицо его сделалось пунцовым и лицевые мускулы странным образом задержались.

— Всё, всё, хорош! — еле произнес он, вышел из машины с сумкой, потом опомнился: «Бля, там же рамки и просветка!», бросил на свое место сумку, накинув поверху куртку. — Звони сразу как что. — Подмигнул напарнику и побежал в сторону кинотеатра.

Как только Котов скрылся за дверями кинотеатра, Родионов достал из-под куртки сумку, ласково, как кошку, погладил ее, помял за бока, а после осторожно потянул за бегунок. Послышалось нежное жужжание расходящейся молнии. Родионов заглянул внутрь, в сумке лежал пакет. Открыл пакет. «Ну, да, деньги. Что же еще...»

И как он не мог объяснить ничего из того, что с ним случилось в жизни, так и сейчас он не мог объяснить, почему завел машину и поехал. Вырулил на Таврическую, оттуда на Суворовский, потом повернул на Советскую, но не на то ее крыло, где стоял Аринин дом, а на противоположное. Развернулся и встал в тихом месте под деревьями. Действовал скоро. Вытащил из сумки пакет, саму сумку свернул рулоном — «Какая кожа, мать твою!», — и убрал под сиденье, телефон швырнул на Котовскую куртку, схватил пакет и быстрым шагом направился к дому. У соседнего дома свернул в открытую арку, прошел по двору, свернул в другую арку и оказался во дворе Арининного дома.

В квартире искал упаковку, заодно приглядывая место для тайника. Заметил на шкафу пылящуюся коробку от ноутбука, который он подарил Арине на Новый год — «Держи! Для научных открытий и не только!», переложил в нее фиолетовые пачки, насчитав тридцать штук; подумав, достал одну и спрятал во внутренний карман ветровки. Прошел с коробкой на кухню, достал из кухонного ящика скотч, замотал коробку, стал осматривать кухню. Перебегал взглядом со шкафчиков на подоконник, с подоконника на холодильник — «не то, не то», остановился на плите, открыл духовку — «нет, не подходит» и тут вспомнил, что за пять лет жизни с Ариной ни разу не заглянул за плиту, прижатую с двух сторон кухонными шкафами — «Да!» Перегнулся через конфорочную панель, отодвинул в сторону газовый шланг и приладил коробку. Отошел в сторону, пригляделся, одобрительно кивнул и поспешил к выходу.

К своему удивлению, Родионов не чувствовал особого волнения: внутри было все так же пасмурно, ровно и грустно, и только на задворках души он ощущал легкую щекотку игрока перед крупной ставкой, радостного от того, что ему пришла очень хорошая карта, и огорченного тем, что у других игроков может быть не хуже. По пути к машине прикидывал: «Петрович будет в ярости, в порошок сотрет, если поймают, это понятно. У Кота будут проблемы, да. Но ничего, крепкий, выберется. Попинают и отпустят. Уволят, конечно. Арины для них нет, квартиры, значит, тоже. Только я. Но и меня скоро не будет». Через два дома Илья выбросил пустой пакет в мусорный контейнер, подбежал к машине и сел за руль. С момента его отъезда от «Ленинград-центра» прошло шестнадцать минут. Родионов завел машину. Наметился план: «Брошу подальше, во дворах, на обшаче доеду куда-нибудь, а там на попутках. Ищите потом иголку в сене». Зазвонил телефон — Кот. Илья принял вызов:

— Ух, бля. Чуть кишки не высрал, вот приперло. Ты там где?

— Да, блин, человек набрал минуту назад, говорит, машина сломалась, подбери. Скоро будем, жди.

— Ни хера себе поворот. Не по инструкции это... Ладно, давай, жду. — Кот с трудом скрывал накатившую тревогу.

Родионов дал отбой, встал на обочине, вынул симку из телефона и выкинул ее в окно. На лобовое упала толстая капля, потом еще две, четыре. Небо загрохотало, и вдруг полило с такой силой, что через несколько мгновений по дороге уже бежали ручьи. Илья вырулил на полосу и покатил к Суворовскому, пристроившись за «шкодой». Думал проскочить следом за ней на желтый, но передумал и встал на светофоре: «Еще гайцов не хватало». Пришла идея бросить машину в промзоне на Лиговке: мало людей и нет камер. Оттуда дойти до Московского проспекта, на автобусе доехать до гостиницы «Пулковская», а там, на попутках, в Москву, в человеческий муравейник. Откуда-то сбоку пронзительно зазвонил телефон, и этот неожиданный звонок так ошарашил Родионова, что он весь инстинктивно дернулся по направлению звука, к бардачку, а правая его нога, не отработав этого рывка, налегла на педаль газа, и последнее, о чем подумал Родионов, было: «Щука».

* * *

Дядя Давид, родной брат мамы Розы, был для Зазы как второй отец.

Семилетним мальчиком Заза лишился родного отца, авторитетного в Батуми человека, тоже Зазы, который, как рассказывал и чему верил сам Заза, погиб от воровского ножа во время разгоревшегося спора на воровской сходке, за что преступившего кровь вора раскороновали и предали жесточайшему ostracismu. На самом деле, Заза-старший, отдыхая с друзьями в загородном ресторане «Волна», усвоив к тому времени семьсот граммов чачи, исполненным вождения взглядом пялился на девушку в легком платье, сидевшую за соседним столиком в кругу четырех мужчин и двух девушек, подмигивал ей и движением головы в сторону выхода

приглашал пойти с ним. Когда смущенная девушка пожаловалась своему кавалеру на непристойные жесты пьяного хама, мужчина вскочил, подошел к Зазе-старшему и сделал ему замечание. В знак признания вины тот кивнул и приложил левую руку к груди — «прости, брат!», а правую подал для примирения. Удовлетворенный публичным извинением кавалер протянул раскрытую ладонь, но тут Заза-старший перехватил ее и что есть мочи в нее харкнул. Завязалась драка. В воздух полетели посуда, еда, стулья. Женщины, крича, разбежались. Официантки поспешили на кухню. Администратор нервно крутил диск телефона. Когда драка сошла на нет (защищавшие честь девушки в один момент ретировались), раненный в печень и легкое Заза-старший лежал за перевернутым на бок столом в луже крови и, похрипывая, выпускал дух.

Со временем до Зазы-младшего доходили детали этой истории, которые не встраивались в его представление об отце, и поэтому вытеснялись памятью, отчего его версия все более и более утверждалась в нем как единственно возможная до тех пор, пока не оформилась в монолит нерушимой правды.

Когда юноша окончил школу, дядя Давид, живший в Петербурге и все время поддерживавший сестру и племянника денежными переводами, перевез их к себе, устроил Зазу на юридический факультет, оплатил сестре риэлторские курсы, а через год купил им квартиру в своем подъезде. Давид Миронович жил с женой, не имел детей (осложнение от перенесенной в детстве свинки), занимался строительством, завел на этом поприще много хороших знакомств в комитетах Смольного, в МЧС, в Водоканале, в силовых структурах. Был даже в хороших отношениях с вице-губернатором, для которого дважды устраивал охоту на кабанов, и вообще старался быть всячески полезным нужным людям.

Со временем бизнес, начинавший надоедать Давиду, стал буксовать, и когда с «верхов» поступило предложение занять место заместителя председателя Комитета по строительству, Давид Миронович охотно согласился. Он продал бизнес знакомому армянину, часть денег положил на депозит, часть потратил на покупку тринадцати квартир, сдачей которых занималась Роза, часть вложил в ценные бумаги и как приличный восточный человек приобрел несколько килограммов золота и горстку драгоценных камней, которые хранил дома во встроенном за бельевым шкафом сейфе.

Сев в кресло зампреда Комитета, он быстро освоился, провел рекогносцировку, усвоил внутренние правила и отношения, вник в распределение потоков и занялся делом. Если бы через год с начала зампредства Давида Мироновича можно было провести честный опрос среди городских застройщиков, то на вопрос: «через кого вы оформляли пакет согласований?» каждый пятый ответил бы: «Через Давида». Владимир Петрович был в числе тех, кто ответил бы так же. Давид Миронович щедро засылал наверх, подмазывал внизу, откатывал смежным организациям и силовикам, так что его маленькая административная машина внутри большой работала слаженно и без сбоев.

Успех его деятельности объяснялся еще и тем, что Давид не был жадным поверх той нормы, которая предписывает человеку не забывать себя любимого, не разжигая при этом неутолимой жажды наживы. «Тише едешь — дальше будешь», — любил повторять он и большую часть поступавших от застройщиков денег засылал наверх и в стороны. Все были довольны, но с каждым новым обращением до Давида Мироновича, где шуткой, где намеком, доводили, что надо бы еще накинуть, что теперь все гораздо сложнее устроить, что пришел новый человек, что надзорные органы на хвосте, что поправка к закону и вообще не так, как раньше.

В перспективе (для снижения рисков и на случай потери «места» — связи и каналы все равно останутся при нем) Давид планировал открыть на имя жены консалтинговую компанию, в которой основной предоставляемой клиентам услугой был бы вовсе не консалтинг, а «помощь» в подготовке полного комплекта документов

и согласований, необходимых для начала строительства многоэтажных зданий. При нынешних же раскладах Давид, считавший Зазу своим сыном и наследником, использовал его как свое доверенное лицо в вопросах доставки документов до клиентов и денег — от клиентов.

Он назначил племяннику быть у него к 18.30. После ужина провел его в свой обширный кабинет с высоким дубовым потолком и обитыми кожей стенами, вдоль одной из которых стоял массивный книжный шкаф. Усадил напротив себя в широкое кожаное кресло и, как обычно, закрепив на невидимой оси свой большой и голый шар головы, стал неспешно посвящать Зазу в суть предстоящего дела. Лицо Давида Мироновича, одного взгляда на которое хватало, чтобы уяснить, что это уважаемый и влиятельный человек, это лицо имело одну особенность: его было интересно разглядывать, все черты его были как бы со своим характером, но потом, как только оно исчезало из поля зрения, лицо это невозможно было вспомнить. Заза слушал дядю и кивал: самое обычное дело, он легко справится. Он взял пухлую папку документов, сунул в портфель, записал телефон человека, которому следовало передать документы в обмен на деньги, поцеловал дядю и тетку и вышел.

Заза сел в свой девятилетний «чероки», завелся и поехал. С момента его переезда в Петербург он тоже не сидел сложа руки. Помогал маме Розе в ее делах с недвижимостью, помогал дяде Давиду, выполняя его поручения, но, тяготея к воровской романтике и вообще к миру хулиганов, к кому он с гордостью относил и себя, хотел заняться своим «чисто мужским делом»: планировал организовать сбыт краденого и обдумывал этот вопрос со всех сторон.

Еще учась в универе, а учился Заза хорошо и, если бы проявил небольшое усердие, то вполне бы смог вырулить на красный диплом, он завел знакомства в воровской среде через своего одноклассника, свана Беко, шесть лет тому назад перебравшегося из Батуми в Петербург. Беко был уже «в весе», то есть обладал неким авторитетом и занимался самой разной незаконной деятельностью. Заза хотел быть, как Беко, но лучше, чем Беко. Заза знал свои достоинства: он был красив, жесток, смел, хорошо обращался с ножом, имел убийной силы удар, гладко тер по понятиям, имел влияние на людей и был дисциплинирован. Большим козырем Зазы, которым не обладал Беко, были обширные, полученные от дяди, связи в силовых ведомствах города. А две еще весьма молодые и привлекательные любовницы — замначальника отдела Следственного комитета и подполковник милиции — как вишенки на торте, придавали всей этой композиции из личных достоинств и важных связей пикантную завершенность.

Заза ехал на встречу по Суворовскому проспекту следом за груженной, осевшей «газелью», проштампованной со всех сторон логотипом строительного гипермаркета, и думал о деньгах, необходимых для реализации его замысла, четкий план которого был давно им проработан до деталей и поэтому ждал скорейшего воплощения. В небе дважды бабахнуло, и так полило, что обожавший дождь Заза ощутил непривычное для себя тревожное волнение. Ливень был настолько мощным, что казался бутафорским. Будто пожарные стояли на крышах и прицельно били из брандспойтов по его машине. Это произошло мгновенно: «газель» вдруг качнулась, подпрыгнула, дернулась вправо, и в левое переднее колесо его «чероки» впечатался черный капот «БМВ». От удара Зазу отшвырнуло к двери и сильно ушибло левую половину лба о стекло. Он очнулся через пару секунд, вздрогнул, осмотрел руки, потрогал лицо, зашевелил ногами. Левое плечо горело огнем, но рука шевелилась. В голове гудело, лоб покрывала набухающая гематома. «Целый», — пришла первая мысль. «Главное, чтоб мама не узнала», — пришла вторая. Заза знал, что, узнай мама Роза об аварии, он больше не сядет за руль, а если сядет, то он — «бессердечный сын, желающий довести свою мать до могилы!»

Заза не без труда вылез из машины. Дождь из стихийного бедствия перешел в ливень, вода приятно холодила голову и плечо. Мельком оценил удар: переднее левое

ушло внутрь; вместо него дымился смятый капот «бэхи». Он подошел к «бэхе» и открыл переднюю пассажирскую дверь. Мужчина в серой ветровке лежал в какой-то странной неестественной позе. Голова его была сильно наклонена вправо и развернута кверху лицом, на котором застыли, будто удивленные чем-то, глаза. Сломанные и смещенные шейные позвонки бугрились отростками под натянутой кожей. Салон был обвешан сдувшимися подушками безопасности, словно шариками с прошлого года дня рождения. Со всех сторон подбегали люди. Заза смотрел на труп своими ничего не выражавшими глазами, пока взгляд не зацепился за выпирающий из внутреннего кармана ветровки фиолетовый прямоугольник. Он нагнулся, присмотрелся, точным движением вытащил пачку и сунул в карман джинсов. Быстро обшмонал покойника, но ничего не нашел. За спиной раздался беспокойный мужской голос:

— Ну, что там? Как?

Заза разогнулся, соорудив на лице скорбную гримасу:

— Труп... Бедный... Молодой ведь совсем, жить да жить...

— Да пипец! Как притопил со светофора на красный, прям под меня, а что я, я ему в жопу и въехал... — ответил мужик с тем же логотипом на рабочем пиджаке, что и на «газели». — Ох, бля, этого говна мне еще не хватало! — тяжело вздохнул водитель, осознав вдруг, что он прямой участник ДТП со смертельным исходом, и, судя по машине, погибший не из бедных, и его теперь затащат по допросам, скорее всего, уvoлят, возможно, лишат прав, а может, еще и посадят, если захотят.

Послышался вой сирены. Заза выбрался из толпы зевак, обступивших место аварии, ощупал на ходу карман джинсов, обошел свой «чероки», открыл дверь и сел на заднее сиденье. Достал пачку, включил телефонный фонарь, нагнулся к коврику и там осмотрел свой случайный трофей. На языке у Зазы вертелось: «Вах, мама, вах, мама, вах, мама!» — а в голове шел спокойный счет: «Так. Пятьдесят штук евро. На дело хватит. На тачку тоже хватит. Еще и на жизнь останется». Заза впал в какое-то счастливое оцепенение, но тут увидел портфель и вспомнил, почему и как он здесь оказался. Запихал деньги в карман, набрал номер человека, но абонент был вне зоны. Потом набрал дядю Давида. Объяснил ситуацию, попросил не говорить маме. Дядя вдруг сорвался и начал кричать, чтобы Заза немедленно ехал и через десять минут был у «Ленинград-центра», что «это все гнилые отмазки», что «там серьезные люди и большие деньги». Заза увидел, как подъехали полицейские и «скорая». Пока дядя Давид наращивал в трубке степень своего возмущения, Заза составлял план разговора с ментами: «Я невиновен, этот мужик сам на красный вылетел... моя машина была за "газелью"... я тоже жертва ДТП... ко мне рикошетом прилетело... можете камеры проверить, можете свидетелей опросить...».

— Дядя! — начал заводится Заза, поглаживая болезненный, в половину лба, бугор. — Я тебе повторяю, дорогой мой, я в аварию попал, сотряс мозга получил, машина без колеса... в той машине человек шею сломал, умер, совсем умер, да... менты уже на месте, сейчас будут протокол составлять, не могу уехать! Человеку звоню, он не отвечает. Зачем кричишь? Какие люди, какие деньги?! Деньги, деньги, деньги! Зачем мне про деньги говоришь, э?! При чем здесь вообще деньги?!..

Заза, который прежде не смел не то что кричать на дядю, но даже не повышал голоса и никогда не перечил ему, перешел на крик, а когда осознал это, отпрянул от телефона, как от раскаленного утюга, дал отбой и выключил аппарат. Еще раз ощупал карман, вышел из машины и направился к двум полицейским, внимавшим врачу «скорой помощи». Заза шел, похрамывая, потирая ушибленное плечо, нацепив маску страдающего от боли человека, но серые его глаза были радостны и лучились от счастья, как если бы он не ковылял, а легко летел к новой жизни. К новой прекрасной жизни.

Емельян Марков

Укромная жизнь

Рассказы

Госпожа

1

Этот овраг нас и раньше выручал.

В отрочестве мы учились в нем курить и философствовать. Тогда-то выявилось противоречие: я не мог курить и одновременно философствовать, становился мнительным придурком, Кеша не мог философствовать и не курить.

Потом мы приглашали в овраг пугливых девушек. Пугливых — потому что девушки сами мало чего боятся, бояться они страха. Мы были испуганы. Они пугались нашего испуга перед ними же. Мы все же у них, промокших под дождем, вымаливали, как бы шутливо, слова любви. Чем сразу хвалились друг перед другом. Обсохнув, девушки не выдерживали, бросали нас в овраге. Их он выпускал запросто, нас — нет. Мы соскальзывали со скрюченными пальцами по рыжей глине склона.

Здесь мы обычно встречали осень, здесь она была везде. Мы сидели на самом ее светлом дне, углядывали осень друг в друге, точнее, я углядывал осень в Кеше, Кеша углядывал ее в себе, как Будда: в моих глазах лениво замечал отражение своей осени, как в погожей луже.

Сначала мы пошли в бизнес. У нас появился ларек. Рэкетеры Кешу отделали и велели весь товар из ларька отвезти под мост, где у них было логово. Мы загрузили наш «запорожец», свезли товар не под мост, а ко мне на квартиру. Сам «запорожец» с мнительным визгливым хохотом пустили под откос оврага.

«Запорожец» был такой дрянной — даже не взорвался. Что мы сочли дурным знаком и от бизнеса отреклись достаточно торжественно.

Долго мы хоронились в пока свободной квартире моего деда, отдохавшего в хибаре на садовом участке. Мы потребляли товар. Пили из горла разные сорта пива, хрумкали сухариками, чипсами, глотали конфеты, рулеты, жевали жвачки за обе щеки. Из соков в ванне сделали брагу: я кинул вальняжным жестом пачку дрожжей.

Всякому счастью наступает конец. Товар иссяк, брагу мы постепенно через два пальца перелили из ванны в раковину и унитаз. Из нас она выливалась черной. Неужели

Емельян Марков — писатель, литературовед, публицист. В 1998 г. закончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Москва» и др. Автор книг «Волки купаются в Волге», «Третий ход», «Маска», романа «Мирон».

Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

мы были так черны внутри? Или в нас уже шли тектонические процессы и брага превращалась в наших утробах в нефть?

В довершение Кеша забыл обо всем, даже о двух пальцах. Стоит перед унитазом на четвереньках и не помнит, что делать. Я ему говорю: «Два пальца, два пальца засунь». Он сложил два пальца, покорно засунул их в унитаз, смотрит на меня вопросительно: «Что, дескать, дальше? Я засунул, как ты сказал, а дальше что мне делать?».

Очень вовремя пришел мой дед и вышвырнул нас из квартиры. Вовремя еще и потому, что как мы ушли, явились те самые рэкетиры, заждавшиеся нас под мостом. Дед их тоже — вышвырнул.

У меня в «двушке» мама с отчимом и сестра сводная, учится в инязе, все надежды на нее. У Кеша подавно: семеро по лавкам, я подразумеваю соседей по коммуналке, еще мама, папа, старший брат на выданье.

Думаем — куда податься? Мы любим Мартти Ларни и Ивлина Во, мир не принимает нас. Не идти же действительно в монастырь, жалко будет монастырь. В дворники, что ли? Ну, давай в дворники. А там поглядим: вдруг какие-нибудь немислимые дамы появятся, которые возьмут нас на поруки. Овраг ничему нас не научил, мы были неисправимы.

Пошли в РЭУ. Был декабрь, самая снеговая страда. В РЭУ коридор и двери. Пустынно. Заглянули в случайную. Тут девушка в меру приветливая. Мы говорим: в дворники. В дворники? На ловца и зверь бежит. Оглядываемся, за нами уже стоит конвоем тетя. И мы — по всему судя, нужны этой тете. Она на нас смотрит твердо:

— В дворники?

— Ну дык, — говорит Кеша и улыбается располагающе, у него улыбка мерзкая, но чарующая.

Тетя сразу решает:

— Вас-то, гаврики, мне и надо. Вас Бог послал...

— Разве и Бог? — зарумянился Кеша.

Тетя уже шла по коридору обратно к выходу. Мы должны были идти за ней.

Она привела на нашу территорию.

— Вот, как раз два свободных участка рядом. Ваш предшественник два участка держал. Говорили ему: сорвешься! Он и в ус не дул. Усы у него мировые, на семерых росли — одному достались. Потом — дунул. Так дунул, что месяц его уже никто не видел. Все приговаривал: «Где Вася, там и шутки». А где Вася, я вас спрашиваю? Ус моржовый. Вы, кстати, не того?

— Не-е, — успокоительно протянул Кеша и еще успокоительней смежил длинные ресницы воспаленных век.

Когда она нам озвучила нашу зарплату, мы ей заплодировали. Тем более что за время отсутствия Васи там, где шутки, снегу накопилось столько, что его подходило разве что взорвать. У нас с Кешей впоследствии возникали всякие вздорные мечты. Скажем, утюжить снег такими специальными машинами без радиатора, снег испаряется, дворовые окна покрываются красивыми витиеватыми узорами. Но по правде снег можно растопить только собственным потом.

— Что ж, питаться будем, как обычно, Святым Духом, — заключил Кеша. — Жилье-то, мать, полагается?

После оглашения зарплат Кеша оставил церемонность, сообразил, что с теткой можно по-простому, чтобы она нас за выпускников ШД не приняла.

— Какое жилье, вы что, ребята?

— Дворницкая.

— А, дворницкая. Вообще-то есть. Даже с удобствами. Даже с роялем. Там был

кружок пения. Не то чтобы дворницкая. Лучше. Но сейчас там вьетнамцы с рынка засели. Если сможете выкурить вьетнамцев, милости просим.

— Откуда вьетнамцы?

— Я им сдала комнату на месяц, а они полгода живут. И ключи не отдают, а дубликаты Вася заиграл.

— Может, дверь сломать?

— Можно. Но хлопотно. Дверь — как в сейфе. Они мелкие, через решетку подвального окна пролезают, когда на рынок идут, через дверь — меня боятся. Невероятно, но и баулы свои огромные продавают. Когда они платили, я ничего. Но они давно не платят, месяца уж три. Да и не положено. Получается, вы законные хозяева.

— Документик, — застенчиво попросил Кеша.

— Идем. Все оформим. Паспорта с собой? Дам вам ордерок.

Оформились. Залезли в подвал. Там встретили двухголовое отражение в зеркале. Это были мы с Кешей: зеркало висело снаружи на железной двери предложенной нам комнаты. После потребления всего ассортимента нашего ларька мы не гляделись в зеркало: брал страх, причесывались, глядя друг на друга, пятерней. Потребляя, мы, может, и смотрелись, но все равно ничего там не видели.

Теперь — увидели. Но кто из нас кто — не различили. Потом выяснилось, что вьетнамцы вешают зеркало снаружи на дверь, чтобы отпугнуть дракона: прилетит он, увидит себя, подумает, что уже есть тут свойский дракон, и улетит, одуроченный.

Мы стали лупасить кулаками в дверь, горланить. Глухо. Выбрались наружу, обогнули дом, подошли к подвальному окну. Оттуда дым, чад. Селедку жарят.

— Именем Хо Ши Мина откройте! — крикнул я.

— Пустое, — сказал Кеша. — Надо приступом брать.

Пошли на приступ. Кеша взялся за один прут решетки, я за другой. Раздвинули на славу, слон пролезет. Из окна крик, гам, детский плач, женские стоны. Мы этих искушений не испугались. Как Данте с Вергилием (чур, я Данте), мы спустились в преисподнюю.

Древний римлянин — конечно, Кеша. Человек с послевкусием, кремень крошится под сандалией, желчь дальнего похода, кентурион, короткий меч, Рубикон в глазах. А я уже откуда-нибудь из-за угла, из раннего средневековья. Венецианское кружевное болото, предчувствие второго рождения Венеры, тамарисковая заноза то ли в сердце, то ли в пятке, карминовый капюшон, холодный пот в мраморной ложбинке.

Мы впали в подвал, как помпейские кумиры. Вьетнамцы разглядывали нас в ужасе, как пришельцев из других миров. В клубах галактического селедочного дыма мы приветственно протянули могучие пятерни. Но вьетнамцы нам руки не подали.

Я погладил по черной, словно лаковой, голове подвернувшегося ребенка. Мать подхватила его, будто я кулаком ему по голове дал, и странно, если не сказать страшно, улынулась.

— Здоровеньки булы, — сказал Кеша.

Вьетнамцы сокрушенно не отвечали.

— Физкультпривет, — перешел на иной язык Кеша. — Нам очень неприятно, точнее, приятно, познакомиться, и все такое. Но — это наша комната, — объяснил он.

— Кто вы? — неприязненно спросил вьетнамец, отец семейства.

— Новые дворники.

Вьетнамец начал качать права: туда-сюда, хозяйка пустила. Мы ему в ответ бумагу. Он ее не берет, косится на нее пугливо, говорит, дескать мы ошиблись, дескать не может быть: ему разрешили, а нам, наверное, в другой подвал. Но Кеша поднял указательный палец. Вьетнамец потерянно замолк.

— Это не вам разрешили, — уточнил Кеша, ссылаясь на свой палец, — это — нам разрешили. Вот такая вот вечная молодость! — И мерзко рассмеялся, изверг.

— Молодость?.. — переспросил горемычный папаша.

— Ну дык, — подтвердил Кеша рассеянно, уже как бы забывая о нем, уже окидывая барственным взглядом жилплощадь.

Вьетнамец уронил голову... Я мрачно смотрел на черный рояль, покрытый цветастой клеенкой. На клеенке стояли чашки, плошки, кастрюля с компотом, сковородки с рисом, лежала разделочная доска. Вьетнамцы использовали рояль как кухонный стол.

— Настроен? — строго спросил я.

— Не знаю, — хмуро ответил вьетнамец.

— Да ладно. Мальчик, небось, каждый день балуется. А между прочим, рояль нам тоже вместе с комнатой обещали. Надо проверить...

— Проверяйте, — буркнул бедолага.

— Нет, — вступилась за него жена, — мы сыну не разрешаем. Нам техник как сказала не открывать, мы не открываем.

— Мы, русские, обязательно бы открыли, — подметил я и с трудом поднял крышку. — А вы, в отличие от нас, похоже, действительно знаете, что такое табу. Кто знает табу, тот знает счастье, а кто не знает табу, тот...

Я заиграл первую часть «Лунной сонаты» Бетховена, единственное, что помнил, кроме «Собачьего вальса» и «Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, пепси-колу». Сколько я в этом соображал, инструмент оказался настроенным почти идеально.

— Молодые люди, могли бы мы остаться хотя бы дня на два-три, пока не найдем другое жилье? — попросила вьетнамка таким приятным голосом, что совсем не помешала моей «Лунной сонате», к тому же дальше я забыл.

Мы с Кешей помолчали, потом переглянулись: общались мы, как положено пришельцам, — телепатически. «Вьетнамка с красивым голосом — это неплохо», — внушал я. «Вьетнамец с ребенком уже хуже...» — отзывался Кеша.

— Лады! — произнесли мы в один голос.

— Почему вы так хорошо по-русски говорите? — спросил я.

— В школе проходили, — ответила мама.

— Опять разница! — подметил я: — Мы, русские, в принципе, чисто гипотетически, могли бы говорить на любом языке мира. Но кроме того, который изучали в школе.

— Почему?

— Загадочная русская душа.

Вьетнамка улыбнулась, улыбка ее была такой же приятной, как голос.

Памятью мою влюбчивость, Кеша погрозил взглядом.

2

Поиски вьетнамцами жилья затянулись. Миновала неделя. Не сказать, чтобы они особенно искали, рвали когти и стесывали копыта. Скорее — ждали у моря погоды, как пристало истым буддистам, — когда жилье само подвалит. А мы с Кешей, по вероисповеданию пофигисты невесть какого дня, тоже не делали резких движений.

Сообразили мы себе эдакие колыбели из каких-то саней, найденных по подвалам. Наши сани едут сами в страну сновидений, где тишь и благодать, везет их олень по нашему хотению в страну Оленью, где сосны рвутся в небо, где быть живет и небыль, далеко ли до Вьетнама, нашего конечного пункта, последнего пристанища? А с платформы говорят смущенно, как бы извиняясь за еще одно совместное пробуждение: доброе утро, ребята... И — таким волшебным голосом.

Глаза у нее были, как и голос, вся она была как голос, как звук струны. Не знаю, кто она там у них: северянка, кто. Но она была, хоть невысокая, но вся минорно

удлиненная, особенно — спина и стройная шея. И шла она по подвалу, словно подходила к морю.

А извиняться было за что! Вечером, когда мы прилежно опорожняли вечерний пузырек и смеялись над прекрасным заснеженным прошедшим днем, — еще ничего. Нам было по тамтаму, что мы им мешаем укладывать ребенка. Не совсем, конечно, по тамтаму. Я несколько раз ему рассказывал наши европейские сказки. Слушали все, притворялись, что не слушают, особенно Кеша делал вид, на самом деле, слушали. Взрослому сказка на ночь необходимей, чем ребенку.

И она — слушала, сумеречно опустив свой узкий подбородок, томно испрямляя шею с глубокой тыльной ложбинкой. Все лежали по подвальному навзничь, она сидела. И я сидел над ее ребенком, что-то пытался выразить, она слушала... Или нет? Или прислушивалась к родственным ей, родственным женщине ночным звукам?

Меня заносило: я многословно, далеко отходя от подлинника, рассказывал о любви Золушки и Принца, Дюймовочки и Эльфа. Кеша корчился в своих дрогах уже от эстетических мучений. И когда я, выговорившись, отваливался в свои розвальни, Кеша сознавался в темноте: «Это ведь ужасно».

Но ужасно было вовсе не это. С утра вьетнамцы отыгрывались. На что мы, дворники, ранние пташки, вьетнамцы вставали буквально ни свет ни заря. Когда снег — хорошо, одновременно. Но когда не было снега, когда мы почивали долгожданным внеснеговым сном младенцев, тогда возня вьетнамцев доводила нас до иступления и галлюцинаций.

Как-то они возились так впотьмах, потопали на рынок, я почертыхался-почертыхался, нокаутировал подушку и сам в нокаут повалился. Но когда я опять проснулся и посмотрел на Кешу, я оторопел. Он лежал навзничь, отверстые синие очи его не мигали.

— Помер! — воскликнул я.

Кеша перевел на меня взор.

— Всю ночь не спал. Чуть было забылся сном, так эти вражины начали шебуршать, ронять свертки, спотыкаться о мои щиколотки. И, ясный перец, сон как рукой сняло, — объяснил он.

— Да как о них не споткнуться? Ты свою щиколотки видел? — спросил я.

— Ладно, у тебя у самого от этих снежных вариаций руки стали, как у меня ноги, — ответил Кеша.

За окном шел белый пушистый снег.

— Что же ты лежишь? — взбеленился я, — ведь снег валом!

— А... — отмахнулся ноздрей Кеша, — поздняя метаться. Пушай навалит хорошенько, потом все сразу уберем.

Навалило неплохо. Техник-смотритель орала на нас в три горла. В подвал мы вернулись ночью, сорвали с рук изъеденные солью рукавицы, свалили заснеженные дворничьи доспехи в угол, рухнули на лежанки. Мы были огромные, распаренные, одновременно промерзшие, уснули мы, казалось, лет на пятьсот, до тех пор, когда опять понадобятся такие, как мы, богатыри, потому что в наши дни такие, как мы, богатыри, на рожна кому нужны.

Но не тут-то было. Через какие-нибудь два с половиной часа — опять шорох баулов, опять сборы. И опять бессонница, переутомление и кошмар, когда тошнит от беспричинного ужаса. Вас когда-нибудь тошнило от ужаса? У вас когда-нибудь было отравление ужасом? Если было, то вы меня понимаете, и вам давно пора в психдом. Вообще, про табу я чепуху молот, чтобы понравится вьетнамке. Счастье — это всегда сознать себя в преддверье приемного покоя Кащенко или (для иностранцев) Бедлама. Там тебе счастье и красота. А если ты считаешь на свою вменяемость и радушную улыбку, то тут тебе ничем не помочь.

Мы уговорились называть вьетнамку Госпожой, ее мужа Господином, ребенка просто Малышом, чтоб не перевирать их имена.

Когда вскакивал Господин или ворочался Малыш, полбеда. Но когда поднималась Госпожа... Меня распирали рыдания.

Она поднималась неслышно. Я никогда точно не знал: встала она или еще лежит, и это было самое невыносимое. Когда она спала, мне хотелось подойти, поднять ее на руки, носить по комнате до рассвета спящую. Это было бы для меня намного легче, я бы не покусился даже дыханием. Но разве мужу такое втолкуешь? Когда она вставала, наступало относительное облегчение. Но, воля ваша, облегчение весьма относительное. Потому что я держался за свой ночной кошмар, я лелеял его. А когда она выходила с мужем и сыном за дверь, я мечтал догнать ее и укусить от досады и печали. Вот такой вот бред. А днем-то работать. Зима снежная, на славу.

У вьетнамцев считается, что самое хорошее происходит в те мгновения, когда солнце, поднимаясь, пересекает линию горизонта. Чуть солнце оторвалось от горизонта — уже не то. У них невеста в дом жениха приходит на самом рассвете.

У нас с Кешей все наоборот. Когда солнце пересекает линию горизонта, у нас лопаты из рук вываливаются, стакан в пальцах дрожит, червонные мгновения разят нас наповал. К тому же Госпожа не приходила, а уходила на рассвете.

Мой желтый ангел, иссиня-черная печаль, линия моей жизни.

3

В нашем дворе работал еще Пахомыч, жесткий корявый мужик с чистой слезой на нёбе.

Работал художественно: с ленцой, запоями. Но он убирал в правильных местах. И его не отчитывали, даже ставили в пример. Мы с Кешей из сил выбивались, пропадая на территории. Пахомыч с чистой слезой на нёбе пил где-нибудь у себя. Он был прозорливец, мы — нет. Техник-смотритель Степановна сваливалась в наш двор всегда на единственное вычищенное место Пахомыча, чтобы увидеть единственное неубранное место наших участков, моего или Кешино. «Вычту из зарплаты, — ругалась она. — Вон у Пахомыча всегда убрано, комар носа не подточит. А у вас? Вычту из зарплаты!» И вычитала. Хотя, казалось бы, из чего? Но мы не спорили. Нет, насчет себя спорили, гомонили, как галки, — насчет Пахомыча не спорили. Его источенный капелью сталактитовый нос комар точно не подточит.

Наши ежевечерние праздники, как было упомянуто, тяготили вьетнамцев. Виду они особо не показывали. Но ведь я еще заставлял Кешу петь... Во что бы это ни стало, я хотел обнаружить в нем талант. Должен же быть в этом человеке талант! Он, гад, только прячет его, зарывает, собака.

Я подсаживался к роялю, вскидывал крышку, чувственно касался роскошных мерцающих клавиш. Кеша сомнамбулически приближался к роялю. Его тянуло на это место. Становился в филармоническую позу баритона, начинал переминаться с ноги на ногу. «Пой!» — приказывал я. Кеша подтягивал колено одной ноги к ляжке другой, поджимал тяжелые, как чугунные утюги, запястья к груди, сучил пальцами, как общипанными и ошпаренными крылышками, и издавал мерзкий, пронзительный звук, подобно раздавленной вороне.

Я буквально валился от хохота.

— Нет, нет! — изнемогал я. — Не могу! Но знаешь, и в этом омерзительном писке проглядывает твой огромный божественный голос.

Со сказками я быстро завязал, потому что Кеша оказался как всегда прав: это было действительно ужасно. Вместо сказок мы — храпели. Что хохлился папаша, нам было до фонаря, а вот что огорчалась Госпожа, меня приводило в необыкновенный

восторг. Одновременно это разрывало мне сердце. Если б они нам делали замечания, было бы полбеда. Но они зависели от нас, мы всегда могли их выгнать в ночь, и они терпели, ребенок их тревожно ворочался на раскладушке.

Мы решили повечерничать с Пахомычем.

Тут возникала другая проблема — Пахомычу требовалось наливать. Надо отдать ему должное, он не всегда пользовался своим правом. Ложился на лежанку спиной и лещами в носках к нам, предоставляя нам полный карт-бланш. Для него наши символические ежевечерние пузырьки были мертвому припарка. А если все-таки сидел с нами, то особого веселья не приносил. Ругал привычно своего сына.

— М-к, на! Школу бросил, на-ен... Деньги у матери берет, на... Пьет, ен. В кого он такой, на...

Слеза на небе высыхала от негодования и кипела в глазах.

— Он бы с тебя, Пахомыч, пример брал, — требовал я.

— Не хочет! — сглатывал свежую слезу с неба Пахомыч, — не хочет, ен, на!

У Пахомыча в дворницкой была лестница, ведущая куда-то в недра. Мрак подступал к первым ступеням, как холодная вода. Детского любопытства не возникало, наоборот, водянистый мрак угнетал.

— Куда ведет эта лестница, Пахомыч? — спросил я как-то с тяжелым чувством.

— Угадай, бл! В подвал, бл, на! — захрустел злорадно Пахомыч. — Куда ведет!.. В подвал, на!

— Но мы ведь уже в подвале.

— Разве это подвал? Это еще не подвал, командир, подвал ниже, — объяснил Пахомыч.

Кеша вздумал перейти жить к Пахомычу.

— Тебе с ним тоскливо станет, — пробовал остановить я его.

— А мне везде тоскливо, со всеми скучно, — доверительно признался Кеша. — Думаешь, с тобой не скучно? Тоска! Только перемена мест и людей слегка развлекают.

Он гадостно зевнул и ушел жить к Пахомычу.

С Пахомычем Кеша сдружился. Пахомыч стал его наставником. Кеша перенимал у него трудовой, жизненный горький опыт.

4

Но когда к вьетнамцам пришел в гости брат Госпожи, когда уже у них случился вечерний праздник, я побежал за Кешей.

Он сопротивлялся, спрашивал: «А оно мне надо»? Но потом, несмотря на свою тоску и непрестанную скуку, не пожалел.

Братец Госпожи (мы его прозвали для простоты Братцем) учился в Литературном институте на переводе. Переводил на вьетнамский Фёдора Тютчева. И устроил он нам показательный поэтический вечер. Восторженно читал «Silentium». Вы помните:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?..

Ах мы остолопы! Это ж просто вьетнамский язык. Нас уничтожило прежде всего то, насколько перевод короче оригинала. Уин, пуин, пон, по, аэ... Что-то такое и — все. Silentium. Похоже, братец решил последовать совету любимого поэта и свел текст до минимума. Или язык у них такой лаконичный. Но нам хватило.

Мы с Кешей на своих табуретках перегнулись пополам. Это было невыносимо. Мы проникновенно смотрели друг другу в глаза, у нас текли слезы, за эти слезы мы любили друг друга еще больше.

А Братец не унимался. Стал читать «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...».

— Что с вами, ребята? — участливо спросила Госпожа.

— Съели что-то не то. Кефирчик, должно быть, — прохрипели мы, — не све...

— Но вы оба дрожите. У вас температура?

— Да колбасит слегка, — выпрямился зардевшийся, как девушка, Кеша. Но его сразу опять скрутило.

Хохот разрывал нас изнутри. У меня наступила судорога между ребер, я положительно не мог дышать. У Кеши тряслись руки. От смеха можно умереть. Я никогда так долго не сдерживал бешенный хохот. Чтоб ему, этому вьетнамскому парню, пусто было. К тому же для них, буддистов, это лучшее пожелание.

Мы впервые выпили с нашими вьетнамцами. До того, несмотря на мои эротические сказки, мы существовали все-таки в параллельных мирах, разброс культур, все такое.

Но когда Кеша запел...

Сегодня он опять, сам того не сознавая, встал к роялю. Я тут же подоспел, вскинул крышку, стал брать тремя неверными пальцами трезвучия.

— Давай, ваше мукачество, спой. Хотя бы детскую песенку. «Вот и зима, — подсказал я, — снова пришла...»

Я отвлекся на Госпожу и замечтался. Иссиня-черные волосы ее были расчесаны на прямой пробор и слабо забраны в пучок. Я не мог понять, весела она, грустна, но или весела или грустна — точно.

Внезапно Кеша запел.

Ты посмотри, милый друг,
Как всё белеет вокруг!
Всё занесло, всё замело...

Когда Кеша запел, даже вьетнамцы обратили на него внимание. И, как это бывает с чудом, — оно сначала крайне объединяет, потом вдруг сразу разобщает.

Вечер оказался прощальным. Вьетнамцы на следующий день съехали.

Я помогал выносить вещи к машине. Когда я остался один, Госпожа вернулась. Она забыла одеяло на подоконнике. Подкладывали, чтобы не дуло.

Я встал. Она остановилась передо мной.

— Прощай, Госпожа моя. Любовь моя, — сказал я.

Она соединила по их обычаю ладони у груди, поклонилась. Ушла.

Солнце склонилось в три погибели, заглянуло ко мне в подвал. Все и вся стало нежно алым. Я сел за рояль, поднял крышку, поставил найденные мной во дворе рваные ноты Шопена. Но — только лег щекой на клавиатуру. Раздался нежный ладовый звук. Я лежал, звук не смолкал и наполнял меня. Потом стал иссякать. Надо Кешу от Пахомыча обратно позвать, на!

Зухра

Ветер и дождь. Идеально, если ударит гром. Гром привлекает внимание к небу.

Сафьянов сторонился людей даже в одиночестве. В одиночестве он сторонился их даже больше. Наблюдать подолгу за ними решался только в такую погоду. Когда они сами прятались от него под зонты или бежали, промокая, он стоял в шаге от окна, смотрел вверх подоконника и думал:

«Ненависть — это осознанная необходимость, обратная сторона любви, обратная сторона золотой медали, с которой я закончил школу. Все ведь от безразличия. Не жажда знаний заставила меня закончить школу с золотой медалью, а безразличие. Плохая успеваемость, грязная школьная форма, скомканный пионерский галстук и неудовлетворительное поведение, — это, скорее всего, от нежности. Только нежность не знает безразличия. Что самое грустное, наибольшую безразличие у меня вызвала золотая медаль. В институт я еще инерционно поступил, но блаженный дух студенчества, этот вдохновенный задор, — с первых дней вызывал во мне безысходную дурноту, и я держался на лекциях за стул, чтобы не сорваться и не выбежать прочь из аудитории. А когда выбегал, действительно, из института после занятий, мелодия Гаудеамуса, прославленного студенческого гимна, просто преследовала меня, наступала мне на пятки».

В институтскую бытность сокурсники выпивали весело, беззаботно и безобразно. Юра тогда подумал: «Вдруг здесь спасение от безразличия? Переступить безразличие это — переступить страх вызывать безразличие. А пьяные этого явно не боятся».

Выпили у Сафьянова дома с приятелем — вальяжным Аркашей. Сначала мир преобразился, тошнота житейской сутолоки отошла на второй план.

— Что это за чудо? — изумленно разглядывая стограммовую стопку, спросил Юра.

— Это портвейн, — любезно и отчасти фатовато объяснил Аркаша, — «Агдам», если ты не против.

— «Агдам»? — переспросил Юра.

— «Агдам»... — церемонно кивнул Аркаша. Его светло-карие глаза азартно мерцали. Потом он вдруг засмеялся, привстал и через стол ударил Юру в плечо поощрительно.

Юра смотрел восторженно, как в окно на салют (это потом он будет смотреть уже не на само окно, как — на людей, то есть с осуждением).

— Надо позвать Пономарёву и Салазкину, — дельно предложил Аркаша.

— Да, но у Пономарёвой волосатые ноги, — затруднился Юра.

— Ну и что? — резонно возразил Аркаша. — У меня тоже волосатые.

После второй стопки Юра не усидел, выбежал взволнованно на кухню. Здесь на столе ожидали еще две бутылки портвейна: «33-го» и «777-го». На шкафу Юра, словно впервые, заметил пустой стеклянный кувшин. Юра снял его, махом откупорил две бутылки и слил в кувшин воедино. С тяжелым кувшином он вернулся в комнату.

— Посидим, как паладины, — весело предложил он.

— Ты что натворил? — спросил его тихо Аркаша, пригубив от содержимого кувшина.

— Смешал.

— «Три топора» с «33-м»?

— Да. А какая разница?

— Мне казалось, ты уже большой мальчик и должен знать, что если «33-й» портвейн — это небо, то «Три семёрки» — это земля, — с ласковой яростью объяснил Аркаша.

— А что такое тогда «Агдам»? — защищаясь, улыбнулся Юра.

— Ты же сам сказал, — сверкнул глазами Аркаша, — чудо.

Но делать было нечего, пришлось пить Юрину мешанину.

После третьей стопки Юра начал превращаться в чудовище, стремительно и неуклонно. Подплыли, как уточки к берегу, Пономарёва с Салазкиной. Юра ползал на четвереньках и хватал Пономарёву за волосатые ноги. Аркаша увел Салазкин в другую комнату, чтобы она не видела этого безобразия.

Больше Юра не пил, лишь наслаждался запахами. Раз Аркаша пришел в институт с очередного перепою. Юра прислушался к нему и сказал блаженно:

— Какой от тебя исходит чарующий запах!

— «Изабелла», — объяснил интимно Аркаша.

Закончил институт Сафьянов отнюдь не с красным дипломом, сдал государственные экзамены посредственно. Зато после защиты его буквально выносили на руках. Он изобрел удивительную скороварку. Содержимое закипало, когда уже огонь под емкостью был потушен. «Любимой моей сказкой в детстве, — оправдывался Юра на чествовании, — был “Горшочек каши”. Мне казалось, что это и есть земной рай, когда все улицы переполнены сладкой кашей!»

Его качали и подбрасывали верные дружеские руки. На доске в аудитории было начертано мелом: «Сафьянов, молодец!» Но взлетающий Сафьянов смотрел не в сторону доски, а на дверь, в которую, мерцающая и напояженная, уходила сокурсница Виолетта, уходила со своими пажами прочь вершить отдельный праздник.

После института Сафьянов устроился на завод инженером, тихо устроился, пришел, как тень. К нему так и отнеслись — как к тени. К теням тогда относились доброжелательно, гостеприимно отворяли им двери.

На заводе было весело. Но Юра по-прежнему не соответствовал среде. Он внедрял новые проекты, готов был с жаром спорить, махать после драки кулаками, выполнять и перевыполнять план пятилетки, честно, от всего сердца. Юра сам не ожидал, что пропущенное, казалось бы, мимо ушей в институте так вдруг осмысленно поднимется в нем. То, что в институте представлялось нелепой случайностью, мутным стечением обстоятельств, обернулось теперь истинным призванием.

Но — пятилетки отменили. Пошла волна сокращений, и Юру сократили. Он оказался не ко двору, потому что не ко времени. «Вот если б ты пришел раньше, — сетовали бывалые коллеги, — годков эдак скажем на десять, на пятнадцать! Тогда бы ты развернулся. Вот тогда бы да. Не вовремя родился, припозднился ты...» — «Да, да! — подхватывал Юра. — Я и замечаю, что люди старшего поколения мне ближе, понятней, чем ровесники». Люди старшего поколения в ответ прятали глаза, делали неприступные лица, даже слегка, эдак в сторону, диву давались. В тайниках души они так презирали себя, что Юрино восхищение ими вызывало форменное отвращение. Они уже не хотели, как раньше, помнить, что, по словам Заратустры, отвращение к себе сродни рождению человеком звезды.

...Морозные походы на биржу труда за копейками. Укромные походы за укромными копейками. Укромная жизнь. Укромная жизнь еще прекрасней. Превращаешься в младенца, сам себя баюкаешь перед сном.

2

Ветер и дождь. Юра долго искал идеал. Она должна прийти вот именно в такое ненастье. Он ее сразу, беспомощную, обогреет, вытрет ей волосы. С холеными девушками он не находил общего языка, рядом с ними сам чувствовал себя продрогшим и в воду опущенным. И конечно, с идеалом подразумевается взаимное уважение, чтобы не упиралось все в формальную ревность.

Как случилось с девушкой Виолеттой, которая на первом курсе института соблазнила Сафьянова своими слезами, матом и белыми зубами.

В самом начале обучения на тесном квартирном сабантуе она стала вдруг рыдать, что Юра ее не любит, к тому же ругать его за это самым лапидарным и доходчивым матом. Юра не то что ее не любил, он пока не знал ее имени. Поэтому так растерялся, что не заметил, как очутился в ее, похожих на глоток горячей сладкой газировки, объятиях. Через два дня он узнал, что она — Виолетта, два дня не решался спросить.

Виолетта прожила у него не два, а три дня. Несколько раз в нежном азарте она ударила Юру по голове массажной щеткой. Потом изменила ему. Юра никак не мог сообразить: ревновать Виолетту или нет. Тем более что в Виолетте ему всерьез понравилось только имя. Впрочем, Виолетта сама облегчила задачу. После измены она к Юре, как он ни умолял, не вернулась, чем спасла его честь.

Некоторое время Юра томился и бормотал в тесной темноте: «Виолетта, Виолетта!» В одиночестве ночная темнота становится тесной, до знакомства с Виолеттой Юра не знал, что такое одиночество. Но и в те два дня, когда еще не знал ее по имени, Юра быстро понял, что Виолетта, к сожалению, не идеал.

Юра устроился кладовщиком на книжный склад. Пыль, книжная пыль. Главное ее не вдыхать. А как не вдыхать? Гигантские полки, на вторую уже забираешься по лестнице. Летом пыль, зимой — пыль и мороз, как на другой планете, скажем, на Луне, там, говорят, много пыли. О! Учебник латыни вывалился из лопнувшей пачки, надо разучить латынь.

Но зачем Юре латынь? Если он — замолчал. Разве что — как именно мертвый язык. Молчаливому человеку легче и радостнее думать на мертвом языке.

Первые полгода на складе Сафьянов болел хроническим бронхитом. Бронхи спирало так, что он почти не мог говорить. Если к нему обращались, в ответ начинал кашлять. Потом перестал отвечать на вопросы. Через полгода дыхательная система адаптировалась, только молчание — стало привычкой.

Вызвали Юру что-то подписать в отдел кадров. Тут женщина. Так и так. Тамарой зовут. А что вы делаете вечером? Не удивилась. Встретились.

— Почему ты по ночам произносишь имя Виолетта? — спрашивала Тома.

— Лет двадцать назад я произносил это имя наяву, как заклятие, как призыв к божеству. Мне просто имя это нравится.

— Только это имя? — заволновалась Тома. — Но оно не для тебя, оно из другой, чужой жизни.

— Еще мне нравится имя Зухра.

— Хорошо, — согласилась Тома. — Женщина для мужчины меняет обычно фамилию, я согласна для тебя поменять и имя. Мое имя мне разонравилось, когда я тебя полюбила. Зови меня Зухра.

— Хорошо, какие проблемы, — ответил Юра, — будь Зухрой.

Ему было все равно, он почти никогда не обращался к Тамаре по имени. Если ей хочется зваться Зухрой, божественной бедуинской Венерой, пусть, не жалко.

3

Прибежала Тома с работы и объявила, что в Пушкинском музее закрывается скоро выставка Диего Веласкеса. И — «Мы просто обязаны пойти!» Юра поднял было руку, чтобы отмахнуться. Тома руку поймала, словно он хотел ее ударить.

Наутро пошли. Тома стояла перед каждой картиной открыто, словно подставляя лицо для поцелуя. Юра же ходил среди шедевров мастера понуро и косился на них затравленно.

Обнаружилось, что эти старинные блистательные дамы в траурном гипюре и кипенном батисте, эти карлики и актеры — это был все он, Сафьянов. И знаменитый сумеречный завтрак — был его чаемый завтрак. Юра отобедал в жизни и поужинал сносно, но никогда так вот, в охотку, по-своему, не позавтракал, — когда сегодняшнее утро залог вчерашнего вечера.

Но разница в том, что — они, эти донны, инфанты, кабальеры, шуты и карлики, — то нежаты в безжалостной испанской роскоши, то на страстном суровом вдохе бытуют в йодистом испанском уюте. А он — на суровом йодистом охе нежится в ежовых рукавицах русского быта.

Степенно шли к метро по Волхонке. Говорили, разумеется, о Веласкесе, о писанных им глазах.

— Сейчас такая глубина и смысл только в глазах аборигенов Австралии! — определила зачарованно Тома.

— Бросаем все и в Австралию к аборигенам, — желчно пошутил Юра.

Он — задумался. Ярко-голубой зимний московский вечер забирал, сладко было в его утробе.

Однажды позвонила Виолетта. Юра снял трубку, долго молчал, ее слушая.

— Кто это? — спросила Тома.

Юра прикрыл ладонью трубку, ответил:

— Виолетта.

Виолетта приглашала на вечеринку сокурсников.

— Почему ты вдруг обо мне вспомнила? — спросил ее Юра.

— Ты же — сокурсник? — урезонила Виолетта. — Мы собираемся у Аркашки.

Несколько раз Юру звали на эти поминки по своему студенчеству. Но звонили неинтересные ему люди. Виолетта тоже не вызывала в нем пристального интереса. Тем не менее, он посмотрел мимо замершей перед ним Зухры и согласился:

— Отчего же не встретится?

— Вот и отлично, — ответила Виолетта.

Когда Юра пришел к Аркаше, Виолетту среди прочих однокурсников он не увидел. Аркаша встречал в дивном пиджаке и расстегнутой на две пуговицы пестрой рубашке.

— А где Виолетта? — спросил Юра.

— Виолетта? У нее в последний момент что-то не срослось, — ответил Аркаша.

Однокашники вспоминали старые шутки, милые студенческие истории, поговорили о детях, о политике. Один Юра ни о чем таком не говорил и ничего похожего не вспоминал. Он выпил второй раз в жизни и высказывал страшные вещи:

— В юности, в святой юности, надо давать город на разграбление. У меня были эти легендарные три дня. Что в том, что я ими не вполне воспользовался, что в том? Главное, что они у меня были, эти три дня.

Он заплакал и запел выученный на книжном складе «Гаудеамус»:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus¹.

...Сокурсники расходились. Оставались опять Аркаша, Пономарёва и Салазкина. Юра, как в былые времена, ползал на четвереньках и хватал Пономарёву за ноги. Только теперь Аркаша Салазкину никуда не уводил, потому что теперь она была большой девочкой.

Долго не шел снег, а тут привалило. Залепило улицы, как сладкой манной кашей, сладко и легко стало на душе. Вовсе не хотелось приказывать: «Раз, два, три, горшочек не вари!» Хотелось больше, еще больше снежного чуда.

На улицу после встречи Юра вышел уже почти трезвый. Тамара смиренно ждала под фонарем с полной продуктовой сумкой в руке. Юра никогда не интересовался заранее, что у нее в сумке, просто забирал и нес сам. Сели в троллейбус.

Тамара много говорила, повернувшись к Сафьянову. Говорила о будущем, о зиме, о том, что срочно надо, хоть завтра с утра, съездить в лес, благо рукой подать. Выйти в поле. О том, как пахнут в мороз на изломе сухая полынь, пижма: полынь пахнет абсолютным счастьем, пижма пахнет летом. Про зимние овраги и скованные речки. Еще — о румянном детском смехе, высветляющем душу.

Сафьянов смотрел перед собой остановившимся трезвым взглядом. Губы его были плотно сомкнуты, но язык... нет, и не язык, а гортань, выговаривала имя *Виолетта*, только имя. От имени этого преступно пахло сиренью.

В золотой темноте

Смотрительница сидит в зале Рембрандта. Весь день проходят люди.

Молодая женщина на картине по-прежнему примеряет сережку. Старик в красном смотрит перед собой. Блудный сын который век стоит на коленях перед отцом, старший брат наблюдает за ним уязвленно, но все-таки нежно. Даная лежит в золотой темноте.

А смотрительница сидит. День отсидит и идет домой, словно сама из картины выходит. Дома — младшая сестра и ее сын, на грани вылета из института, как голубь на жестяном карнизе. Сестра пеняет: «Ира, что ты меня все опекаешь, я уже взрослый человек, мне пятьдесят лет!»

Сестра развелась с мужем, Ирина и не была замужем, действительно всегда опекала сестру. Под опекой Ирины сестра исхитрилась свершить свою жизнь. Но после ярких ее событий вернулась под опеку ожидавшей ее старшей сестры, вернулась с

¹ Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
После горестной старости
Нас возьмет земля,
Нас возьмет земля. (*лат.*)

сыном, о котором теперь больше беспокоилась тетя, чем мать. Хотя беспокоилась странновато, грозила, например, что молодого резвого племянника «некому будет хоронить».

В телевизоре новости и бессмысленные развлекательные передачи мелькают, как посетители в музее.

Что эти посетители могут увидеть? Идти мимо картин, все равно что в поезде мимо моря ехать. С картиной надо жить, как рядом с морем, с лесом, и — заходить в нее каждый день, как в лес. Чем больше Ирина сживалась с картинами, тем больше ее истязала ревность. С каждым рабочим днем она больше любила Блудного сына в изодранных башмаках, старика-еврея, простое лицо молодой женщины, примеряющей сережку, сережку, ценимую Ириной дороже всякого материального золота. И с каждым же днем ревность делалась нестерпимей. Иногда Ирина начинала кричать от этой боли на посетителей. Те шарахались от нее, думали: «Экая мегера работает рядом с такой красотой!» А она не по злобе кричала, а от ревности и нравственной муки. Как же так, как можно празднично проходить мимо?

Когда работала экскурсоводом, сама, правда, вела их мимо, тридцать лет вела. Тогда ее возмущали, наоборот, отстающие, разбредающиеся. Сама она редко на картины смотрела, как правило, стояла к ним спиной, следила, чтобы смотрели другие, направляла категорично их взгляды. Себе она представлялась вдохновенной, прекрасной, а старушки-смотрительницы, сидящие на стульях, казались ей отжившей рухлядью. И она не понимала, как можно так вот просиживать весь день: книжку не считаешь, вязать даже не разрешается. Сидишь день-деньской, тарачишься на посетителей или, в лучшем случае, клюешь носом. Вот каторга!

Когда здоровье пошатнулось и ей предложили на выбор — заслуженный отдых или потертый стул смотрительницы, она поначалу склонялась к пенсии. Можно книжки читать на лавочке под липами. Она всегда об этом мечтала! Но попробовала и сразу взвыла.

Зачем ей книжки? Она с детства их читала, чтобы мечтать. Мечтать о прекрасных всадниках, о белом платье и ярком солнце. Потом мечты стали сложнее, самой стало сложнее их понимать, но они оставались все равно мечтами. А теперь — о чем мечтать? О будущем сестры? Так оно свершилось, ее будущее. О взлете племянника? Но он не космонавт, чтобы мечтать о его взлете. О смерти? О загробной жизни? Тогда надлежит если что и читать на лавочке, так молитвослов, и церковь посещать каждый день.

Это будет обязательно, но не сейчас. Бывшая главная смотрительница соседнего музея стоит теперь возле ворот храма, просит милостыню. Не до такой, наверное, крайности... Будет, но не сейчас. Сейчас еще осталась земная мечта.

Эта мечта так долго усложнялась, чтобы однажды стать донельзя простой, яснее белого платья. Мечтой Ирины оказалось — жить в музее.

Ирина почти всю жизнь проработала в музее, но она не жила в нем. Презирая старушек на стульях, она, на самом деле, мучительно завидовала им, пугливо ими восхищалась.

Экскурсия — это всегда весна. А смотрительство, думалось Ирине, постоянная зима, так пни в лесу под снегом сидят понуро. Или поздняя осень, когда кровь ярче. Ярче не только снаружи, но и внутри, подступает к глазам и к горлу. Хочется припасть ухом к земле и услышать конский топот охоты, и перья на шляпах кроваво-красные.... Неужели в этих старухах на стульях столько прыти, что они сидят на стуле, как в седле? Как зоркий дозорный-золотоордынец. Наконечники его стрел — это его глаза, без промаха он выпускает третий глаз в оттяг от двух и ревниво следит, как глаз его пронзает око зверю или человеку. В ноябрьском лесу невозможно укрыться, он весь впрогляд, и только белое золото лесной травы, как волосы младенца, светлеет в прозрачном старушечьем мраке.

Так мысли о взволнованной, как регата, весне навели постепенно на мысли о холодной, как яблоко, поздней осени. Старуха собирает сухими ветками пальцев холодную свежую антоновку, от ветвей к ветвям переходит младенческая антоновка на позднее медово-золотое варенье. Так из экскурсовода Ирина превратилась в смотрительницу. Ноябрьская радость ярче, чем даже весенняя. За весеннюю только цепляешься, потому что она ускользает прощально. Ноябрьская — надежна, хоть облезает, как церковное золото по лесу.

Случилось так, что молодая экскурсоводша приболела. И Ирину попросили потрянуть стариной. Она переполошилась внутренне, словно ее разбудили. Как так? Но делать нечего. Дисциплина тут действительно, как в Орде Чингисхана. Повела экскурсию.

Вяло рассказала про Ван дер Вейдена, Малых голландцев, Вермеера. Не то чтобы вяло, скорее, с расстановкой. Но — суетливые экскурсанты ждали от нее привычной весны, а Ирина говорила значительно, монотонно, словно с задней мыслью. Экскурсанты нетерпеливо топтались на месте, разбредались. Ирина не очень за этим следила, примечала только взглядом задумчиво, отрешенно.

Вошли в ее зал, в зал Рембрандта. Ирина встала рядом с печальной старухой на полотне и замолчала сокрушенно, как эта старуха, так же сложила руки перед собой. Она стояла и молчала. Экскурсанты недоуменно забеспокоились. Один смельчак даже тронул Ирину за локоть. Но тщетно. Экскурсанты совершенно не понимали, как им поступить. Тетка явно прямо на рабочем месте спятила.

Сориентировалась первой, конечно, сменщица Ирины, та, что сейчас сидела на ее стуле. Как эстафету, передали из зала в зал смотрительницы весть о безумии Ирины. Отрядили экстренно в зал Рембрандта другого экскурсовода. Но не успел экскурсовод добежать, как Ирина очнулась.

— Вот теперь, — сказала она кокетливо, — познакомьтесь. Это Молодая женщина, примеряющая серьги, это Старик в красном, вон Блудный сын на коленях перед отцом. А меня зовут Ирина.

Пётр Матюков

Представитель ойкумены

* * *

выхожу во двор отчизны
над заводом вьётся дым
без нытья и укорижны
вместе с дымом полетим

если говорят закуришь
отвечаю не курю
говорят набедокуришь
если надо говорю

от черты до окоёма
с места в рудничный карьер
или по пути иному
через Выю например

и попросит непременно
предъявите документ
представитель ойкумены
самый строгий ойкумент

* * *

он шёл по улочке кривой
и нёс в руках букет
и каждый встречный головой
косил ему вослед
и каждый думал боже мой
везёт а мне облом
и каждый встречный головой
ворочал как веслом
и кто-то в длинных каблуках
оценивал букет
а кто-то телефон в руках
сжимал как пистолет
а он идя не замечал
кому там и куда
он шёл
ромашками качал
и прыгал иногда

Матюков Пётр Юрьевич — родился в 1971 году в Новосибирске. По профессии программист. Победитель Чемпионата Балтии по русской поэзии-2017, лауреат Кубка мира по русской поэзии-2017. Живет в городе Бердске.

* * *

я представитель пасмурной природы
когда в сердцах насупился февраль
когда собака уличной породы
обнюхивает уличный фонарь

когда фонарь восходит над страной
так тускло не по-нашенски горя
когда бродяга бродит под луною
но это фонарю до фонаря

когда февраль бродяга и помойка
и найден недоеденный хот-дог
и в прошлом горбачёв и перестройка
а впереди распущенный цветок

когда прибьют за чистую монету
когда в висках и в сердце стук колёс
когда бродяга ляжет на планету
когда февраль фонарь и лижет пёс

* * *

сторож Сергеев на кладбище
не кушает фуа-гра
сторож Сергеев на кладбище
представитель добра
хотя его упростил известный
некоторым
Гребенщиков
сторож Сергеев не слушает песни
временщиков

он выходит в ночное дежурство
сосредоточен и прост
перемещается шустро
между крестов и звёзд

чу
насторожилось ухо
дрогнули мышцы промежности
чу
переползает старуха
используя складки местности

и сторож Сергеев кричит старухе
товарищ умерьте прыть
не положено ползать на брюхе
а если станете рыть
не посмотрю ещё что вы пожилая
пальну вам солью на счёт
будете говорить жила я
неплохо
да дёрнул чёрт

копейка к копейке в кружке
с миру по кружечке
мелькает проворное тело старушки
скрипят зубы старушечьи
и никакого тебе ответа
полный игнор
и понимает Сергеев что это
не разговор
поди разберись чего она хочет
и для чего ползёт
и он скручивает старую скотчем
и в сторожку несёт

а в сторожке отдельные кладовые
из оцинкованного листа
для тех кто из-под звезды и
для тех кто из-под креста
и стоят со звёздами разные
и с орлами вразброд
слева белые справа красные
или наоборот
и стоят старые и молодые
и совсем без кокард
в лаптях
лохматые
или завитые
разные там стоят

и Сергеев смотрит на них без истерик
но морщится опять и опять
понимает что всё это не измерить
простым умом не объять
ставит старую в нужное место
достает айфон из штанин
записывает
неизвестно куда ползёт этот мир

* * *

под ногами ворон
заснеженная полоса
снегу снится что он
возвращается на небеса

что ему открывают
тяжёлые створы ворот
что несут каравай
по высокому трапу на борт

он идёт по дорожке
ковровой в молочный кисель

тихо-тихо как кошка
укладывается в постель

в купель молока парного
тонет в его тепле
и внезапно по новой
оказывается на земле

люди идут с перрона
ножками семена
чёрненькие вороны
матерь сыра земля

Андрей Рябой

Ночная голова

Повесть

И, проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращением узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

Владислав Ходасевич

* * *

В тот год Боре исполнилось 34 года.

* * *

К полудню к Боре на участок приехали узбеки. Стали поднимать терраску повыше. Дачный поселок стоит на осушенном болоте — грунтовая вода здесь близко к поверхности. Грунтовая вода грызет землю под терраской — терраска оседает — и раз в несколько лет ее приходится поднимать.

Боря в этом году наконец-то поставил скворечник на высоком шесте. Скворец сидел наверху. Боря задрал подбородок и смотрел на скворца. А узбеки смотрели на Боря. А потом узбеки поднимали терраску.

Возле верхней деревни появились цыгане. Наверно, ряженые. Иногда был слышен галдеж их табора.

В июле из верхней деревни в дачный поселок спустился пьяный человек. Он шел с красным лицом, то и дело откидывал правую ногу в сторону и хлопал ладонью по ляжке. Позади него шли белокожие цыганки и махали своими юбками. И пели свое айнанэ. А пьяный человек ухал.

А за цыганками шел худой человек с лопатой. Его острый лысый подбородок торчал из-под капюшона, закрывавшего почти все лицо.

* * *

За столом под яблоней сидят старики. Старики пьют горячий чай. Настолько горячий, что маленький Боря боится даже опустить в него кончик языка. Чай обжигает. А старики пьют его. И обжигают небо. А потом выплевывают кусочки небной кожицы. И широко улыбаются беззубыми ртами.

По саду бегают курицы. Курица незатейлива — и ест камешки. Бабушка ворчит. На террасе — плетеные корзины. Скоро пойдут грибы — с корзинами пойдут в лес. (Из всех грибов Боря больше всего любит амфиболии.)

К маленькому Боре в гости приехал такой же маленький Санёк. Они соорудили бассейн: выкопали яму и положили в нее пленку для теплиц, чтобы вода не уходила в почву. Пленка была дырявая. Вода уходила, но очень медленно.

Также Боре и Саньку удалось выяснить, что курица поначалу держится на воде довольно уверенно, а потом начинает паниковать — и ее лучше вытащить из бассейна.

В сарае, на перекладинах под самой крышей, лежали удочки и специальный *ухват* на длинном древке — для яблок. Этот *ухват* доставали осенью, чтобы срывать яблоки с самой макушки.

Соседка разводила пчел. Ее пчелы недавно отроились, а новый рой прилетел сюда и поселился на яблоне в саду. Первым их услышал Санёк. Яблоня гудела. Позвали соседку. Боря и Санёк спрятались на террасе и оттуда смотрели, как соседка собирает пчел каким-то особым *пчелиным ухватом* на длинном древке — точно срывает спелые яблоки с самой макушки.

Сколько лет с тех пор прошло?

...Боря приехал на дачу в конце октября. Первый раз он приехал сюда такой глубокой осенью. Было сыро. Мокрые листья прилипали к ботинкам.

Боря открыл дверь террасы. На обеденном столе сидела желтопузая синица. Увидев Боря, она взлетела и ударилась в окно — и, отскочив, снова оказалась на столе, уставившись на Боря. А Боря распахнул дверь пошире и отошел в сторону. Синица вылетела наружу.

Боря ступил на дощатый пол террасы и огляделся. В одной из стен недоставало куска доски — наверно, сломалась — доски здесь старые. Через эту дыру, значит, синица сюда и попала.

Боря положил рюкзак на пол и сел за стол лицом к двери. В распахнутую дверь были видны худые вишневые деревца. По их голым веткам прыгали синицы и чирикали, поглядывая на Боря.

В углу, за старым диваном, скреблись мыши. Пока Боря сидел, из-под дивана то и дело выскакивал едва заметный комок и тут же, пискнув-скрипнув, нырял обратно.

А Боря сидел. И синицы чирикали. И мыши скрипели. Боря был здесь посторонним. Всем было недовольство от Бори.

Боря встал и вышел из террасы. Он потер замерзшие руки и стал озиаться по сторонам. Дачи вокруг были пусты. На дверях, на калитках, на воротах — всюду замки. Только беспокойные синицы на ветках, дверной проем за спиной, скрипучие мыши.

* * *

При виде диких животных Боре иногда становится не по себе.

Жарко.

Лето.

Боря растерянно гуляет по зоопарку.

Боря затравленно смотрит на зверей в клетках.

Борин взгляд по дикой природе, словно дикое мясо, бродит.

Прядь волос слиплась в сосульку, прилипла к виску. Боря останавливается, утирает пот со лба.

Вот террариум. За стеклом — хамелеон, у которого глаза торчат в разные стороны, и каждый глаз живет своей жизнью.

А вот вольер с лисами. Лиса любовно извивается телом. А потом долго водит носом по земле, будто мышкует.

* * *

Боря иногда бывает неводержан, когда говорит о политике.

На столе — клетчатая скатерть.

У выпившего Бори слегка заплетается язык — он говорит:

— Я ненавижу левую мразь. Всю левую мразь: от левых либералов до сталинистов.

* * *

Весной были заморозки. Рыжая грязь затвердела. На слабую траву падали редкие снежинки — безответные письма.

Боря ехал в автобусе. Рядом, повернувшись к окну, стоял человек в коротком пальто. А на остановке зашел человек с узким сухим лицом — его глаза сидели близко к ушам и торчали в разные стороны, напоминая тем самым глаза какого-нибудь хамелеона. Он встал позади человека в коротком пальто и минуты две дышал ему в затылок. А потом он засунул руку в карман его пальто. Боре пришлось посторониться, потому что этот карман был как раз с той стороны, где стоял Боря. Покопавшись немного в чужом кармане, человек с сухим лицом достал оттуда скомканную бумажку. Он развернул ее и принялся читать, почему-то отпрянув от нее лицом — будто с недоверием. Затем он посмотрел на Борю и виновато улыбнулся. Казалось, будто он извиняется за то, что ничего лучше этой бумажки в чужом кармане не нашел. На подоспевшей остановке человек с сухим лицом вышел, а Боря заметил, что нутро кармана человека в коротком пальто торчит наружу. Наверно, человек с сухим лицом слишком сильно выдернул руку и вывернул карман наизнанку. Боря ткнул нутро пальцами и осторожно запихнул его обратно в карман, чтобы оно не торчало наружу.

А потом Боря сидел в своей квартире. За окном вечерело. У Бори была маска лошади. Он надел ее и включил увертюру к опере «Вильгельм Телль» — и когда под конец музыка понеслась галопом, Боря стал думать о лошадях. Эта мелодия всегда напоминала ему о лошадях.

* * *

Боря считает детей чересчур агрессивными.

У детей есть свое общество.

Неотения — термин из биологии. Это когда биологический вид перестает нуждаться во взрослых особях. Роль взрослых начинают играть личинки и недоростки.

В детях есть какая-то недосказанность.

Общество детей состоит из Хороводов. Хоровод — это и каста и государство. Иногда случается быть свидетелем войны двух Хороводов.

Осенью Боре довелось наблюдать Хоровод. В сквере, где пахло сухими листьями. Бывает, что детей наряжают в зверушек (свинок, зайчиков, мишек и т.д.), а только потом пускают в хоровод. Но этих детей наряжать не стали, а сразу отправили их плясать вокруг деревьев. Это был похоронный Хоровод. Кого они хоронили? Хомяка? Котенка?

В сквере хозяйничал ветер. Хозяйничал.

Ветер поднял желтые листья и закружил их в хороводе.

Этого дети не стерпели. Хоровод листьев им был невыносим. Они яростно затопали маленькими ножками. Они топтали и давили листья.

Когда с листьями было покончено, дети снова пустились в свой Хоровод.

* * *

Это сырой день. Иногда накрапывает мелкий дождь.

Боря собирает опята, густо облепившие пеньки, — срезает их перочинным ножиком.

Он ходит по лесу, забирается в лощины, заросшие папоротником, выходит на лесные тропы и прогалины. Кутаясь в дождевик, Боря озирается по сторонам. Хлюпает по лужам. А из-под ног липкая грязь, словно собака, кидается на резиновые голенища сапог, каплями добирается до черных джинсовых штанин.

Так до самого вечера.

Когда стемнело, Боря вышел к верхней деревне, где шумел цыганский табор. Боря вышел на огонь. Горел костер. Силуэты цыган дергались вокруг языков пламени. Звучала гитара.

Боря стоял в сторонке.

В темноте проступил силуэт женщины. Ее голова мелькала в отсветах костра. Женщина была простоволоса и круглолица. Она спросила:

— А хотите почувствовать на себе его взгляд?

— Что? — переспросил Боря.

— Его взгляд. Хотите? У него такой взгляд.

Женщина отошла к костру, и ее силуэт стал дергаться вокруг огня.

Боря стоял в сторонке.

В деревне кто-то заревел.

От костра двинулся тонкий силуэт и пошел в деревню. Силуэт держал в руке предмет, похожий на лопату.

* * *

Боря как-то умудряется зарабатывать деньги.

Темный зал кафе.

Боря сделал глоток, поставил кружку с кофе на стол и сказал:

— Вообще по образованию я инженер. А зарабатываю спекуляциями на бирже. В основном — алгоритмический трейдинг на фьючерсах. Делаю торговых роботов. И еще держу портфель облигаций и совсем немного акций.

Боря любит фьючерсы. Особенно — Сишечку и Ришечку.

* * *

Боре нравится смотреть, как работают художники.

Как-то раз на улице Боря остановился, чтобы посмотреть, как художник, обнаженный, прибавляет свою мошонку к брусчатке на площади возле стен крепости.

* * *

Однажды Боря познакомился с весьма самодовольной женщиной.

В тот день Боря зашел в книжный магазин. Он подошел к кассе и спросил у продавщицы книгу о лисах.

Продавщица поглядела в компьютер. А потом сказала:

— Нет, к сожалению, сейчас нет.

Боря вышел из магазина и пошел по улице к скверу.

Его догнала незнакомая женщина. Эта женщина была в том же книжном магазине — она стояла в очереди у кассы сразу за Борей.

Она спросила, почему Боря хотел купить книгу о лисах.

Боря объяснил ей, что это за книга и чем она интересна.

Женщина немного смутилась и сказала, что ее зовут Лисой. Потом она пояснила, что на самом деле ее зовут Ритой, но друзья называют ее Лисой.

Боря еще подумал: с чего это она решила, что книга как-то связана с ней? Или это просто повод завязать знакомство?

Боря пригласил ее в кафе. Пока пили кофе, Боря рассказал ей о себе и о своей работе, а Лиса рассказала о себе. Лиса похвалилась своей профессией.

...Потом Лиса сидела за пианино. Ее подбородок был задран, а ее пальцы быстро бегали по клавишам, то и дело застревая на отдельных клавишах. Она играла резкую тревожную музыку — *Ostinato* Бартока.

Закончив играть, она повернулась к Боре и самодовольно улыбнулась.

Лиса вообще очень самодовольна. Она постоянно чему-то учится и самосовершенствуется.

* * *

Если человек лжет, Боря, как правило, это замечает.

Тем летом Боря и Санёк жили на даче Бориной семьи.

Осенью они пойдут в восьмой класс, но до осени еще далеко — и мыслей о школе нет.

У Бори были старинные карманные часы, которые когда-то принадлежали его прадедушке. На часах было написано: «Павел Буре». Но к известному хоккеисту Павлу Буре эти часы не имели никакого отношения. Боря знал, что «Павел Буре» — это название марки часов.

А еще на корпусе часов были выгравированы инициалы: «П.Б.». Но это не были инициалы основателя марки часов. Это были инициалы Бориного прадедушки.

Тем летом часы пропали.

Осенью Боря и Санёк пойдут в восьмой класс, но до осени еще далеко — и мыслей о школе нет.

Боря и Санёк сидят на берегу пруда. К воде протянуты удочки, а на глади воды застыли поплавки.

Боря говорит Саньку:

— У меня куда-то пропали карманные часы, прадедушкины — помнишь, я тебе показывал?

Санёк вдруг чересчур поспешно отвечает:

— Я их не брал.

* * *

Боря считает, что работу всегда нужно доводить до конца.

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Он показывает в экран компьютера и говорит:

— ...Цена акций и фьючерсов носит, в основном, случайный характер. И спрогнозировать ее можно только с определенной вероятностью. Именно поэтому мы используем алгоритмы, основанные на теории вероятности и на математической статистике. Прежде чем запустить торговый алгоритм в работу, мы производим бэктест — ну то есть тестируем его на исторических данных, проверяем, принес бы он нам прибыль, если бы мы торговали по этому алгоритму в прошлые годы. Смотри, есть разные программы для бэктестов. Есть *Wealth-Lab*, есть *Amibroker*, есть старенький *MetaStock*, есть отечественный *TSLab*, есть и другие. А для поиска статистических

закономерностей мы можем использовать обычный Эксель. Вообще в биржевой торговле лучше ничего не усложнять, поэтому я использую самую простую статистику: средние значения, среднеквадратичные отклонения, коэффициенты корреляции и прочие стандартные вещи. Статистику я использую и для поиска закономерностей и для анализа готового алгоритма. Вот, например, какие расчеты я произвожу. Берем ценовой ряд, считаем внутридневные приращения цены (от минимума до закрытия торговой сессии, если день растущий; от максимума до закрытия — если падающий), считаем среднее значение приращений, среднеквадратичное отклонение в большую сторону, процент внутридневных приращений выше среднего и прочее. Потом определяем, как лучше заходить в рынок — по направлению движения цены или против него? А потом определяем, когда заходить в рынок и когда из него выходить; подбираем параметры для торгового алгоритма, тестируем их на исторических данных и оптимизируем. Тестирую алгоритм я так: беру ценовые данные за несколько лет, загружаю их в прогу и задаю базовые условия: момент входа в рынок и момент выхода. В первый раз алгоритм тестируется при условии торговли одним контрактом без реинвестирования, чтобы можно было оценить среднюю абсолютную прибыль на контракт — и как на эту прибыль будут влиять комиссионные и возможное проскальзывание — а надо понимать, что по идеальным ценам сделки в реальной торговле будут проходить далеко не всегда, особенно если объемы торгов большие, — и проскальзывание неизбежно. Во второй раз алгоритм тестируется при условии полного вложения капитала в каждую сделку и последующего реинвестирования полученной прибыли (то есть объем каждой последующей сделки изменяется в зависимости от изменения капитала). Кстати, эквити — график доходности — я оцениваю только визуально, что называется, на глазок — никаких математических коэффициентов, вроде Шарпа или Сортино, я не использую. Из простых коэффициентов я смотрю на профит-фактор — это отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных — если профит-фактор оказывается меньше 1.4, алгоритм отправляется на помойку. А если с профит-фактором все нормально, я смотрю на величину средней прибыли на сделку (и в процентах, и в абсолютных значениях). Ну и смотрю на максимальную просадку в процентах. Но вот со средней прибылью на сделку не все так просто. На рынке много аномальных движений цены — и результаты отдельных сделок могут быть аномально большими. Поэтому чтобы объективно оценить величину средней системной прибыли на сделку, я удаляю из результатов теста все слишком большие значения. Смотри, для этого я использую правило «трех сигм»: считаю среднеквадратичное отклонение прибыли в большую сторону, умножаю его на три и прибавляю к среднему значению, после чего удаляю из результатов тестирования все сделки, прибыль от которых превышает получившуюся цифру. Обычно такое фильтрование проводится в несколько кругов. Средняя прибыль оценивается только по результативности оставшихся сделок...

Боря вообще считает, что лучше зарабатывать самостоятельно, пусть и не очень стабильно, чем работать на кого-то.

* * *

Иногда Боря проявляет свои чувства косвенно.

Смотрели преданно друг на друга.

Иной раз Боря говорил как бы сквозь зубы:

— Лисяра, — и обнимал Лису, поглаживая ее по спине.

Другой раз Боря говорил с нежностью, слегка наклоняя голову на бок:

— Лисонька, — и обнимал Лису, прижимая ее голову к своей груди.

* * *

Боря иногда испытывает чувство внезапного беспокойства, доходящего до смутного страха.

* * *

Когда-то давно — после первого курса института — Боря и его друг Санёк устроились на временную работу в отдел автоматизированных систем управления одного предприятия. Этот отдел возглавлял двоюродный дядя Санька — он и предложил Боре и Саньку нечто вроде стажировки.

Во время работы Боря и Санёк занимались всякой ерундой — в основном, помогали сотрудникам предприятия разобраться, какие кнопки нажимать, чтобы чего не вышло. До программирования их не допускали. Но специально для Бори и Санька выделили два отдельных компьютера — Боря и Санёк в основном играли на них в игры.

А однажды Борю вдруг вызвал к себе в кабинет двоюродный дядя Санька.

В кабинете помимо двоюродного дяди Санька сидели два инженера из отдела автоматизированных систем управления. Они смотрели на Борю, когда тот вошел, — все его ждали. Все было готово к его приходу.

Как только Боря вошел, дядя Санька заорал:

— Ну и что?! Что?! Кто разрешал трогать код?!

Боря не понимал, о чем его спрашивают:

— Какой код?..

— Какой код?! Который нашли у тебя на компьютере!

— Я не знаю, какой код... — бормотал Боря.

— Кто вообще разрешал лезть в незнакомую программу?! — продолжал орать дядя Санька.

Боря застыл на месте. Он не понимал, что произошло, за что его ругают, и не знал, что сказать.

Но он все равно чувствовал себя немного виноватым.

* * *

Когда Боря и Санёк после первого курса института работали в отделе автоматизированных систем управления, они занимались всякой ерундой. До программирования их не допускали. Но им выделили два отдельных компьютера — Боря и Санек в основном играли на них в игры.

Программисты отдела писали код, который был нужен для обработки какой-то базы данных. На этот код было потрачено много времени, но он не работал — а ошибку в нем никак не могли найти. Боря и Санёк наблюдали, как программисты молча смотрят в текст на экране компьютера в поисках ошибки. Санёк и сам сосредоточенно смотрел на экран.

А потом, после работы, Санёк сказал Боре, что нашел ошибку.

Боря ответил:

— Ну ты бы сказал прогерам...

— Ага, — согласился Санёк, не глядя на Борю.

А через два дня в отделе произошло несчастье: часть базы данных была уничтожена. Программисты к тому времени обнаружили ошибку в коде и решили запустить его в работу на небольшой части базы данных, но код сработал не так, как нужно, и часть базы данных была уничтожена.

Боря тогда спросил Санька:

— Ну ты сказал прогерам, что нашел ошибку?

Санёк ответил:

— Нет, не сказал. Это они сами накосячили. Без меня, короче, справились, — улыбнулся Санёк.

А еще через день Борю вызвали в кабинет двоюродного дяди Санька. Как оказалось, программисты правильно обнаружили в коде ошибку — и ее исправление должно было привести к правильной работе программы. Но когда часть базы данных была уничтожена, код стали проверять заново — и обнаружили новую ошибку в совершенно неожиданном месте — там, где ошибки прежде не было. То есть кто-то, не предупредив остальных программистов, заменил фрагмент кода, в котором ошибки не было, — заменил его на ошибочный. Стали искать виновника — и обнаружили текст кода с измененным фрагментом в текстовом файле на компьютере Бори. Борю обвинили в том, что это он изменил код.

Боря не знал, откуда этот файл взялся на его компьютере. Он пытался оправдаться, говорил, что не причастен к ошибке, но ему не поверили. Борю уволили с работы.

Позднее Боря узнал, что код изменил Санёк, который думал, что изменяя код, исправляет ошибку. Санёк боялся, что об этом узнает его двоюродный дядя, от которого могла зависеть его дальнейшая карьера, и поэтому решил свалить вину на Борю, сохранив файл с измененным кодом на Борином компьютере.

* * *

Боря больше доверяет здравому смыслу, чем эмоциям.

Когда была зима, Лиса подобрала во дворе раненую ворону. Она скакала по снегу, волоча за собой крыло. Лиса догнала ее и взяла на руки. Боря стал настаивать, что ворону нужно отнести в ближайшую ветеринарную клинику и оставить там:

— Ворон нельзя содержать в клетках — для нее придется покупать большой вольер. Да и вообще брать ворону с улицы домой... У нее ведь может быть какая-нибудь зараза.

Но Лиса сказала, что возьмет ворону домой.

Потом Лиса возилась с вороной, а Боря рассказывал про торговлю на бирже.

Потом Боря поглядел на Лису и, немного подумав, сказал:

— Ворона и Лиса... Кто у кого, интересно, будет воровать сыр?

* * *

Проводить время с друзьями когда-то было хорошо.

В тот зимний день того давнего года слякоти не было, а снег был.

Боря и Санёк пьют холодное пиво из бутылок в чистом белом сквере. Людей нет, снежинок в воздухе нет.

Боре завтра идти в институт (это был еще первый курс), а Саньку нет.

Санёк спрашивает, пойдет ли Боря в воскресенье на концерт. Он говорит:

— А то народ собирается... — Санёк перечисляет имена тех, кто собирается пойти на концерт, а в конце добавляет: — ...Лиса еще пойдет из моего института.

— Лиса? — переспросил Боря.

— Да есть там одна... — пояснил Санёк.

Боря тогда на концерт не пошел. Лишних денег не нашлось, и то воскресенье он потратил на игру в «Фоллаут 2».

* * *

Боря умеет мыслить критически и подвергать происходящее сомнению.

Это был еще первый курс. Экзаменационная сессия заканчивалась. И тогда Санёк предложил Боре:

— Слушай, как ты думаешь насчет работы?

— А что с работой?

— Ну смотри, есть такая тема. Вот сейчас лето. Каникулы. Короче, мой двоюродный дядя руководит отделом АСУ в одной фирме. Он может дать нам работу на пару месяцев — типа стажировки. Ты же хотел попрактиковаться в кодинге на серьезном уровне? И я тоже. А тут все — и практика, и денег заплатят.

— В АСУ? И нам дадут что-то кодить? В АСУ?

— Ну фиг знает. Может и не дадут. Но по-любому, понаблюдаем — опыт плюс практика.

— Ну хз... А сколько заплатят?

* * *

Прежде чем что-то сказать, Боря обычно хорошо думает.

А иногда он проявляет свои чувства напрямую.

Боря вдруг сказал Лисе:

— Я тебя люблю.

— Что?

* * *

Боря иногда сильно волнуется или негодует так, что не может спать.

То давнее лето подходило к концу. Приближался второй курс института. Борю только что уволили с летней работы.

По вине Санька была уничтожена часть базы данных предприятия, на котором Боря и Санёк работали, а Санёк свалил вину на Борю.

А потом Боря разговаривал с Саньком, а Санёк делал вид, что ничего не произошло, что ничего плохого в его поступке нет.

А потом Боря ложился спать и не мог заснуть. Он третий час ходил кругами по комнате. В его горле саднило.

Боря был зол на Санька. Санёк сделался для Бори совсем чужим.

* * *

Боря любит готовить.

Сегодня вечером Боря приготовил простой ужин.

Он взял купленные в магазине мелкие кусочки индейки. Обжарил их. Потом посыпал их купленной в магазине «луково-морковной зажаркой» из пакетика. Подержал на медленном огне минут пять. Потом залил кусочки индейки сметаной, перемешал индейку со сметаной и луково-морковной зажаркой. Потушил на медленном огне минут пятнадцать.

* * *

Боря не публичен, и особого авторитета у него нет.

Но однажды в детстве Борю выбрали Вождем Хоровода.
Дети скакали по кругу в ногу, но потом начали сбиваться с ритма.
Все стали ворчать на Борю.

* * *

В дачном поселке был пасмурный день, но дождя не было.

Боря увидел впереди людей. Некоторые из них были в полицейской форме.
А рядом стояла полицейская машина.

Боря подошел к людям и увидел яму. В яме лежал мертвец: лежало тело, и отдельно лежала голова. И рядом лежала лопата с черными пятнами на острие — не то земли, не то крови.

Тело было длинным, в красной цыганской рубашке и в сапогах. А на голове было четыре глаза: два — по сторонам от носа, третий глаз сидел в ямочке на щеке, а еще один, выпученный, торчал из лысой макушки.

— Мутант, — тихо сказал человек, стоявший рядом с Борей.

На другой стороне ямы стояла простоволосая круглолицая женщина. Она плакала:

— Он так сострадал. Сострадал. И смотрел. Так смотрел. Какой у него был взгляд.
Один полицейский сказал:

— Лопатой его закапывали и ей же, походу, голову отрезали.

Другой ответил:

— Лопату закопали вместе с ним. Лопат было две.

Когда Боря собрался уйти, простоволосая круглолицая женщина бросилась к нему:

— Возьми его голову! Возьми ее себе!

— Что? — отстранился Боря.

— Его голову! Возьми! Ты ведь был там!

— Что?

— Она теперь твоя!

— Да не нужна мне его голова! — крикнул Боря.

И ноги понесли его прочь.

* * *

Иногда Боре делается так смешно, что он не может уснуть.

Вечером у Бори зачесалась щека. Он встал перед зеркалом. У него на щеке была царапина. Откуда взялась-то, а?

Потом Боря лег спать.

Он лежал в постели и смеялся. Он смеялся почти всю ночь.

— Хы-хы, возьми, говорит, его голову... Голову... Хы-хы... Возьми...

Он смеялся и почесывал свою щеку. И макушку, на которой невеста откуда выскочила шишка.

— Хы-хы, возьми его голову...

Боря никак не мог заснуть. Уже за полночь он встал перед зеркалом.

Царапина на щеке разверзлась — и из нее выглянул глаз. Глаз моргнул.

Боря подумал: новый глаз? Надо сходить к окулисту.

Боря погладил макушку, раздвинул волосы — и увидел, что на макушке тоже есть глаз.

Боря надул щеку и попытался посмотреть с помощью глаза на щеке. Но все сливалось в серое пятно. Глаз на макушке тоже видел очень плохо.

Боря догадался: так ведь это совсем молодые глаза — они еще слепые, словно котята.

Зато глаза умели моргать и подмигивать.

А когда рассвело, глаза сомкнулись. И царапина с шишкой исчезли.

* * *

У Бори иногда получается все, что он задумал, а иногда не получается.

Боря — биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Утром Боря запустил своего очередного торгового робота.

В первую же неделю работы робот принес семь процентов убытка.

* * *

Боря ценит справедливость и не любит пережитки прошлого.

Боря говорит Лисе:

— Бесплатная медицина — это левый атавизм. Да, наверно, нужно развивать систему доступного медицинского страхования. Но врачи должны очень хорошо зарабатывать.

Лиса слегка покачивает своей лисьей мордочкой — вверх-вниз. Но вроде бы не кивает в знак согласия, а просто покачивает.

* * *

Боре тяжело брать на себя ответственность за жизнь и здоровье других людей. А еще у него есть смутные страхи.

Боря вдруг говорит:

— Ты знаешь, у меня есть страх: я боюсь номера «скорой помощи». Ну, то есть если будет нужно быстро звонить в «скорую», то я просто застыну на месте с телефоном в руках. Не уверен даже, что вообще смогу поднять трубку — она делается какой-то тяжелой.

* * *

Боря любит пошутить.

Боря и Лиса приехали на дачу родителей Лисы.

Возле дачного дома была вырыта небольшая продолговатая яма.

Боря показал на эту яму и пошутил:

— А это что — детская могилка? — Он заулыбался.

* * *

Боря как-то раз увидел старую фотографию Лисы.

Лиса на этой фотографии общается с чумазыми людьми, одетыми в грязные потрёпанные одежды. У Лисы в руках большой целлофановый мешок.

Лиса сказала, что эта фотография была сделана, когда она училась на третьем курсе института. Она и ее знакомый по имени Сашка, с которым она училась в

институте, в тот год пробовали быть волонтерами. Они помогали бездомным, собиравшимся у вокзала, — приносили им одежду.

* * *

Боря не любит быть в центре внимания.

А Борина голова по ночам теперь была совсем чужой.

Как-то ночью Боря возвращался домой. Подходил к подъезду. Под козырьком подъезда горела лампочка. А под лампочкой на скамейке сидели мужчина и женщина.

— Это что — глаз? — спросила женщина. — У вас на щеке?..

Боря слегка растерялся. Глаз на щеке нервно заморгал.

* * *

Лиса неплохо танцует. У нее очень внимательный, сосредоточенный взгляд. Все движения танца она выполняет скрупулезно. То одну ногу выставляет вперед, то другую, поворачивается всем корпусом и просто покачивается. Боря держит ее тонкую ладонь.

Он пытается перекричать музыку, чтобы спросить у Лисы:

— А ты любишь водить хороводы?

* * *

Боря и Санёк тогда учились в одном классе. У них в школе были уроки музыки и танцев, на которых иногда водили хороводы. И всякий раз, когда водили хоровод, Боря и Санёк неизменно оказывались рядом.

Сначала на уроках танцев водили хороводы. Потом хороводы заменили бальными танцами и рок-н-роллом.

* * *

Боря может работать начальником только при условии, что все его распоряжения неукоснительно соблюдаются.

Неформальных лидерских качеств у него нет.

Однажды в детстве Борю выбрали Вождем Хоровода.

Дети скакали по кругу в ногу, но потом начали сбиваться с ритма.

Все стали ворчать на Борю.

А Боря пытался восстановить строй. Он нервно кричал:

— В ногу! В ногу!

Но его никто не слушал.

В итоге Боря ушел с должности Вождя Хоровода.

* * *

Боря хорошо помнил свой Хоровод. Тогда, в детстве, казалось, что Хоровод будет вечным — он все кружился и кружился. Боря тогда не замечал, как некоторые дети вырастают и покидают Хоровод, а их место занимают другие. Однажды Боря и сам вырос. Было это так: два соседа по Хороводу — два ребенка, чьи руки он сжимал, вдруг устали и ушли. Боря широко открытыми глазами смотрел на них. Боря все понял. Он отпустил их руки и вышел прочь. Хоровод замкнулся за его спиной. Так смыкается болотная тина над головой утопленника.

Возможно, этот Хоровод и сейчас кружится где-то там. Или не там.

* * *

Боря с осторожностью относится к всякого рода улучшениям и оптимизациям. Он считает, что нужно все как следует просчитывать.

Боря биржевой спекулянт.

Он показывает в экран компьютера и говорит:

— ...Теперь что касается оптимизации. Практически любая оптимизация торгового алгоритма чревата подгонкой под исторические данные. Ну, то есть картинка на бэкteste будет красивая, но в реальной торговле будет слив депозита. Это не значит, что от оптимизации совсем нет толка. Толк есть. Но важна логика, прежде всего. Мы торгуем рыночные закономерности — а в них всегда есть фундаментальная логика. Когда мы выбираем параметры для алгоритма, мы руководствуемся логикой. И используем оптимизацию только для того, чтобы проверить, насколько сильно зависит результативность алгоритма от его параметров — и, соответственно, насколько случайным получается итоговый результат...

* * *

Боря настороженно относится к физическому труду. А еще он не очень любит спорт.

Боря и Лиса идут на лыжах по заснеженному парку.

Боря здорово отстал. А Лиса остановилась и ждет его. Она подбадривает Борю, чтобы тот шел быстрее.

Боря говорит:

— Что ты хочешь от меня? Я последний раз ходил на лыжах еще в начальной школе.

Лиса говорит, что она тоже долгое время не любила лыжи, а начала ходить только когда уже училась в институте. А все потому, что ее лучшая подруга Катя очень любила лыжи — особенно горные. Но и на обычные лыжные прогулки Катя выходила почти каждый зимний вечер. И Лиса выходила с нею. А еще Лиса научилась у нее кататься на горных лыжах.

Боря говорит:

— Тебе ведь зимой вообще раздолье. Ведь вы — лисы — зимой мышкуете по снегу. Лиса хитро улыбается.

* * *

Боря ценит вежливость. В — вежливость.

Вечером во дворе Боря увидел человека с узким сухим лицом и глазами хамелеона.

Этот человек набросился на Борю и потянул свои тонкие пальцы к его глазам.

— Я просто выдавлю лишние глаза! Выдавлю лишние глаза! — закричал человек.

А пальцы он тянул к обычным глазам вокруг носа.

— Да это не те глаза! Это не лишние! — закричал Боря. — Лишние у меня только ночью вырастают!

Человек с глазами хамелеона замер.

Потом человек с глазами хамелеона протянул руку и представился:

— Коля Маржин.

Сразу пошли гулять по парку.

Потом стояли возле скамейки, окутанной сумерками. На скамейке сидел старик.

Старик поднимал глаза, упирался ладонями в скамейку, с трудом поднимался, отрывая себя от скамейки. Поднимал дрожащую руку, дрожащим пальцем показывал на Боря, а потом на Колю Маржина — и что-то бормотал.

И старика трясло. Его тело мешком грохалось на скамейку.

Старик был посторонним. Он поднимался со своей сумеречной скамейки ради короткой проповеди, а потом возвращался в сумерки.

Приближалась ночь — и у Бори снова зачесались щека и макушка.

Сначала человек с глазами хамелеона показался Боре грубоватым и прямолинейным. Но потом выяснилось, что он в действительности вежливый и деликатный Коля Маржин.

Он даже стал ценить и уважать Борину глазастую ночную голову.

* * *

Боря не любит, когда его прилюдно критикуют или ругают.

Когда-то давно — еще после первого курса института — Боря подрабатывал в отделе автоматизированных систем управления. И однажды его вдруг вызвал к себе в кабинет начальник.

В кабинете помимо начальника сидели два инженера из отдела автоматизированных систем управления. Они смотрели на Боря, когда тот вошел, — все его ждали. Все было готово к его приходу.

Боря шел в кабинет с некоторой опаской.

А как только он вошел, начальник заорал:

— Ну и что?! Что?! Кто разрешал трогать код?!

Боря не понимал, о чем его спрашивают:

— Какой код?..

— Какой код?! Который нашли у тебя на компьютере!

— Я не знаю, какой код... — бормотал Боря.

— Кто вообще разрешал лезть в незнакомую программу?! — продолжал орать начальник.

Боря застыл на месте.

А инженеры с осуждением смотрели на Боря.

* * *

За ужином Боря брюзжит:

— ...А вот еще тема: гликемический индекс. У белого хлеба самый высокий гликемический индекс, ага. И еще глютен, ну да. И какую только бредятину не выдумывают. Хлеб вреден, ага. Тысячи лет наши предки ели хлеб. Вся современная цивилизация выросла из земледелия. Тысячи лет культуры, прогресса, науки — тысячи лет от первого колоска пшеницы. И вдруг раз — хлеб вреден...

* * *

Ночью Боря включил настольную лампу, открыл книгу и поднес ее к щеке.

Глаз, расположенный на щеке, заморгал. Текст сливался — Боря не мог его разобрать.

* * *

Боря не любил в школе физкультуру.

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе.

Санёк спросил:

— Ну что? Ты готов?

— Да, побежали, — ответил Боря.

Они побежали в школу. Они договорились, что по утрам будут добираться до школы бегом — чтобы потренироваться перед грядущим трехкилометровым забегом на школьном физкультурном празднике. Это Санёк предложил.

Они бежали по тротуару мимо детей и одноклассников, идущих в школу. Санёк бежал быстрее, а Боря отставал. Рюкзак Санька тряся. Санёк убегал все дальше вперед.

* * *

Боря любит порядок и чистоту.

В выходные Боря помогал Лисе делать уборку в ее квартире.

Боря протирал стеклянные створки серванта. В этом серванте лежит коллекция Лисы. Лиса коллекционирует ручные и карманные часы. Сквозь стеклянные створки серванта Боря рассматривал часы.

Вот очень знакомый экземпляр. Карманные часы в металлическом корпусе, на циферблате надпись: «Павель Буре». У Бори в детстве были точно такие же, доставшиеся ему от прадедушки. На тех часах сохранились прадедушкины инициалы, совпадавшие с первыми буквами названия марки часов. Но однажды летом те часы пропали.

Боря осторожно открыл створку серванта и взял часы. На металлическом корпусе были выгравированы знакомые буквы: «П.Б.».

Лиса, посмотрев на часы через Борино плечо, сказала, что в них нет ничего примечательного. Они не золотые и не именные. Хотя на них выгравированы чьи-то инициалы — по всей видимости, первого владельца этих часов: «П.Б.». Лиса, улыбнувшись, добавила, что владельца вряд ли звали Павлом Буре, поскольку «Павель Буре» — это название марки часов.

Боря спросил у Лисы:

— А где ты взяла эти часы?

А Лиса ответила, что ей их когда-то давно подарил Сашка — человек, с которым она тогда дружила и с которым уже много лет не виделась.

* * *

Некоторые вещи вызывают у Бори беспокойство.

Как-то раз Боря прошел мимо будки сторожа и вышел из дачного поселка. Пошел лесом.

На лесной дороге Боря увидел худого человека с лопатой. Его лицо скрывал капюшон.

Человек спросил:

— Ну что, как глаза-то? Вырастают?

— Только по ночам, — ответил Боря.

Человек погладил острие лопаты.

* * *

Боря считает, что слишком часто рассказывать кому-то о своей работе — это довольно эгоистично. Но удержаться бывает трудно — Боря любит свою работу.

За ужином Боря говорит Лисе: вчера на бирже был сбой, на открытии, цена нарисовала спайк аж до самой планки, стоп-лосс сработал — причем как раз возле планки — с большим убытком, отменять неправильные сделки, что характерно, биржа отказалась.

Лиса пошмыгивает носом, водит лицом над тарелкой — будто мышкует. Фыр-фыр.

Кажется, она не слушает Борю.

* * *

Боря любит гулять по лесу — там люди встречаются реже.

Боря как-то раз увидел старую фотографию Лисы. Лиса сказала, что эта фотография была сделана четырнадцать лет назад в выходной день.

Лиса и ее друзья в тот день отправились гулять в лес. А в лесу они нашли лисенка.

На фотографии Лиса сидит на корточках и, улыбаясь, придерживает у коленей лисенка. Рядом с Лисой стоит ее лучшая подруга Катя. А рядом с Катей стоит Санёк.

Лиса показала на Саньку и сказала, что это Сашка — ее давний знакомый, с которым она училась в институте и с которым давно не виделась. А в те годы Сашка был женихом Кати.

А еще на фотографии вокруг Лисы, Кати и Санька стоят их друзья, которых Боря по именам не знает.

* * *

Этот дом готовится к сносу. Пятиэтажка, бетонная коробка, почти целиком огорожена сетчатым забором. Пустые черные окна. Некоторые стекла выбиты. Кое-где в окнах видны остатки мебели: старые облезлые шкафы, ненужные стеллажи. За сетчатым забором, чуть в стороне от дома стоит экскаватор с опущенным ковшом. Острые ковшы уткнулось в тонкий снег.

Возле крайнего подъезда сетчатый забор заканчивается. Дверь подъезда заперта. Боря позвонил по домофону и услышал голос:

— Борь, ты, что ли?

— Я, — ответил Боря.

Дверь открылась — и Боря зашел в пустой подъезд. Под грохот собственных шагов он поднялся по лестнице на последний — пятый — этаж.

Позвонил в квартиру. Дверь открыл плотный лысоватый человек:

— Здравствуй, дядя Жень, — Боря протянул руку.

— Здравствуй, — улыбнулся лысоватый человек, пожимая Борину руку. — Не раздевайся. Сейчас спустимся на улицу.

— Здравствуй, Борь, — сказала в глубине квартиры женщина с дымчатыми волосами.

— Здравствуйте, тетя Свет.

Дядя Жень взял банку с белой краской и кисточку. Боря и дядя Жень пошли вниз.

Дядя Жень говорит:

— А нас должны были выселить до Нового года. Дом-то уже расселили. Вон и экскаватор, видишь, уже пригнали. Только в нашем подъезде осталось четыре, что ли, не то три семьи. Теперь, говорят, после Нового года выселять будут.

Вышли на улицу. Дядя Жень белой краской написал на двери подъезда большими буквами: ТУТ ЕЩЁ ЖИВУТ.

Боря смотрит на грязную проталину от теплотрассы возле дома. Потом задирает голову и смотрит на пустые черные окна.

А потом вернулись обратно в квартиру.

Возле кухонного стола на полу стояла клетка, а в ней сидел кролик. Дядя Жень показал на него и сказал:

— Это Васька. Будем запекать его на Новый год.

У дяди Жени много кроликов, потому что он их разводит на даче.

Дядя Жень спросил:

— Ну, ты-то как?.. Придешь к нам на Новый год?
— Приду, — ответил Боря. И добавил: — Только не один.

Боря и Лиса стояли у витрины магазина. Лиса тонким пальцем показывала на предмет в витрине. Лиса поворачивалась к Боре и улыбалась краешками губ.

Продавец заворачивал предмет с витрины в цветастую праздничную бумагу, перевязывал ленточкой.

Боря и Лиса стояли у прилавка на блошином рынке. Боря показывал на предмет за спиной продавца. Продавец оглядывался. Лиса спорила с Борей, а Боря спорил с Лисой.

Купленный предмет продавец заворачивал в цветастую бумагу и перевязывал ленточкой.

Боря и Лиса ехали в такси. На заднем сиденье рядом с Лисой лежали предметы в цветастой бумаге, перевязанные ленточками.

Лиса смотрит на пустые черные окна, на обшарпанные бетонные стены, на сетчатый забор, на экскаватор. Читает вслух надпись на двери подъезда, сделанную дядей Женей.

Боря представил Лису дяде Жене и тете Свете. Все рады, все улыбаются и смеются.

А потом все обменялись предметами в цветастой праздничной бумаге.

К праздничному ужину запекли кролика Ваську.

За столом дядя Женя с хитрой улыбкой смотрел то на Лису, то на Борю. Рассказывал им о том, как размножаются кролики — рассказывал про числа Фибоначчи:

— Фибоначчи это ведь просто ряд, где каждое число равно сумме двух предыдущих — один плюс ноль равно один, один плюс один равно два, два плюс один равно три, три плюс два равно пять, да? И это вроде как модель размножения кроликов — вот так они и должны размножаться в идеале: одна пара рождает еще одну — и их становится две; потом рождается еще одна пара — и уже три...

Встретили Новый год. За окном загремели фейерверки.

Боря один вышел на лестничную площадку и пошел вниз. Дверь квартиры он оставил открытой — за его спиной светился дверной проем. В подъезде было темно и тихо. Боря шел мимо чужих ничьих квартир и прислушивался. Везде тишина, только Борины шаги и фейерверки на улице. А за одной из дверей сбоку вдруг слышались смех и музыка. Здесь тоже еще живут. Боря остановился и стал озираться по сторонам.

* * *

У Бори иногда получается все, что он задумал, а иногда не получается.

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Наутро после выходных Боря запустил своего очередного торгового робота.

В первую же неделю работы робот принес семь процентов прибыли.

* * *

Ночью Боря и Коля Маржин идут по лунной дорожке. Борин глаз на макушке постоянно моргает и слезится — в темном зрачке пятном света отражается полная луна.

* * *

Вообще Боря гордится своими ночными глазами. У других таких нет.

Боря и Коля Маржин сидят на скамейке у фонаря.

Боря трет глаз на щеке, достает из него ресницу.

Потом он говорит Коле:

— Ты знаешь, эти глаза — они ведь не просто так. Они как бы видят. То есть поначалу они почти не видели. А потом прозрели и стали видеть. Хотя читать пока что не получается. Но, тем не менее, они видят. И тот глаз, что на макушке, и тот, что на щеке. Ну, то есть, я вижу ночное небо, а еще вижу вот тут, сбоку. Эти глаза как бы чужие. То есть я чувствую, что они чужие, не мои. Но я вижу через них. То есть они и мои тоже. Такие дела.

Коля говорит:

— Я вообще к этим твоим глазам относился с подозрением. Но сейчас могу сказать прямо: твои ночные глаза — это просто красиво. Вот зуб даю, ну красиво!

* * *

Боря старается скрывать свои чувства.

Это было давно. Приближался второй курс института. Борю только что уволили с летней работы.

По вине Санька была уничтожена часть базы данных предприятия, на котором Боря и Санёк работали, а Санёк свалил вину на Борю.

Санёк тогда пытался извиниться перед Борей, он объяснял:

— Ну, просто, понимаешь, дядя может помочь устроиться на работу. А если б он узнал, что это я виноват, то работы мне не видать.

Боря ему ничего на это не отвечал — только молча кивал головой.

Общались Боря и Санёк все меньше.

* * *

Боря как-то раз увидел старую фотографию Лисы: ее рыжие волосы всклокочены; Лиса одета в футболку с надписью The Gathering.

Боря сказал:

— Ого, ты слушаешь Гэзэринг? Я их тоже когда-то слушал.

Лиса сказала, что эта фотография была сделана много лет назад после концерта.

А Боря засомневался:

— Так в том году Гэзэринг у нас, по-моему, не выступали. Они в первый раз к нам приехали, кажется, году в две тысячи четвертом.

Но Лиса сказала, что это был концерт не Гэзэринг, а другой группы — просто Лиса ходила на него в футболке Гэзэринг. А вместе с Лисой на этот концерт ходили ее лучшая подруга Катя, Катин жених по имени Сашка и еще несколько их друзей и знакомых. Но на фотографии только Лиса и ее лучшая подруга Катя. Катя тоже всклокочена. А фотографировал их как раз Сашка.

* * *

Боря вспомнил, как ночью во дворе орали песни под гитару, и Санёк тогда орал громче всех, а из окна на втором этаже на них пыталась кричать какая-то бабка, грозилась вызвать милицию. Это было еще в школе, классе в одиннадцатом.

* * *

Боря не любит публичных выступлений.

В ночном клубе грохочет музыка.

Коля Маржин орет Боре на ухо:

— А поехали к цыганам!

Боря заорал в ответ:

— О! Я как раз знаю один табор! Только они, походу, ряженные!
— Да без разницы!

Приехали в верхнюю деревню.

Звучала гитара. Силуэты цыган дергались вокруг костра. Коля пошел к ним — и его силуэт стал дергаться вокруг костра.

Боря стоял в сторонке.

К Боре подошла простоволосая круглолицая женщина. Одной рукой она обвила Борину шею, а второй погладила Борину ночную голову.

— Какая голова, — прошептала женщина. — Какой взгляд. Вам очень идут его глаза.

Женщина попросила Бору выступить перед цыганами с речью. Но Боря застенялся.

* * *

Когда праздновали Новый год на первом курсе института, Боря и Санёк брели через темный заснеженный лес. Это было в небольшом поселке за городом, куда они приехали встречать Новый год с друзьями. Они пошли в магазин за спиртным и решили срезать путь через лес. Но они были нетрезвы, а просеку замело снегом. Они пробирались по хрустящим сугробам и иногда останавливались, чтобы прислушаться — где-то близко было шоссе — изредка по нему проезжали автомобили. Нужно было прислушиваться и ждать, когда появится новый автомобиль, чтобы окончательно не заблудиться.

А Санёк тогда постоянно повторял, что шоссе находится на севере. Почему на севере-то, а? Почему он так думал? Санёк был нетрезв.

* * *

Боря очень чувствителен к несправедливости в интернете.

Он заходит на сайт, посвященный домашним животным, открывает местный форум и читает:

— Из-за кошки в квартире воняет. Что делать?

А Боря пишет в ответ:

— У меня когда-то была кошка. Из-за нее в квартире воняло. Через несколько лет после ее смерти я понял, что воняло из-за меня.

* * *

Боря читает вывеску: «Женское белье». А раньше здесь была аптека. Люди стали меньше болеть. Женщины стали чаще менять белье. Возможно, эти явления взаимосвязаны.

Боря шел в аптеку, а купил купальник для Лисы.

Лиса болеет.

Лисе нужно сделать укол, почему-то бормочет Боря, Лисе нужно сделать укол.

* * *

Боря в детстве одно время хотел стать ветеринаром, чтобы лечить животных.

* * *

Ветер пытается сорвать кепку с Бориной головы. Боря придерживает кепку рукой.

От ветра дачная улица пылится. Через пыль идет Бабка Рисовая С Яблоками. Вокруг Бабки выются и гогочут дети.

Боря проходит мимо. Потом он оборачивается, смотрит им вслед и смеется.

А потом Боря идет дальше. В голове у него скомканные мысли: «А ложки-то захватили?.. Бабка-то — рисовая...»

А бабку эту прозвали Рисовой потому, что было время, когда она ходила по дачному поселку с мешком риса, который она раздобыла невесть где, — она пыталась продавать рис вразвес. А потом к прозвищу «Рисовая» добавилось «С Яблоками» — потому что рисовую бабку обычно готовят с яблоками.

Боря пришел на свою дачу, нарвал еще неспелых яблок и приготовил рисовую бабку с яблоками.

Он вышел на порог, оперся плечом на дверной косяк и, глядя на пыльную дачную улицу, стал есть Рисовую Бабку. В одной руке он держал тарелку с Бабкой, а в другой — большую столовую ложку.

Иногда рис падал на доски порога.

* * *

Это был второй курс института. Ранняя осень, начало первого семестра.

Борю недавно уволили с летней работы за ошибку, которую совершил не Боря, а Санёк.

По вине Санька была уничтожена часть базы данных предприятия, на котором Боря и Санек работали, а Санёк свалил вину на Борю.

Санёк позвонил Боре и попросил прощения за то, что он подставил Борю.

Боря сказал в ответ:

— Да ладно, забей.

Потом Санёк иногда звонил, но Боря перестал брать трубку.

Потом Боря иногда видел Санька на улице, но избегал встречи с ним.

А потом Боря перестал видеть Санька — и не видел его полгода, год, два года...

Боря больше никогда Санька не видел и не встречал.

* * *

Иногда Боря заметно волнуется.

Как-то гуляли возле речушки. Перед Борей закружилась стрекоза. Боря стал от нее увертываться.

Лиса сказала, что это всего лишь стрекоза.

Боря взволнованно ответил:

— Вообще-то стрекозы — это хищники!

* * *

В детстве Боря не всегда слушал родителей.

Он и Санёк тогда учились в восьмом классе.

Боря и его родные праздновали Новый год у дяди Жени, в его пятиэтажке.

А Санёк праздновал Новый год вместе с Борей и его родными.

Ночью, после встречи Нового года, Боря и Санёк пошли гулять. Санёк предложил пойти в местный парк. В парке они встретили ребят из девятого класса своей школы. Санёк с ними дружил и пошел гулять с ними. А Боря с ними не дружил — и гулять с ними не пошел. Он немного погулял один, а потом вернулся в пятиэтажку.

Потом, после праздников, мать говорила Боре, что Санёк подлый человек, что он специально бросил Борю в Новый год — какой же он после этого друг? А Боря отвечал, что не пошел гулять потому, что сам не захотел.

* * *

Боря биржевой спекулянт. Ему нравится работать одному.

Боря сидит перед экраном компьютера и вспоминает четвертый курс института. Он тогда только начал заниматься биржевыми спекуляциями.

Так же как и теперь, Боря один сидел перед экраном компьютера и программировал торгового робота.

А потом вдруг рядом появился Санёк и стал ему подсказывать, как лучше протестировать алгоритм.

Потом вдруг рядом появилась Лиса и стала интересоваться торговыми алгоритмами, а Боря начал объяснять ей, что существует персистентность и антиперсистентность. Антиперсистентность — это когда ценовой ряд постоянно возвращается к среднему значению. А персистентность — наоборот — когда ценовой ряд носит трендовый характер и переходит с одного уровня на другой.

Но вдруг Санёк и Лиса растворились в воздухе так же неожиданно, как и появились. Боря по-прежнему сидел перед экраном компьютера один.

И теперь, спустя много лет, он тоже сидит перед экраном компьютера и бормочет себе под нос:

— Персистентность, антиперсистентность... при чем здесь?..

* * *

Боре не нравится излишнее внимание и чрезмерное восхищение.

Простоволосая круглолицая женщина смотрела на Борю с обожанием. Она без конца повторяла:

— Какая голова...

А потом сказала:

— Борь, а давай покрасим тебе ресницы тушью.

Она коснулась Бориной щеки и начала присматриваться к его ночному глазу.

И в конце концов объявила:

— Я принесу тушь.

Но Боря заартачился и не дал красить себе ресницы. Он сказал:

— Да ну. Как-то неудобно. Что скажет Коля Маржин?

* * *

Боря считает себя вполне зрелым человеком.

Зимой дома у Лисы жила ворона. У вороны было сломано крыло.

Когда ворону принесли домой, Боря первым делом взял лейкопластырь. Небольшим кусочком лейкопластыря он заклеил вороне клюв, чтобы та не кусалась. Затем он оторвал кусочек побольше и стал закреплять сломанное крыло. Боря положил сломанное крыло сверху на здоровое, и закрепил оба крыла, примотав их пластырем к хвосту.

Благодаря этому крыло вороны стало выздоравливать.

* * *

Боря не всегда контролирует свои чувства.

Он преданно смотрел на Лису.

А потом Боря вдруг сказал Лисе:

— Я тебя люблю.
— Что?

* * *

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.
Боря запустил своего очередного торгового робота.
В первую же неделю работы робот принес семь процентов убытка.

* * *

На площади в ужасе столпились люди.
В самом центре площади кружился огромный Хоровод детей.
Люди смотрели на этот Хоровод, а некоторые из них на всякий случай хлопали в ладоши.
Кто-то не выдерживал и хватался за сердце.
По бульварам и переулкам к площади спешили машины «скорой помощи» — визжали сирены.

* * *

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе. Санёк подружился с ребятами из девятого класса. Он стал меньше общаться с Борей, а иногда избегал его.

* * *

Бывало, что люди относились к Боре менее доброжелательно, чем он к ним.

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе.
Боря по алгебре и по геометрии учился, в основном, на «отлично».
Санёк неплохо знал основы информатики и вычислительной техники, а вот с алгеброй и геометрией у него бывали проблемы. Поэтому Боря иногда давал Саньку списывать домашнюю работу — Боря хорошо знал алгебру и геометрию. Однажды даже учительница поставила Борю в пример всему классу.

Санёк тогда дружил с ребятами из девятого класса. Однажды Боря услышал, как Санёк говорит им про Борю: дескать, Боря ботан и, дескать, Боря учится на «отлично» ради похвалы учительницы.

* * *

Друзей у Бори немного.

Боря слегка обнял простоволосую круглолицую женщину за плечи и сказал:
— Я буду звать тебя Сишечкой. Или Ришечкой. Как тебе больше нравится.
— Лучше Сишечкой.
— Хорошо, Сишечка.

И вот они втроем идут навстречу ветру. Боря — чуть впереди. По левую руку от него, слегка отставая, идет Сишечка. По правую — Коля Маржин. Они смотрят только вперед. Их глаза не моргают. Их волосы развеваются на ветру. Их груди вздымаются. Их сердца бьются в унисон.

* * *

Боря любит гулять по лесу и по парку, где поменьше людей.

Боря пришел в пустой ветреный осенний парк. Здесь не с кем поговорить.

А много лет назад здесь разводили костер и жарили шашлыки. Все вокруг громко разговаривали, пели и смеялись. Это было после первого курса. Летняя сессия в институте завершилась.

Санёк тогда рассказывал Боре:

— А я себе лыжи купил. Этой зимой начну на них ходить.

— Зачем? — удивлялся Боря.

— У меня в институте есть две знакомые — Катька и Лиса. Надо тебя, кстати, с ними познакомить. Так вот, они ходят на лыжах — причем Катька занимается еще и горными лыжами...

* * *

В комнате было светло.

Боря вдруг закружился по комнате и закричал:

— А давайте водить хоровод!

Но тут же на его шее повисла Сишечка:

— Какой же ты легкомысленный!

А потом она добавила:

— Но как же приятно тебя обнимать!

* * *

Боря всегда боялся сцены и публичных выступлений.

Сишечка в очередной раз привела Боря к цыганам.

Она вела его под руку по верхней деревне. Их уже ждали: впереди горел костер; в свете костра стояли цыгане. Они подняли руки, изготовившись аплодировать.

Боря волновался.

Сишечка вывела его на свет. От света Боря зажмурился всеми четырьмя глазами.

Цыгане зааплодировали.

* * *

Цыгане то уходили в темноту, а то возвращались к костру. Звучала гитара.

Сишечка сидела почти у самого пламени. Она оживленно жестикулировала, показывая на Боря. Пыталась перекричать гитару.

Боря стоял в сторонке.

Он был рад, что от него ничего не требуется и что никто не донимает его вопросами — все слушают Сишечку.

* * *

— Ну как? Получается? — спросил Коля Маржин.

— Пока не очень, — грустно ответил Боря.

Он лежал на диване лицом вниз. А перед его макушкой лежала раскрытая книга. Глаз на макушке пристально смотрел на страницы.

— Нет. Буквы сливаются. Ничего не разобрать, — вздохнул Боря и поднялся с дивана.

— Так может, попробовать другую книгу? — предположил Коля Маржин.

— Давай, — согласился Боря и снова лег на диван лицом вниз.

Коля Маржин достал из шкафа «Песнь льда и пламени» и раскрыл ее перед Бориной макушкой.

— Нет. Пока все сливается, — сказал Боря.

В дверях комнаты появилась Сишечка.

— Ну как у вас?..

— Пока никак, — ответил Коля Маржин.

— Я приготовлю чай, — сказала Сишечка.

* * *

Было лето. Влюбленный зеленоглазый Боря ходил по городу. Солнце нежно лоснилось, нежилось на его жирной коже. И его лицо жарилось в собственном соку.

Жарко. Цветом похожая на песок — желтоватая сковорода проспекта.

Вот памятник на коне. А за памятником — мост через реку. На том берегу реки — стеклянные башни.

Влюбленным зеленоглазым Борей сегодня все хотели помыкать. А он хотел нарочно делать все наоборот. Боря гордо задирает подбородок. И улыбался. И задыхался, пытаясь сдерживать смех. От смеха, булькающего на дне горла, подрагивал его кадык.

Влюбленный зеленоглазый Боря хотел нарочно делать все наоборот — лишь бы помыкали.

К Боре подошла женщина и спросила:

— Молодой человек, не подскажете, где метро?

Влюбленный зеленоглазый Боря послал ее на х...

* * *

Цыгане ушли в верхнюю деревню и пели там свое айнанэ. Боря и Сишечка с ними не пошли, а остались возле костра.

Возле костра сидел худой человек с лопатой. Его лицо скрывал капюшон.

Боря воскликнул дрожащим голосом:

— Че он на меня так смотрит?

— Как смотрит? — удивилась Сишечка.

— Из-под капюшона, — сказал Боря и тут же закричал: — Пускай снимет! Я хочу увидеть его глаза!

Сишечка стала его успокаивать:

— Ой, да ладно, Борь. У него дурные глаза. То ли дело у тебя.

* * *

Во время долгих поездок Боря любит читать.

Лиса показывала Боре старую фотографию:

Лиса, ее лучшая подруга Катя, Санёк, совсем молодые, стоят перед вагоном поезда. В их руках лыжи и лыжные палки. Они отправляются в горы кататься на лыжах. Катя и Санёк держатся за руки.

...Боря отправляется с ними.

Они вчетвером сидят в купе поезда. В углу стоят лыжи и лыжные палки. Санёк что-то рассказывает Лисе и Кате. Те смеются. Боря в тот год только начал интересоваться биржевой торговлей. Пока поезд едет, Боря читает книжку «Статистика для трейдеров» Булашева.

«...3) Дисперсия ошибки должна быть постоянна: $D(e_k) = \sigma^2$.

Это означает, что при увеличении объема выборки, дисперсия оценок параметров регрессии стремится к нулю, то есть оценки параметров регрессии являются состоятельными.

4) Ошибки должны быть независимыми, то есть...»

Боря потихоньку исчезает из купе, потому что его там никогда и не было. Он оказывается перед экраном компьютера. У него много дел. Надо программировать торгового робота.

* * *

Что плохого в шутках о смерти?

Боря и Лиса приехали на дачу родителей Лисы.

Возле дачного дома была вырыта небольшая продолговатая яма.

Боря показал на эту яму и пошутил:

— А это что — детская могилка? — и заулыбался.

* * *

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе.

На школьный праздник в актовом зале организовали концерт. Боря и Санёк были зрителями — они пришли в зал и заняли соседние места возле прохода.

Но перед самым началом концерта к Саньку подошли шедшие по проходу ребята из девятого класса, с которыми он тогда дружил, и сказали: «Че ты сидишь с этим? Пошли к нам», — и Санёк пошел с ними.

* * *

Боря не любит, когда ему говорят комплименты.

Сишечка взяла Борю за руку и подвела к костру.

Вокруг костра сидели цыгане и худой человек, державший на коленях лопату. Его лицо скрывал капюшон.

Сишечка вывела Борю на свет и обратилась к цыганам:

— Скажите, ну ведь правда же, замечательная голова.

Худой человек погладил острие лопаты и, не глядя на Борю, сказал:

— Хорошая голова. Добротная.

Сишечка положила свою голову Боре на плечо и сказала:

— Видишь, тебя здесь ценят.

* * *

Дядя Женя разводит кроликов.

Он показал на пару белых пушистых кроликов и спросил:

— Борь, а ты знаешь, что такое Фибоначчи?

— Да конечно знаю, дядь Жень. Последовательность чисел, в которой каждое новое число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее.

— А ты знаешь, откуда это взялось?

— Что взялось — сами числа? Ну, вообще они известны с древности. Или ты имеешь в виду кроликов? Типа, числа Фибоначчи — это такая модель размножения кроликов...

Дядя Женя его перебил:

— Я тебя вот о чем хотел спросить. Ты ведь торгуешь — где — на Форексе? Я сейчас читаю об этом книгу — и там как раз много про эти числа Фибоначчи написано...

Боря прочитал дяде Жене лекцию:

— Дядь Жень, я торгую не на Форексе, а на бирже. Форекс это лохотрон. Там если и можно стабильно зарабатывать, то только на арбитражных сделках. А для этого нужна высокая скорость исполнения сделок и низкие спреды и проскальзывания. И писать под это дело робота, потому что руками это все торговать невозможно. Форексникам зарабатывающие клиенты вообще не выгодны. Нашел, куда лезть, дядь Жень. Ты бы еще в бинарные опционы поигрался. А числа Фибоначчи — это суеверие.

Цена на рынке большую часть времени просто случайно блуждает. Ну какие тут числа Фибоначчи? А прибыль — это производная от риска — чем выше риск, тем больше возможная прибыль. Это почти казино.

* * *

Боря любит думать в одиночестве.

Ночью Боря смотрит в зеркало и думает: «Ну глаза и глаза. Один на щеке, другой на макушке. Обычные глаза. Что бы им дать почитать такого или посмотреть, чтобы они уже наконец насытились?..»

* * *

Боря не любит различные собрания, но иногда в них участвует.

Сегодня в арендованном на пару часов школьном актовом зале проходит ежегодное собрание товарищества садоводов-дачников. Председатель товарищества читает отчет о расходовании общих средств.

Боря сидит на последнем ряду с краю.

Немного впереди, так же с краю, сидит женщина. Она держит на поводке средней величины белую собаку.

Боря думает: почему женщину пропустили в зал с собакой?

Собака сидит почти неподвижно.

Собрание закончилось, и Боря пошел к двери на выход.

Женщина с собакой шла впереди.

Перед дверью была ступенька. Собака остановилась перед ступенькой. Женщина сказала:

— Давай, поднимайся. Вот ступенька.

Боря спросил:

— Она слепая?

— Она тупая.

* * *

Во время работы Борю интересуют различные детали и аспекты.

Боря биржевой спекулянт.

Он показывает на экран компьютера и говорит:

— ...Вообще график доходности можно сгладить, если нормировать торгуемый объем на волатильность. Самый простой способ — это использовать фиксированный риск на каждую сделку. Ну, например: в каждой сделке мы будем рисковать тремя процентами текущего капитала — соответственно, чем выше волатильность, тем дальше ставится защитный стоп-лосс, а чем дальше защитный стоп-лосс, тем выше уровень потенциальных убытков — а значит, чтобы снизить уровень потенциальных убытков, нужно снизить объем открываемой сделки...

* * *

Некоторые вещи раздражают Борю.

В тот день Боря никак не мог перейти улицу, хоть светофор и был зеленый. Дорогу перегородил Хоровод детей. Даже автомобили замерли, не смея сигналить.

* * *

Ночью, когда Боря выключал в комнате свет и ложился на диван, в платяном шкафу бесшумно шевелились шубы, подрагивая рукавами. В глубине рукавов ползали жирные, похожие на опарышей, пальцы.

Переехали в другую квартиру. В этой другой квартире уже жила кошка. Кошка с недоумением смотрела на новых людей на ее территории. Стали ее кормить.

У кошки была чужая жизнь. Совсем чужая жизнь.

Боря лежал на диване и бормотал во сне: Лиса.

* * *

Боре больше нравится возиться с документами, чем с людьми.

Боря биржевой спекулянт.

Он показал на экран компьютера и сказал:

— Я веду статистику по своим сделкам в обычном Экселе. Смотри, я выгружаю данные из таблицы торгового терминала в Эксель — тут же мне видны сделки, закрытые с чрезмерным убытком или аномально большой прибылью, и тут же на графике отрисовываются все изменения депозита.

* * *

Боря ехал с дачи на электричке. Он сидел у окна. А у его ног лежали два пакета с яблоками. За окном была осень.

Яблони на даче сажал и прививал еще Борин дед. Сам Боря, сколько ни пытался прививать яблони — ни одна не прижилась. Все яблони, привитые Борей, засохли. Только дедовы яблони плодоносили. Боря ехал на электричке и вез два пакета незаконных яблок с дачи.

В вагон зашли контролеры и стали проверять у пассажиров билеты. А те, у кого билетов не было, либо покупали билеты у контролеров, либо вставали со своих мест и спешили в соседний вагон. Боря смотрел вслед убегающим безбилетникам — и сердце его колотилось, будто он сам бежал.

Боря все хорошо обдумал.

Когда к нему подошел контролер, Боря протянул тому деньги и сказал:

— А дайте билеты моим яблокам. Яблоки у меня безбилетные. Билеты им дайте.

* * *

1,1,2,3,5,8,13...

Когда Борин дядя Женя начинал разводить кроликов, у него была только одна пара — Гриша и Наташа.

По закону чисел Фибоначчи Наташа забеременела и родила еще одну пару кроликов, которых назвали Вильгельмом и Изольдой.

Дядя Женя одной рукой поднял Гришу за задние лапы, а в другую руку взял черенок от лопаты.

Он ударил Гришу черенком по макушке.

Потом он повесил Гришу вниз головой, растянув его лапы на распорке.

Дядя Женя взял короткий нож, приблизил его к Грише и пробормотал:

— Тоже мне, Фибоначчи, бляха-муха...

* * *

Сишечка иногда бывает весьма безрассудна.
Но Борю это не беспокоит.

Как-то раз Сишечка побрила голову налысо. А потом она пришла к татуировщику и сказала:

— Сделайте мне татуировку в виде арбуза на всю голову — хочу себе арбузное темечко, как у писателя Виктора Иванова.

Сишечка перестала быть простоволосой, а стала лысой.

Но она осталась круглолицей.

И даже стала арбузной.

Сишечка обняла Борю и прошептала:

— Теперь я Арбузыня.

* * *

Иногда Боря думает: музыка важнее разговоров.

Боря тогда учился на первом курсе института.

В квартире у одного из знакомых Бори праздновали День Октябрьской революции, был праздничный выходной.

Постоянно был включен музыкальный проигрыватель. А музыка играла разная.

И кто-то поставил в проигрыватель альбом голландской группы The Gathering.

Прозвучали две первые песни с альбома — и Боря начал вслушиваться. Он эту группу раньше не слышал. Боря сел рядом с проигрывателем и начал вслушиваться.

Вдруг на Борю навалился пьяный Санёк — он обнял Борю рукой, в которой держал бутылку пива, и сказал:

— О! Это Гэзэринг! Отличная группа! Я тебе говорил? У меня в институте есть подруга — Лиса! Она как раз фанатка Гэзэринг! Так вот, Лиса...

Санёк продолжал говорить, но Боря его не слушал. Боря внимательно слушал The Gathering.

* * *

Боря весьма вежлив.

Однажды Боря и Коля Маржин стояли на остановке. Ждали автобус.

Коля Маржин сказал:

— А я в автобусах люблю шарить по карманам пассажиров. Хочешь, покажу?

Боря из вежливости не стал возражать.

* * *

Боря очень педантично относится к своей работе.

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Он берет ценовой ряд и тестирует на нем алгоритм — берет ценовые данные за несколько лет, загружает их в программу и задает базовые условия: момент входа в рынок и момент выхода.

Потом он оценивает получившийся график доходности (достаточно визуальной оценки — никаких математических коэффициентов, вроде Шарпа или Сортино, для оценки гладкости графика Боря не использует).

Потом он оценивает профит-фактор — отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных.

Потом смотрит на величину средней прибыли на сделку. Также смотрит на максимальную просадку в процентах.

Потом отфильтровывает аномально большие прибыли при помощи правила «трех сигм»: считает среднеквадратичное отклонение прибыли в большую сторону, умножает его на три и прибавляет к среднему значению, после чего удаляет из результатов тестирования все сделки, прибыль от которых превышает получившуюся цифру.

* * *

Чужая критика почти никогда не мотивирует Борю. Скорее уж наоборот.

Боря в детстве любил рисовать.

А когда он учился в начальной школе, у них бывали уроки рисования.

Однажды на таком уроке Боря рисовал собаку.

А учительница посмотрела на рисунок и спросила:

— Это что — лиса?

А Боря ответил, что это не лиса, а собака.

А учительница сказала, что это больше похоже на лису, чем на собаку.

А еще она сказала, что Боре нужно лучше учиться и больше тренироваться.

Боря тогда разлюбил рисовать.

* * *

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Предвкушение успеха вдохновляет Борю.

Он разработал прибыльную торговую стратегию и сделал под нее робота. Утром он нетерпеливо ходил по комнате, ожидая открытия торгов на бирже.

Торги открылись, и Боря запустил своего робота.

В первый же день работы робот принес семь процентов убытка.

* * *

Боря весьма предусмотрителен.

Он показывает на экран компьютера и говорит:

— ...Любой прогноз на рынке носит вероятностный характер. Стопроцентный прогноз невозможен. Мы должны быть готовы к любому сценарию поведения цены. Все, что от нас более-менее зависит, — это наши собственные риски. Есть три основных способа контроля рисков: своевременная фиксация убытка (защитный стоп-лосс), хеджирование и диверсификация. Стоп-лосс обычно используется в направленных трендовых алгоритмах, у которых процент убыточных сделок превышает процент прибыльных — то есть стоп-лосс — это просто ценовой уровень, на котором фиксируется убыток, если цена пошла против прогнозируемого направления...

* * *

Боря как-то раз увидел старую фотографию: вот Лиса, вот Санёк, вот незнакомые лица — друзья и знакомые Лисы и Санька. Фотография сделана на фоне подъезда многоэтажного дома.

Ребята веселой гурьбой вываливаются из подъезда — все в обнимку. Останавливаются, улыбаются в объектив фотоаппарата. Вдруг появляется Боря. Он

смеется и всех обнимает. Затем он смотрит в объектив и смеется. Фотоаппарат вспышивает — снимок застывает. Но Бори на снимке нет.

* * *

Подруга Лисы Катя и Санёк хотят отправиться в горы кататься на лыжах. Они уговаривают Лису поехать с ними, а та отказывается. Боря стоит в сторонке и молчит — его никто не уговаривает, потому что его там не было. Он просто смотрит на старую фотографию: Лиса, ее лучшая подруга Катя, Санёк, совсем молодые, стоят перед вагоном поезда; в их руках лыжи и лыжные палки; они отправляются в горы кататься на лыжах.

Лиса сказала, что Катя и Санёк уговаривали ее поехать кататься в горы вместе с ними. А Лиса отказывалась, но не потому, что боялась, а потому, что не хотела мешать Кате и Саньку быть вдвоем.

* * *

Боря биржевой спекулянт.

Он разговаривает с Хороводом детей и объясняет ему:

— Вообще, ребяташки, я бы вам не советовал заниматься трейдингом. Профессия у нас нервная. Деньги мы зарабатываем с трудом, а теряем легко. Эх, персистентность, антиперсистентность...

* * *

Некоторые люди бывают эгоистичны.

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе.

Боря по алгебре и по геометрии учился, в основном, на «отлично».

Санёк неплохо знал основы информатики и вычислительной техники, а вот с алгеброй и геометрией у него бывали проблемы. Поэтому Боря иногда давал Саньку списывать домашнюю работу. А однажды Санёк списывал у Бори контрольную работу. Учительница это заметила и наказала обоих.

* * *

Иногда Боря любит пошутить и посмотреть на улыбки людей.

Боря и Лиса приехали на дачу родителей Лисы.

Возле дачного дома была вырыта небольшая продолговатая яма.

Боря показал на эту яму и пошутил:

— А это что — детская могилка? — И заулыбался.

Боря посмотрел на Лису и ее родителей — никто не засмеялся.

* * *

А дядя Женья тоже любит пошутить.

Однажды дядя Женья спросил:

— Борь, смотри, загадка: пушистый домашний зверек — что это?

Боря предположил:

— Кролик?

— Нет. Плесень! — засмеялся дядя Женья.

* * *

Боря и Лиса пришли в театр.

В зале темно.

Внизу на сцену в пятно света выходит мужчина и вздымает руки над головой. Медленно машет руками из стороны в сторону.

Мужчина ушел со сцены, пятно света погасло, и тут же вся сцена осветилась.

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашенные картоны, изображающие деревья, позади было протянуто полотно на досках. По сцене ходили мужчины в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах.

В зрительном зале было темно и тихо. Но время от времени было слышно, как чихают заядлые театралы — в темноте то и дело раздавалось:

— Чехов-чехов! Чехов-чехов!

— Будьте здоровы!

— Спасибо.

— Чехов-чехов!

— Будьте здоровы!

* * *

Если Боре приходится долго сидеть на скучной лекции или на собрании, он начинает рисовать.

Боря может нарисовать собаку.

В арендованном на пару часов школьном актовом зале проходит ежегодное собрание товарищества садоводов-дачников. Председатель товарищества читает отчет о расходовании общих средств.

Боря сидит на последнем ряду с краю.

Немного впереди, так же с краю, сидит женщина. Она держит на поводке средней величины белую собаку.

Боря думает: почему женщину пропустили в зал с собакой?

Собака сидит почти неподвижно.

Боря достал из кармана листок бумаги и ручку. И принялся рисовать собаку.

Собрание закончилось, и Боря пошел к двери на выход.

Женщина с собакой шла впереди.

Перед дверью была ступенька. Собака остановилась перед ступенькой. А женщина сказала:

— Давай, поднимайся. Вот ступенька.

Боря спросил:

— Она слепая?

— Она тупая.

Боря протянул женщине листок, на котором была нарисована ее собака.

А женщина посмотрела на рисунок и спросила:

— Это что — лиса?

— Нет, это ваша собака.

— Больше похоже на лису.

* * *

Боря снисходителен к людским суевериям и заблуждениям.

Боря биржевой спекулянт. Он сидит перед экраном компьютера и беззвучно шевелит губами.

На кухне хлопочут пришедшие в гости тетя Света и дядя Женья.

Вдруг тетя Света подошла к Боре и что-то у него спросила. Боря, не отвлекаясь от экрана, сказал:

— Теть Свет, я сейчас очень занят. Я пытаюсь понять, где ошибка — система прибыльная, а робот все равно дает убыток...

Тетя Света сказала:

— Ты ведь родился под влиянием Меркурия. А те, кто родились под влиянием Меркурия, очень дотошны в своих исследованиях.

Боря в ответ понимающе кивнул.

* * *

Иногда Боре кажется, что должно произойти что-то плохое.

Худой человек с лопатой все чаще стал появляться в городе. Боря постоянно видел его у светофора. Его лицо скрывал капюшон. Иногда худой человек слегка ударял лопатой по столбу светофора — и лопата звонко звенела.

А иногда худой человек поднимал острое блестящее лезвие лопаты над головой и пускал солнечные зайчики. Он старался делать так, чтобы солнечные зайчики попадали в глаза Боре. Борины глаза от этого слезились — он закрывал их ладонью и отворачивался.

* * *

Боря идет по парку.

Лиса рассказывала, что в детстве, когда ей было семь лет, она гуляла в этом парке со своей мамой. У Лисы тогда болели ноги. Ей было тяжело долго ходить — она то и дело садилась на скамейку, и мама массиовала ей ноги.

* * *

Боря не любит различные государственные церемонии и общественные праздники.

За ужином Боря говорит:

— Интересно, сколько они тратят наших налогов на все эти церемонии и праздники?

* * *

Боря и Лиса приехали на дачу родителей Лисы.

Возле дачного дома была вырыта небольшая продолговатая яма.

Боря показал на эту яму и пошутил:

— А это что — детская могилка? — И заулыбался.

Боря посмотрел на Лису и ее родителей — никто не засмеялся.

Лиса потом сказала, что нельзя шутить про детские могилки. А Боря ответил:

— Ну смешно же...

А Лиса сказала, что не смешно и что ее родители таких шуток не понимают, и что так шутить неприлично.

* * *

Боря не доверяет чужому мнению.

Боря биржевой спекулянт. Он говорит:

— ...Никогда нельзя слушать всяких аналитиков, экспертов и прочих теоретиков, сидящих на зарплате в банках и финансовых изданиях. Все торговые решения на бирже

нужно принимать самостоятельно. Надо понимать, что никто не может на сто процентов спрогнозировать, куда пойдет цена. Больше того, нельзя даже спрогнозировать, какая стратегия в будущем будет работать, а какая нет. Единственный выход — максимальная диверсификация...

* * *

Иногда Боря испытывает чувства стыда и жалости к самому себе.

Днем в макдональдсе Боря говорит:

— Знаешь, когда-то давно был у меня друг детства — Санёк. Мы с ним не общаемся уже, наверно, лет шестнадцать. Но в последнее время мне снятся очень странные сны. Часто снится, будто я люблю женщину, которую зовут Лисой. Ну, так ее называют друзья и знакомые. И вот я с ней общаюсь, она рассказывает мне что-то о своей прошлой жизни, я смотрю ее старые фотографии... И выясняется, что в юности она была знакома с Саньком. А Лиса не знает, что я тоже когда-то был знаком с Саньком. И я вспоминаю, как Санёк рассказывал мне о ней и все обещал меня с ней познакомить. А потом мы с Саньком перестали общаться — и с Лисой я тогда так и не познакомился. Хотя выходит, что мог бы познакомиться. И вот я во сне разглядываю ее старые фотографии — я вижу ее прошлую жизнь — ее юность — и понимаю, что эту юность она могла провести со мной. И мне начинает казаться, что я там был — я воображаю, будто я был с Лисой тогда — с Лисой и ее друзьями. И в этом моем воображении даже Санёк будто бы остается моим другом. Но потом воображение отступает, и я понимаю, что все это всего лишь фантазии — я не был с Лисой в юности, я познакомился с ней — вот — совсем недавно. Господи, как стыдно мне становится. И прошлая жизнь Лисы — вся ее юность — кажется мне какой-то чужой. А я и сам чужак — посторонний, пришелец, вторгающийся в ее юность.

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

* * *

Днем в макдональдсе Боря говорит:

— Знаешь, когда-то давно был у меня друг детства — Санёк. Мы с ним не общаемся уже, наверно, лет шестнадцать. И ведь, если подумать, хорошим другом он мне никогда особо не был. Да и я вряд ли был ему другом. Слишком разные были интересы. А сколько лет я с ним был знаком? В один детский сад ходили, потом в одной школе в одном классе учились, потом после школы год, наверно, общались...

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

* * *

Боря редко меняет привычки. Ему сложно смотреть в будущее, он чаще обращается к воспоминаниям.

Днем в макдональдсе Боря говорит про Лису:

— ...И вот я во сне разглядываю ее старые фотографии — я вижу ее прошлую жизнь — ее юность — и понимаю, что эту юность она могла провести со мной. И мне начинает казаться, что я там был, — я воображаю, будто я был с Лисой тогда — с Лисой и ее друзьями. И в этом моем воображении даже Санёк будто бы остается моим другом. Но потом воображение отступает, и я понимаю, что все это всего лишь фантазии — я не был с Лисой в юности, я познакомился с ней — вот — совсем недавно. Господи,

как стыдно мне становится. И прошлая жизнь Лисы — вся ее юность — кажется мне какой-то чужой. А я и сам чужак — посторонний, пришелец, вторгающийся в ее юность. Но постепенно я начинаю ощущать, что юность Лисы перестает быть для меня чужой. То есть она становится как бы и моей тоже. Чем больше я воображаю себя в юности Лисы, тем роднее становятся мне и все ее друзья. Я вижу их будто вживую. И лучшую подругу Лисы я вижу будто вживую. И всех остальных друзей Лисы я вижу будто вживую. И все эти чужие, незнакомые люди, которых я никогда в жизни не видел, вдруг становятся мне родными. Нет, я серьезно. Даже когда мое воображение отступает — и я возвращаюсь в реальный мир, — даже тогда я чувствую, что все эти люди мне родные. И даже Санёк становится мне родным, но уже как-то иначе родным — по-новому — то есть это уже совсем другой человек, родной мне. Как будто это не тот Санёк, которого я знал, а какой-то новый Санёк.

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

* * *

В парке два Хоровода детей соревновались, кто из них быстрее.

Один Хоровод делал полный оборот за пятнадцать секунд, а другой — за двадцать семь.

Второй Хоровод просто был больше в диаметре, поэтому и кружился медленнее.

Но проигрывать ему не хотелось. Второй Хоровод настолько рассвирепел из-за поражения, что начал поглощать первый Хоровод.

* * *

Некоторые решения даются очень тяжело.

Боря и Коля Маржин пришли в ювелирный магазин.

Боря посмотрел на витрину с золотыми кольцами, а потом повернулся к Коле и спросил:

— Слушай, а если я сделаю Лисе предложение, ты будешь свидетелем на нашей свадьбе? А то мне кроме тебя некого позвать.

Коля Маржин радостно ответил:

— Конечно буду!

* * *

Боря умеет сосредотачиваться на своей работе.

Боря биржевой спекулянт.

Он смотрит в экран компьютера. На экране медленно рисуется график цены фьючерсного контракта. Борин робот только что приобрел несколько контрактов.

В комнате ужасно шумно. Вокруг множество людей. Все галдят. Игрет музыка группы The Gathering. Борю то и дело похлопывают по плечу и приобнимают чьи-то руки. Из всех гостей Боря с легкостью узнает только Лису, ее лучшую подругу Катю и Санька. Лица и имена остальных постоянно ускользают и меняются. Музыка тоже ускользает. Стихают голоса Лисы, Кати и Санька. Все вокруг стихает и исчезает. На экране компьютера медленно рисуется график. Борин робот только что приобрел несколько контрактов. Кроме Бори в комнате никого нет.

* * *

Боря бывает вежлив с незнакомыми людьми.

Боря ехал в автобусе. На остановке в автобус зашел упитанный очкарик с салынными черными волосами — за спиной у него висел рюкзак.

Упитанный очкарик поглядел по сторонам, а потом вдруг быстрым шагом подошел к пассажиру, который стоял рядом с Борей. Упитанный очкарик сказал пассажиру:

— Борис, здравствуйте.

— Я не Борис, — ответил пассажир.

— Нет? — сказал очкарик. — А я, вроде бы, вас знаю...

— Нет, вы обознались, — сказал пассажир.

— Извините, — смутился очкарик.

Боря на всякий случай вежливо сказал:

— Это я Борис.

Но упитанный очкарик ему не поверил.

* * *

Боря любит вспоминать юность, проведенную с друзьями.

Однажды Боря увидел фотографию десятилетней давности. На фотографии — свадьба Кати — лучшей подруги Лисы. Катя выходила замуж за Санька.

Лиса сказала, что она на этой свадьбе не была, потому что никак не могла отпроситься с работы.

А спустя год после свадьбы Санёк и Катя развелись.

* * *

Боря считает, что риск должен быть оправдан.

Зима. Белый парк. Падают толстые снежинки.

Боря надел лыжи, повернулся к Лисе и спросил:

— А ты все еще общаешься с Катей? Я ведь ее еще ни разу не видел.

Лиса сказала, что Катя погибла спустя несколько месяцев после развода с Саньком — разбилась, катаясь на горных лыжах, незадолго до празднования своего двадцатилетия.

* * *

Боря любит чистоту.

В тот день Боря помогал Лисе делать уборку.

На одном из кресел в гостиной беспорядочно валялись книги. Боря перебирал их и нашел две старые фотографии. Боря их уже видел — ему их показывала Лиса.

На одной фотографии — Лиса и Катя. У Лисы всклокочены волосы. Она одета в футболку с надписью The Gathering.

На второй фотографии: Лиса, Санёк, еще несколько человек сидят на кухне с гитарой. Празднуют чей-то день рождения.

* * *

Боре бывает тяжело говорить о прошлом.

Боре вообще иногда бывает тяжело говорить.

Боря посмотрел на вторую фотографию. На ней стояла дата.

Боря помнил ту дату, ведь в тот день он ходил менять паспорт, поскольку незадолго до этого ему исполнилось двадцать лет.

А потом Боря посмотрел на первую фотографию. Он посмотрел на Катю и вспомнил другую фотографию — ту, на которой Лиса, Катя и Санёк стоят с лыжами возле поезда. А потом Катя умерла.

Боря стоял неподвижно, но Лиса что-то заметила на его лице. Она спросила, что случилось.

Боря признался Лисе, что когда-то он был знаком с Саньком, и они были друзьями, а потом перестали общаться.

Лиса спросила Бору, почему он перестал общаться с Саньком.

А Боря, сказал, что расскажет ей об этом как-нибудь потом.

* * *

Боря пошел гулять.

Внезапно со стороны сквера зазвучала легкая живая музыка. Боря повернул туда голову и увидел, что со стороны сквера к нему приближается Хоровод детей.

Боря застыл на месте.

Он подумал: замри, если не будешь двигаться, они тебя не заметят.

* * *

Коля Маржин однажды сказал:

— Борь, знаешь, кого ты мне напоминаешь? Четырехглазого пса Гарма, который охраняет Царство Мёртвых, предвестника конца света и гибели богов! Только жалко, что у тебя голова не песья. Хотелось бы побольше псоглавцев.

Потом Коля Маржин вдруг спросил:

— Слушай, а я говорил тебе, что пишу стихи?

Боря отрицательно мотнул головой.

— Я, когда пишу стихи, использую числа Фибоначчи, — сказал Коля. — Ты знаешь, что такое Фибоначчи?

— Да конечно знаю. Последовательность, в которой каждое новое число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее.

— Ну да. А я из них составляю стихотворные размеры и строфы. Например, дольники со смещенной цезурой.

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Ну как — зачем? Есть идеальный стихотворный размер, основанный на Фибоначчах, — пятистопный дольник с цезурой после третьей стопы. Тут дело вот в чем: берется обычный пятистопный дольник со свободным ударением, но ударения третьей и четвертой стоп фиксируются на их стыке — то есть два ударных слога стоят впритык, но только не в середине строки — то есть цезурная пауза смещается немного вправо, и получается небольшая асимметрия. Такой себе асимметричный дольник.

— Коль, да я в этом ничего не понимаю. Дольник, цезура...

— Сейчас поймешь, — ответил Коля Маржин. — Я это все к тому, что я таким размером написал стихотворение про четырехглазого пса Гарма — про то, как он охраняет Царство Мёртвых. Но вообще-то стихотворение посвящено тебе. Давай прочту. Слушай:

Всё мертвецов сторожишь в сердце своём.
Четырёхглазым псом только лишь взвоешь,
Волю дашь мертвецам «пепел и прах»,
Сердцем исподним гремя, словно бы цепью.

— А где рифма? — спросил Боря.

* * *

Не всегда люди понимают шутку с первого раза. Иногда шутку нужно повторить.

Боря и Лиса приехали на дачу родителей Лисы.

Возле дачного дома была вырыта небольшая продолговатая яма.

Боря показал на эту яму и пошутил:

— А это что — детская могилка? — И заулыбался.

А никто не засмеялся.

Боря повторил:

— Это детская могилка?

* * *

Во дворе кружился ураганный Хоровод детей.

В Хоровод то и дело затягивало прохожих.

Выжили не все.

* * *

Боря ни разу в жизни не ходил в поход.

Боря увидел старую фотографию. Она была сделана лет пятнадцать назад.

На фотографии — Лиса, Катя, Санёк и остальные их друзья, которых Боря не знал по именам. Они сидят вокруг костра. Рядом стоят палатки.

Лиса рассказала, что фотографию сделали, когда ездили в поход. С собой взяли всего две палатки — обе двухместные. А народу было больше — все собирались ночевать под открытым небом в спальнях мешках. И Лиса собиралась ночевать в спальном мешке. Одна из палаток принадлежала Саньку — он собирался ночевать в ней с Катей. А ночью стал моросить дождь, и Санёк уступил свое место в палатке Лисе, а сам остался ночевать в спальном мешке под дождем.

* * *

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Боря долго и упорно разрабатывал стратегию и долго делал под нее торгового робота.

Наконец Боря запустил торгового робота.

В первую же неделю работы робот принес семь процентов убытка.

* * *

Вообще Боря скорее злопамятный.

Боря и Санёк тогда учились в восьмом классе.

Боря по алгебре и по геометрии учился, в основном, на «отлично».

Санёк неплохо знал основы информатики и вычислительной техники, а вот с алгеброй и геометрией у него бывали проблемы. Поэтому Боря иногда давал Саньку списывать домашнюю работу — Боря хорошо знал алгебру и геометрию. Однажды даже учительница поставила Борю в пример всему классу.

Санёк тогда дружил с ребятами из девятого класса. Однажды Боря услышал, как Санёк говорит им про Борю: дескать, Боря ботан и, дескать, Боря учится на «отлично» ради похвалы учительницы.

А потом Санёк списывал у Бори контрольную работу.

* * *

Коля Маржин сказал Боре:

— Я думаю, что у тебя близорукость. Надо бы твои ночные глаза показать окулисту.

Арбузыня (Сишечка) всплеснула руками:

— Ой, не говори глупости! Ну какая еще близорукость?

— Он ведь даже читать не может, — ответил Коля. — Самая обыкновенная близорукость.

Но Арбузыня с ним не соглашалась:

— У него совсем молодые глаза. Это обычный астигматизм, а никакая не близорукость...

А Боря сидел на диване. Он ел попкорн и смотрел то на Арбузыню, то на Колю Маржина. Боре было интересно следить за их спором.

* * *

Если работу можно сделать самому, Боря сделает ее сам.

На субботу Боря запланировал починить водопроводную трубу в техническом шкафу в туалете. В пятницу вечером труба с горячей водой протекала на стыке с трубой, которая ответвлялась от стояка, — поэтому пришлось закрутить вентиль и перекрыть подачу горячей воды в квартиру, чтобы труба на стыке не протекала.

Боря считал, что нужно слегка подкрутить трубу на стыке, чтобы она плотнее прилегала к трубе, которая ответвлялась от стояка, — и тогда протечки не будет.

Лиса сказала, что нужно вызвать сантехника — сантехник починит трубу.

А Боря в ответ промолчал.

А потом он взял большой гаечный ключ и стал крутить трубу.

* * *

Иногда Боря бывает ревнив.

Днем в макдональдсе Боря говорит:

— Ну был у меня когда-то давно друг детства — Санёк. Но мы с ним не общаемся уже, наверно, лет шестнадцать. Но почему-то снятся эти странные сны. Снятся, будто я люблю женщину, которую зовут Лисой. И во сне она мне рассказывает что-то о своей прошлой жизни, показывает свои старые фотографии... И я узнаю, что в юности она была знакома с Саньком. И я вспоминаю, как Санёк рассказывал мне о ней и все обещал меня с ней познакомить. А потом мы с Саньком перестали общаться — и с Лисой я тогда так и не познакомился. Хотя выходит, что мог бы познакомиться. И я во сне разглядываю ее старые фотографии — я вижу ее прошлую жизнь — ее юность — и понимаю, что эту юность она могла провести со мной. И я ревную ее юность к Саньку. Ну, то есть я завидую Саньку. Завидую, что Санёк общался с Лисой в то время. И мне даже начинает казаться, что я ревную Лису к ее собственной юности. Я ревную ее к той жизни, которая могла быть и моей — но не была.

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

* * *

Иногда у Бори бывают плохие предчувствия.

Борина квартира была на пятом этаже. Ночью Боря выглянул в окно. Внизу под уличным фонарем, в пятне света, стоял худой человек с лопатой. Его лицо скрывал капюшон. Он поднял голову и помахал Боре рукой.

* * *

Чужие подсказки мешают Боре сосредоточиться.

Однажды Боря, Сишечка и Коля Маржин играли в художника с завязанными глазами.

Сишечка завязала Боре глаза бархатной повязкой.

Затем Сишечка такой же повязкой завязала Боре его ночные глаза. Она повязала повязку так, чтобы та закрывала одновременно и глаз на макушке и глаз на щеке.

Боря должен был с завязанными глазами нарисовать лисью мордочку.

Боря медленно выводил на бумаге невидимые ему линии, а Коля Маржин ему подсказывал:

— Левее... А теперь направо...

Наконец Боря не выдержал и прикрикнул:

— Ну хватит подсказывать! Ты же только сбиваешь меня!

* * *

Иногда Боря интересуется искусством.

Коля Маржин спросил:

— Борь, а ты мог бы прибить свою мошонку к брусчатке ради искусства?

Боря промолчал.

А Сишечка обняла Борю и сказала:

— Во всяком случае, это было бы интересно!

* * *

Однажды Коля Маржин ни с того ни с сего зачем-то процитировал словарь Ожегова:

— Не то что — то же, что не то чтобы.

И тут же Коля добавил, важно подняв указательный палец:

— Четырехстопный ямб с дактилическим окончанием!

* * *

Боря как-то раз увидел старую фотографию: это свадьба Санька и лучшей подруги Лисы Кати.

Санёк женился на Кате.

Лиса сказала, что за несколько дней до этой свадьбы Санёк подарил ей розу.

Санёк сказал Лисе, что на самом деле он уже несколько лет любит ее, а не Катю.

А Лиса прогнала Санька. И больше с ним она никогда не общалась.

С тех пор Лиса почти не общалась и с Катей, перед которой ей почему-то было стыдно.

И даже на их свадьбу Лиса не пошла, сказав, что никак не сможет отпроситься с работы.

* * *

Боре иногда снятся очень яркие сны.

Днем в макдональдсе Боря говорит:

— ...И вот это мне снится почти каждую ночь. Санёк, которого я не видел уже лет шестнадцать. Лиса, с которой я будто бы только познакомился и которую полюбил. И которая в юности была знакома с Саньком. И Санёк в те годы обещал

меня с ней познакомить. И юность Лисы могла быть и моей тоже. Вот это все. Видишь, я во сне разглядываю старые фотографии Лисы — я вижу ее юность. И мне начинает казаться, что я там был — я воображаю, будто я был с Лисой тогда — с Лисой и ее друзьями. И в этом моем воображении даже Санёк будто бы остается моим другом. Но потом воображение отступает, и я понимаю, что все это всего лишь фантазии — я не был с Лисой в юности, я познакомился с ней — вот — совсем недавно. И вот эта Лисья юность кажется мне какой-то чужой. Вот эта ее жизнь, которая была когда-то, — она чужая. И я в той ее жизни чужой. Но постепенно я начинаю ощущать, что юность Лисы перестает быть для меня чужой. То есть она становится как бы и моей тоже. Чем больше я воображаю себя в юности Лисы, тем роднее становятся мне и все ее друзья. Я вижу их будто вживую. И лучшую подругу Лисы я вижу будто вживую. И всех остальных друзей Лисы я вижу будто вживую. И все эти чужие незнакомые люди, которых я никогда в жизни не видел, вдруг становятся мне родными. Нет, я серьезно. Даже когда мое воображение отступает — и я возвращаюсь в реальный мир, — даже тогда я чувствую, что все эти люди мне родные. И недавно я вдруг узнал от Лисы, что ее лучшая подруга Катя умерла — погибла, катаясь на горных лыжах. И мне стало так горько, будто я потерял одного из самых близких людей. И вот это мое ощущение горечи было настолько ярким, настолько волнующим, будто это все и не во сне происходило, а наяву.

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

А Боря продолжает рассказывать:

— А вчера приснилось вот что. Я этой Лисе во сне рассказываю: «У меня есть друг по имени Коля Маржин. Его так и зовут — Коля Маржин. Так вот, приколы в том, что Коля Маржин — это вообще-то margin call — чисто биржевой сленг. Margin call — это негативное последствие чрезмерного маржинального кредитования. Это когда, допустим, покупаешь акции не только на свои, но и на деньги, которые тебе дает в кредит брокер, а цена акций начинает сильно падать — и ты получаешь убыток, — и тогда брокер требует добавить денег на счет либо начинает принудительно продавать акции. Вот это требование и называется маржин колом».

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

А Боря продолжает рассказывать:

— А еще я Лисе говорил, что у меня есть знакомая, которую я называю Сишечкой. А сишечка — это Si — фьючерсный контракт на курс доллара. А сама эта знакомая называет себя Арбузиной, потому что у нее на всю голову татуировка в виде арбузных полос.

Коля Маржин пьет через трубочку молочный коктейль. Отрывается от трубочки и говорит:

— Прикольно.

* * *

Боря считает, что чем выше риск, тем выше возможная прибыль.

За ужином Боря говорит:

— Вообще все эти криптовалюты, биткоин этот — все это похоже на огромный финансовый пузырь. Но с другой стороны та же Япония вполне признает биткоин денежной единицей. Думаю, не за горами фьючерсы и ETF. Капитализация рынка криптовалют сейчас просто смешная на фоне остальных рынков... Думаю, стоит

покупать самое медийное и ликвидное — биткоин и эфир. Еще присматриваюсь к рипплу...

* * *

Боря взял Арбузыню (Сишечку) за руки и сказал:

— Как-то раз в детстве меня назначили Вождем Хоровода. Мы скакали по кругу, держась за руки. Даже звучала какая-то музыка. Все было хорошо. Но кто-то вдруг запнулся — несильно, но этого хватило, чтобы Хоровод стал рушиться. Все стали сбиваться с ритма. Скакали невпопад, мимо музыки. Я пытался восстановить строй. Я кричал: «В ногу! В ногу, мать вашу!» Но они меня не слушали. Никто не слушал...

По щекам Бори потекли слезы.

Сишечка (Арбузыня) обняла его.

* * *

Боря предпочитает более простой, но в меру строгий стиль в одежде.

Арбузыня (Сишечка) сказала Боре:

— Закрой глаза! У меня для тебя подарок.

Боря закрыл все четыре глаза.

Арбузыня принялась надевать ему на голову не то шапку, не то маску, которая охватывала всю Борину голову, включая лицо.

— Все, можешь открывать, — сказала Арбузыня.

Боря открыл глаза, но оказалось, что его основные глаза ничего не видят — Боря не видел ничего перед собой, а видел только потолок глазом на макушке и диван, который стоял сбоку от Бори.

— Что это? — спросил Боря.

Сишечка ответила:

— Я сшила для тебя специальную балаклаву! У нее есть прорези только для твоих замечательных ночных глаз! А два других глаза закрыты!

Арбузыня (Сишечка) обняла Боря и прошептала:

— Это для того, чтобы ты не отвлекался на свои обыденные, посредственные глазенки!

* * *

Когда Боря не может заснуть, он читает.

Боря лежал на диване лицом вниз. У него на голове была балаклава, а перед его макушкой лежала открытая книга.

Подаренная Сишечкой балаклава и вправду помогала Боре концентрироваться на своих ночных глазах. Теперь он с легкостью мог читать книгу глазом на макушке — текст не расплывался.

* * *

Боря ценит чужие советы, но редко им следует.

На субботу Боря запланировал починить водопроводную трубу в техническом шкафу в туалете. Труба с горячей водой протекала на стыке с трубой, которая ответвлялась от стояка.

Боря считал, что ее нужно слегка подкрутить — и тогда протечки не будет.

Лиса посоветовала вызвать сантехника, дескать, сантехник починит трубу.

А Боря в ответ промолчал.

А потом он взял большой гаечный ключ и стал сосредоточенно крутить трубу. Но труба не подавалась. Тогда Боря решил посильнее надавить на гаечный ключ.

* * *

Автобус двинулся от остановки. Пассажиров было мало. Боря засунул руку в карман одного из пассажиров. Коля Маржин прошептал на ухо Боре:
— Медленнее... Осторожнее...
Боря сказал ему:
— Ты меня отвлекаешь.
— Ты сам просил научить тебя шарить по карманам, — ответил Коля Маржин.

* * *

Боря биржевой спекулянт. Он сидит перед монитором компьютера и объясняет:
— Смотри, короче. Портфельная теория Марковица в классическом варианте очень проста. Допустим, у нас есть акция, и эта акция на протяжении ряда лет показывает устойчивый рост. Ее цена растет — и мы можем на этом заработать. И мы можем посчитать среднюю доходность от роста этой акции — например, среднегодовую доходность или среднемесячную. Но при этом цена акции нестабильна — она то растет, то падает — ее колбасит из стороны в стороны. Это называется волатильностью. По Марковицу волатильность — это мера риска. То есть чем выше волатильность, тем выше потенциальные убытки. Соответственно, волатильность мы можем определить как обычное среднеквадратичное отклонение. А чтобы составить простейший портфель из нескольких акций, мы должны измерить их доходность и их волатильность...

* * *

Труба с горячей водой протекала на стыке с трубой, которая ответвлялась от стояка. Боря считал, что ее нужно слегка подкрутить — и тогда протечки не будет. Лиса сказала, что нужно вызвать сантехника, дескать, сантехник починит трубу. А Боря в ответ промолчал. А потом он взял большой гаечный ключ и стал сосредоточенно крутить трубу. Но труба не поддавалась. Тогда Боря решил посильнее надавить на гаечный ключ. Труба все равно не поддавалась. Тогда Боря еще сильнее надавил на ключ. И труба оторвалась. Пришлось вызывать сантехника.

* * *

В восьмом классе Боря по алгебре и по геометрии учился, в основном, на «отлично». Однажды учительница даже поставила Борю в пример всему классу.

Санёк тогда дружил с ребятами из девятого класса. Однажды Боря услышал, как Санёк говорит им за глаза про Борю: дескать, Боря ботан и, дескать, Боря учится на «отлично» ради похвалы учительницы.

* * *

Боря не любит, когда о нем говорят за глаза.

У верхней деревни по-прежнему жили цыгане.

Горел костер. Цыгане сидели напротив Бори, с другой стороны костра. Их лица мелькали в отсветах пламени. Цыгане смотрели на Борю.

Изрядно выпивший Коля Маржин объяснял цыганам:

— Его ночные глаза — они совсем бестолковые. Они так — для красоты, в общем-то. Боря ими толком и не видит. У него близорукость.

На Колю прикрикнула Арбузыня:

— Хватит говорить глупости! У него не близорукость, а астигматизм!

Боря вдруг подскочил как ошпаренный:

— Вы оба за свои глаза говорите! А за свои я и сам могу сказать!

* * *

Дядя Женя рассказывал:

— У меня есть знакомый. Он пытался у себя на даче разводить кроликов ямным способом. У него был такой сарайчик на участке, и он вырыл в нем яму где-то в метр глубиной. И в этой яме держал кроликов — и они там рыли себе норы. Причем он самца держал вместе с крольчихами. А вообще-то самца при ямном разведении лучше держать отдельно в клетке. А если уж и удержишь самца в яме, то раз в несколько месяцев его надо менять на другого, чтобы не было кровосмешения. Короче. Расплодился у него кролики так, что сарай начал уходить в грунт — эти черти там все перерыли. Пока он гадал, что с ними делать, кролики свои тоннели докопали до его дома — земля под терраской просела, и терраска на один бок заваливаться стала. Происходящим заинтересовались соседи — у них на участке стал проседать грунт. Сколько всего там кроликов, никто не знает. Война с ними продолжается до сих пор.

Война с кроликами охватила все тысячелетие, на исходе которого город ушел под землю.

* * *

Боре сложно говорить о некоторых вещах.

Лиса снова спросила у Бори, почему он перестал общаться с Саньком.

Но Боря не хотел отвечать — он сказал, что расскажет ей об этом как-нибудь в другой раз.

* * *

В парке звучит музыка. На большой поляне кружится хоровод: дети держатся за руки и скачут по кругу вприпрыжку.

А вокруг хоровода стоят взрослые, широко улыбаются, хлопают в ладоши, раскачиваются в такт музыке.

Боря и Лиса стоят в сторонке. Лиса с блаженной улыбкой смотрит на хоровод, а Боря — на взрослых.

Хоровод кружится все быстрее. А взрослые хлопают все громче, раскачиваются все сильнее.

Сквозь музыку продирается тревожный гомон воробьев.

Зашипели деревья, заглушая воробьев.

Музыка замолчала.

Дети рассыпались по поляне.

Взрослые обнимают детей.

* * *

Боре иногда бывает крайне трудно сохранять спокойствие.

Хоровод детей разрастался.

Боря прижался к стене, но край Хоровода неумолимо приближался к нему.

Боря от страха вспотел.

* * *

Некоторые традиции Боре не нравятся.

Боря не выдержал и нервно закричал:

— Эти чертовы Хороводы давно пора запретить!

* * *

Боря часто думает.

Вот Боря едет в метро и думает. А мысли у него такие: «Вот я сейчас думаю, а вдруг на самом деле я не думаю, а говорю вслух — и все вокруг слышат, что я говорю, дескать, вот я сейчас думаю, а вдруг и т.д., — а мне только кажется, что я не говорю, а думаю». Боря перестает думать и озирается по сторонам.

* * *

Боря считает, что читать полезно.

В воскресенье Боря смотрит в окно.

Лиса сидит в кресле и читает книжку современной прозы. И вдруг она спрашивает у Бори:

— Как ты думаешь, а может ли остранение превратиться в штамп?

— Что? — переспрашивает Боря.

— Ну, я к тому, что раньше остранение было способом преодоления штампов.

Ну, я про литературу: раньше писатели использовали остранение, чтобы избежать шаблонных фраз, описаний. А вот теперь может ли само остранение стать штампом?

— Отстранение? — переспрашивает Боря.

— Да не ОТстранение, а ОСтранение — первой буквы «т» здесь нет, — усмехается

Лиса. — Ты не знаешь, что такое остранение?

— Нет. Но могу погуглить, — говорит Боря.

Лиса отложила книжку в сторону и сказала:

— Остранение — это как если бы на Землю прилетел инопланетянин и попытался бы описать, например, человека. Получилось бы что-то вроде такого: продолговатый предмет, расположенный вертикально относительно поверхности Земли, предположительно органического происхождения, с узкими продолговатыми отростками в нижней части и аналогичными отростками в верхней части по бокам, с коротким округлым отростком в верхней части; в нижней части короткого округлого отростка имеется отверстие, которое то открывается, то закрывается, вызывая колебания местной атмосферы. Ну, в литературе все это обычно попроще.

Боря кивнул:

— Угу.

А Лиса, между тем, продолжила:

— А вот интересней тексты, в которых используются, ну, скажем, амфиболии или псевдоамфиболии... Да? Как думаешь?

Боря переспросил:

— Амфиболии? Это вроде бы такие грибы?

Лиса усмехнулась:

— Ну какие грибы? Амфиболия — это когда фраза построена так, что она может иметь два значения, — Лиса на несколько секунд задумалась, а потом решила привести пример амфиболии. — Вот смотри, например, такая фраза: «Женщина держит на поводке средней величины белую собаку». По идее эта фраза грамотно должна звучать вот так: «Женщина держит на поводке белую собаку средней величины». То есть должно быть понятно, что речь идет о собаке — что это именно собака имеет среднюю величину. А так получается непонятно — то ли это поводок средней величины, то ли собака. Вот это и есть амфиболия. Борис, тебе нужно больше читать!

— Я и так много читаю. Просто я читаю, в основном, то, что нужно мне по работе.

Боря вдруг повернулся к Лисе и сказал:

— Ты знаешь, а я ведь никогда раньше не слышал твой голос.

— В смысле? — удивилась Лиса.

— Ну, то есть мы сейчас разговариваем — и мне кажется, что я слышу твой голос в первый раз.

— Ты меня настораживаешь.

— Не-не. Понимаешь, что я имею в виду? Мы с тобой очень много разговаривали, но это было будто во сне — то есть я помню все твои слова, но не помню, чтобы ты их говорила.

— А сейчас — говорю? — спросила Лиса.

— Сейчас — говоришь, — ответил Боря.

* * *

Боря любит все делать по-своему.

В зоопарке Боря полез было в вольер с Лисой. Но Лиса лезть с Борей в вольер отказалась. Вольер был пуст. Боре сделали замечание — в вольеры залезать нельзя.

В зоопарке кругом предупреждения: «Кормить животных запрещено».

Лису покормил.

В кафе заказал для Лисы курицу. Любил ее.

А еще в зоопарке жили хамелеоны. Было много глаз — все смотрели. Все смотрели на глаза. Тут и там торчали глаза. Каждый жил своей жизнью. Столько глаз еще никогда не было. «Открывать глаза запрещено». Все глаза медленно открывались. Бороны глаза открывались один за другим.

И растерянный взгляд собирал себя самого.

В пустоте лишь глаза — в них смотреть для кого?

* * *

Боря иногда бывает очень последователен, когда говорит о политике.

Утром дядя Женья говорит:

— Ты вчера спьяну говорил, что ненавидишь всех левых: и либералов, и сталинистов.

Трезвый Боря отвечает:

— Я и сейчас могу это сказать. Ненавижу всю левую мразь: от левых либералов до сталинистов.

* * *

Иногда Борю выводят из себя даже пустяки.

В этой комнате было очень серо. Окна были зашторены.

Боря воскликнул:

— Здесь слишком мало света — я даже не могу отбросить тень!

Боря очень хотел отбросить тень. Но как он ни старался, ничего не выходило.

* * *

Иногда Боря жалеет о своих словах, сказанных под влиянием эмоций.

Боря вдруг сказал:

— Я тебя люблю.

— Что? Мы знакомы?

* * *

Иногда Боря любит делать подарки близким людям.

Лучшая подруга Лисы Катя сегодня празднует юбилей. Ей исполняется 35 лет. Боря весь год откладывал лишние деньги — и наконец он купил для Кати подарок: самые настоящие лыжероллеры. Теперь Катя сможет кататься не только зимой на лыжах, но и летом — на лыжероллерах.

Боря аккуратно поставил лыжероллеры в шкаф и навсегда запер его дверцу.

* * *

Лето было в разгаре. Поле было усыпано клевером и земляникой. Широким Хороводом дети кружились по полю и топтали мелкие красные ягоды.

Нестерпимый запах раздавленной земляники кружил Боре голову.

Он стоял на вершине холма и смотрел Хороводу вслед. Хоровод удалялся в сторону горизонта.

Боря поднял руку над головой и помахал ему:

— Кому назначен темный жребий, над тем не властен хоровод.

* * *

В новом тысячелетии Боря снова повстречал эту семью. Вечно улыбающийся папа с черными густыми усами и округлыми щеками, мама со слегка прищуренным левым глазом и их шумная дочка. Безнадежные охотники и собиратели. Они пришли к подвальному окошку с большой корзиной-переноской и куском колбасы. В подвале жила кошка.

Эта семья долго и настойчиво пыталась приручить кошку. Прошло не одно тысячелетие с того момента, как эта семья впервые подошла к убежищу кошки с приманкой. Но кошка по-прежнему выглядывала в подвальное окошко, покачивая мордочкой, и в жилище человека не торопилась. Эта семья до сих пор не могла перейти к земледельческому строю — они пытались выращивать пшеницу, но всякий раз урожай уничтожали грызуны.

А ведь эта семья в своей скорби могла бы взяться за руки и печально запеть:

Покачивая мордочкой, в окошко
Подвальное выглядывает кошка.
Когда б она была у нас домашней —
То были б не напрасны наши пашни —
И грызуны бы не уничтожали
Урожай за урожаем.

* * *

Боря иногда совершает досадные промахи.

Боря зашел в автобус и среди пассажиров увидел упитанного очкарика с сальными черными волосами.

Боря поглядел по сторонам, а потом вдруг быстрым шагом подошел к очкарику. Боря сказал ему:

- Здравствуйте, я Борис.
- Очкарик недоуменно спросил:
- И что?
- Вы меня не узнаете? — спросил Боря.
- Нет, — ответил очкарик.
- Точно? — спросил Боря.
- Точно, — ответил очкарик.
- Очень жаль, — сказал Боря.

* * *

Боря всегда готов помочь советом.

Старенькие мужчина и женщина крошили в парке хлеб для голубей и уток.

Боря подошел к мужчине и спросил:

— Здравствуйте. Вам не нужен какой-нибудь совет? Может, решение какой-нибудь проблемы?

— Нет, — удивленно ответил мужчина.

Боря повернулся к женщине:

— А вам? Вам совет не нужен?

— Нет. Мне тоже совет не нужен.

Никому не был нужен Борин совет.

* * *

В неожиданных ситуациях Боря начинает нервничать.

В дверь позвонили.

Боря посмотрел в глазок. Перед дверью стоял худой человек с лопатой в руках.

Его лицо скрывал капюшон.

Боря спросил:

— Кто там?

Худой человек ответил:

— Здравствуйте. Я принес лопату.

Боря сказал:

— Я не заказывал лопату.

Дверь открывать он не стал.

В дверь снова позвонили.

Боря спросил:

— Кто там?

— Это я.

— Кто — я?

— Я живу с цыганами. У меня еще лопата есть. Вы меня знаете.

Боря взял телефон и позвонил Сишечке.

Борин голос слегка дрожал:

— Алло, Сишечка? Здравствуй. Это я.

— Здравствуй, Борь. Что случилось?

— Тут пришел этот... с лопатой,.. который с цыганами живет...

— О, я его знаю. Передавай ему привет.

— Слушай, он меня настораживает...

— Ага, он довольно странный.

— Слушай, а что он хочет от меня?

— Борь, он очень требовательный человек. И у него бывают очень странные желания. Но помни главное: нужно быть терпимым к желаниям и требованиям других

людей. Просто помоги ему немножечко. У тебя замечательная голова! Хорошего вечера!

В трубке послышались гудки.

Худой человек с лопатой стал колотить в дверь кулаком и требовать, чтобы Боря был терпимым к его желаниям. А потом он со всего размаху ударил лопатой по дверному глазку. На глазке появились трещины.

Боря так и не открыл.

В конце концов худой человек сказал:

— Ну ладно, я тогда пойду. Я тут под дверью оставлю визитку. Позвони тогда.

И он ушел.

За окном рассветало.

Боря открыл дверь и поднял визитку. На ней была нарисована лопата. А ниже — номер телефона.

* * *

Сишечка была в восторге:

— Борь, ну расскажи, как все прошло?

— Да никак. Вон он мне глазок разбил дверной.

Боря восторга Сишечки не разделял.

* * *

У Бори сегодня много работы.

Боря биржевой спекулянт. Он торгует с помощью роботов.

Ему нужно взять ценовой ряд и протестировать на нем алгоритм — нужно взять ценовые данные за несколько лет, загрузить их в программу и задать базовые условия: момент входа в рынок и момент выхода.

Потом нужно оценить получившийся график доходности (достаточно визуальной оценки — никаких математических коэффициентов, вроде Шарпа или Сортино, для оценки гладкости графика Боря не использует).

Потом нужно оценить профит-фактор — отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных.

Потом нужно посмотреть на величину средней прибыли на сделку. Также нужно посмотреть на максимальную просадку в процентах.

Потом отфильтровать аномально большие прибыли при помощи правила «трех сигм»: нужно посчитать среднеквадратичное отклонение прибыли в большую сторону, умножить его на три и прибавить к среднему значению, после чего удалить из результатов тестирования все сделки, прибыль от которых превышает получившуюся цифру.

* * *

Боря любит ювелирную точность в работе.

Сишечка сказала:

— Борь, ну что ты переживаешь? Коль, ну хоть ты ему скажи.

Коля Маржин сказал:

— Борь, я тебе отвечаю, лопата — это высокоточный инструмент. Хорошей лопатой можно хирургические операции проводить!

* * *

Боря очень любит ювелирную точность в работе.

Боря спросил:

— А можно, я ему тоже отрублю голову лопатой?

* * *

Утром, когда ночная голова отвалилась, Боря совсем заскучал.

Айгерим Тажи

Ещё один круг под корой

* * *

Здесь рождаются тропинки
Сами собой.
Ступаешь, а под землёй пустота.
Другой мир с позабытыми людьми.
На их головах шапки из ковыля.
В ногах серп, отхвативший часть
Неба. Как будто в музейном зале,
Чёрно-белая старость,
Цветная молодость,
Юность без имени и лица.

* * *

Вода закипает — тысячи ртов у воды.
Воронье дерево смотрит тысячью глаз.
Корнями трещин прорастают углы.
Под звяканье чашек и резкий ответ стекла,
Как ртутные шарики, движемся в никуда.
Каштаны роняют ветки, бурлит вода.
Баюкает маятник люстры, а мы ждём чай.
Мы бодрыми встретим начало начал.

* * *

И ты там был и пол как будто плыл
Шло одеяло с голыми ногами
Внутри него гнездилось существо

Привет, проснулось? Завтрак на столе
Глаза желтков чуть скошенные к вилке
Застыли навсегда. Да будет так.

Смотри какой обманчивый процесс
Чай холодел остыл потом воскрес

От угасанья в шаге
Пророчески горел стеклянный шар
Свет разлагался в чистые оттенки

У луковицы вызревшей на банке
Под шелухой ничто. А сверху лес.

И там исчезло ты, и я исчез

...Оно приняло уселось на коленки
Уткнулось в шею горячо дыша

* * *

Кричат с утра невидимые гуси
под радостное пение соседа —
перебирает свежую картошку,
бросает мелкое в собаку на цепи.
Она в мечтах — гигантский волк. Из брюха
растёт вселенная прожорливая, злая,
съест человека — и мучений нет.
Луна присвистнет — бросится за ней
через овраги с громким стыдным лаем.

* * *

Чесночные маковки
Венчают казанный
Собор из плова.
Сухие цветы в вязанках.
Укутавшись тестом, лежит судак —
Чешуйки из лука.
Кричат по соседству, а он
Печётся без звука.
Уснувшее время — считай нули
На пальцах дрожащих.
По капле из крана выходит день.
Глоток настоящего —
Шампанское.
Дутые пузыри.
За сеткой гудит перелётный рой.
Медленно появляется
Ещё один круг под корой.

* * *

Верблюжьей походкой
путник пылит, приближается.
Глаза разного цвета,
руки вырезаны из дерева.
За пазухой гадюка мёртвая,
жалящая верёвка.
Конь пал на дороге.
Хрупкий, как ветка,
остов. Волны песочной шкуры.
Имя твоё? Выговори хоть слово.
Складки лица. Солнце меняет угол.
Бумажная кожа просвечивает,
на лбу проявляются буквы.

* * *

Старик внизу
доедает булочку
А крошки
собирает в ладонь
для ворчливого голубя
Над балконом гнездо
опасного хищника
Просачивается
медленный холод

Ветка богатая ягодами
смерзается в лёд
Поле города пересекают воины
Человек в поднебесной башне
на полную громкость включает молитву
Снег заглушает шумы низких частот

* * *

За дорогой на холме
снежный струится ковыль.
Акварельный вид.
У земли серебристый мех,
как разорванное облако,
как шёлковая щека
жеребёнка.
Выпяченные бока
от испуга дрожат —
ладный.
В капкане земли
под проволокой корней
лежат бывшие живые.
Делается холодней.

Полина Иванушкина

Приходи ко мне зимовать

Рассказы

Рубашка

Ехал уже решительно объясняться.

Сглатывал — как сглатывает волк перед броском, будто примеривая добычу к утробе: кадык проворачивается в горле, как винт в мясорубке, уходит вниз, упирается в жесткий стоячий воротничок новой рубашки. По хорошим поводам он всегда надевал новую. Сейчас был хороший. Бок бы у судьбины отгрыз. Отбил. Присвоил. Женился.

Нужно только решительно объясниться.

Щетину оставил, она любила. Машину помыл накануне, выбрал самый короткий маршрут в ее Отрадное, дела отменил еще с вечера, когда понял, что готов, что сейчас. Или никогда.

Или никогда?

Нет, про это не думал, как не думает в чаше волк о том, что назавтра переменится ветер, как не думает ветер о том, что завтра будет уже далеко. В яремной ямке, где билась кровяная жила, такая, что перекусить — и нет ничего, пахло у нее морской солью, она клала ему голову на плечо, когда они рассекали капотом надвое долгие тверские леса, вздымая листья с обочин, и он думал, что слишком мало осталось до точки, отмеченной клетчатым финишным флагом... Навигатор показывал час езды, воротничок немного тер. Уже почти у Третьего, у светофора, что-то копали. Все встало. Ближе к обочине вскидывали руки горячие парни, делили дорогу. Ждали гайцов. Пробка была не по плану, мог не застать ее дома. Набухшая над городом фиолетовая, как морды синяков у Киевского вокзала, шапка, на которую он не обращал внимания, вдруг показалась резче, ближе; забарабанило прямо по лобовому. Он включил дворники, приглушил в динамиках Боба Марли, ритм сбиваемой со стекла воды отуплял, сплюснутая внутри пружина разжималась, только хлопок, 40 процентов полиэстера, врезался в горло, давил, напоминал.

Он вдруг устал, обмяк, подумал, ну не дурак ли. Дернул из пачки зубами ментоловую кэбелину, столбик пепла стал прибавляться. Он умел курить вот так, не страхиная, в светомузыке баров этот прах хорошо рисовался. С чего ты взял, что она

Иванушкина Полина Сергеевна — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

согласится. Ок, не согласится эта — согласится другая. Но хочу — эту. Чтобы горло освобождала от этого хлопка длинными пальцами и слышно было, как клацают друг о друга ногти в шеллаке. Чтобы убирала языком пот. Пока доберешься до этого вашего СВАО, семь потов сойдет... Пепел рухнул вниз, рассеялся невидимым микроспорумом по низу белой рубашки. Следа не осталось, только — осадок. Горячих парней с обочины растащили, яму закопали, шмат тучи унесло южнее, все задвигалось, он врубил *Раммштайн*. Проклятье, бензин. Я перенервничал. Забыл заправиться, сучусь, зачем-то схватил пистолет. Скипетр мне, штурвал, красную кнопку, кирасу, брандспойт. На манжету плеснуло, всего одна эфемерная капля, но стало понятно, что древесные ноты (и еще дым огня) его плотного запаха, которые успела впитать новая рубашка, уже безвозвратно испарились, как и эта часть дня.

Ехать в Отрадное было бессмысленно, она наверняка уже на работе. Он перестроился, сделал милицейский разворот, чиркнул шипами покрытие, надавил газ. Туда пошло легче, но пересохло горло, он тормознул у макдональдса, взял эспрессо, обжегся, дернулся, под карманом протекла кофейная гуша. Любит-не любит.

Любит — не любит, а будет. Моя.

На экранчике все уже было желтенькое, он почему-то вспомнил дачу: ему четырнадцать, все вот такое же, в желтых, рыжих, красных, по нарастающей, как температурная кривая, листьях — пятилапые кленовые, он прокалывал их паруса их же «пестиком», низал друг на друга, венчал чьи-то головы, одну особенно, каштаново-кудрявую, пахнущую мылом «Алёнка», черт, чья это была голова, мы все тогда там друг друга любили, на этих дачах, на влажных мансардах, пахнущих оставленной до зимы антоновкой, перебирали друг друга, как яблоки, еще незрелые, спешили урвать...

Спереди тормознули резко. Машины через три сначала было тихо, а через минуту торжественной погребальной тишины началась суета, он бежал уже туда, где-то совсем далеко выла сирена, день перевалился на другой бок, он тащил человека, это был еще не старый дедок на форде, зажатый между рулем и сиденьем. Дедок не дышал, он его целовал, уложив на асфальт, и когда тело наконец унесли братья в синем, уже в ранних октябрьских сумерках, он на ходу расстегнул верхнюю пуговицу, ослабил удавку, потому что так было уже невозможно, и только тогда заметил, что вся грудь — в красном. Вдобавок к кофе, бензину и пеплу.

Рубашка была на выброс.

Он сошел с проезжей части, все равно машину не видно в смраде выхлопа и усталости, расстегнул пуговицы, одна за одной, разомкнул манжеты, утянул за рукой все запахи дня — древесных нот, кэмела, лукойла, эспрессо, орбита, стариковской затхлости изо рта трупа, смял рубашку одним решительным движением в ком, пихнул в мусорный бак и прислонился голой спиной к стене чьего-то дома.

Было холодно, прохожие оборачивались, его бумер горланил сигнализацией, в витринах зажигались огни.

Эйнт ноу сан шайн вен шиз ган.

Красные всполохи движущихся кленовых крон вдоль проезжей части метили линию оклада.

Он снова ушел.

Батюшка

Матушка должна была отойти ко Господу ближе к лету, а пока на Страстной (пришлось юродствовать в епархии, просить внеочередной отпуск, звать подкрепление из деревни — районный приход в самое горячее время оставался без священника) Иличёвы двинулись в Москву.

Боли еще только пошли, а две операции уже были, и от того ли, что Иличёвы были не старые, или от того, что детей так и не смогли, совершенно не расплескалось в них густое, как глазурь на куличиках, только совсем без сладких блесток, чувство причастия друг другу, как когда он позвал ее за себя, краснея лбом, а она дунула только ему на лоб, так что слетела челка, и тоже стала считать паркетины на полу...

Вот такая же неделя была, восемнадцать лет назад, когда еще вчера вроде в пуховиках, а сегодня уже восторг и ужас, что резиновые прохудились еще осенью и денег на новые перехватить негде, а солнце широкой дланью наматывает на себя хлопковый тюль — форточки настезь — и ложится узорами по деревянному полу их вечно стоящей в лесах церкви, и пока он лезет вверх, к прорабу, с чугунком — пшенка с тыквой — она внизу льет дым от кипятка в жестяные кружки... Дети, если бы пошли, то пошли бы кучно, растащили бы на кирпичики то, что у них построилось между собой, раскатали бы лодку — сколько он таких видел. Нет, не из тех, кто на Пасху ловит брызги, а потом перекидывает обеспокоенно через стол-реку, по которой текут яйца, куличи, пайетки, бутылки с кагором, мелкие деньги и свечки: «На тебя попало? На меня хорошо попало!» Нет, у этих и вовсе подпоры никакой не было в этом их быте, что с них взять, но вот у тех, кто каждое воскресенье приходит, и копейку в ящик, и к нему посоветоваться, и исповедаться о грехах, вот у тех-то почему при такой сосредоточенности на молитве бывает такая растерянность, и до жен своих никак не льнут, только детей передают с рук на руки... Батюшке это было удивительно. Вот у него — и подпора была, и быта особо не случилось, «и мне легче, да, мне легче, и нельзя по себе судить», а потому матушка пельмени, например, между постами лепит, а он — мучная пыль поверх темной, ее руками подшитой рясы — сидит на табуреточке и ее за колени обнимает молча. Или кино смотрят в обнимку. Лейки за ней по клумбам. А она только сдувает челку ему со лба, и хорошо. Даже не успели затосковать от бездетности, так хорошо было.

До прошлой осени. До Покрова.

В Москве семинарский товарищ обещал помочь на Каширку, но для этого нужно было сначала доехать, ехать было уже тяжело, в их областной матушку выписывали уже со всей определенностью, но он ее тащил, заставлял уже почти, потому что иное и богу было противно, и для него непредставимо. Как? Как без нее? Да за каждый час с ней буду пешком идти с медным крестом, с купола снятым, по центральной улице их района, в горку, и обратно, а не то что на Каширку устраивать... И матушка не приближала ничем своего срока, и терпеливо жила до него, и это последним ее даром любви к нему было — никак раньше не уйти и все испробовать, даже если все всё давно поняли. Тяжело только иногда совсем становилось, когда и пробки, и в такси рвет, и в метро мутит, и нужно и не запачкать, и виду не подавать... А что бы подумали? Матушка пьяная? Или беременная? Беременной не была ни разу, пьяной — единожды, между двумя операциями, кагору-то много и не надо было ей на нетренированный организм, тогда и заплакать смогла, и смириться на утро. И на вторую шла уже с надеждой, готовилась жить, но знала, что если не суждено, то метаться больше не будет, только постарается Антоше все это как-то помочь-перемочь. И помогала.

А он рвался, конечно, рвался.

И сейчас женщина эта, как будто их ровесница, и что самое главное — своя, Иличёвы сразу это оба поняли — своя, по-настоящему, не по-игрушечному, она в

Антоше какой-то разлом совершила, матушка это отчетливо видела, рваться он стал по-иному, и вдруг впервые испугалась смерти. Потому что до этого, вот сейчашнего, когда у товарища сидели после Каширки, к стенке на кухне их раскладушечки прислонены, до этого Антоша умирал весь с ней, как с Христом в пятницу, хотя она и не просила, а сейчас вдруг перестал...

«Заживо похоронил», — говорят люди, но это было не то, совсем не то, хотя теперь они совершенно точно по отдельности шли и разными тропами. Раньше она двигалась к летнему сроку, а он ее тащил назад, к воскресенью, и совсем, до ниточки, до рваной кожицы переживал это весеннее приближение к Пасхе, а сейчас она опять шла туда же, а он уже — в сторону... Не назад, но в сторону. Своей дорогой. Налево пойдешь, направо пойдешь... И женщина эта, Милена, она как тот камень встала посередь их дороги, такого вроде уже утрамбованного пути... И что особенно было горько наблюдать, — не как Антоша отходил от нее, нет, просто вдруг принял, что летом матушки не станет — а как начало в нем бороться что-то против самой его веры, вот такой ладной, как крымский камушек в ладонь, обкатанной и гладкой, уютно лежащей в выемке груди, над сонным сплетением, под крестом, на который она по ночам укладывала спать свою ладошку...

Милена была москвичкой, а это уже, конечно, было само по себе для Иличёвых диковинка, но удивительнее всего было то, что ее совершенная ясность, ее полное вхождение в церковь — что под своды, что прямо в божеские рученьки — было таким осязаемым, каким редко было даже среди тех батюшкиных прихожан, которые и посты, и правило наизусть, и церковная благотворительность... Вот не было от них такого. А от Милены было. Своя. Родная. Там же, на тех же облаках пасется, те же райские кущи видит, теми же словами передает... Прозрачная, ясная, как ребенок. И так ее близость была оглушающая, что самый контраст, самое то, что и искру высекло, сразу и не заметили, потом только и проявилось сполна...

Матушка таких в городке не видела, может, только девочками, почему-то к концу школы красавицы все покрывались прыщами, а светлые лица начинали носить обтягивающие кофточки, и невинная прелесть с них оползала очень быстро, как позолота с софринских икон, то есть была таким авансом, который никто из них не мог окупить, а вот Милена — та уже давно не была девочкой, где-то сорок, как и Иличёвым, в разводе, но коса ее золотая была сложена смиренно на плече, и была тугой и широкой, и пахнущей гуччи. Про гуччи матушка слышала, знала, а про губы Милена, даже когда не просили, новым знакомым сама в какой-то момент обязательно каялась, что свои, ибо просто стыдно было христианке иметь такие беллуччиевские губы. Бог пришел в ее маленькую жизнь на пустое место, еще в юности, и Милена приняла его ласково и даже не попеняла, зачем все напутал и вложил ее молитвенную душу в это лишнее ей дивное тело. Больше к дару ничего не прилагалось — ни пары, ни птенцов, ни гнезда, и Милена недоумевала, но смирялась. Жила она странно, — хотя многие в Москве жили странно — на деньги отца, промышлявшего в банке, в каком-то двадцать пятом для Иличёвых измерении: окунаясь на Крещение — в випкупели, прорубленной в дорогом Подмоскovie, из ЦУМа спешила волонтерить в хоспис, и все это — одиноко и праведно, и вечно извиняясь, потому что, нигде не солгав, — бог выбрал праведницу — была бельмом на глазу у всех: у дурнушек, у див, у сребролюбцев, у голодранцев, у верующих и у нет... Матушка была почти готова поверить в то, что Милена святая, ибо чистая посреди греха и при этом не от сирости, а из совершенства, но святым был для нее Антоша — и им оставался быть... И она про себя благодарила, что довелось такое увидеть перед смертью, ибо это было еще одним доказательством, что и после смерти она окажется там, где надо.

Антоша же внушал отчаяние.

Они держались под столом за руки, как держались всегда, когда расстояние сокращалось до локтя, но всегда это было касанием-знаком, я здесь и ты здесь, сейчас

же он хватался за нее, как утопленник, и в их взаимном спасении друг друга, что длилось уже с октября и выпило сил, вдруг нарушилось равновесие. Матушка даже ощутила, как перестала кружиться голова, она как-то вошла в берега своего иссохшего тела, и ее стало больше, потому что Антоша ощутимо уменьшался, молодел, становился безус, как тогда, когда краснел лбом, и метался, как она между операциями.

Милену, в черном и глухом, грудь свою божественную и богом данную, как всегда, прикрыв, как могла, Иличёвых видела в первый раз, и батюшка, как и все батюшки, вызывал у нее лишь благоговение.

Хозяин дома, самый московский товарищ, служил высоко, был аскетом и от усталости почти дремал за столом.

Отец Антоний же сквозь марево — кажется, ноги все-таки промочил, пока ждали такси у высоченной башни Саурана, протыкавшей южно-московское небо, начинался озноб — из пятен света и тени (лицо Миленино, вырезанное серафимовым крылом, в обрамлении нимба из кос, и темная, глухая ее кофточка) собирал для себя немыслимый, непристойный — но ничего не имевший общего с плотью, только с идеей — образ, и все злее обжимая под столом свод матушкиной верной ладони, отмахивался от прелести, понимая, что ничем иным это и быть не может, и внутренне борясь («Барби, как есть, барби в рясе»), вслух, потянувшись за сушкой и не уследив за собой — температуру мужа чувствовала уже и матушка, которая в последние дни была такой прохладной, как земля, что пойдет водой скоро после Пасхи, — уронил вместе с сушкой в сторону Милены: «В монастырь-с».

Иличёв и сам не понял, зачем добавил это старорежимное «с» на конец: то ли чтобы окончательно войти в образ осуждающего пустоцветность незамужней, бездетной красавицы старца, то ли чтобы дать соломинку — матушке, прежде всего матушке, ну и потом застолью — что он еще в уме, это так, пародия, просто что-то перегрелся сегодня...

Милену потянула воздух и заплакала, но не как плачут взрослые, одними глазами, но заплакала плечами, ребрами, как плачут дети, поставленные в угол за неделанные уроки или рваные колготки: стыдно и мама не любит...

За столом на минуту замолчали, так что к ее истеченью капель из крана в углу уже никого не обманывала, и невидимая в апрельской темноте завесь дождя уже явно была отделена и от воды на кухне, и от самой кухни этой, да и от всего дома, стены которого для батюшки вдруг двинулись и отверзлись, и он ясно понял то, что давно подпирало ребра, то, о чем говорил товарищ, когда увидел их лица после сегодняшнего совсем бессмысленного визита к врачам, то, что заставило его сказать ни в чем не виноватой Милене гадость... И Миленин монастырь из женского и умозрительного оброс для Иличёва плотью и стал мужским и неизбежным, — вдовым священникам дважды женату не бывать — и вот это «похоронить себя заживо» сначала предстало перед отцом Антонием отчетливо. А потом отрекошетило от матушкиного любимого, землистого цвета лица.

Иличёв потянул ее за руку из-за стола и, зная, что жизни для них нет иной в эту Страстную, повел в какой-то перегиб коридора, взял двумя пригоршнями ее вдруг ставшее, как прежде, рыжим лицо и тихо сдул со лба выпавшую из-под платка челку. Обнимать ее было нельзя, страшно, но можно было еще целовать.

К утру Москва растаяла, земля пошла водой, и Иличёвы перед отъездом на приход взяли на развале в переходе две пары резиновых сапог.

До лета надо было в чем-то ходить.

Печка

«Приходи ко мне зимовать. Печку одну топить будем.

Так ему и сказала.

Но Василий, он же как? Если что решил, так по-евоинному все и будет.

Не идет».

* * *

Вышел Василий с петухами. Соседские птицы голосили во тьме, звали зарю. Щеколда, засов, все наощупь, тьма, растаскиваемая петухами на клочья — будто полосу, ветошные тряпки по небу и грядкам — сливалась с привычным глаукомным туманом. Часы стали в прошлом году, батареек дед не менял и времени не осязал, но вышел еще на невяном рассвете, вовремя. Чуйка. Петушина.

Утренний холод можно было взять на руки, подержать. Такие плотные, полные минусовой рутти, хоть в чемодан складывай, утра теперь стали. Но руки у деда Василия не мерзли, металл не охлаждал глубоких, полных черного, линий судьбы на ладонях.

Заря показалась. Птицы выдохнули, легли спать. Василий одолел первую сопочку, от которой сизая его изба глянула снизу проваленной крышей, истончившейся за жизнь трубой. Дыма труба не пускала. Уголь кончился еще на позатой неделе, а если бы и был, то уже не натаскаешь. В сарай, из сарая, в ведро накидать, поднять, запрокинуть, сберечь огонь — и так каждый день, сил на зиму не хватит. Василий берег дыхание. Дом выстыл.

С сопочки видно — бы было, если б Василий зрел, — как старуха с туго подвязанным, как у покойников, под подбородком узлом, из дома напротив с белым шаром мелколепестников, октябрин, у забора растерянно стояла, опустив к коленям длинные, тянущие к земле руки, тяжелые ладони, обоими своими бельмами вперившись в закрытые ворота деда Василия. Чужая, по-собачьи, что дом пуст, что не будет теперь сообщать ей о жизни на их тупиковой улице скрип отпираемой двери чужого сарая, бряканье ведра с углем, чертыханье, писк некормленных мурок.

Мурок, уходя, Василий покормил. Впрок. Вымел, что было, из холодильника, погреба, пооткрывал железные крышки с заготовок. Одна, рыжая, молодая тварь, дедом интересовалась больше остальных. Провожала до сопочки, неразличимая на темно-рыжелой, уже тяготеющей к зиме, к влаге и черноте, которые воспримут белый покров, земле. Потом отстала. Вернулась к своим.

Над улицей пыхнул дымок, из трубы старухи с бельмами. Лег низко, медно-литое облако, до небес не поднялся. Прощальный залп.

Дед Василий уже тек с сопочки вниз. Спина к дому.

* * *

«А печку бы одну топили — и всем хорошо. И экономия, и Василий под присмотром. А то ведь извел меня. А мне все легче, бдить его под боком-то. Слушай сюда, договорились: в пять созвон. Так он не слышит мобильник этот свой. Говорю, сам звони, видишь, нет от меня звонка! Он: отстань, не заряжен он у меня... И я мечусь. Живой — нет? Машке звоню, напротив, говорю, что, живой Василий? Та, пока глаза видели, докладывала: вижу, говорит, уголье у ворот рассыпано. Значит, печку выгребал. А я думаю, пока нес, пока брал ее, золу, теплую, сгусточек, как кутенка, руки грел об эту черную муку... Все тепло, хотя б так. Коль моего не хочет».

* * *

Василий шел. Швырял тупыми, расслоившимися мысками больших ботинок тонкий ледяной налет с ночных луж; света не видел.

Новорожденный свет исходил откуда-то снизу, от земли, выскакивал из-под дедовых подошв. Горизонтальный, широкий, как совковая лопата, луч от встающего солнца оживлял у Василия под ногами осоку в первозданном утреннем инее; высвечивал с изнанки продырявленные осиновые листы, уже даже не красные, скорее бурые, черные; поднимал выше придорожную пыль. Лучу оставалось дотянуться до облаков, выхватить такую необъятную жалость из неба, осветить вот это все (глубоко укатанный в потрескавшуюся землю путь из одного села в другое, через сжатые поля; тоску, которой начинаешь болеть по родине в срединных числах осени, разлитую над вывороченным черноземом, над беспризорными пожарами, запаленными по обочинам полей, над неживыми избами, над заметающими все последними уже хрусткими листьями, которым вот-вот — чавкать, таять, липнуть к подошве, над запахом этим, — многолетнего перегноя, тронутого первым морозом, и горящей ботвы — и над дедом, с котомкой, рюкзачком, кепкой прикрыв голую голову, одолевающим путь) — лучу оставалось осветить вот это все, выхватить, обрамить, дрогнуть от сладкой боли, никакой иной здесь и быть не могло, и — зайти за тучи. Не дожидаясь и полдня.

То, что оставалось лучу.

* * *

«Моего тепла не хочет — и никогда не хотел. А что хотел, не знаю... Я ему не высказывала о себе, нет. Но он знал. И смотрел на меня всю жизнь, как на пейзаж. Мы ж родственники, дальние, все время бок о бок. Понимал про меня все. Владел. Чувствовал, что его. А ему так — не надо. Ему надо — самому. Знал, но никогда не воспользовался, виду не подал. Всю жизнь владел, все семьдесят лет, все семьдесят четыре ... На танцах, в клубе, смотрела на него — не подходил. В армию ушел — ждала. Женился — смотреть перестала, а ждать — нет. Сама уже замужем, а ночью иной раз такое привидится... Стукнет ветка в окно, сливы тяжелые летами были, я от подушки отпряну, от мужа своего отлеплюсь, рубаха влажная, жар, ищу глазами в раме, в темноте, под сливами — может, он стукнул в окошко, позвал... Никогда не звал. Никогда. Жenu схоронил. И я своего. Уже и ждать стыдно. Ну я и не жду... Не жду. Печка вот только. Жалко деда. Холодно. Ноябрины уже. Время к зиме».

* * *

К полудню дед Василий был по-прежнему в начале пути. Шел медленно. Как мог. Думал. Перебирал внутри себя все устройство хозяйства, оставленного теперь на разграбление. Окна заколотил. Гвозди по шляпки не вошли, но замаз у руки еще был. По два гвоздя на досточку. Больше и не надо. Огород убрал. Чтоб не гнило, некисло зимой. Голая земля. Зимние яблоки стряс, выставил у ворот. Одно, штрефель, сунул в карман. Все прибрал, учел. Вроде бы. Тревожили только скукоженные, пожухлые черно-белые карточки, прикнопленные к толстой темной шифоньерной двери, которые дед так и оставил в пустом доме; не решил, что с ними делать. Когда брился, раз в месяц, Василий Василий гляделся в треснутое зеркальце, на гвоздике прибитое на шифоньере, гляделся по долгу памяти, а брился — наизусть. Взгляд, ничего не различавший в мутном стекле, блуждал окрест, пока пальцы оттягивали щетинистую кожу, сбрасывая седую медь — как будто кровь текла внутри колючек. Волосы падали на пол, Василий уже несколько лет пол не мел. Бездумный взгляд зацеплял людей на скрученных, будто уже не имеющих сил бороться с земным тяготением, карточках, преодолевающих волю держащей их алюминиевой кнопки. Кто этот военный? Думал Василий. Вот это фото на паспорт, чье? А этот кареглазый, молодой, в вихрах, похож

на этих, солистов, как будто с обложки пластинки, в городе такие видел... Василия тревожили эти лица, он силился вспомнить хоть что-то — и не мог. Неспроста же они прикноплены здесь, и зачем-то я бреюсь год за годом, глядя на их гладкие подбородки...

Шифоньер молчал.

Василий брился.

Добрился.

Идет.

* * *

«Жена у Василия двадцать лет как померла. Сын был, тот еще в молодости погиб, на мотоцикле. Резвый был, как отец. А сдавать Василий начал недавно. В прошлом году еще печь сам хорошо топил, не мерз. И трубку брал. А сейчас и глаза. И запоры. И сердце. Занимается самолечением. Я ему скорую вызываю, те колют и говорят: в поликлинику на прием. Да разве он к ним пойдет. Сидит сиднем. Бобылюет. Не помнит ничего. Огород полет. Заговаривается. Девяносто лет. Все умерли, кто был. И у меня. Тоже умерли. Но у меня хоть печка... Дрова. Собес. Телефон. Вот он опять телефон вчера не взял. А я ему опять сказать хотела: "Приходи ко мне зимовать"».

* * *

Дед Василий шел.

Темнеть начало после четырех, морозило уже всерьез, щипало с испода куртки, подаренной со своего плеча тем кудрявым, что с обложки пластинки, внутри образованной зазором между темной, складчатой, как пласты шурфа, шеи и далеко отстоявшим от нее тертым воротником воронки. Василий шел, не останавливаясь. Знал, что путь долгий. Устал; глаза от усталости, сумерек и давно уже нависшего под бровями тумана почти и не различали ничего; шел ощупью, полагаясь на свои ботинки и нюх, потому что и разум уже застился: дед Василий забыл, куда вышел до зари, с петухами. Помнил только, что засов точно навесил... В сумерках пошел снег, первая сухая крупка. Под ногами чуть-чуть похрустело, потом большие башмаки деда Василия стали оставлять проталины на дороге, дорога никак не кончалась, и вместе с сгибающимися позади километрами оставались в последнем безвестье не только безбородые лица с шифоньера. (Он уже и не думал вспомнить, кем эти люди доводятся ему.) Оставался в беспмятстве заколоченный дом, убранный огород, вся биография, которую — что нашел: паспорт, метрика, пенсионное — сложил в аккуратную стопочку на холодной, заляпанной золой когда-то белоснежной печи; найдут, если что.

Дед Василий шел, и впереди оставалась еще добрая половина пути.

Он шел зимовать.

Джасур Исхаков

«Деспот ты мой восточный!..»

Рассказ

Восторженно-сладкая и политически выдержанная сентенция: «Счастье — это когда утром хочется бежать на работу, а вечером — возвращаться домой!» на Маруфа Умаровича Санатова не распространялась. По той причине, что на работу Маруф Умарович шел к семи или даже к восьми часам вечера, а возвращался домой далеко за полночь. Он работал певцом в ресторане при гостинице «Шарк», которую старожилы по старой памяти называли «Националь». Двухэтажная, «солидная» гостиница с парадным подъездом на углу, с куполом и слуховыми окнами по кругу. Она стояла на пересечении улиц Ирджарской и «Правды Востока».

...Певцом Маруф стал почти случайно. Он служил в Венгрии, в роте связи Южной группы войск, недалеко от озера Балатон. Благодаря отличному слуху и прирожденному чувству ритма Маруф быстрее всех в роте освоил азбуку Морзе, мог установить радио- или телефонную связь за нормативный срок на «отлично», размотать сто метров провода со стальной струной за рекордные тридцать секунд. За это он уже через семь месяцев службы получил желтую лычку ефрейтора. Кроме того, Маруф был запевалой. К смотру по строевой песне рота готовилась добрых полтора месяца, отрабатывая чеканный шаг на плацу. От усердия отлетали каблуки кирзачей, а «салаги» падали в обморок.

Звучал хриплый голос «бати»:

— Взвод, слушай мою команду! С песней, строевым! Ша-агом марш!

И сотня ног начинала синхронное движение, а ефрейтор Санатов запевал сильным и звонким голосом:

Там, где пехота не пройдет,
И бронепоезд не промчится...

И каре связистов дружно подхватывало:

...Тяжелый танк не проползёт,
Лежит Советская граница!

Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. Драматург, кинорежиссер. Автор рассказов и стихов, по его сценариям снято более тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Живет в Ташкенте.

— Ну-ка, пригласите ко мне этого чернявенького... — задумчиво произнес незнакомый капитан, стоявший на трибуне рядом с командиром полка.

Так ефрейтор Санатов, весеннего призыва пятьдесят пятого года, стал участником хора, а затем и солистом ансамбля песни и пляски ЮГВ. От природы он обладал хорошим тенором, а в ансамбле с ним занимался и ставил голос сам майор Соллогуб, профессиональный певец, руководитель коллектива. Одинаково хорошо Марику, как его называли сослуживцы, удавались песни военных лет — «Землянка», «Эх, дороги», итальянские — «Санта Лючия», «Вернись в Сорренто», русские романсы и, конечно, озорные «Наманганские яблочки». В 1956 году, на смотре армейских коллективов художественной самодеятельности стран Варшавского договора в Софии, за танцевально-вокальную сюиту «Катюша» Маруф Санатов в числе других занял почетное второе место. А роль «Катюши» исполняла молодая танцовщица, вольнонаемная Оксана Лопатко. Еще на репетициях в армейском клубе Маруф влюбился в голубоглазую девушку. Как позже выяснилось, и она заприметила голосистого солиста, по-восточному красивого «парубка» с большими выразительными глазами. Многие тогда спорили, на кого больше похож паренек из Ташкента — на Раджа из фильма «Бродяга» или на Рашида Бейбутова, когда тот исполнял песню «Севгилим», подражая сладким интонациям азербайджанского «соловья». За два месяца до дембеля Оксана и Маруф расписались, и девушка, не раздумывая, взяла фамилию Санатова. Они сыграли скромную свадьбу в офицерской столовой военной части, где дислоцировался ансамбль. Начальство уговаривало молодоженов остаться. Но Маруф мягко отклонил предложение. «Мама одна. Какой я сын, если брошу ее?»

Маруф не сообщил матери о возвращении — хотел сделать для нее сюрприз. В Будапеште, в привокзальном универмаге, по настоянию Оксаны купил для нее подарки — драповое пальто «реглан» светло-коричневого цвета, фетровую шляпу и полусапожки чешской фабрики «Цебо», под цвет пальто.

Они добирались поездом через Москву шесть суток. Майский Ташкент встретил сорокаградусной жарой. «Привыкнешь», — приободрил Оксану Маруф. Та только нервно улыбнулась.

«Сюрприз» Маруфа вышел неуклюжим, совсем не радостным. Мама, Лобар Гиясовна, болела уже полгода. И тоже не сообщала Маруфу об этом, не желая огорчать сына. С чемоданами и коробками молодые взбежали по расшатанной лестнице наверх. Маруф вошел в комнату с приготовленной фразой: «Гостей не ждали? А вот и...» Он осекся на полуслове — медсестра именно в этот момент делала Лобар Гиясовне обезболивающий укол. Укоризненно бросила: «Стучаться надо!» Положение усугубила Оксана. С простодушием станичной казачки она подошла к кровати и сказала уверенным, громким голосом:

— Здравствуйте, мама!

Лобар Гиясовна вздрогнула, подняла на незнакомку глаза. Повисла тяжелая пауза. Медсестра торопливо собрала свои причиндалы и, хмыкнув, ушла.

— Мама, здравствуйте... Это моя жена, Оксана, — тихо произнес Маруф.

Лобар Гиясовна молча отвернулась к стене.

...Маруф смутно помнил отца. Умар Санатов погиб в самом начале войны, когда сыну было пять лет. Всю свою нерастрченную любовь Лобар обратила на Маруфа. И вот как снег на голову эта девушка, чужая во всем. К физической боли прибавилась душевная тоска. Драповое пальто, шляпка и полусапожки негодились Лобар Гиясовне. Инсульт, диабет и еще целый букет всяких гадостей накрепко приковали ее к постели. Она беспомощно плакала по ночам. Лобар мечтала, что сын женится на дочери ее ближайшей подруги, продавщицы из гастронома номер один Фатимы. И в мечтах она представляла, какими красивыми будут ее будущие внуки.

...Начальник райвоенкомата майор Назаров перелистывал документы и дипломы Маруфа.

— Товарищ Санатов, буду рекомендовать вас в ансамбль песни и пляски Туркестанского военного округа, не против? Зарплата хорошая, со временем квартира, медобслуживание в Центральном госпитале... Решайте.

— А маму... Можно в госпиталь? — дрогнувшим голосом спросил Маруф.

— Конечно, прикрепим всю семью, — Назаров улыбнулся, выпустил клуб дыма. — Решайтесь, я сегодня добрый.

— Соглашайся, сынок! — всхлипнула от радости Лобар, когда Маруф рассказал о предложении военкома. — В этом госпитале очень хорошие врачи... Я слышала. И форма тебе очень к лицу.

На следующий день ефрейтор запаса Санатов уже подписывал контракт на сверхсрочку для работы в ансамбле ТуркВО.

Шло время. Постепенно между Лобар и Оксаной сложились теплые отношения. Оксана без брезгливости делала свекрови массаж, натирала лекарственными мазями больные ноги Лобар. Подавала и уносила эмалированную утку. А еще Лобар Гиясовне нравилось, что эта русская очень экономна. Из скромных припасов Оксана могла приготовить вкусную еду. Занимая у соседей большой медный таз, варила в нем варенье из клубники и вишни, осенью солила огурцы и помидоры. Шила на старинной машинке «Зингер» нехитрые вещицы — ночнушки, фартуки.

Каждый день Маруф уходил на работу на репетиции в окружной дом офицеров на углу Братской и Энгельса; ездил в командировки с концертами по клубам военных городков и гарнизонов пяти южных республик.

Жизнь постепенно входила в нормальное русло. Так пролетел год, потом два.

Сколько ни намекал Маруф начальству об обещанной квартире, о лечении мамы в военном госпитале, все оставалось по-прежнему. Да и зарплата сильно отличалась от той, какую обещал военком. С премиями выходило восемьсот шестьдесят рублей, которые в январе 1961 года превратились в восемьдесят шесть...

Перед Новым годом самочувствие Лобар Гиясовны резко ухудшилось. Оксана сидела у ее постели, массировала холодные руки свекрови, кормила ее с ложки. Лобар Гиясовна таяла на глазах, уже не могла говорить, только внимательно смотрела на сына и на невестку, и подобие улыбки появлялось на ее измученном лице. Маруф и Оксана по очереди выходили из комнаты и плакали.

Умерла Лобар тихо. Просто не проснулась утром.

После похорон матери Маруф уволился из ансамбля ТуркВО.

По рекомендации дяди Сапара, брата отца, который работал в Октябрьском райисполкоме, поступил работать в оркестр ресторана «Октябрь». Руководитель ансамбля, одновременно скрипач, Ефим Самуилович Левин попросил его что-нибудь спеть. Маруф запел сентиментальную трошинскую песню:

Помнишь, мама моя, как девчонку чужую
Я привел к тебе в дочки, тебя не спросив,
Строго глянула ты на жену молодую
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв,
Нас поздравить забыв.

Маруф пел без оркестра, а капелла, но получалось очень проникновенно и с чувством. На глазах старого скрипача выступили слезы.

Я ее согревал и теплом, и заботой,
Не тебя, а её я хозяйкою звал.
Я её целовал, уходя на работу,
А тебя, как всегда, целовать забывал,
Целовать забывал.

— Беру, беру! Куда денусь, Сапарчик? — воскликнул он с фрикативным «р» и неповторимым одесским акцентом. Остроумцы — лабухи Ташкента — в шутку называли Ефима Самуиловича «Наш Левин в Октябре». Он, начинавший работать в ресторанах еще довоенной Одессы, хорошо знал, как растрогать или порадовать клиента, готового за повтор песни заплатить свои кровные.

Оксана к тому времени устроилась работать машинисткой в паспортный стол в отделение милиции, что располагался рядом с Алайским базаром. Она уходила рано утром, когда Маруф Умарович крепко спал после прокуренной ресторанной кутерьмы. Поэтому нормально они встречались по праздникам, по воскресеньям и ночью, в постели на металлической кровати с никелированными блестящими шариками. Так как детей у них не было, вся ее материнская нежность проецировалась на Маруфа. Жили они на Кашгарке, в коммунальном дворике «с удобствами» у ворот. За забором стучали допотопные станки табачной фабрики, и в воздухе постоянно витала махорочная пыль. В квартире, которая располагалась на втором этаже каркасно-глинобитного дома с узкой деревянной верандой, было две комнаты — одна являлась одновременно и гостиной, и спальней, и кухней с гудящим примусом и, на всякий случай, с керогазом. А по выходным комната становилась еще и «душевой», с мочалками, тазиками и кружками. Вторая комната была обычной пристройкой, без окон. В ней и располагались в первые годы молодые. А после смерти Лобар Гиясовны перебрались в большую комнату. В первые дни Оксана купила в комиссионке на Тезиковке туалетный столик и складывающийся трельяж. Там же нашла часы-ходики с выпрыгивающей каждый час на пружинке кукушкой. «Ку-ку, ку-ку!» — значит, два часа. Циферблат ходиков был в виде мордочки кота, у которого хитрющие глазки бегали взад и вперед в такт убегающим секундам. «Точь в точь как у нас дома!» — радовалась Оксана. Она умело вела хозяйство, упорно откладывала на сберкнижку деньги. «Вот дадут квартиру, тогда и сервант румынский купим, и люстру чешскую, и кровать новую...» — мечтательно шептала она, глядя волнистую шевелюру Маруфа в редкие минуты полуночного общения. А еще любимой присказкой, обычно в самом конце сладкой близости, была ее фраза, которую она говорила с придыханием: «Ах ты мой восточный деспот!...» — целовала его благодарно и загадочно улыбалась. По утрам она готовила ему завтраки, накрывала тарелку с морковными котлетками салфеткой и писала записки типа: «Маруф, золотой, не забудь купить хлеб и иголки для примуса. Целую, твоя Ксюха».

Из того, что Маруф когда-то привез из армии, кроме подарков для мамы, был немецкий электрический проигрыватель и коробка пластинок. По выходным Маруф ставил проигрыватель на табуретку, заводил пластинки, и с веранды, на радость соседям, звучала хорошая музыка. Но главное, что он привез «из-за границы», был некий «европейский лоск». Это замечали все его старые друзья-приятели. Он объездил с ансамблем ЮГВ не одну страну, видел, как там живут люди, как одеваются, как общаются. Как улыбаются друг другу. Он был хорошим учеником, и здесь, в родном городе, никогда себе не позволял носить грязные туфли, мятую одежду, каждый божий день брился, опрыскивая лицо рижским одеколоном «Миф» и с помощью бриолина делал аккуратный пробор. Курил он мало, берег связки. Предпочитал московскую «Яву», которую покупал из-под полы по пятьдесят копеек за пачку. А еще он отпустил над верхней губой тонкие усики, и немало женщин невольно оглядывались на него, когда он шел по узкому переулку, перепрыгивая с кирпича на кирпич мимо арычка с черной неприятно пахнущей водой, которая текла из подпольной артели по выделке и покраске кожи. Подобных «цехов» на Кашгарке было немало.

Вскоре оркестрик «Левина в Октябре» в силу вкусовых разногласий с директором «Октября» перебрался работать в самый центр Ташкента, в ресторан «Шарк». И одним из магнитов для степенных, солидных клиентов был Маруф Санатов, элегантный певец с красивым голосом, костюмом «с иголочки», хорошими манерами

и, главное, продуманным репертуаром. Он мог спеть практически все что угодно. Но он, как и Ефим Самуилович, отлично усвоил психологию и вкусы слегка подвыпившего, «солидного» посетителя. Он не пел дешевых эстрадных поделок, которые звучали во всех ресторанах и питейных заведениях большой страны. Маруф называл эти песенки «туфтой» и «полной лажей». Сначала, для «разгона», что-нибудь медленное, потом сентиментальное, вышибающее слезу, потом зажигательное, типа хорезмского «Лязги» или «Баригал». Когда клиент уже устал от еды и выпивки, — что-нибудь томное и слезливое.

А потом можно спокойно включать магнитофон, и клиент, уже поголовно пьяный, будет считать, что оркестр продолжает играть для него...

Маруфа не раз приглашали работать в филармонию, но он предпочитал «вольные хлеба» ресторанного певца. Кроме твердой зарплаты были «чаевые», «халтуры» на свадьбах и юбилеях, что чувствительно дополняло семейный бюджет, но главное, у Маруфа было свободное время. А он это ценил.

Сегодня Маруф Умарович опаздывал. Ефим Самуилович недовольно поглядывал на часы и заполнял время медленными блюзами и фокстротами Цфасмана.

— Что стряслось, Марик? Ты похож на мою бабушку Цилю в гробе — такой же хмурый... — старый скрипач был отменным психологом, и ему было достаточно лишь на мгновение взглянуть на человека, чтобы определить его настроение. — Я вижу, ты плакал? Марик, посмотри на меня...

— Я вам потом все расскажу... — махнул рукой Маруф, переодеваясь в концертный костюм.

— Ладно, работаем... Сбавляешь «Кошку и плов». А то гости совсем скисли...

Левин вышел на сцену со скрипкой в руках. Весь ресторан сегодня был отдан двум юбилярам, друзьям по детству.

— Дорогие гости, мы хотим подарить нашим уважаемым виновникам торжества шуточную песенку. Про неверную жену и мудрого мужа! Не дай Бог такое пережить Арсену Багдасаровичу и Анвару Турабовичу! — широко улыбаясь сказал в микрофон Ефим Самуилович. — На сцене — известный вам Маруф Санатов!

В зале зааплодировали. Большей частью это были завсегдатаи заведения, и они хорошо знали не только прекрасную солянку и сочные кебабы, которые здесь подавали, но и репертуар ресторана. Один из юбиляров был негласным хозяином всей потребкооперации, второй контролировал крупные автосервисы и сеть маленьких мастерских.

Взмах руки, и маленький оркестр — скрипка, флейта, аккордеон, контрабас и ударная установка — заиграл вступление.

Маруф вышел на сцену. Обычно улыбчивый и приветливый, сегодня он не был похож на себя. Какой-то удрученный, сумрачный.

На востоке любят Насредина,
За весёлый ум и мудрость слов,
Вот одна забавная былина,
Про жену, про кошку и про плов.

Он пел сто раз спетую песенку, но смысл ее вдруг представил совсем в другом свете.

Обычно этот шедевр Рашида Бейбутова Маруф пел с юмором, мастерски передавая нюансы анекдота. Но сегодня его словно подменили.

Гости, в большей части напомаженные женщины в дорогих вечерних платьях с глубокими вырезами, обвешанные золотыми украшениями, недоуменно переглядывались. Особенно не понравилось им место в песне:

...А жена-плутовка не дремала,
Как уснул, соседа позвала,
Утощала пловом, целовала,
А ушёл — посуду прибрала.

Ефим Самуилович играл на скрипке и беспокойно смотрел в зал: видя презрительно сжатые губы и подозрительно суженные глаза высокопоставленных жен, сожалел о том, что наговорил перед песней. «К черту! Выкину эту дребедень!» — думал он, судорожно водя смычком по струнам.

Он подошел к Маруфу сзади и шепнул в паузе:

— Марик, хватит минора... Эти жирные коты нам бошки снесут! Веселей, улыбайся, умоляю...

Но Маруф был словно погружен в свои мысли и витал в другом мире. Он просто не слышал страстного шепота своего шефа.

...И спросил мудрец без лишних слов
Если это плов, то где же кошка,
Если это кошка, где же плов?

Голос Маруфа с каждой нотой становился сильнее и сильнее. Старый скрипач страдал, физически чувствуя нависшую над ним угрозу. «Скорее бы уж конец!»

Если это плов, то где же кошка?
Если это кошка, где же плов?!!

И вдруг, после финальной фразы, Маруф заорал прямо в микрофон:

— Сволочи!!! Дряни, шлюхи!!! Все вы!!!

Мощные «кинаповские» динамики разнесли по всему залу эти отчаянные крики. Маруф ушел со сцены, а женщины, обмахиваясь китайскими веерами, возмущенно вставали из-за столов. Слышались гневные реплики: «Нет, вы слышали?!!», «Что здесь происходит?», «Что он себе позволяет?», «Какой негодяй! Гнать его в шею!», «Подонок!», «Прибить его мало!», «Идиот! Его место в психушке!» и т.д. и т.п.

То, чего так боялся Ефим Самуилович, не произошло — мужчины как-то спокойно отнеслись к ресторанному инциденту. А некоторым даже понравилась неожиданная концовка песенки. Сытые, захмелевшие, они перешептывались: «Слушай, Равиль, а мне понравилось! Как он врезал правду-матку!»

Вскоре все успокоились, и флейтист Жора подменил Маруфа. Пел подряд «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» и «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!».

И снова в зале слышался звонкий женский смех, звучали поздравления и тосты. А Ефим Самуилович за сценой принимал нитроглицерин, успокаивая расшалившееся сердце.

Банкет приближался к концу. Уже вкатили юбилейные торты со свечками, подали чай и кофе. Гости кучковались группами, покуривая, негромко обсуждая свои дела. Кто-то уже спал, уютно положив голову между блюдами с нетронутым ассорти. Женщины обсуждали свои проблемы — о новом салоне красоты на Пушкинской, о ценах на искусственный жемчуг из Вьетнама. Крутились бобины МАГа-59, и в зале звучало «Воларе» Доменико Модуньо.

Маруф сидел с Ефимом Самуиловичем в «костюмерной», так называли убогую комнатку за сценой с треснутым зеркалом, продавленным диваном и раковиной, полной окурков. На «гримерном» колченогом столике стола тарелка с закуской, рюмки и пустой графин.

— И ты поверил этому босяку? — возмущенно спрашивал Ефим Самуилович Маруфа, который сидел напротив него, опустив голову. — Он что, свечку держал? Или на люстре висел? От дешевого вина у этого придурка в голове вместо мозгов одно говно! Никогда не поверю, что твоя жена может тебе изменить! Никогда! Она же ангел! Красавица!

— Он видел ее... с Торчаком... — тихо произнес Маруф и горестно вздохнул: — Он ей цветы подарил....

— Марик, не падай в моих глазах! Дарить цветы и изменять — как говорят в Одессе, это две большие разницы! Кто этот... как ты сказал?

— Торчак, майор, заместитель начальника одиннадцатого отделения... Шеф Оксаны.

В комнатку заглянула рыжая официантка в накрахмаленном кокошнике.

— Дядь Фима, еще? — подмигнула она.

— Да, золотце, принеси еще... Ты слышала, что тут кричал этот ненормальный?

— Да все слышали! — засмеялась девушка. — Молодец, Марик!

— Прости меня, Зиночка, но я чуть не наложил в штаны из-за этого молодца! Нашелся тут Фидель Кастро!

Забрав графин, официантка скрылась за дверью.

— Ты хоть знаешь, что это за люди? Одно слово любой сидящей здесь профурсетки, и мы вылетим отсюда, как пробки! — скрипач не мог найти себе места, ходил по комнате взад и вперед. — Ты просто не представляешь, какие это страшные люди... Особенно Арсен...

Он замолчал, присел рядом с Маруфом, обнял его за плечи.

— Как сказал один старый еврей, «все проходит. Пройдет и это...», — тихо произнес Ефим. — Даже если Оксана тебе изменила...

Маруф поднял на него глаза.

— Не надо было сегодня орать и обвинять всех! Не ты первый, и Оксана твоя не единственная... Не делай трагедию... Ты молодой, красивый, а вокруг рыскает столько голодных женщин...

Он увидел в этот момент глаза Маруфа и осекся на полуслове.

— Ну, и где эта Зина застряла? Как никогда хочу выпить... — отвернувшись, сказал он.

И не глядя взвизгнул:

— И не смотри на меня глазами больной коровы!

...Обычно Оксана возвращалась с работы около семи часов вечера, и часто Маруф встречался с ней, отправляясь на работу. Сегодня, не дождавшись Оксаны, уже в восьмом часу, Маруф спускался по лестнице. Внизу, сидя на корточках, его ждал сосед Вячеслав Качурин, «Славик-артист». Пять лет назад его уволили из театра «за систематическое пьянство и срывы спектаклей». Пить он стал еще больше. На водку денег, да и физических сил, уже не хватало, и Славик давно перешел в стан «бормотологов», то есть потребителей плодово-ягодного крепленого вина по рублю десять копеек за 750 грамм. Он опускался все ниже и ниже, но, сопротивляясь, продолжал носить лоснящиеся от старости галстуки, бриться до синевы, жевать мускатный орех от перегара и употреблял «интеллигентные» выражения и словечки. Частично они были почерпнуты из ролей, которые он когда-то (и, главное, с успехом) играл на подмостках театра на улице Карла Маркса, напротив ГУМа — на ташкентском «Бродвее».

— Мое почтение добрым соседям! — с деланной улыбкой сказал Славик, поднимаясь навстречу Маруфу.

— Добрый вечер, — ответил Маруф.

— У меня для вас есть книжка... — Славик вытащил из пиджака тонкую

брошюрку. — «Афоризмы мудрецов»... Вы только послушайте... «Довольствуйся малым и будешь счастлив». Это сказал Конфуций. Как здорово, а?

— Сколько?

— Отдам за два рубля... Неохота тащиться к букинистам. Цена ей рубля три.

Понимая, что красная цена брошюрке тридцать копеек, Маруф протянул деньги, чтобы скорее отвязаться от соседа.

— Книжку потом возьму.

Он хотел было идти, но Славик неожиданно взял его за руку.

— Знаете, Маруф Умарович, я вас очень уважаю, поэтому... — Славик закашлялся. —

Я не могу вам не сказать...

— О чем? — Маруфа кольнуло какое-то неприятное предчувствие.

— Знаете, это неправильно, что муж всегда обо всем узнает последним... — отводя глаза, тихо произнес Славик. — Несправедливо это... Хочу это исправить...

— Что там бормочешь?

— Ладно... — со страхом выдохнул сосед. — Правда любит ясность. Ваша жена изменяет вам. Вот.

— Что ты сказал? — Маруф схватил Славика за галстук. — Повтори!

— Оксана вам не верна! — на всякий случай Славик скрестил руки перед лицом.

— Ты, дебил, ты соображаешь, что говоришь?

— Я говорю это только ради вас! Нас, артистов, легко обидеть... По себе знаю! Не хочу, чтобы вас обманывали... Оксана встречается с Торчаком, Алексеем Петровичем... Майором. Который похож на Олега Стриженова... Такой высокий блондин... — торопясь, на едином дыхании, говорил Славик. — Он возит ее на машине, дарит цветы. Я вчера их видел, они уединились в вашей квартире, когда вы на работе были. И надолго... Не верите? Клянусь памятью моей матери! Вы сами еще убедитесь...

Маруф отпустил Славина галстук и пошел к воротам двора.

— Может, добавьте? — крикнул Славик.

Маруф вынул деньги, бросил их на землю.

Славик сделал «испанский поклон» и ловко подцепил зеленый трояк.

Маруф шел, не видя ничего вокруг. Голова от боли стала словно чугунной. Несколько раз останавливался, прислонившись к стволу дерева. Подошла сердобольная старушка: «Вам плохо?» Маруф покачал головой. «Нет... Ничего... Спасибо...» Хотя ему было плохо, как никогда. Чего в Маруфе было с избытком, это фантазии. И, почти поверив бывшему артисту, он представлял все в красках, со звуками, с деталями. Видел их кровать с никелированными шариками, лицо майора, похожего на знаменитого киноактера, а совсем рядом — лицо Оксаны. И от этих видений кровь снова прилиwała к голове, куда-то к темечку, и он мычал, сжимая зубы. «Ненавижу... Ненавижу... Ненавижу-у-у-у!!!» — звучало внутри него в ритме нервно колотящегося сердца. Так он дошел до ворот гостиницы, прошел хоздвор, поднялся по ступенькам ресторанной кухни. Не отвечая на приветствия удивленных поваров, прошел в «костюмерную». Из зала доносился медленный блюз.

— Что стряслось, Марик? Ты похож на мою бабушку Цилю в гробе, — такой же хмурый... Я вижу, ты плакал? Марик, посмотри на меня... — как в тумане, слышал голос Ефима Самуиловича...

Маруф поднимался по ступенькам скрипучей лестницы. Никогда она не казалась такой длинной и крутой. Каждый шаг давался ему с трудом.

Он открыл дверь. В нос ударил запах ацетона. Крутилась пластинка, бархатный голос Карела Готта уютно заполнял полутемное пространство.

Комната была освещена только настольной лампой в виде грибка, которая стояла на туалетном столике. Рядом краснел букет тюльпанов в двухлитровой банке.

Оксана в полупрозрачной нейлоновой ночнушке делала себе педикюр. Она

сидела под лампой в неудобной позе, согнув в колене ногу, старательно покрывая ярко-красным лаком ногти.

Сказала, не отрываясь от своего занятия:

— Привет, Карузо! Извини... В сковороде картошка, в термосе чай... Поухаживай за собой, ладно? Я сейчас dokonчу...

Маруф промолчал, подошел к ней сзади. Мягкий свет лампы освещал ее голые плечи, руки, шею с тонкими завитками, ушную раковину, овал щеки, ресницы.

Она почувствовала его взгляд, подняла голову, посмотрела в отражение зеркала. Створки трельяжа дробили ее лицо с разных сторон. Оксана приветливо улыбнулась и снова склонилась над стопой.

— Цветы... Откуда? — стараясь говорить небрежно, спросил Маруф.

— Алексей Петрович подарил... — она подула на сохнувший лак. — Они на выходные в Черняевку ездили. На майские предложил присоединиться... Поедем?

Маруф промолчал.

Не получив ответа, Оксана оглянулась, удивленно спросила:

— Что это с тобой? — Засмеялась: — Да ты пьян! Ладно, иногда можно! Давай, раздевайся и ложись, постель готова. Я скоро...

Она было снова склонилась с кисточкой, но затем подняла глаза.

— Что-то случилось? — уже тревожно спросила она.

— Я все знаю, — крутя желваками, тихо произнес Маруф.

— Ну, хватит шутить! Это не смешно, Санатов.

— Давно ты с ним?

— С кем?

— Со своим майором, Торчаком?

— С Алёшей? Почему «моим»?

— Потому что ты с ним... трахаешься!

— Ты дурак, Санатов?

— А ты — обыкновенная шлюха...

Оксана медленно завинтила пробку-кисточку, положила флакон с лаком на столик. Неспешно встала, обернулась к Маруфу.

— Повтори, — угрожающе тихо сказала она, глядя на него немигающим, каким-то мертвым, взглядом.

— И повторю! — набирая воздух от подступившего страха, прошептал Маруф. — Ты — дешевка...

Со всего размаха Оксана хлестанула Маруфа по лицу. Так сильно, что тот с трудом сохранил равновесие.

— Это тебе за «шлюху»...

Оксана схватила банку с тюльпанами и со всей силой грохнула ее об пол.

— Это за «дешевку»!

Распластанные тюльпаны валялись среди мокрых осколков.

Следом за банкой на пол полетели тарелки.

Не спавшие соседи с удивлением прислушивались к квартире на втором этаже, откуда вместо приятной музыки неслись крики и звон разбивающейся посуды.

...Часа через два, когда и Оксана, и Маруф устали от ссоры, она рассказала, что да, майор дарил ей эти злосчастные тюльпаны, как и всем сотрудницам милиции, включая уборщиц, что да, привозил ее на машине, потому что надо было перевезти к ней громоздкую пишущую машинку «Оливетти». Она бы сама не смогла ее и поднять. Торчок настоял на том, чтобы его кандидатскую диссертацию Оксана печатала дома, а не дай бог на работе. («Ты не знаешь, какой это халявщик и трус!») Да, они провозились с установкой машинки целый час! Потому что вилка итальянской

машинки не подходит к нашей розетке! Да, на лестнице Алексей Петрович поцеловал меня в щечку! Ну и что?

Все это Оксана рассказывала, собирая мусор в совок. Маруф сидел, опустив голову.

— Я знаю, кто тебе настучал, — она со звоном ссыпала осколки в ведро. — Эта гнида, артист недорезанный... Качурин из третьей квартиры... Собственными руками удушю эту мразь! Не хотела тебе говорить — этот гаденыш клеился ко мне... Когда я его отшила, послала на три буквы, он и пообещал мне устроить... Аутодафе, как он выразился! Подонок.

Маруф встал, пошел к двери.

— Ты куда?

— Прогуляюсь, — неопределенно ответил Маруф.

— Ты к этому Славику? — догадалась Оксана и встала перед дверью. — И не вздумай... Не трогай говно, вонять не будет... Прошу тебя, успокойся.

...Робкий рассвет апрельского утра слегка высветил окно. Звякнула створка ходиков, выскочила на пружинке кукушка, истошно прокуковала пять раз.

Маруф курил, стряхивая пепел в форточку. Оксана лежала в кровати, отвернувшись к настенному коврику с оленями. Оглянулась.

— Занавеску не сожги, — сказала она.

Маруф не ответил, даже не повернулся в ее сторону. Оксана встала, взяла со стола пепельницу, поставила перед ним на подоконник.

— Так и будешь молчать?

— Давай не будем, а? — после паузы хрипло произнес Маруф.

— Давай...

За окном неожиданно раздался лай собак. Нет, не тот, обычный, что всегда звучит по ночам. Это был какая-то страшная собачья какофония из лая, визга, воя. Из-под козырька крыши с шумом взлетела и резко поднялась в утренний воздух голубиная стая.

Оксана растерянно стояла посередине комнаты.

— Ты мне так и не поверил... — сказала она устало. — Но между мной и Торчаком ничего не было! Не-бы-ло-о-о!!! — закричала она. — Провалиться мне на этом месте!!!

И вдруг, откуда-то снизу, из глубины, раздался утробный, низкий, страшный гул. Окно засветилось заревом оранжево-красного цвета. И первый удар сдвинувшихся далеко в глубине неведомых земных плит достиг поверхности и беззащитного города на ней. И твердь, основа, ушла из-под ног. И привычное, земное притяжение вдруг пропало, исчезло. Дом закачался, как небольшая лодка при шторме. И к утробному гулу снизу прибавился страшный скрип балок, стропил, полов, крошащихся стен и пронзительные крики людей.

— А-а-а-а! — закричала Оксана.

С грохотом упала и разбилась настольная лампа. Сорвались со стены ходики с ухмыляющимся, котом на циферблате. Полетели с полок тарелки, чашки. Этажерка накренилась, и на пол разлетелись книги.

Дом раскачивался, скрипел, пыль изо всех щелей застилала все вокруг.

— Что это? — кричала Оксана, оглядываясь вокруг в животном страхе. И, как финал театрального спектакля, со страшным грохотом рухнула левая стена их квартиры вместе с ковриками, фотографиями, обоями, открыв кусок светлого уже неба и апрельскую листву сирени.

Часть потолка нависла, обнажив в один момент камышовые потолки, стропила... Кирпичная труба повисла на мгновение.

— Оксана! — крикнул Маруф, но было поздно — труба рухнула, ударила по голове Оксану.

Маруф подбежал к ней, бросился на колени.

— Оксана... — прошептал он. Она не отвечала.

Он поднял ее на руки, двинулся к выходу. Дверь заклинило. Маруф что было сил ударил по ней ногой, и она вылетела вместе с трухлявой коробкой. Сверху, в пыльной завесе, двор трудно было различить ...

Бежали с криками люди, старики, дети, женщины и мужчины, инстинктивно шарахаясь от ненадежных стен. Большинство — полуголые, в трусах, майках, ночных рубашках и пижамах.

На глазах закрипела и перекосилась лестница. Маруф ступил на нее, и она предательски закачалась под ногами.

Он нес Оксану, выверяя каждый свой шаг, проверяя каждую ступеньку на надежность.

Нес как бесценный, хрупкий сосуд. Маруф ощущал ее тепло, мягкость кожи, запах волос, упругость груди, чувствовал словно в первый раз.

Он спустился вниз. От напряжения дрожали руки. Ноги были ватными. Он положил ее на землю, в центре двора, у водопроводной колонки. Тяжело дыша, упал рядом.

Пыль постепенно рассеивалась, люди уже не кричали, громко и оживленно переговаривались, возбужденно обсуждая, сколько баллов было: семь или восемь?

Где-то вдали гудели сирены пожарных машин, завывали сигналы «скорой помощи». Голуби летали над домами, целыми и разрушенными, снижались, уставшие, занимая свои места под козырьками и в голубятнях. Собаки жались к людям, доверчиво заглядывая им в глаза, повизгивали, виляли хвостами в знак радости, что все кончилось... Кошки неподвижно сидели на ветках чахлой сирени, и только дрожащие кончики хвостов выдавали их волнение.

Город медленно приходил в себя.

Маруф сидел рядом с Оксаной и, не стесняясь никого, плакал, уткнувшись головой в колени.

Оксана застонала, зашевелилась. «Пить...»

Маруф торопливо принес в ладонях воду, вылил на ее пересохшие губы.

Перемазанная с ног до головы печной сажей и пылью, она была сейчас некрасива.

Маруф провел мокрой ладонью по ее лицу. Она открыла глаза.

И вдруг улыбнулась.

— Деспот ты мой восточный... — прошептала она тихо, взяла его руку и устало закрыла глаза.

Первый луч солнца коснулся ее лица.

И словно пропали следы гари и лессовой мелкой пыли.

И куда-то на второй... Нет, на десятый, сотый план ушли все перипетии вчерашнего и сегодняшнего дня. Растворились, унеслись, как пыль под ветром.

Он еще не знал, что начинается жизнь, которая будет теперь делиться на «до» и «после». Как, впрочем, для всех жителей его города.

Сейчас для него самым важным было то, что на ее шее билась, пульсировала голубая жилка, а дыхание становилось ровнее и спокойнее.

Маруф прижал ладонь Оксаны к губам.

Эли Смолха

Дикие львы и домашние фикусы

Рассказ

06.03.19

Если приходится возвращаться домой, нужно
войти в дом молча и посмотреться в зеркало.

*(Записано в с. Хлебное Новоусманского р-на
Воронежской обл. от Фоминовой А.С., 1946 г. р.
Запись Фарберовой О., Лучниковой Е. 1992 г. АКТЛФ)*

Полчаса вертелся на стуле, дожидаясь, пока страница во «Вконтакте» не исчезнет окончательно, без всякой возможности восстановления — сколько куда ни тыкай, всё, капут, до свидания, социальная сеть, сеточка, веточка в окно бьется, потому что на улице ветерок, но погода все равно хорошая, да

любая погода хорошая, хорошая.

погода разрывается дождем

воевода разрывается

вдвоем

мы

смотрим ты я зеркало снова я и потом ты уже очень далеко

Сжигаю паспорт в кадке с фикусом, случайно поджигаю фикус, бедный, высохший, никому не нужный, стандартный фикус, который предназначен для того, чтобы кто-то (мать) сказал, мол, есть у меня фикус. У муракамьских у всех есть забытый фикус, у нас тоже есть забытый фикус, и даже забитый, а теперь еще и горящий — куда там японцам с их созерцанием. Пытаюсь потушить чаем — получается не очень. Выбрасываю фикус в окно с криком «банзай!», тайно надеюсь, что тот упадет на чью-то машину, но увы, увы, не упал, просто разбился на дорожке и лежит весь такой распластанный и невинный. Дожигаю паспорт и кое-какие документы в сковороде.

фикус несчастный

горел ты недолго

аминь (или банзай)

Школьный портфель набиваю разнообразными вещами личного характера, всем, над чем витает незримо ярлычок «львовино»: бритвы, подарочки, часы, кое-какие дневники, тетради, учебники, — остальное сую в спортивную сумку — собираю вещи, всё, все, вся. Кручусь-верчусь на стуле и думаю, что я мог забыть, прихожу к выводу, что ничего, потом вспоминаю про пепел в сковороде, иду вытряхивать в

Эли Смолха родился в 1998 году в Новороссийске. Учится в МГПУ. Живет в Москве. Это первая публикация автора.

унитаз, резко меняю решение, вытряхиваю в окно. Лети-лети, Лёвушка, Простолёвушка, а фамилии даже не буду называть, потому что она вон там тоже летит среди этого всего, уже и не видно, как летит, уже, может, и не летит.

Смотрю вниз, фикус все еще валяется на дорожке, мне его жаль до слез почему-то, он-то ни в чем не виноват был. Может, кто подберет, вылечит, обеспечит достойную старость или хотя бы засушит на балконе.

*достойная старость
шепчет мой фикус
аригато*

Проверяю, все ли на месте, быстро ворую деньги и украшения, все, что смог найти, выхожу, запираю дверь, ключи по пути выбрасываю в мусорную дырку (в мусоропровод, еле вспомнил).

Зеркало я разбил еще вчера.

09.03.19

Умерший младенец должен тащить с собой на
тот свет свою люльку — в ней он и отдыхает по
дороге в загробный мир.

В.Петрухин Мифы финно-угров

Кожа сидений отколупывается, коричневая и черствая, под ней — белая ткань, я колупаю пальцем и не могу остановиться, выбрасываю кусочки кожи в окно, на поле, через которое мы едем. Под ноготь попадает — больно. Помогите, люди дорогие, Христа ради, дом сгорел, потом дом затопило, потом ураганом снесло, потом слезами детскими засолило, потом дымом закоптило, потом ртом большим пожрало, потом а-а-а-а — это не я, это попрошайки профессиональным попрошайским голосом. Сзади стоят бревнами подбородистые мужики, а я всегда ненавидел мужиков, особенно подбородистых, особенно таких — все будто навывкате. Сторожат.

*я мужик
я тебя вжик-вжик
я тебя хрясь
я тебя трах
один мах
страх*

Бабка начинает орать на попрошайку, та визжит, все визжат, подбородистые мужики гудят-трубят басом, потом все выкатываются на какую-то-там-станцию, начинается спокойствие, благодать, поле за окном стоит-лежит, никуда не едет.

*укатились
ура*

Благодать кончается, продают носки, календари, тетради чего-то ради, ручки, всевозможную байду с наценкой в два раза, фонарик со встроенным ножом, нож со встроенным фонариком, зеркало походное и зеркало домашнее, фикусы в банках, фикусы в кадках и фикусы в горшках, обложки для паспортов, зажигалки с лицами всевозможных вождей, гармошки. Заботливая мама покупает ребенку жуткую свистелку цвета фуксии (ад все-таки именно такого цвета и пахнет китайским пластиком, я уверен), раздаются звуки, которые я, субъективно, конечно, характеризую как адские.

*пятый всадник на пластмассовой лошадке
ставки шатки шатки пятки
фикус в кадке фикус в кадке
мальчик пой что ты живой
вой вой вой вой иди на бой*

Закат.

Вносят гроб — шумно. Я хочу спать, но спать не дают, окружают плотным слоем, я как блин — но вроде бы и не Масленица, а потом вспомнил, что Масленица, еще завтра тоже будет Масленица. Сидят с двух сторон, что-то кричат наперебой, смеются и плачут, и я тоже плачу, потому что все плачут, и греют телами друг друга, и сплетаются, когда электричка скачет по особо ухабистым ухабам, и соединяются в плачущий ком, а в середине — гроб.

*а в середине гроб
а в сердцевине бог
под крышкой*

Мы плачем и давимся слезами, я не вижу ничего, кроме мутного скопления лиц, голубые глаза и черные брови где-то среди них, а контролер идет, а с ним два мужика в черной форме и в желтых буквах остроугольных, а у меня нет билета, а у меня по какой-то причине совсем-совсем нет билета. И я делюсь этим с ближайшим лицом и не могу вытереть наши общие слезы с наших лиц. Меня гладят, успокаивают, складывают маленьким комочком в гроб по-тихому, тесно и темно, а рядом она — холодная и совсем уже переплывшая на другую сторону, но тут меня мужики не видят, не слышат и не чувят. Мы качаемся с ней, как в колыбельке, мы качаемся, как в колыбельке, и тут калина везде разбросана — красные ягоды, такие сочные, что лопаются с хлестким звуком и покрывают нас красной жижей, и мы в ней совсем измазались, я и Женя, болтаемся на белом, что уже красном, скользим внутри, а снаружи громко-громко, а у нас тихо-тихо, а снаружи холодно-холодно, а у нас тепло-тепло, а снаружи мужики, а тут мы болтаемся, как последние шпроты в банке, снаружи пьют и булькают, а мы молчим с закрытыми глазами.

Я засыпаю постепенно, гаснет то одна сторона, то другая, гаснет тело, и гаснет последнее, что отвечает за восприятие, чем бы оно ни было.

07.03.19

Утром на небе появился круг с тремя солнцами, вверху над кругом еще один круг, внутри которого были видны крест и корона, а внизу — нечто, «подобное радуге, и мрачное».

*Сборник календарно-хронологический. XVIII в.
Q.XVII.133, л. 1л*

Школьный рюкзак я выкинул в реку в другом городе, который никак ко мне не относился, но будет относиться, когда (если) рюкзак найдут.

*о ветер ветер
скорь меня*

10.03.19

Дочь моя, невеста моя...
Где мой зять?
...ты вышла замуж
За царского сына,
И я тебе приданое не дала.

Румынские причитания

С утра рано женят на Жене, а брат ее Женя близнец рядом идет, и одинаковые они, как две слезинки, краем глаза смотреть — не отличить, шаркает, смотрит синим шариком, а второго нет, и я поэтому не смотрю туда и только краем глаза замечаю (если скоситься), будто бы те белые звездочки, что после зимы одними из первых

распускаются там внутри где-то очень далеко, шепчутся и шелестятся на ветру. Женя рассасывается, как лакричный леденец, до настоящего ничего, и все успокаиваются — она ~~ушла покинула уснула~~ умерла без мужа муженька мужика, а значит, стала бы злым духом и грызла бы коз в полночь или чем там еще эти злые духи занимаются, кому любви ни на земле, ни под землей не досталось. А Женя — теперь она как камень в земле лежать будет, березкой прорастет, фатой белой по небу рассыплется, бутоном первым распустится. Была она с материнной фамилией, а стала с фамилией ничьей, так как свою я превратил в пепел и выпустил в окно, туда же, куда и фикус (прости).

*женя в руках фату несет
а коза фату жует
женя женечка женёк
моё сердце уволок
а моя жена женя
вышла утром за меня*

В детстве я любил рисовать на коробках окна, маленькие окошки пустых домов, и накрывать этими коробками маленькие костерки, и тогда город (пустой город, пустой) горел (и никто не страдал, потому что город был пустой, даже птичек и белочек там не было), и вообще, может и к лучшему оно всё было, что горело, потому что городов слишком много, и тайгу вырубают, и плевать всем, и страшно, и больно, и я бегу и сажусь под душную черемуху, и падаю на колени, и зажимаю глаза руками до боли, и внезапно начинаю слушать, как цикады или, может, пилы — звучат вокруг, а может, собака дышит, а может, человек — так — дышит — хрипло — дышит — прямо над ухом.

*а покойница в реке
и огнём рука в руке
женя женечка женёк
волк откусит правый бок
там в углу жестокий бог
я бегу бегу бегу
обернуться не могу*

Рисую на пыли, разбираю камушки, кремешки, крошечки, рву листики и смотрю на ниточки, что из них тянутся — делаю все то, что в детстве, заново, с разбитыми вдребезги коленками, потому что солнце стоит (а сердце стучит), и я под черемухой сижу, и никаких больше камней сверху — только снизу, сверху вообще, перечисляю: черемуха, небо, всякие его составляющие: птица, космос, все эти соединения звезд, звездочек на черном фоне распускающихся и трепещущих, возможно — самолет, а внутри кому-то дают жуткий, не до конца размороженный омлет, и этот кто-то сидит там и морщится, а сказать ничего не может, потому что никому не хочет мешать, и вообще совершает некий жертвенный акт тем, что все-таки пытается откусить кусок этого замороженного омлета, через силу, через убеждения и отвращение — это всё там, куда я часто смотрю, но может, я что-то и забываю, может, я о чем-то не знаю, может, там иногда (редко-редко) бывает и что-то еще.

Как облака. Или только облака.

*уголь на губах губами уголь
женя женечка женёк
я волдырь я огонёк
я снежинка я ожог
добрым молодцам урок
в сказке ложь да в ней
волк откусит левый бок*

Где-то неподалеку дети играют в войну банкой кетчупа, пропуская самую неинтересную часть, где все бегают с палками-пистолетами, в общем — лежат на

земле, измазавшись кетчупом, иногда нажимают с силой, и новая порция вырывается наружу, на мгновение повисает в воздухе и падает на голую мальчишечью грудь. Я лежу неподалеку, как случайная жертва сердечного приступа (на мне кетчупа нет), и дополняю военную панораму всеми своими силами, стараясь не дышать и не чихать от дорожной пыли, от пыльцы, от черемухи болит голова, и я решаю, что это все был не сердечный приступ, а коварная мозговая опухоль или, быть может, даже сифилис мозга, и вот, вокруг мертвые солдаты, а я падаю, падаю и падаю на землю в замедленной съемке, да, да, все плачут, рукоплещут и плачут, и замученная солдатская мать в первом ряду теряет сознание, и я вижу, как слеза катится по ее напояженной щеке вниз, я раскидываю руки, ноги в разные стороны и валяюсь белой звездочкой на чернозем, а потом война кончается и мамы всех домой разгоняют есть суп, или что они там приготовили, может, кашу.

синий глаз чёрный глаз

Меня тоже ведут, несут, тащат за ногу домой (Женя — в рот набивается песок и собачья шерсть — гадко) и укладывают спать, плотно закутывая в теплое верблюжье одеяло до самого верха, и я, как гусеница в куколке, или, может, в коктейльной трубочке полупрозрачной — я не знаю и не шевелюсь, и даже не дышу толком, как полагается, ровно и размеренно, только зыркаю и зыркаю, и сердце гудит как паровоз, очень громко, громче, чем часы.

синий глаз чёрный глаз

все что выше все позачеркивал закалякал замазал не обессудь.

я от бабушки ушёл

я от дедушки ушёл

от тебя не хочу да уйду

потому что that's what I do ☹☹☹

потому что я that type of guy

and that's how I

фу как глупо да и замазка уже кончилась

совсем

27.06.19

...

Я никогда больше не видел тех людей, с которыми встречался **до**, и я так думаю, никогда и не увижу, потому что навсегда, окончательно, бесповоротно, полностью покидаю место, где я обитал **до**, и наверное, никогда не вернусь, потому что я боюсь боли, а боль — это когда не знаешь, что сделать, чтобы было ХОРОШО, а я по забавному стечению обстоятельств не зна

однажды лена копалась в огромной коробке с обрезками, тридцать рублей за килограмм, это вам не хухры-мухры, это очень выгодно, особенно если ты работаешь в «Красном и белом» пробивальщицей на кассе и вокруг тебя постоянно мужики алкогольные. в общем копалась она и все ниже и ниже пробиралась через рваный бархат и десятки килограмм атласа, как правило, желтого, пока не нашла единственную великую истину в последней инстанции — по забавному стечению обстоятельств единственная великая истина в последней инстанции валялась на дне коробки с тканями по тридцать рублей/кило. что было дальше — черт знает, потому что лена убежала очень быстро и никто не успел её ни о чем спросить, а потом никто её особо не видел и предположить тоже не может, потому что лена-то знает истину, а предполагатели нет, вот такие пироги.

Я ухожу, забыв посмотреть зеркало, которого, впрочем, у меня нет. Пока.

Андрей Дмитриев

Ниспосланный поводырь

* * *

Монгол
окончил монолог
про магию
огня и олова.
Из рукава взметнулся голубь,
хоть воздух гол
и перемолот.
Сиди, зелёный богомол,
на лавке в сквере
возле школы,
пусть мчатся в темноту нукеры
по кромке скола —
кардиограммой
молний, пусть
история свою ест правду,
с которой громко наизусть
и страшно вкратце...

Шептали, шептали губы — не то,
что в параграфах сухим языком
разложено по полкам, ящичкам,
папкам, а искрящееся
на стыках времён и слов —
не поддающуюся логике боль,
идущую впереди лезвия тревогу,
прорастающее под гнётом
величия сострадание...
Это и было моление —
пытливое зёрнышко человека.

Кругом
разлито молоко...
А кто?
А в ком?
А далеко ль?
Сидит зелёный богомол,
а в лапках — воздух гол...

* * *

Корни деревьев
ищут золото жизни
так глубоко,
как хватает длины
в чёрном вареве
сосредоточенной почвы.
Нам не видно
этой кропотливой работы,
этого искреннего
устремления.
Мы привыкли
лишь констатировать
высоту и пышность цветения,
а что там —
за кадром грунта —
остаётся тёмным
чуланом земли,
где сложены ржавые вёдра
и шанцевый инструмент,
где, кажется, нет ничего
для эстетики
пейзажиста...

Но если же крону,
держашую в пальцах листву
простым шелестящим чудом,
достойным таки восторга,
представить на миг
продолжением корня,
гейзером внутренней силы,
вырвавшимся из недр
воплощением веры
в свет по ту сторону тьмы —
начинаешь чувствовать,
что золото жизни
всё-таки найдено
и явлено миру...

* * *

Щебень грузи,
камень грузи,
мебель грузи,
свёклу грузи...
Побуксуем в грязи,
а там — в ферзи,
а там — кому жить на Руси —
тому и вези,
ну и тому, кто вблизи,
и даже, кто необозрим.
Так что брёвна грузи,
уголь грузи,
трубы грузи,
бочки грузи
и прочее тоже грузи...

С вокзала таксист-грузин —
то, что осталось — по адресам развозил.
Дверной звонок — дзинь-дзинь.
Здравствуй, Зин.
Сколько лет, сколько зим.
Свет в прихожей — неугасим...

С утра завезли
в магазин
сельдь иваси,
а ещё колбасы
и всё, что просится на весы.
Новый день — новый круг по оси.
Не стой руки в брюки — грузи.

* * *

Пахло бензином,
пахло — да выпахало.
Не птахой, но прахом —
осыпалось
с неба на землю.
А ты пишешь про гравий
из-под колёс —
будто есть ещё зеркало
и цветы для гербария,
чтобы всерьёз
думать о красоте дорог
в колосющейся глухомани,
где на ощупь — лишь бог,
если не фига в кармане...

Впрочем, грустно —
не только, когда пусто,
а искусство —
не только, когда густо.
Снова винтик расшатан
в железном корпусе текстов,
и оттуда — лишь пёрышко
из воробьиного хвостика...
Никто не позволит тебе отдышаться,
ничто не застынет на месте
между грядущим и прошлым,
так что настраивай оптику...

Пахло бензином,
и в этой связи —
не подносили огня...
Ждём с неба воды
с надеждой на то, что она —
ниспосланный поводырь...

Ася Умарова

Унесённая ветром

Рассказ

Больше всего на свете в эту пасмурную и ветреную погоду я не хотела делать это — сообщать папе, что его сестра умерла. Нужно было подготовить папу; всем показалось, что это гениальная идея: будто именно я как-то могу сгладить ему эту боль, и меня силком вытолкнули за ворота. Кто-то из соседей сказал, что папа рассекает пшеничное поле, словно ледокол «Арктика», прорывающийся через воображаемые толщи льда. Я с неохотой медленно обходила село, пока не пришлось остановиться перед аллеей из тополей и акаций, между которыми посередине текла уныло коричневая речка. Цепляясь руками и ногами за железную провисшую сетку, которая отделяла два огорода, я стала пробираться по этой аллее. Вода в тот день настолько поднялась, что тропа оказалась под нею, и я держалась за сетку, чтобы не соскользнуть и не промочить ноги. Ладони покраснели, и мне все время казалось, что я больше не выдержу.

А на одном тополе сидел двоечник из старшего класса, который, заметив меня, начал активно пулять через трубочку в мою спину семенами акации. На мне была красная футболка с надписью «Утиные истории», где Скрудж Макдак купался с утятами в золотых монетах, а из моего кармана торчал пластмассовый черный пистолет, который стрелял пулями. Я купила его в долг у пожилой тетушки Саяны, недалеко от школы. Я задолжала ей не только за пистолет и пульки, но и за три жвачки и семь чупа-чупсов. Не знаю, как я собиралась отдавать эти большие деньги. Но когда папа узнал об этом, то вместо того, чтобы поругать меня, наоборот, набросился на тетушку Саяну: «Как же тебе не стыдно, — сказал он, — обманывать маленьких детей и драть деньги с родителей — это грех». Я так долго смеялась тогда, но теперь в двоечника стрелять не стала.

«Папа, привет. Ты знаешь, тетя умерла...»

«Папа, ты так долго шел, ты, наверное, проголодался? Кстати, классная прическа. А тетя умерла...»

«Папа, помнишь, ты хотел повезти тетю к театру Нурадилова, чтобы она сфотографировалась для загранпаспорта... теперь ты не сможешь этого сделать... Она умерла».

Ася Умарова родилась в 1985 году в Калмыцкой АССР. Окончила Чеченский государственный университет в Грозном и Кавказский институт СМИ в Ереване. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Юность», «Звезда», «Нева» и др. Живет в Чеченской Республике. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Приходи свободной», 2017, № 9.

Ну зачем они попросили именно меня?! А может, сразу расплакаться, когда его увижу? А когда начнет спрашивать, ответить: «Тети... нет». И уткнуться в его черный свитер, который связала его коллега, бухгалтер с мясокомбината, и мама по этому случаю закатила дома жуткий скандал. Мне все время казалось, что за мной кто-то гонится. Но я настолько устала от всего происходящего, что у меня не было сил обернуться назад. И вообще, я в первый раз увидела сегодня мертвого человека. Тетю положили недалеко от моего шифоньера в зале. И как я переоденусь завтра? Или послезавтра? Мне же все время будет мерещиться, что она там лежит. А ночью я вообще не смогу ничего взять оттуда, если, конечно, дома никого не будет. Раньше я боялась заходить ночью в зал, потому что там висела картина Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем». Этот младенец сосал грудь и смотрел на меня очень внимательно, как будто я собиралась поменяться с ним местами. После Первой войны папин друг сказал, что это грех — рисовать людей, и вообще обнаженность — это харам. И картину пустили в печь.

Кто-то нагнал меня сзади, сильно кашляя и задыхаясь, и ударил с силой по руке.

— *Как хорошо, что я тебя догнал.*

Это был мальчик из второго класса нашей школы, не помню его имени. Он всегда мне рассказывает, что у них до войны в морозильнике лежали стопки денег, перевязанные разноцветными резинками, и что у его сестры есть купальник за четыреста долларов.

— *Ты знаешь... я на утреннике буду Зорро! Я так долго мечтал об этом! Наконец эта роль досталась мне!*

И куда-то убежал. Я долго смотрела на его удаляющуюся фигуру и не могла понять, зачем он все это мне рассказывает. Вчера сообщил, что его прадедушка воевал в Дикой дивизии, которую создал когда-то Николай Второй, чтобы отпугивать врагов. И правнук очень этим гордился. Я спросила, а что они делали? На это он ответил, что у них были папахи на голове, бурки на плечах, у каждого лошадь, и они воевали. И что вообще это было круто — состоять в Дикой дивизии! А папа сказал, что их прадедушка пошел туда, чтобы заработать денег. И я ему верю. Вообще мне кажется, что папа самый крутой, ведь в один год он был в школе Дедом Морозом. А мама готовит лучше всех квас. Но я почему-то этими историями никого не могу удивить. Подруга сказала, что Новый год праздновать нельзя и поэтому плохо, что папа был в костюме Деда Мороза, а квас... это почти алкоголь. И этот мальчик еще сказал, что их машина дороже папиной, а по скорости ей нет равных.

А можно начать разговор с хрустальной совы, чтобы смерть тети не показалась ему такой трагической. У папы была хрустальная пепельница в виде совы, которая всегда стояла на красном журнальном столике, хотя он и не курил, но его друзья могли потянуться за сигаретой при бурном обсуждении действий чеченской оппозиции к нынешней власти. Я ничего, конечно, в этом не понимала, но папа, закинув ногу на ногу, говорил всегда какую-то короткую фразу, запрокидывал голову назад и театрально смеялся, четко и отрывисто: «Ха! Ха! Ха!» Как будто бы он кого-то передразнивал. Эта сова, видимо, тоже ничего не понимала и продолжала тихо пребывать в царстве сна, пока табачный пепел дотлевал на ее голове. Сову особо никто и не замечал, пока не закончилась Первая война. Тогда стали осуждать курение и алкоголь. И сову спрятали между старых матрасов в шифоньере. Может, она продолжала бы спать и дальше, не случись сегодня смерть тети. Бабушка, обнаружив ее, изо всей силы шваркнула ею о стену, воскликнув в сердцах: «Епашмат!» Бабушке всегда казалось, что папа курит и оправдывается друзьями. Хрустальная сова разлетелась на мелкие кусочки. А она папе была дорога, потому что в их посиделках участвовали два друга, которых сегодня нет, они погибли на войне, но для папы как бы продолжали жить в этом хрустале. И поэтому, если я расскажу все по порядку, то ему, наверное, будет легче все перенести.

Когда мне становится страшно и я волнуюсь, то всегда вспоминаю, как мы с мамой и папой возвращались со дня рождения их друга Михаила. Дом находился в каких-то ставропольских степях, и мы долго ехали туда на папином зеленом грузовике, а я в руках держала поднос с ореховым тортом, который испекла мама. Я проткнула его пальцем в нескольких местах, так как хотела попробовать, я была всегда нетерпеливой. Мы оказались тогда неожиданно бедными. Наши деньги, вложенные в ваучеры, пропали, но Михаил сказал, что обидится, если мы вздумаем остаться дома. Сначала было весело, я с остальными детьми играла в зале, но одна девочка включила какой-то взрослый фильм, где одну женщину чуть не съел крокодил, а потом она мстила весь фильм бывшему мужу и всегда при этом пела песни и танцевала. Но эта девочка проматывала видеокассету вперед, когда там кто-то целовался. Я приоткрыла дверь, где праздновали, там один мужчина дрался с другим, оказывается, он крепко обнял бухгалтершу с папиной работы, когда они танцевали медленный танец, а она влепила ему пощечину. Я закрыла дверь. А эта девочка теперь смотрела семейный фотоальбом Михаила и даже успела на трех фотографиях пририсовать фломастером розовые усы и женщинам, и мужчинам, и детям. Я еще раз открыла дверь. И увидела, как один мужчина жевал занавески, на четвереньках перемещался по комнате и что-то мычал. Я очень испугалась и, хотя мама просила ничего не трогать в чужом доме, взяла с дивана две твердые подушки и спряталась между ними, а сверху накрылась покрывалом и зажмурила крепко глаза. Я так всегда делала, когда мне становилось страшно.

— *Хватит! С меня довольно! Мы едем домой!* — крикнул тогда папа.

В кабине грузовика с папой четверо, я не знаю, как они там поместились, но, видимо, у них не было другого выбора с машинами. А мы с мамой в кузове уютно провалились на дно в одно большое колесо для КамАЗа, посреди других колес и шин, укрывшись одеялом. Было холодно. Мы мчались на большой скорости посреди степи. Иногда грузовик сильно подпрыгивал, а иногда до нас долетали кусочки липкой грязи из глубоких луж у дороги. От этого мы весело смеялись, и мама меня обнимала еще крепче. За нами иногда гнались уличные собаки и громко лаяли. Я смотрела на звездное небо, необъятное, словно усыпанное бриллиантами. Ветер трепал наши волосы в разные стороны, и мне было ужасно холодно и ужасно тепло. Папа иногда рулил беспорядочно, и тогда нас очень смешно бросало в разные стороны, круче, чем в аттракционе. И я себя тогда почувствовала совершенно счастливым человеком.

Мою тетю звали Периза. Я знаю, что она была влюблена в одного парня. И они подавали вместе документы на поступление в университет, в Пятигорске. Бабушка положила ей в сумку сушеное мясо, соленые огурцы и творог, чтобы она не голодала в общежитии. Он сдал все экзамены, а Периза нет. Она несколько месяцев плакала и слушала группу «Кино», из ее комнаты доносилось: «Покажи мне людей уверенных в завтрашнем дне! Земля-я-я, небо-о-о между землей и небом война-а-а».

Тетя Периза написала этому парню много писем, что ей очень плохо, что она ничего не ест и не хочет жить, но он ответил лишь дважды. В одном письме он посоветовал ей прочесть книгу «Унесённые ветром», поучиться стойкости характера у Скарлетт О'Хары, и что она сама должна себе помочь и больше никто за нее это сделать не сможет. А во втором письме написал, что самое большее, что он может сделать, это просто помолиться за нее. Тетя Периза рассказывала это все по телефону кому-то, я слышала, когда поливала толстянки в коридоре недалеко от ее комнаты, и чтобы дослушать все, я даже протерла все листочки тряпкой. Тетя покупала в дом эти растения, так как считается, что они притягивают деньги. Она даже кошелек купила красный, чтобы, как магнитом, притянуть деньги, а еще змеиные языки закопала в трех местах, чтобы они уберегли ее от сглаза. «Ты можешь себе

представить? — говорила она по телефону. — Я словно вишу над обрывом, вцепившись из последних сил в какую-то ветку, и мне нужна помощь... мне нужна всего лишь его рука, чтобы вытянул из этого обрыва. А он говорит: прочитай книгу. Ты представляешь? А потом: я помолюсь за тебя — и уходит, оставив меня».

Когда тетя заболела и лежала в больнице в Ростове, не могла прийти в себя после операции, мама громко рыдала в коридоре. К ней подошла одна русская бабушка и предложила ей поставить свечку в молельне. И мама поставила три свечки, не понимая, что она делает, ведь у нас другая религия. Когда папа узнал об этом, то попросил ее не говорить никому. Но больше всего сейчас меня расстраивает то, что двоюродный дядя зарезал бычка по имени Диего, так назвала его тетя Периза в честь актера из мексиканского сериала. Он-то в чем виноват? Я понимаю, когда умирает человек, то нужно много мяса, чтобы раздать и на трехдневные похороны. Но это же был ее любимый бычок. Двоюродного дядю мы видим очень редко, только на каких-то больших семейных сборах, таких как похороны, свадьба, поминки или мавлид¹. Он ходит в ковбойской шляпе и с усами, как у Чака Норриса. И все должны его слушаться, даже папа, и вообще у него походка, как у главного человека, а мне кажется, что его все слушаются потому, что он выше всех ростом.

Когда-то, до войны, Периза захотела удочерить одну девочку из детского дома. Она даже меня возила в город показать ее и попросила никому не говорить. Видимо, она не могла отпустить того парня и не хотела знакомиться с другими. А может, ей хотелось, чтобы ее пожалели так же, как она желала окутать любовью этого ребенка? Когда началась война, она больше всего переживала не за нас, а за этого ребенка. Все время сбегала в Грозный. И до конца жизни чувствовала вину перед этой девочкой. После войны она часто приходила к полуразрушенному детскому дому и тихо смотрела на него, как будто ждала ответов на все вопросы, которые накрывали ее.

Не знаю как кому, а мне точно будет ее не хватать. И я буду скучать по ее полетам на дельтаплане. Да, у них в гараже стоял настоящий дельтаплан розового цвета, это она его так перекрасила. Мы вместе тащили его к холмам, она долго готовилась, отталкивалась, и наконец дельтаплан отрывался от земли и взмывал в небо. Тетя так весело смеялась и кричала нам: «С дороги, шизики!»

А я весело аплодировала внизу, мне казалось, что «шизики» значит помощники. Бабушка переживала, что на такой, как Периза, точно никто не женится. А дедушка складывал руки на своей трости, упирался в них подбородком и, улыбаясь, смотрел на дельтаплан.

— *Оставь ее, оставь, — только и говорил он. Мне казалось, что дедушка ею гордился.*

Тетя Периза никогда не смотрела вниз, когда летала в небе. Ей было важно осознавать, что она и есть часть неба, вернее, она и есть небо. Она рассказывала, что всегда плачет там, в небе, но это от счастья. От радости, что у нее такой понимающий отец и что он затыкает всех, кто пытается сделать замечание. Раз или два тетя не справилась с ветром и управлением и упала в бассейн двоюродного дяди в ковбойской шляпе. Это было алюминиевое корыто прямоугольной формы, куда вмещалось четыре тонны воды. И дядя часто заполнял его водой и надувал покрышки, чтобы дети поплескались в воде. Соседи иногда видели в бассейне его жену в халате, а он каждый раз отмахивался, что это она, мол, поскользнулась и упала. Но не может же она каждый раз падать? Двоюродный дядя в ковбойской шляпе, увидев искореженный дельтаплан, свое прогнувшееся алюминиевое корыто и радостную Перизу, только и смог процедить:

— *Куропатка! Я бы тебе и бумажный самолет не доверил!*

¹ Мавлид — празднование дня рождения пророка Мухаммада. Проводится 12 числа третьего месяца мусульманского лунного календаря.

И корыто сдали на алюминий, а розовый дельтаплан Периза починила. Мне будет не хватать этого ее: «С дороги, шизики!» В этой фразе было столько жизни! Столько раз военные пытались обвинить ее за то, что она летала на дельтаплане во время войны. Им казалось, что она таким образом выведывает какую-то информацию о военных, прикрываясь невинным розовым цветом.

Бабушка много раз порывалась купить Перизе шубу. Она объясняла это тем, что у нее уже солидный возраст и в таком возрасте нельзя носить черную потрепанную временем куртку. А тетя лишь отвечала, что шубы в пол носят только сутенеры, так показывают в американских фильмах, она это видела много раз. Тетя была вегетарианкой. Я спросила папу, что значит слово «сутенер», а он лишь сказал: «Тебе очень идет этот ободок». И я поняла, что больше нельзя об этом спрашивать.

Я наконец дошла до пшеничного поля. До войны я тут обычно ждала тетю Перизу с работы, она всегда мне что-нибудь привозила: куклу, жвачку, конфеты. И теперь я стою тут, как тетя когда-то, только в моей воображаемой сумке — Периза и хрустальная сова. Вернее, их нет, и я должна сообщить папе, что их нет. У папы за спиной огромный рюкзак с продуктами, и на нем свитер, подаренный той самой бухгалтершей, которая отвесила оплеуху кому-то на дне рождения Михаила. Чем стремительнее приближался папа, тем больше я ощущала, что взрослая жизнь с бешеной скоростью мчится мне навстречу и детство скоро разлетится на мелкие кусочки, как хрустальная сова сегодня. А вдруг папа помешается на смерти тети, как папа моей подруги? Тот ходит по всем комнатам и разговаривает с воображаемым человеком, размахивая руками. А мама сказала, что так делают люди не оттого, что они сумасшедшие, а потому что они так и не встретили такого близкого человека, с кем можно было бы говорить обо всем. В горле я почувствовала большой ком и поняла, что ничего внятного не могу произнести.

— *Тетя Периза... Тетя Периза... — шептала я.*

На самом же деле получалось просто шевеление губ. Я оглянулась назад, словно на отдаляющееся детство, которое покидало меня в виде розового дельтаплана, еще раз попыталась заговорить. Папу зовут Дауд, но тетя его звала только Доди, как возлюбленного принцессы Дианы, которая ей очень понравилась из-за ее свадебного платья в день бракосочетания с принцем Чарльзом. Я почувствовала взгляд папы. Мне показалось, что его лицо застыло с приоткрытыми губами и лишь глаза стали чаще мигать. Папа будто бы с удивлением смотрел вниз, всеми силами стараясь разглядеть землю. Как будто он увидел ее в первый раз. Он пытался зацепиться руками за ремни от рюкзака, но пальцы его не слушались. Его испугал большой платок у меня на голове. На похоронах нужно прикрывать волосы.

— Зачем... зачем платок? — только и сказал папа, сдергивая его с меня.

Ветер подхватил платок и унес вверх, в небо. Я всеми силами пыталась удерживать слезы, откашливалась и смотрела по сторонам, будто бы ответ скрывался в пустоте. Он растрепал мне волосы, и я почувствовала, как его пальцы дрожали.

— *Тетя Периза... — только и смогла я произнести.*

Папа крепко обнял меня и дальше понес на руках. Он постоянно кашлял и все время смотрел по сторонам, словно за нами кто-то гнался. Мне хотелось сказать ему, что это очень тяжело — нести и рюкзак, и меня, но поняла, что не смогу ничего произнести. Мы шли очень быстро, как будто в том месте, где я сообщила ему про тетю Перизу, была заложена бомба, которая могла взорваться в любой момент. Папа часто вспоминал случай из их жизни в ссылке, в Казахстане, когда маленькая Периза потерялась в степи и за ней гонялись бездомные собаки. В детстве папа больше всего боялся темноты и собак, но тогда он налетел на них с криками и махал палкой, закрыв глаза, чтобы спасти Перизу. Собаки отбежали. Периза долго плакала и сбивчиво

рассказывала ему, как ей было страшно. Они сидели в полной темноте, тесно обнявшись. Папа попросил ее никому не рассказывать, как он испугался. И она сдержала слово.

Последние годы тетя работала на почте. Она давала мне открытки с ярко-брусничными и алыми закатами, на фоне которых возвышались пальмы. Виды Мексики. Мне нравилась мексиканская актриса Вероника Кастро, и тетя Периза предлагала написать ей на обратной стороне открытки все, что я захочу. Я написала Веронике, что мама, кажется, влюблена в друга папы, так как я видела, как она крутила ручку кофейной машинки, перемалывая кофе, и смеялась, слушая его. Но так как я не знала букв, то получались каракули. Тетя Периза так отвлекала меня от своей работы. А вечером она поднимала меня к почтовому ящику, куда я опускала десятки открыток.

«Ну, все! Вечером Вероника обязательно прочтет твои письма», — говорила она, озираясь по сторонам. И я ей верила.

Когда мы с папой дошли до аллеи из тополей и акаций, он недолго думая пошел по коричневой воде. Его ноги засасывала густая жижа грязи. Ноги проваливались до колен. Ветки акаций хлестали нас по лицам, и я зажмурила глаза. Папа задышался и с трудом вытаскивал ногу из жижи, чтобы сделать еще один шаг. Я понимала, как ему тяжело в прямом и переносном смысле. Посередине мы остановились: он услышал гул и взволнованно посмотрел в небо. Я знаю: ему показалось, что это тетя Периза парит на розовом дельтаплане. Мы увидели розовое облако. И нам обоим показалось, что она кричит: «Эй, с дороги, шизики!» Папа тяжело задышал и стал отрывисто всхлипывать. На нас посыпалось конфетти из листьев акаций, я подняла голову и увидела двоюродника, который пулял в меня семенами полчаса назад. Сейчас он сидел, тихо прижавшись к стволу тополя, и внимательно на нас смотрел. Розовое облако нависло над нами, словно кусок розовой сахарной ваты, дразня с недостижимой высоты. Мы были словно маленькие дети, засмотревшиеся в прошлое. Это облако создавало иллюзию присутствия тети Перизы. Поднялся сильный ветер, и облако исчезло, а на нас снова посыпались листья акации — словно дождь. Благодатный дождь. Словно тетя Периза пыталась нас утешить.

Даур Начкебиа

Жертвоприношение

Рассказ

С абхазского. Перевод автора

Алхаса похоронили вчера. Сегодня нам нужно принести жертву на его могиле. Мы ведем на заклание свана. Тяжелый взгляд, спутанная борода каштанового цвета, весь будто кряжистый дуб — такой могучий на вид. После того как мы его взяли, он как-то сник, словно самое уязвимое в нем — то, где таится смерть, — вдруг обнажилось.

Сван еще ни слова не проронил, молчит, супит брови. Обмена пленными больше нет. На днях грузины нарушили договоренность и прислали семерых наших, еще теплых. Мы в ответ — продержав несколько дней, вернули им пятерых, еще не остывших.

Сван не может об этом не знать и готовится к худшему.

Славик связал ему руки за спиной и погоняет. Сван не сопротивляется, бредет, понунив голову.

— Куда ты рога свои дел?.. — бубнит Заур. — Чистый буйвол!

Сван молчит. Заура это бесит.

— Бывал, понимаашь, бывал! — Заур переходит на ломаный русский, почему-то решив, что так сван лучше поймет. Напряженный, как сжатый кулак, встает перед ним, разъяренно уставясь на его широченную грудь: — Хоть бы замычал, как положено скотине... Погоди, я развяжу тебе язык, вот увидишь...

На ногах у Заура резиновые сапоги — всем на зависть. Грязь, слякоть, снег, стужа — всё им нипочем. Недавно, как появился в них, довольный и едва из них выглядывая: они велики ему, бедолаге, и в один сапог весь бы уместился вместе со своим «калашом». Сапоги на вид привозные, заграничные — гладкие, ладные и, судя по всему, ноские.

Видать, он ими разжился, когда шерстили богатое мегрельское село Куачару, но скрывает явно трофейное их происхождение, не признается.

Мы как бы жалостно — в подколку, зная, что так просто его не прошибешь: и почему ты такой черствый, дай адрес, кто знает, может, осталась там еще пара, не видишь, вот-вот очкочуримся от холода. Зауру по душе, что мы обзавидовались, но он выказывает напускное безразличие и назло нам начинает любоваться своими сапогами,

Начкебиа Даур Капитонович (р. 1960) — абхазский писатель, публицист, издатель, государственный деятель. По образованию физик, окончил Тбилисский государственный университет. Автор сборников рассказов «Предчувствие» и «Дерево», романа «Берег ночи», книги публицистики «Лицом к лицу». Проза переведена на английский, армянский, грузинский, испанский, сербский, хорватский и др. языки.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2014, № 1. Живет в Сухуме.

оглядывая их, будто видит впервые, и ухмылка самодовольства блуждает по хитрому лицу.

Сапоги он почти не снимает, как не расстается и с автоматом, — день и ночь проводит в них.

Чтобы не сваливались, Заур наворачивает на ступни множество тряпиц самых причудливых расцветок. И где он их взял столько, не цыганку ли, случаем, встретил на узкой дорожке, и не юбки ли и подъюбки несчастной теперь согревают ему нижние конечности, шутим мы. Иногда он разматывает и развешивает радужные портянки сушиться перед очагом, и от них исходит едкий зловонный пар.

Мы затыкаем носы, а ему хоть бы что. Молча осматривает сапоги, глаза его сияют. Вдруг на Заура словно что-то находит: меняется в лице и, нацелив на нас неубедительный, но старательно сложенный кукиш, недобро выпаливает:

— Хрен вам! Хрен, хрен!.. Не дождетесь! Думаете, убьют меня, так они вам достанутся?! Ни фиги! Положите их вместе со мной в могилу, ясно?! Они мне там пригодятся, ослины вы эдакие...

А в глазах при этом лукавинка, и кажется, что рот сейчас растянется в улыбке. В этом весь Заур: не разберешь, когда серьезен, а когда дурачится.

Непогодь, распутица: выпал снег, дня два продержался, но потом выглянуло солнце, потеплело, и началось таяние, все вокруг превратилось в сплошное месиво.

Алхас был одним из тех семерых, которых нам вернули убитыми. Его взяли живым, но перед обменом приставили дуло к виску и нажали на курок. Волосы опалились, порох синими точками впился в кожу.

Сван попался нам случайно. Шли в разведку через сожженное сванское село. Вдруг в одном из бывших жилищ слышим какой-то шум. Дом выгорел, остались одни стены. Мы подумали, что кто-то из наших мародеров запоздало шарит, ищет, чем бы поживиться, но на всякий случай затаились и стали ждать. Через некоторое время оттуда вывалился здоровенный сван с огромной чугункой на плечах; зима, холод, чугунка как нельзя кстати...

По пути мы решили зайти в штаб: может, чем-нибудь там перекусим.

Окна двухэтажного здания, где разместился штаб, как ослепли: до недавнего времени были целы, но вчерашним обстрелом повыбивало все стекла. Да и стенам досталось изрядно, тут и там выщерблена осколками штукатурка.

На второй редко кто поднимался. Заур не раз орал, что ложиться надо вразброс по комнатам, их достаточно, а не скучиваться, как свиньи в закуте: если в дом угодит снаряд, не всех разом накроет. Но кто его слушал! В просторном зале внизу тепло, рядом друзья, спокойнее, да и вроде как безопасней: не пробить же снаряду две стены! От минометного обстрела, правда, они не спасут: мина может и с тыла залететь; но пока везло.

Как-то раз мы ночевали в штабе, и Зауру взбрело в голову испытать судьбу — пошел спать в одну из верхних комнат. Как назло, в ту ночь грузины открыли такую пальбу, что до утра не смолкали пулеметы и гаубицы, и вся ночь прошла под свист пуль и разрывы снарядов.

Утром Заур спустился хмурый и бледный, понося грузин на чем свет стоит: видите ли, помешали ему выспаться. Однако после этого он не заикался о свиньях и прочих домашних и не домашних животных, которых мы ему напоминали, когда он бывал не в духе.

В штабе, кроме радиста, никого не было.

— Все разбежались после вчерашнего, да? — съязвил Заур.

— В Ткуарчале сел вертолет, пошли узнать, не привез ли он патроны.

— Всей оравой рванули, не могли хоть кого-нибудь оставить!

— Меня за главного оставили.

— Тебя?! Повезло же нам... Хотя остальные ничем не лучше...

— А чем я плох?! — привстал было радист, не слишком, впрочем, уверенно.

Заур искоса сверкнул глазами на него, упитанного крепыша, но ничего не сказал. В другое время он мигом бы сшиб с радиста всю его спесь, теперь же попридержал свой гнев: у нас было общее дело.

Мы перекусили холодной мамалыгой и копченой свининой, тоже не горячей, маленькими кусками застывшей в собственном жире на сковороде, на которой ее поджарили, наверно, вчера. Угостили и свана; он ел, забыв обо всем, — видимо, решил: раз кормят, то, может, и убивать не станут.

Когда уходили, Заур сказал радисту, чтобы не забыли про нас, если что будет.

— А если спросят о пленном?

— Он наш, не их дело! Так и передай!

Ближе к центру села жителей, не бросивших свои дома, было больше. Детей отправили в Ткуарчал, в предгорные села к родственникам. Пока летали вертолеты, многих переправили в Гудауту.

Отец Алхаса Кунта жил вдали от дороги, в лесу. Может, потому никто не встретился нам по пути. Да и услышав о вертолете, многие поспешили в Ткуарчал узнать, не привез ли он каких вестей о родных и близких.

После штаба сван стал мрачным, почувствовав неладное. А когда мы вошли в лес, еще больше помрачнел, забеспокоился, глаза у него забегали, ища наши — хотел, наверно, понять, что мы задумали. Остановился даже. Славик саданул его пару раз прикладом по хребтине, и тогда он зашагал.

— Хозяин! — окликнули мы Кунту, когда оказались у его ворот.

Из амацурты¹ вышел Кунта. Высокий, волосы с проседью, обросший; глаза тусклые, в них застыло пережитое горе.

Сперва не узнал нас, долго всматривался.

— Заходите! — сказал он наконец, признав в нас друзей сына.

Поздоровавшись, Заур сразу перешел к делу:

— Кунта, вот этого здоровяка мы привели, чтобы принести в жертву светлой душе Алхаса. Хотим, чтобы ты своими руками уложил его.

Кунта посмотрел на нас так, будто не узнавал.

— Нет, ребята, я не хочу пачкаться о его поганую кровь. Да и Алхас тоже был бы против...

Кунта своим отказом обрубил надежду, с которой мы шли сюда. Мы думали, отец сам отомстит за сына, но...

Сван не понимал, о чем мы говорим, но, видимо, почувствовал, что решается его участь, и хотя он и прежде молчал, казалось, он еще больше замкнулся; лишь время от времени, вскидывая голову, буравил глазами небо, словно ждал оттуда спасения.

Тут к нам подошла младшая сестра Алхаса Рита. На худенькие плечи был наброшен ватник брата, она куталась в него, взявшись за полы. На ней были старые резиновые сапоги с отрезанными голенищами. Из дыр выглядывал целлофан, которым она обернула ступни, чтобы не промокали. Губы посинели от холода.

Она стала перед Зауром и со всей решимостью схватилась за автомат.

— Дай, я убью!

— А ну брось, глупышка! — прикрикнул на нее отец.

— Дай, я убью, я убью! — Рита чуть не плакала. Она вцепилась мертвой хваткой в автомат Заура.

— Заткнись! Будто мало нам горя... — пытался осадить ее отец.

Но Рита ничего не хотела слышать, лишь твердила: «Я убью! Я убью!»

— Кунта, она хочет отомстить за брата! И за какого брата!

¹ Амацурта — кухонный домик (абх.).

— Это не месть, да и не девичье дело... Горе затмило ей разум, — Кунта был непреклонен.

И опять осечка.

Заур какое-то время раздумывал. Не знал, что делать, или что-то сдерживало его? Кто скажет... Посмотрел на нас. Он просил помощи, или нам так показалось? Мы недоумевали. Таким Заура никто не видел давно, а может, и никогда.

Наконец решившись, он сказал:

— Идемте...

Мы пришли на свежую могилу — земля только-только обрюхатела Алхасом; табурет со снедью у изголовья, бутылка вина. Но мы не стали убивать свана здесь, отвели подальше, на взгорок над обрывом. Славик развязал ему руки.

Вечерело. Запрудившие небо тучи раздвинулись, и высь над нами стала свежа и чиста. И мы почувствовали, что небо смотрит на нас, и даже когда оно скрыто облаками и незряче — как нам казалось! — пристально следит за нами, только мы забываем об этом.

Море, вздыбившись, свинцово лежало вдали; и солнце, уже коснувшееся его дуги, было жгуче красным. Были красны деревья, горы, наши лица — на всем отпечаталось солнце... пока не зашло, а когда зайдет: «Теперь — только вы и ночь, узнайте друг друга, вдруг помиритесь...»

Некоторое время мы так и стояли, будто плененные небом, морем, солнцем, отдавшись великому безмолвию, вдруг охватившему низ и верх.

Сван уже понял, что его ждет, хотя до конца и не верил. Он словно опьянел — может, смерть пьянит больше, чем жизнь? кто знает, — и с трудом передвигал ноги. Страх, живший в нем с минуты пленения, подточил его силы — мы чуть ли не волоком втащили его на взгорок и поставили, пошатывающегося.

— Вроде еще живой, а уже тяжелый, как труп... — пробурчал Славик.

Заур встал в нескольких шагах от него, снял автомат с предохранителя и передернул затвор.

Сван смотрел на все это в страшном смятении, не веря своим глазам, еле дыша. Когда Заур навел на него автомат, он разинул рот и закричал изо всех сил, да так, что можно было оглохнуть.

— Да-а-а-да!!! Да-а-а-да!!!! — Одним этим словом он высказал все, что целый день, пока мы его вели, мучило, угнетало, что наболело в душе; и он ладонями закрыл глаза: не захотел смотреть в лицо смерти.

Раздались выстрелы — один, второй, третий, и окрестные холмы, недоуменно взиравшие на нас, несколько раз перекатили гулкое эхо, потом отзвуки утихли где-то вдалеке. В небе ли, в море ли нашли они свое упокоение? Не все ли равно...

Сван не издал ни единого звука: он и так сказал все, что хотел сказать, своим последним криком...

Мы молчим: такого от Заура не ожидали... нет, никогда еще мы не видели Заура таким...

Заур тоже молчит, опустив вдруг отяжелевший автомат, смотрит куда-то в сторону и про себя бормочет:

— Так тебе и надо, мерзавец...

На могиле Алхаса мы выпили по стакану вина за упокой его души, недокуренную дымящуюся сигарету положили на табурет.

Внизу, одолев лошину, по противоположному склону торопливо карабкался сван...

¹ Дада — мама (сван.).

Диана Светличная

Рассказы

Как по маслу

Старый деревянный стол стоял посреди двора, над ним словно небольшие светильники нависали тяжелые, налившиеся соком виноградные гроздья. Пятипалые листья плотно застилали небо, сплетенные лозы образовывали кокон, двор напоминал просторную беседку — типичную для дачного хозяйства «Гроздь». За столом сидели трое — две женщины и мужчина.

— Сразу, как заберешь машину, скажи Оле, чтобы она смазала ее сливочным маслом, — разливая по чашкам чай, сказала белокурая женщина в цветастом сарафане.

— А с бубном прыгать не надо? — отхлебнув из чашки горячего напитка, спросил мужчина.

— Очень смешно! — ответила ему женщина и поджала нижнюю губу.

Над столом повисла тишина, изредка ее прерывали лай соседской собаки и детские крики с речки. День наступил рано, солнце пыталось пробиться сквозь гущу зелени во двор, осы хищно кружили вокруг спелого винограда. Мужчина взял мухобойку и, чуть приподнявшись над столом, помахал ею возле черной грозди.

— Надо снимать, сожрут, паразиты, — сказал он в сторону белокурой женщины.

— Такними, сейчас чашку принесу, — ответила ему женщина постарше с крашенными в красный цвет волосами и вышла из-за стола. — Секатор лежит в розах, — повысила голос, входя в дом.

— Кто оставляет секатор в розах? — раздраженно буркнул мужчина и впился губами в собственный палец.

— Потому что надо было наклониться и снизу секатор взять, а не лезть лапами сверху, — отчитала его вернувшаяся из дома женщина.

— Хотел Аньке розу срезать, чтобы не дулась.

— Миша, тебе сорок лет, когда ты повзрослеешь? — вздохнула женщина с чашкой. — Ань, заberi уже у него розу, ты видишь, как кровь хлещет!

— Это его бог наказал за то, что вечно делает из меня дуру!

— Начинается! — выдохнул мужчина и положил на стол окровавленный цветок.

— Ты, Ань, вечно как скажешь! Я вот тоже, например, не поняла, зачем машину маслом мазать.

Диана Светличная (Горайнова Юлия) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподает в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете журналистики. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Идель», «Лампа и дымоход» и других.

Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

— Ну, не поняла и не поняла, отстань уже! Всю жизнь хочешь вам как лучше, а только зря!

В щель приоткрытой калитки протиснулось тощее тело мужчины в шортах и сандалиях. В руках мужчины была небольшая плетеная корзинка, в зубах сигарета.

— Галь, яйца не нужны? Два ведра стоят, по-соседски отдам!

— Иди с нами чай пить! — махнула рукой соседу красноволосая женщина.

Мужчина вошел во двор, протянул руку Михаилу и тут же ее одернул.

— Бензопила? — хихикнул, глядя на окровавленные пальцы.

— Ага, — зло ответил Михаил.

— Да задолбался я уже с этим хозяйством, — внезапно затараторил сосед. — Что в дом ни притащи, размножается как очумелое! Вот сын котика взял — болезный, ободранный котик, думали, сдохнет. Угу! Оказалось — кошка. Каждые три месяца теперь по ведру котят. Да крупные, толстые!

— Ну, с кошками это всегда так, — улыбнулась Галина.

— И куда вы потом этот выводок деваете? — с напряжением спросила Анна.

— Аня, речка за огородами! — снова приложив палец к губе, оживился Михаил.

— Миш, не поверишь, ни одного не утопил. Не хочу грех на душу брать. Ходим по соседям, по знакомым — раздаем.

Над розеткой с прошлогодним вареньем зажужжала пчела, все молча уставились на нее.

— Ты попробуй варенье, Вась, — предложила Галина.

Василий послушно взял ложку и несколько раз зачерпнул ею клейкую темную массу.

— Вам пора собирать смородину, она к нам прямо через забор лезет, ветки на земле уже лежат.

— На нашей стороне она, вроде, еще не готова, — заметила Аня.

— Вот я и говорю, это только у нас двор такой. Собаку на помойке подобрали, лапы нет, на глазу бельмо, будку ей сбил, она пятерых щенков народила, сама теперь с корову ростом, люди боятся проходить у калитки. Куры несутся, козленок у старой козы откуда ни возьмись, ежиха в погреб пришла, утки как лошади! А за всем ухаживать надо! Ни секунды покоя, на кой черт мне такая дача сдалась? Весь год я тут!

— Ой, Василий, не гневи бога! Ты знаешь, что в наш поселок лет сорок назад приезжал монах? — шепотом спросила Галина.

— И че он приезжал?

— Ладони положить на больную.

— Только не съезжай на свою тему, я тебя умоляю! — закатив глаза, попросил Михаил.

— Ну-ну? — не обращая внимания на возглас Михаила, Василий пододвинулся ближе к Галине.

— Что «ну»? Больная встала, а земля здешняя с тех пор святая и плодоносит. Это всем известно!

— Галя, плодоносит, да не у всех, это мама еще говорила. В одном дворе плюнь косточку — и сад цветет, в другом хоть с утра до вечера горбатся, все без толку, — важно сказала Аня и пошла заваривать свежий чай.

— А что Валентина Андреевна? Где она сейчас? — придвинувшись еще ближе к Галине, поинтересовался Василий. — В поселке говорят, вы ее в интернат сдали?

— Дурак! — выкрикнула из дома Аня и выбежала во двор босиком. — Кто такие сплетни про нас плетет?

— Ань, ты не обижайся, я за сколько купил, за столько и продаю. — Василий виновато втянул голову в плечи и чуть подвинулся к выходу. — От мужиков на рыбалке слышал, что видели они тетя Валю в городе, подошли поздороваться, а она смотрит сквозь них, в тряпку рваную кутается, и, мол, с нею баба какая-то рядом, взяла ее за

руку и повела. Дескать, это такая прогулка в интернате, водят стариков в парк, чтобы развеять.

— И ты, конечно, поверил? Да, Вася? — В глазах Анны застыли слезы, щеки покрылись пятнами.

— Что ты кричишь на человека? — сквозь зубы процедила Галина и, схватив оставленный братом секатор, с остервенением стала срезать виноградные гроздья.

— Девчонки, я же просто так спросил. Не чужие все-таки, сколько уж лет соседи. А если и интернат — что такого? Японцы вон своих стариков вообще на гору уносят...

— Знаешь, Вася, иди-ка ты к черту! — вышел из дома с забинтованным пальцем Михаил.

— Так возьмете яйца-то? — поинтересовался Василий, вставая из-за стола.

— Нет! — хором ответили ему женщины.

Жалобно скрипнула калитка, где-то недалеко зарычала машина, над тазом со срезанным виноградом загудели пчелы.

— Миш, ты как завтра машину купишь, сразу к батюшке поезжай, освятить, — глядя на летающих пчел, сказала Галина. — Только в нашем храме батюшку поищи.

— Галя, Оля до сих пор не может забыть, как мы квартиру освящали.

— Ну, хоть что-то помнит твоя Оля! — вступила в разговор Аня. — Я ведь говорила ей, что сорок лет не отмечают, нет, приспичило ей устраивать показуху в ресторане. Думаешь, ты просто так в тот вечер попал в аварию? Хорошо хоть все живы остались.

— Подожди, а что не так было с квартирой? — оживилась Галина.

— Да ничего особенного. Приехал этот твой батюшка на тонированном гелике, в костюмчике, с чемоданчиком, борода маслом смазана, волосы уложены — типичный сетевик.

— Миша, ты в каком мире живешь? При чем тут его одежда? — раскраснелась Галина.

— Да ни при чем, Галь. Переоделся он в свою спецовку...

— Ты невыносим!

— Помахал штучкой этой своей, сбрызнул стены, зашел в нашу спальню, говорит, супружеское ложе освещать не буду, неизвестно, что вы на нем практикуете, после святой воды не сможете, а рушить семьи — последнее дело.

— Что, серьезно? Так и сказал? — оживилась Аня. — Я в шоке!

— Это Оля тебе рассказала? — сузив глаза, спросила Галя.

— Галь, это он мне так по-пацански сказал, понимаешь?

— Миша, я знаю, что ты не любишь церковь, но клеветать на доброго человека — грех.

— Ой, Галя, ты мне еще вот это вот все сейчас давай начни! Некому мораль читать? Младший брат стодится?

— Мишка! — одернула его Аня.

В саду тонким голосом запела птица. Галя, задрав голову, ушла в дом. Аня, как в детстве, дернулась было вслед за сестрой, но на пороге остановилась. Рядом с крыльцом промелькнуло что-то серое.

— Миша! Это была мышь! — почти взвизгнула Аня.

— И что? — безучастно спросил ее брат.

— Она же погрызет здесь все!

— На здоровье!

— Нужно взять у Васи кота.

— Аня, нам не нужен кот. Нам нужно продать эту дачу.

Аня вернулась к столу, подошла к тазу с виноградом и набросилась на черную ягоду, ела она жадно, давась соком — будто впрок. Миша смотрел на сестру почти с отвращением и почему-то вспоминал ее мужа, то, как в последний раз этот беспардонный тип в очередной раз устроил на даче шашлыки и ничего за собой не убрал, и когда через

неделю на дачу приехала семья Миши, ему пришлось отмывать за свояком шампуры и решетки для мяса, и это было унижительно и обидно, он тогда едва сдержался, чтобы не сорваться в город и не бросить в морду этому самодовольному нахалу его грязную посуду.

— Ты бы хоть помыла-то виноград! — зачем-то сказал вслух Миша.

— Больше грязи — шире морда. Вроде твоя фраза, — ответила ему сестра.

— Это у одних морда, а у других неделю понос. Помнишь?

— Не, тогда были зеленые яблоки, — засмеялась Аня и перестала казаться противной. И двор будто стал шире и солнечней, и золотые кудряшки на висках сестры стали легче и прозрачнее. Миша зажмурился и почувствовал на плечах тяжесть, снова младшая сестра висела у него за спиной и смеялась в ухо, и снова они, черти-разбойники, прятались в малиннике от Гали, а она искала их, чтобы вместе собирать смородину. И из кухни пахло оладьями и вишневым вареньем...

— И что вы думаете делать с виноградом? — бесшумно вернулась из дома Галя. Она всегда обижалась демонстративно и громко, но надолго ее обиды не хватало, походив из угла в угол, она возвращалась к обидчикам, будто ничего не случилось.

— Я думаю, его можно просто съесть! — сказала Аня.

— Тонну винограда? — вздохнула Галя.

— Ну, Мишкины мальчишки приедут, помогут, — махнула рукой Аня.

— Мальчишки не приедут. У Андрея стажировка, Сашка в лагере, — повысил голос Миша. — Вы прикидываетесь или правда забыли — зачем мы здесь? За домом надо ухаживать, фундамент отсырел, крышу надо перекрывать, тут работы завались. Не делайте вид, что только я хочу продать эту дачу.

— Мама делала хорошее вино, — не обращая внимания на слова брата, сказала Галя. — Может, там, в подвале, осталась хоть бутылка?

Миша, медленно вышел из-за стола и, часто дыша, пошел в сторону подвала. В подвале было холодно и страшно. Маленькая лампочка под потолком освещала только ту часть помещения, где хранилась консервация. Большие и маленькие банки с туго закатанными крышками и белыми боками наклеек, где маминым почерком обозначались даты заготовок, важно стояли на деревянных полках. Эти широкие полки они делали вместе с отцом целое лето и очень ими гордились, у Миши до сих пор остался шрам на ладони от тяжелого рубанка. Наклейки на банках пожелтели, цифры стерлись, но Миша точно знал — какую банку ни открой, запахнет радостью, обедом, мамой. На нижней полке в углу стояли запыленные пузатые бутылки — их собирали специально по друзьям и соседям, чтобы наполнить густым соком лета — маминым вином.

У холодной стены в паутине стояли две закупоренные бутылки. Миша взял одну из них, стер пыль, попытался прочитать название на этикетке, догадался, что в бутылке когда-то жил отвратительный греческий коньяк, улыбнулся, понес бутылку сестрам.

Разливали виноград по чайным чашкам, пили не чокаясь, молча. Ане хотелось сказать, что пить вот так — плохая примета. Что так пьют только на родине ее Йона и что это совсем неправильная традиция, чуждая русским. Ей много всего хотелось сказать, но, посмотрев на брата с сестрой, оглашать свои мысли она передумала.

— Как там в подвале мышки поживают? — спросила Галя не то брата, не то пустую бутылку. Ей никто не ответил. Аня откинулась на спинку кресла, прищурила глаза и сквозь ресницы пыталась смотреть на солнце. Она так делала в детстве, когда не знала, чем себя занять. Миша смотрел в свой пустой бокал и думал о мышках, живущих в подвале. Страшилка, рассказанная старшей сестрой, жила в нем почти до окончания школы, и не было ужаснее ужаса в его детстве.

Мише в тот день исполнилось семь лет, они приехали на дачу рано утром — счастливые и нарядные, с шоколадно-вафельным тортом из центрального магазина, вместе надували воздушные шары, запускали воздушного змея, катались с папой на

лодке, к обеду стали накрывать на стол. Миша пошел с отцом в подвал за банками, которые тогда еще стояли где попало на бетонном полу. Папа долго отрывал заржавевший после весенних дождей навесной замок, рассказывал Мише что-то веселое, а потом дверь в подвал распахнулась, и веселье резко закончилось. Прямо за дверью на порожке лежала соседская Люська. Полосатые лапки застыли сомкнутыми, будто в свои последние секунды жизни она молилась, длинный полосатый хвост торчал ровной палкой, из приоткрытого рта виднелся розовый язычок, в глаза было страшно смотреть — они были как у живых. Миша не закричал, не убежал прочь, он сел рядом с Люськой и стал гладить ее по твердой спинке. Мама говорила потом, что забежавшая в подвал кошка умерла с голоду и что во всем виноваты дожди — размыли дороги. Вернись они раньше, Люсю можно было бы спасти. Галя же винила во всем летучих мышей, которых она якобы видела в дальнем углу подвала под потолком. «Это они выпили Люсину кровь, потому что у нее были синие глаза. Летучие мыши всегда пьют кровь у тех, у кого синие глаза», — рассказывала Галя соседским мальчишкам и девчонкам. И почему-то эта версия показалась ребятам единственно правдоподобной.

С того дня дачный поселок был разделен на две группы, к одной относились те, кому можно было гулять по ночам без страха, во вторую попадали несчастные синеглазые ребята, которых с наступлением сумерек за каждым углом поджидала стая голодных летучих мышей. Гале с Аней повезло, они унаследовали отцовские карие глаза, Мише повезло меньше — у него был светлый серо-голубой оттенок маминых глаз. Миша очень серьезно отнесся к рассказу старшей сестры и вечерами был осторожен: не ходил в неосвещенных местах, держался старших, а злополучный подвал обходил стороной даже днем. Но в тот осенний день, когда по утрам уже пахло сырыми листьями и вокруг яблони целыми сутками глухо бумкало, к ним в сад пришли несколько ребят играть в прятки. Прятаться было решительно негде, желтый сад был уже жидким, прозрачным и совсем не защищал от глаз. За ящиками, стоявшими у железной кровати под грушей, Миша прятался уже дважды, на орешник влез Коля, девчонки побежали к бочке с водой, Игорь угрожающе заканчивал свою считалочку: «Кто не спрятался, я не виноват!» На последней ноте предупреждения Миша влетел в подвал и замер. Дверь подвала захлопнулась за Мишей почти без звука, густая темнота схватила за горло, коленки подогнулись, Миша почувствовал себя большим тяжелым мешком и осел под собственной тяжестью на каменные ступени. В мире не осталось звуков кроме стука молоточков в висках и горле, не осталось цветов, не осталось ничего кроме страха. Миша боялся дышать, боялся двигаться, он знал, что летучие мыши не дремлют и, стоит ему лишь шелохнуться или сглотнуть слюну, они тут же вонзятся своими острыми клыками в его тонкую шею и выпьют всю его кровь. Он не знал, сколько времени длилась эта пытка, не помнил, кто открыл в подвал дверь, но никогда не забудет то чувство стыда, что испытал, когда к нему бросились ребята. Под его ногами, на широкой каменной ступени чернела лужа. «Я же говорила вам, что он здесь!» — кричала с верхних ступенек Галя.

— Мы не должны были ее туда сдавать! — обняв пустую бутылку, сдавленным голосом произнесла Галя.

Миша занес над собой чашку с вином, и она со звоном разлетелась по двору, отскочив от каменного фундамента.

— Ты же первая это предложила! — выкрикнул Михаил.

— Я предложила, а вы двое чистенькие? И ни при чем? — повысила голос Галина.

— Перестаньте орать, соседи вокруг! — сквозь зубы процедила Анна. — У нас не было другого выхода. Она была не в себе. В пансионе уход, врачи.

— Прямо так и вижу твоего лысого барана. «Врачи!» — ломая язык, скорчил гримасу Михаил.

— Здесь-то что тебе Йон сделал? — забыв о соседях, выкрикнула Анна.

— Как обезьяна повторяешь за ним, — ответил Михаил.

— Как попугай, — поправила брата Галина.

— Спасибо сказали бы! Если бы не связи Йона, кто бы взял ее в этот пансион бесплатно? Сидели бы вы тут такие умные, пока она говном стены мажет!

Галина отодвинула от себя чашку и откинулась на спинку плетеного кресла. Чашка блестела под пробившимся сквозь зелень тонким лучом солнца. Луч рисовал на чашке маленькое солнце. Галя вспомнила, как однажды они с мамой вернулись из магазина, а маленькая Анька, оставшись дома с папой, улучила момент и все содержимое своего горшка размазала по стене в детской, и мама запретила ее за это ругать, сказала, что их Анечка будет художником.

— Вы думаете, ничего нельзя было сделать? — глядя на солнце в чашке, почти шепотом спросила Галя. — Как мы не заметили, что она сходит с ума?

— Сколько можно об этом говорить! — выдохнул Миша.

— Если бы тогда, после смерти папы, мы остались с ней на все сорок дней, как она просила, возможно, все было бы иначе, — продолжала Галина разговор с солнцем.

— Галь, у меня с Йоном только все начиналось, я должна была поехать с ним!

— Ну да, у него же заболел отец! Он, кстати, не сдал его еще? У них же это вроде как принято? — Миша покопался в шкафах на веранде и нашел спрятанную там сто лет назад пачку сигарет.

— Ты же с рождения Андрея не курил! — ответила ему Аня. — Дай мне тоже.

— На самом деле, Миша, с мамой тогда должен был остаться ты! Ты ее любимчик, — заерзав в кресле, заметила Галя.

— Галя, у нас тогда все было запланировано за полгода вперед! Я обещал Оле совместный отпуск пять лет! Если ты помнишь, у нас даже медового месяца не было — дети, родители, работа. Господи, кому я рассказываю! Что ты об этом знаешь!

— Миша! — прикрикнула на него Аня.

— Ань, ну реально, Галя должна была остаться тут с мамой! У нее никого нет, это же она у нас вся такая про вторую щеку! — Миша с удовольствием выпускал дым через нос и радовался забытой горечи в горле.

— Миша, я не могла! Это не наша традиция! Это нечестно строить из себя всю жизнь русскую, а после смерти мужа вдруг вспомнить о своем еврействе и заставлять всех жить по чуждым им законам! — Галина достала из кармана носовой платок и громко высморкалась.

— Она никогда не забывала о еврействе, просто с русскими фамилиями в Союзе легче жилось, — задумчиво произнесла Аня.

— Да что ты помнишь о Союзе? Как обезьяны, повторяете одну заученную песню, — встала из-за стола Галя.

— Как попугай, — поправил ее Миша.

— Хорошие сигареты! Крепкие! — заметила Аня, когда Галина скрылась в саду.

— Надо будет дать объявление в газету, — сквозь дым сказал Миша.

— Может, лучше сразу в агентство обратиться? Мы с Йоном свою квартиру через агентство через неделю нашли.

— Мне кажется, Галя не хочет продавать дачу. Она же у нас как бы без жилья, — Миша закашлялся.

— Ты хочешь, чтобы родительский дом отошел каким-нибудь ее сестрам во Христе? — Аня подошла к Мише и постучала его по спине.

— Отец хорошо строил! — прокашлявшись, сказал Миша.

— Скучаю по нему! — шепотом ответила Аня.

— Там яблоню надо спилить, кажется, она высохла, — вернувшись из сада, сказала Галя.

— Ты что, не знаешь, что, пока живы родители, деревья пилить нельзя? — Аня налила себе в чашку холодного чая.

- А у нас кто-то еще жив? — ответила ей сестра.
— Типун тебе на язык, ненормальная! — глядя на брата, ответила Аня.
— Кстати, кто в этом месяце поедет навестить мать? — вклинился в перестрелку

Михаил.

- Я была в прошлом, и она меня не узнала, — ответила Галина.
— Хорошо, мы с Йоном съездим, но тогда вы давайте на кладбище к папе. Там еще в прошлый раз было не пройти.
— Честное слово, я своим детям скажу, чтобы они ко мне на кладбище вообще не приходили, — вздохнул Миша.
— Это по-еврейски, — сказала Галя.
— С чего ты взяла? — спросила ее Аня.
— Я слышала, что у них так принято.

— Четкие ребята, — засмеялся Михаил и отошел от стола с телефоном. Галя с Аней сидели друг против друга и натужно молчали. Две стареющие девочки с одинаково прямыми носами, красивыми кофейного оттенка глазами и одинаково опущенными уголками губ, еще вчера державшиеся за руки и заплетавшие косички общим куклам, сегодня не могли придумать темы для разговора. Хотелось выйти из этого вязкого удушья на воздух.

— Девчонки, меня тут Ольга бомбит эсэмэсками, может, пораньше уедем? — спас их брат.

— Завезешь меня в церковь? — обрадовалась Галя и побежала в дом за вещами, пока Аня начала убирать со стола.

В доме пахло сыростью и воском свечей. Белая стена прихожей потемнела и покрылась солончаком, круглые вязаные коврики, кое-где потертые и полинялые, были влажными. Галя прошла по ним на цыпочках, чтобы не запачкать белые носки, взяла свою сумочку, положила в нее мамины рубиновые бусы, прикрыла белую занавеску на окне, чтобы, если кто залезет во двор, не таращился в чужую жизнь, остановилась у портрета на стене, внимательно вгляделась в счастливые лица двоих взрослых и троих детей и перекрестилась. Плотной закрыла за собой дверь веранды, дважды провернула ключ.

— Что ты там говорила про сливочное масло? — услышала вопрос Миши к Ане.

— Крышу новой машины смазывают сливочным маслом на удачу, чтобы все как по маслу было! — смеясь, ответила Аня.

Море и черепашки

1

Маршрутка подпрыгивает на кочках, и цыплята под моим сидением пищат громче, я упираюсь ногами в их временный картонный дом и отвлекаюсь от просмотра красивой жизни, которую показывают мне в Инстаграме. Палец скользит по экрану, и сказка с красивыми домами, идеальными телами, машинами и платьями исчезает как сон. Я, словно разбуженная медведица, пошатываюсь в такт движению буса, шевелю затекшими пальцами ног и смотрю в окно. За пыльным стеклом бесконечный трехслойный пирог — зеленое поле, синее море, голубое небо. Иногда волна подбегает совсем близко к дороге, и тогда от обилия синевы перед глазами прыгают мушки. За моей спиной проснулся младенец, я слышу, как он сосет грудь и кряхтит, ловлю себя на мысли, что на протяжении всего пути жду его писка, но он как будто специально не кричит — покрхтывает, причмокивает, но не плачет.

Когда моего плеча касается соседка в платке, я выпрямляю спину и поправляю прическу, я немного устала от девочки, сидящей у нее на коленях. Девочке лет семь-восемь, она довольно крупная и, наверное, тяжелая, она сидит неподвижно и, не отрываясь, смотрит на меня. Мне кажется, что эта противная девчонка рассмотрела уже все мои родинки на шее и хрящи в ухе. Я делаю вид, что не замечаю в проходе между сидениями черного стреноженного барана, которого аксакал попросил подбросить до следующей деревни, и того, как на коленях у мужчины чавкает мальчик, откусывая яблоко. Я только делаю вид, что ничего этого не замечаю. На самом деле во мне, словно опара, растет густая, вязкая слизь, она копится где-то в районе моих легких, и они тяжелеют.

Я снова ныряю в свой телефон и пальцем вожу по экрану. Сигнал слабый и «Курорты мира» не открываются. За окном кладбище, оно похоже на старый затерянный город, в его центре стоит маленький глиняный дворец, повезло кому-то иметь хоромы. Половина маршрутки делает аминь, я тоже машинально будто омываю лицо и закрываю глаза. Девочка пододвигается ко мне, и я чувствую ее дыхание, от нее пахнет боорсоками и мятными леденцами. Мне хочется спросить ее: «Ну что тебе от меня надо? Что ты еще не рассмотрела?» Я поворачиваюсь к ней впервые за всю дорогу и вижу, что она вздрогнула и испугалась. Напоминаю себе ожившее чучело. Мы сталкиваемся взглядами с женщиной, на чьих коленях весь этот долгий тяжелый путь сидит девочка, и я, первоначально приняв эту женщину за бабушку девочки, понимаю, что ошиблась. Эта женщина, скорее всего, моя ровесница, у нее два ряда зубов из желтого металла и обветренное загорелое лицо. Она одета в легкое темное платье в мелкий цветочек и в шерстяные гамаши. У меня когда-то в школе были такие, я носила их зимой поверх колгот, но они все равно доставали до тела и зверски кололи кожу.

Вязкая слизь достигает краев, мне хочется переодеть женщину, спустить с ее колен тяжелую девчонку, придушить орущих цыплят.

За окном показалось село — саманные домики, покосившиеся заборы. Баран из прохода подал голос, будто напомнил водителю о своей остановке. У магазинчика, обтянутого рекламным полотном мобильного оператора, барана встречают двое мужчин. Водитель выходит к ним, жмет руки, помогает вытащить связанного пассажира. Мальчик, сидящий на коленях у отца, встает в освободившееся место в проходе и заговаривает с девочкой, они вдруг как-то веселеют и оживают, будто чувствуют близость дома. Мужчина сзади рассказывает своему соседу про то, как совсем недавно его вез на Иссык-Куль водитель с ошскими номерами и их остановил милиционер и взял ни за что пятьсот сом! На эти слова к нему оборачиваются пассажиры с первых сидений, папа мальчика качает головой и говорит, что это некрасиво, когда гость угощает, с ним все соглашаются.

Водитель включает магнитофон, салон оглушает манасчы, звуки комуза чередуются с речитативом, девочка начинает ерзать на коленях матери, пассажиры все как один желают высказаться, некоторые встают с мест, ходят в проходе, маршрутку трясет.

— Каджи Сай! — рывкает водитель, и маршрутка со свистом тормозит. За окном видны горы, тополя, в низине дома и юрты.

Я хватаю сумку, шляпу, неловко встаю со своего места, ударяюсь головой о поручень, наступаю на ногу соседке, пытаюсь скорее покинуть салон.

— Хорошего вам отдыха! — говорит мне соседка и улыбается всеми своими металлическими зубами. За ней повторяют другие пассажиры и даже девочка. Я тоже им всем улыбаюсь и говорю: «Спасибо!» А потом долго иду по неровной размытой селевыми потоками дороге вверх, в гостевой дом, и плачу. Как крокодил.

2

Я долго иду по пустынной глиняной колее в сторону гор, стараюсь не поднимать лицо, потому что солнце жарит, а защитный крем на дне сумки. Стоит мне только задрать голову, на лице будет ожог. Моя кожа совсем не предназначена для жесткого ультрафиолета, на Иссык-Куле даже в тени она становится такой, будто в меня плеснули кипятком.

Когда-то давно, на последних курсах университета, мы с подружкой впервые поехали на отдых самостоятельно, у нас были планы по захвату вселенной, для их реализации не хватало пустяка — легкого загара.

«Солнце, возьми меня!» — сказала я волшебные слова, разбросав руки и ноги по горячему песку навстречу легкому загару, и уже вечером лежала в ожогах и температуре, проклиная мир живых и договариваясь о приличном месте в мире мертвых. Мир мертвых послал мой сигнал хозяйке, сдававшей нам комнату. Словно злая колдунья из сказок Братьев Гримм, пришла она с заклинанием: «Дура, спасти тебя может только горячая баня! Сейчас подтоплю, посидишь в паре, отойдешь».

Я где-то читала, что человеческая память устроена хитрым образом — все стыдное и болезненное она стирает, оставляя только то, с чем можно жить. Так вот из того вечера я помню длинную тропинку через огород, маленький деревянный домик, запах березового веника, низкую тяжелую дверь и слова подружки: «Может, не надо?» Дальше темнота и отсутствие звуков. На следующий день кожа слезла с меня, как нейлоновый чулок, и я, кажется, передумала воевать с космосом.

Иду по пыльной узкой улочке между обвитыми чайной розой и хмелем заборчиками, не поднимаю головы; дорога тянется вверх, шаг становится тяжелее, сумка по ощущениям — баржа, я тяну ее за собой из последних сил. Над горами нависает черная туча, где-то вдалеке слышится гром. Дышу, как астматик, шевелю ноздрями, как старый конь, селевая борозда становится глубже, если пойдет дождь, сумка увязнет в глине, карета превратится в тыкву. Все, я перегрелась.

Гостевой домик встречает меня непроходимыми джунглями ромашек, пионов и роз. В зарослях малины и смородины пасутся отдыхающие. Хозяйка берет мою сумку и по пути к моей келье рассказывает о местной фауне.

— Это ребята из Омска — лучше не связывайся — несерьезные, попросили вызвать такси, чтобы ехать на Солёное озеро, вызвала, а они своим ходом укатили, даже не предупредив! Эти приехали из Екатеринбурга, вон, на своей машине. Приятные, только мальчик у них, засранец такой, собаку мне дразнит. У тебя, кстати, знаешь, какой сосед? Француз! Вот! — сообщив это, она зачем-то подмигивает и распахивает передо мной дверь в крошечную комнату с кроватью и стулом у стены. — Француз через стенку, он, как ты понимаешь, там не один. Отдыхай. Ужин в семь.

3

Ужин подают в саду. Между яблонями и вишнями стоят маленькие топчаны, на них крошечные столики, вокруг столиков рассыпаны подушки-думочки. К столу я, конечно, примчалась первая — много у меня недостатков, но аппетит хороший. Сажу, уплетаю за обе щеки ароматный плов, а вокруг омичи и ебуржцы с селфипалками расхаживают, прямые трансляции ведут.

— Это рай на земле! Просто рай! — кричит в свой телефон женщина в спортивном костюме с надписью *Russia* на всю спину. — Вот такие тут ужины! — внезапно съезжает с темы и подходит ко мне со своей палкой. — А вы откуда приехали? — спрашивает.

А я, правда, голодная, поэтому у меня за одной щекой кусок баранины, за другой полкило риса, говорить нелегко, но я же не сноб какой, чтобы молчать, поэтому беру

себя в руки и пытаюсь сообщить женщине и ее подписчикам, что я местная. Рис из моего рта сыплется на думочку, мясо застревает в горле, блогерша замирает в предвкушении смерти в прямом эфире, но я не даю ей шанса повысить рейтинг и все, что удастся ей заполучить, — это мой тяжелый, продолжительный кашель.

— Здесь реально аутентично! Я реально стала слышать себя! — раздается театральный шепот из-под колерованной черешни. Я отставляю яблочный пирог и поворачиваюсь в сторону откровения. Под деревом на высоком пне сидит худошавая женщина в ярком цыганистом платье и с абсолютно серьезным выражением лица рассказывает телефону про резкость зрения своего третьего глаза. Я подозреваю, что она должна быть веганом или сыроедом, и мне становится неловко за таз слопанного плова.

— Слушайте, как тут у вас, а! — возвращается ко мне дама, носящая на своей спине Россию. — Мы из Омска выезжали, у нас там ведь только снег сошел! Огурцы посадила, зря провозилась, сгнили. А здесь вы видели огурцы? — Она показывает мне неприличный жест из двух рук и заразительно смеется. Но я не заражаюсь, у меня иммунитет. — Были когда-нибудь в Сибири? — простодушно спрашивает. Я немного медлю с ответом, взвешивая возможные последствия, и прихожу к выводу, что обсуждать до утра Сибирь у меня нет никакого желания.

— Никогда не была! — отрекаюсь от родины.

Унося грязную посуду на кухню, я прихожу к неприятной мысли — во мне живет снобище.

На кухне хозяйка с помощницей обсуждают хозяйкину сноху. Хозяйка рассказывает о ней без злости, но дважды называет шалавой.

— Понравился ужин? — спрашивает меня хозяйка и снова подмигивает. Я благодарю ее и по дороге на озеро думаю, что женщины-сплетницы обычно хорошо готовят и управляют с тестом, все у них получается легко и задорно.

У озера тихо и пустынно, на небе первые звезды. Я сижу на песке, задрав голову, и вздыхаю от своей необразованности, кроме Медведиц и Пояса Ориона ничегошеньки-то я не знаю. Надо будет открыть дома интернет и найти что-нибудь про звезды, даю себе обещание и ровно через секунду, конечно, забываю о нем.

По возвращении я наконец встречаюсь со своими соседями — маленьким некрасивым французом и высокой светлолицей киргизкой. Они сидят за столиком у своего номера и едят черешню. Говорят они по-французски, на этом языке я ни черта не понимаю, но, судя по долгим паузам и по тому, как француз плюется в пионы косточками от черешни, разговор не вяжется.

В общем душе на стене несколько полочек, на них стоят банки-баночки-тюбики. Среди леса разнообразных марок и фирм вижу скученную продукцию «Ив Роше» — дешевую и, насколько я знаю, не популярную во Франции, но в нашем регионе самую французскую. Понимаю, что это полочка француза, улыбаюсь. Представляю его — маленького, в большом супермаркете, представляю, как он рад знакомому бренду, с каким теплом прижимает к сердцу эти баночки с надписями на родном языке, как, может быть, чувствует близость дома.

Все мы черепашки, таскающие по миру свой дом, думаю я в полусне.

— Успокойся! Тебе просто нужен новый человек! — говорит с кем-то по телефону девушка француза. Я вижу ее красивый профиль в своем распахнутом окне.

4

Просыпаюсь от скрипа половиц. Лежу с закрытыми глазами и чувствую, что в комнате не одна. Открываю глаза, на вязаном коврик у двери сидит полосатый кот. Зверь сдержан, опрятен, уверен в своей правоте. Играем в гляделки, молчим. За окном на горизонте все оттенки красного — у солнца большие планы.

Выхожу из своей комнаты на цыпочках, чтобы не разбудить соседей. Сонное царство будто качается на волнах, здесь на ночь никто не закрывается, парусами из дверных проемов развеваются занавески. Чщщщ! Спи, кораблик! Спи, хороший! Ноги оmyвает роса, сад дремлет в дымке. Срываю с ветки большое зеленое яблоко, бросаю в пляжную сумку. Полосатый ухажер провожает меня до калитки. Земля под подошвами мягкая, влажная, идти легко и приятно. Вдоль улицы еще горят фонари, навстречу мне плетется парень с палкой — вероятно, пастух; приподнял голову, оценил мои короткие шорты, перешел на другую сторону улицы. Впереди у калитки пузатый мужик, закрывает по очереди ноздри, громко сморкается, перехожу на другую сторону я. На пляже тихо, только сквозь сон шепелявит волна: «Еще ночь-ночь, пш-шли прочь-прочь».

На маленьком проржавевшем пирсе сидит парочка, девушка укутана в полотенце, парень в плавках обнимает свои колени. Они вдвоем, но каждый сам по себе. Свободные, могут себе позволить.

Я подошла к ним беззвучно и нагло пялюсь. Не могу оторваться от спины незнакомца — от дуги его позвоночника, от всех этих выразительных косточек и хрящей. Это рыба — большая рыба, выброшенная на берег. Сейчас она повернет ко мне голову и моргнет своим круглым глазом. Так и есть! «Хай!» — говорит мне рыба и показывает ряд белых ровных зубов.

Бросаю на песок одежду, сумку, шляпу, вхожу в обжигающую воду. Вода в Иссык-Куле всегда холодная, жесткая, суровая; ласковые объятия — не про нее. В первые секунды Иссык-Куль всегда дает тебе под дых, присматривается, берет на слабо. И только обнаружив характер, показывает лицо, распаивает объятия.

Плыву медленно, лениво, почти не двигаю конечностями, радуюсь невесомости. Берег осторожно отходит в сторону, волна шурится и принимает меня в игру. Озеро расщедрилось на дружеские объятия и похлопывает меня по плечу, лезет обниматься, целует в губы. Мне становится весело, хорошо, свободно — я дома! Ныряю, плаваю под водой, рассматриваю золотые дюны, пытаюсь достать до дна. Ощущаю разницу температур и плотность водных слоев, сбрасываю с себя колючее, тяжелое, чужое. Господи, как хорошо! Спасибо!

Тонула по-настоящему я два раза. В пять и в шесть лет. В пять на дачном водохранилище, в шесть на Оби. Я отлично помню оба те случая, когда солнечный луч, за который ты долго и отчаянно цеплялся, вдруг рвется, свет гаснет, и кто-то большой и тяжелый тащит тебя в темноту. История про лягушку, взбившую сметану в масло, превращается в глупую сказку, потому что в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что барахтаться дальше нет смысла, что не все в этом мире зависит от тебя. В первый раз меня, выскользнувшую из надувного круга (самое большое зло), уже с водой в легких, из темных лап небытия вырвала мама. Второй (и я до сих пор не понимаю, как это было можно сделать в полноводной, несущейся на всех парусах Оби) от русалочьей участи меня спас любимый дядька — мой личный, добрый бог на мотоцикле с вечной гитарой за плечом, он тогда только вернулся из армии, был весел и прекрасен, добр и красноречив, я не давала ему прохода и всячески портила жизнь. Только ему было под силу договориться с илистым подводным миром Оби, только он — двухметровый спортсмен — мог оседлать течение и догнать уже ушедшую на дно меня. Когда я очнулась, дядька плакал и матерился. А когда много лет спустя я вытащила из воды своего первого утопленника, меня трясло так, что было больно дышать, я повторила дядькину мантру и почувствовала себя лучше.

В спасательной будке нас было шестеро: четверо парней и две девчонки. Руководил нашим отрядом маленький и круглый, как шар, дядя Вася. Мне казалось, что он знает все на свете.

— По одному не геройствовать! Только вдвоем! Без весла не работать! Сначала оглушили, потом вытащили! Неважно — стакан или ведро пива, на воде это одинаково

яд! Спасти невозможно только того, кого уже закопали, всех остальных можно! Хороший спасатель всегда знает, кто сегодня будет тонуть.

Нашим контингентом в основном были дети дошкольного возраста и мужчины среднего подшофе. Однажды мы с напарником Костей откачали человека, который в тот же вечер зарезал своего соседа. А еще я видела лицо девушки, которую не смогли откачать. Это была не моя смена, и я приехала на озеро, когда тело уже вытащили из воды. Отработанные манипуляции не помогали, скорая ехала слишком долго. Девушка лежала на подстилке расслабленно и умиротворенно. У нее были светлые волосы, белая кожа, правильные черты лица. Когда я заплываю так далеко, что не видно берега, откуда-то со дна мне машет рукой эта девушка. Тогда я резко разворачиваюсь к берегу и повторяю дядькину мантру.

5

Иссык-Куль — как вздорная девчонка: то ласкова и нежна, то кричит, бьет посуду. Еще минуту назад солнце прицельно палило песок и воду, дышало огнем, но вот на него будто набросили стальную мантию, и оно потемнело, сжалось, скукожилось; вода трижды сменила оттенки синего, зеленого, серого; купол неба напрягся, надулся, над черными вершинами гор что-то треснуло, лопнуло, порвалось; сквозь небесную трещину просочились капли — одна, две, три... миллион. В потемневшие воды озера хлынули небесные потоки, кто-то сверху подливает из ведер и шлангов, смеется, шалит. Выбегаю из озера, словно из горящего дома, волны захлестывают, тянут в свои объятия, тяжелые капли безжалостно хлещут по лицу, по плечам, по груди; душ Шарко — для тех, кто любит погорячее. Юрты закрывают тундуки, две девушки пытаются спасти от стихии казан плова, потушенные костры чадят, мальчишки — «вареная кукуруза, семачка, курут» — бегут по пляжу, сверкая пятками. Мир приходит в движение, во всем чувствуется жизнь.

Над горами снова удар гонга и электрический разряд. Небесный доктор оживляет кого-то безнадежного, еще разряд и еще.

— Мы с папой принесли тебя из парной. Ты была с синими губами и не дышала, — рассказывала мама. — Откуда нам в двадцать лет было знать, что баня так может подействовать на ребенка? Ты же кашляла! (Люблю рассказы своих родителей.)

Моя бабушка — папина мама — вполне современная и еще молодая, видя перед собой бездыханное тело своей первой внучки, вдруг вспоминает какой-то древний, дикий обычай и становится почти колдуньей. «Она хватает с вешалки свое красивое, купленное на свадьбу родственницы платье и с хрустом рвет его над твоим лицом. И ты вдруг делаешь вдох и открываешь глаза!» — здесь мама обычно плачет.

Кто-то там, наверху, снова и снова рвет обновки, небо трещит по швам. Задыхаясь, бегу по маслянистой глине. Дождь лупит по железным крышам, Бадди Рич задает ритм и смеется с небес.

Врываюсь под навес в уютные посиделки своих соседей как облезлая кошка: одежда насквозь промокла, волосы вьются и торчат во все стороны. Мужчинам нравится моя прозрачная футболка, женщинам — отпечатки глины на икрах.

Покровительственные, поучительные интонации. Давайте-давайте, девочки, прикрывайте меня полотенцами, закрывайте глаза своим благоверным. Сладкоголосые, ядовитые, маленькие девочки всех возрастов, как я вас люблю!

Француз на кухне готовит какую-то дрянь. Разложил по таваку листья, посыпал сыром и солью, трет что-то на доисторической терке.

— Как там вода на озере? — спрашивает меня на английском.

— Вскипела, — отвечаю ему на русском.

6

Песок крупный, горячий, колючий. Полотенца, покрывала, шезлонги — не пройдешь. Толпа жужжит, гудит, электризует воздух. Найти свободный кусочек суши, огородить завоеванную территорию, в такт с соседкой водить по плечам и бедрам жижей от загара, мысленно перекрестить сумку с умирающим телефоном, протиснуться к воде, перешагнуть через охлаждающийся арбуз, плюхнуться в воду, оглохнуть от счастья. Северный берег Исык-Куля — временная петля, копия Ялты, Одессы и Сочи восьмидесятых. Скученность, теснота, соседские локоть и плечо. Асфальт и мрамор, розы, ели, дискотека... От корпуса к корпусу — приватизация, национализация, бандитские разборки. Полтора месяца в год на то, чтобы выжать из озера золотую каплю. Здесь все дышит, шевелится, хочет жить. Говорят тут громко, целуются всасос. Здесь и стреляются в сердце. Полотна черного и красного в полный рост, какой-то дикий Стендаль.

Он в шляпе, белых шортах, белой рубаше. Солома и лен, качество и стиль. Слон на прогулке. Уверенный шаг, надменный взгляд, капризный рот. Его спутница в бежевых шортах и бежевой футболке. У нее короткие русые волосы, чистое гладкое лицо, серые уставшие глаза. Они идут, держась за руки, он всего лишь на полшага впереди, издали может показаться, что они идут рядом. Она смотрит на него, он смотрит в сторону. Его следы на песке складываются в короткое «я прекрасен», ее семенящий шаг следов не оставляет.

— Ты мой зайчик! Мультик смотрел? — На теле молодого брюнета густая растительность. Он лежит под зонтом, держит у уха телефон и шевелит пальцами ног. — Про кого мультик? Тоже про зайчика? Про другого зайчика? — Проходящие мимо женщины прислушиваются к разговору, уголки их губ приподнимаются. — Нет, папа сегодня не приедет. Папа на работе. Да, папа работает. Слушайся маму, завтра что-то тебе привезу! — продолжает сюсюкать брюнет. Его другая рука поглаживает животик лежащей рядом девушки.

Немолодая, подтянутая, уверенная в себе. Купальник открытый, узкие полоски ткани впиваются в тело, светлые волосы стянуты в высокий пучок. Встала с шезлонга, уверенной походкой взойшла на пирс, с него, как рыба, ушла в воду, поплыла брасом — легко, спокойно, с удовольствием. Под зонтом двое мужчин. Один другому доверительно:

— Она во всем такая. Пришла, взяла, пошла дальше.

Копна рыжих волос и ослепительно белая кожа. Можно подумать, что это девочка-подросток. У нее длинная шея, тонкие руки и бесконечные ноги. Стоит лицом к воде, спиной к зрителям. Приглядевшись, по складкам на локтях можно понять, что она давно не подросток. С ней рядом, дрожа и поскуливая, вертится чихуахуа. Женщины, лежащие неподалеку, питают к даме с собачкой живой интерес.

— Чем больше горя в жизни женщины, тем меньше у нее собака, — говорит одна.

— Ладно сама пошла топиться, животное-то при чем? — стряхивая пепел с сигареты, возмущается вторая.

Под большим зонтом сразу несколько семей. Пьют пиво, играют в карты, смеются. Маленький динамик в центре веселья производит попсу, мужчинам уже хочется чего-нибудь эдакого, раскрасневшиеся женщины предпочитают, чтобы как в юности. Альфа не выдерживает напряжения, подхватывает на руки самую кокетливую и несет с ней в воду. Его примеру следуют еще двое самцов, под зонтом остаются самые сдержанные. Один из сдержанных лениво встает на ноги, подходит к скромнице, обводит ее оценивающим взглядом.

— Даже не думай! Ты посмотри, какая там грязь, мы потом лечиться запаримся! — говорит ему скромница и закуривает.

— Куда я ее поведу? В общественный что ли? — Голос женщины с соседнего шезлонга звучит убедительно. — Стас, достань из сумки горшок. Это ребенок!

Стас сидит на корточках возле девочки в ярко-розовом купальнике и пытается о чем-то с ней договориться. Девочка лет четырех — в одной руке лопатка, в другой мороженое — капризничает.

— Что ты над ней издеваешься? — взрывается женщина. Соскакивает со своего шезлонга, достает из вместительной сумки круглую пластмассовую емкость, усаживает на нее девочку.

— Какай, солнышко, какай!

7

Стеклянный пузырь на пляже — это ресторан. Хрупкий, прозрачный, волшебный. Чуть прикрываешь глаза и сквозь ресницы видишь: там, внутри, идет снег. Встряхнешь шар — и маленькие человечки в разноцветных одеждах замирают над своими тарелками. Откуда эти летящие хлопья? Дождешься, пока белые крупинки оседут, и трясешь снова — в груди волнение, необъяснимая радость.

Ужины здесь тихие, медленные, без сюрпризов. Я сижу за маленьким столиком почти у входа, надо мной дрожат стеклянные капли — их много — пятьдесят или семьдесят. Каждый раз, ожидая своего заказа, я задираю голову и пытаюсь их сосчитать, они висят в хаотичном порядке на длинных прозрачных нитях и, покачиваясь на сквозняке, звенят, как бабушкин хрусталь. Я понимаю, что висят они надо мной не просто так, наверно, они предназначены для того, чтобы отгонять злых духов и побочно радовать глаз, но мой глаз испорчен, и при каждом порыве ветра я, как черепаха, потерявшая панцирь, втягиваю голову в плечи и жду колючего дождя. Я могу пересесть за другой столик и сидеть ровно, без всего этого адреналина, но так мне неинтересно.

Я жду свой куурдак и глазею по сторонам. За одной прозрачной стеной кипит Иссук-Куль, за другой — прикрывшись облаками, спят горы. У стены, где за стеклом волна и заходящее солнце, мелькают вспышки, девушки лезут на эту стену, как на Эверест, предъявляют камерам значимое и важное, изображают легкость и удовольствие, примеряют чужие улыбки и позы, никогда не остаются довольными тем, что попало в матрицу. За соседним столиком сидят трое — две женщины и мальчик. Все они будто из разных королевств, и ужин в стеклянном шаре им наколдовал какой-то чужак. Одна из женщин, словно высохший стручок фасоли, — маленькая, тонкая, седая. Она похожа на подростка, на ней серые брюки и бесцветная блузка, она не выпускает из рук нож и вилку и непрерывно говорит. Говорит по-немецки. Вторая сидит ко мне вполоборота, и я вижу ее густые черные волосы, профиль со скошенным носом, шоколадный оттенок кожи. От этой женщины, как от плодородной почвы, исходит пар, она пахнет грядущими урожаями. Она слушает. Мальчику, сидящему рядом с молодой женщиной, лет пять, он болтает под столом ногой, крутит в руках планшет и хнычет. Седовласая женщина изредка прерывает свою пламенную речь, улыбается мальчику, обращается к нему короткими «шац» и «спац», тянется через стол губами и руками. Мальчик отвечает ей, грассируя, на некоторое время прекращает ныть и смотрит в экран. Между женщинами за столом космос, они — две разные планеты. Одна — ледяной шарик, другая — раскаленный комок. Но мальчик с планшетом — карие глаза, золотые локоны — мостик между двумя мирами, они смотрят на него одинаково нежно.

Перемена блюд, звон стеклянных капель над моей головой, седовласая продолжает свой монолог. Ее бледные щеки покрылись румянцем, ледяные глаза подтаяли. Может быть, это ее лучшее лето. Кареглазая девочка слушает ее так, как не слушал никто, подливает в пиалу чай, смотрит с нежностью и заботой, иногда приподнимает брови или поджимает губы, дышит в такт. Она умеет это делать с колыбели, слушать ее научили раньше, чем говорить.

Я пытаюсь дорисовать недостающее в их прочной цепи звено. Это немолодой архитектор из Мюнхена. Он много ездил по миру и много видел, его жизнь размеренна

и спокойна, у него дом с лестницей из красного дерева, качели в маленьком садике, он воспитывает детей своей фрау и по субботам жарит на заднем дворе колбаски. Он приехал в Киргизию по гуманитарному проекту, построил деревню для нуждающихся, проехал по регионам, увидел, как живут люди в круглых войлочных домах, как готовят на кострах пищу, как борются за урожай, и как-то очень соскучился по дому. Через неделю ему на родину, там его ждут фрау и ее дети, там у него седовласая мама. Но тут застолье — много мяса и чая, тонкие запястья и золото в белой чашке, черные глаза из-под ресниц, и отчего-то дышать тяжело, и одна только мысль: что там, в этих глазах? А еще желание спасти, вынести на руках из разрушенного дома, стать героем. Фрау все поймет, она взрослый человек, она твердо стоит на ногах.

Или он эксперт в сфере энергетики. Живет в Берлине, знает все про ветряки. Занимается спортом, любит собак. Красавчик в самом соку. С гёрлфренд они давно договорились, что все у них будет легко. Он не возражает, когда она усаживает их таксу в коляску и сюсюкает с ней в парке и в книжном. Она не против, когда он без нее едет отдыхать в Испанию. И вдруг на конференции это чудо — тонкие запястья, длинные шелковые волосы, плавные движения. На фоне резкого, жесткого, понятного — это волшебство. Такса простит.

Ну, хорошо! Пусть он молодой и красивый. У него синие глаза и мечта — жить у моря. Он хирург и работает в небольшой клинике в Дрездене. Он расстался со своей девушкой и, чтобы прийти в себя, приехал на горнолыжный курорт в Альпы. Он сбивает ее с ног на трассе и пытается оказать помощь. У нее прекрасный немецкий и плохой характер. Она говорит ему гадости и поправляет выбившиеся из капюшона волосы. Он понимает, что нашел свою женщину. Не налюбуется на ее запястья.

Мальчик с планшетом отказывается есть овощи и дерзит бабушке. Люди за соседними столиками напрягаются, прислушиваются к чужеродной речи. Мальчик повышает голос, переходит на визг. Публика в ресторане замирает, не сводит глаз с мальчика. Женщина с тонкими запястьями поднимает сына со стула, делает прицельный шлепок, что-то говорит кыргызча, усаживает ребенка на место. Седовласая замирает, бледнеет, хватается ртом воздух. Мальчик берет вилку и с аппетитом принимается за еду. Молодая разливает по чашкам чай и снова обращается в слух.

8

Октябрь бьет по рукам, и всё падает маслом вниз. Написанное перечеркнуто, запланированное забыто. Свечи гаснут, черные птицы над головой окрепли, уплотнились, больше не прячутся по углам. Отрывать от подушки налитую свинцом голову с каждым днем все тяжелее.

Забить окна, закутаться в бабушкину шаль, обнять батарею. Дни тянутся медленно, сны вязкие, тяжелые. Зеркало, словно замерзшее озеро, покрылось пленкой, отражение нечеткое, знакомое лицо в нем размыто.

Перебирать потери, неудачи, плохие дни; рисовать траектории своих будущих падений, не чувствовать вкуса, не испытывать эмоций. Неудачница-неудачница-неудачница — шепчет за окном листопад. Верхнее веко дернулось, как обожженная бабочка, и задрожало. Это теперь надолго.

Не выходить из комнаты — роскошь, но бабочке не нужны алмазы, она предпочитает полевые цветы.

«Чтобы глаза были ясными, нужно смотреть в небо!» Господи, откуда это во мне? Конечно, из какого-нибудь глянцевого журнала, сколько я их пересмотрела! Ничего не проходит бесследно. «Мы — то, что мы едим! Мозг умнее нас!» Отче наш, не дай мне сойти с ума!

Дождаться первого троллейбусного гула, приоткрыть тяжелую штору, зажмуриться от света желтого фонаря, непослушными руками собрать в сумку бесполезные вещи — полотенце, купальник, шляпу, достать из холодильника подвявшее яблоко, помыть его под горячей водой, вытереть салфеткой, долго любоваться, не решаясь съесть, положить в сумку рядом с полотенцем, вспомнить, что Марина Ивановна

умела варить суп из луковицы, улыбнуться, поплакать. В очередной раз заикнуться на мелком, тщетном, смешном.

Когда это со мной случилось? Когда там, наверху, решили, что вырасту я рохлей и размазней? Может быть, программа запустилась в детском саду, когда на рев мальчика из младшей группы прибежала воспитательница и отдала моего медведя крикуну? Я сидела на маленькой скамеечке возле крашеного фанерного домика и смотрела, как рушится мир: чужие грязные руки истязали моего лучшего друга. Хотелось взять палку, подлететь к пауку и на всем скаку срубить к чертям собачьим его белобрысую голову. Но колыбельные мантры «зайку бросила хозяйка» и «оторвали мишке лапу» не давали сдвинуться с места, я болтала ногой и ждала окончания пытки. Нелзя делать больно другим, на свое «больно» можно подуть.

Господи! Как приятно себя жалеть! Как сладко!

Маршрутки на Иссык-Куль осенью ходят редко, заполняются долго, ползут медленно. Со мной в салоне три человека. На заднем сиденье спит пьяный работяга, рядом с ним стоят два мешка с сахаром. На мешках так и написано: «Кант». У спящего приоткрыт рот, и по лбу ходит наглая осенняя муха. Ближе к водителю сидит пожилая пара. Старички застыли, держа ровно спины и плотно прижимаясь плечом к плечу, сосредоточенные, чистенькие, гладенькие — сказочные персонажи. На коленях у Боровичка большая матерчатая сумка, в ней позвякивают пустые банки — ездили к детям, отвозили соленья-варенья, возвращаются.

Дорога умыта дождем. Октябрь в Кыргызстане — время осторожных, прозрачных дождей. Урожаи собраны, поля убраны.

Еще вчера — внимание, комплименты, горящие глаза и горячие руки, сегодня — седая прядь в небе и полинялый пейзаж.

Шеф, давай музыку, я знаю, у тебя есть то, что мне нужно. Кузьмин жалуется на сибирские морозы, водитель курит траву, за окном бесконечный Климт. Мятная конфета под языком тает ме-е-едленно. В десятом классе на дискотеке ко мне подошла девочка и спросила, могу ли я научить ее танцевать. Я, юная и жестокая, бросив лишь взгляд на эту девочку, поняла: какой бы прилежной она ни была, как бы ни старалась, ничего у нее не выйдет. Ведь не двигаться под музыку хотела она научиться — притягивать взгляды, будоражить фантазию, повелевать и властвовать — вот чего хотела она на самом деле. Но колдовство либо есть, либо его нет. Ты или атомная станция, или ветряная мельница. Поэтому я, конечно, обняла эту девочку и пообещала, что всему научу. Через пару недель в кабинете НВП, который вечерами нам тайно открывал косой сторож Ахмед, его так и звали — Косой Ахмед, уже не хватало места, вместе с девочкой учиться танцам приходили ее подруги и одноклассницы, потом подруги подруг и девчонки, у которых подруг не было. В стране была неразбериха и суета, наши родители цеплялись за все возможные заработки, примерялись к новым условиям жизни, мы росли вкривь и вкось, нам это нравилось. На нашу секту обратили внимание только после того, как на добровольные пожертвования девчонок я купила новый магнитофон. Меня вызвали к директору. Наш директор был неплохой мужик — ездил на старом «москвиче», врал хулиганам про именную пистолет и раз в месяц заказывал трудовику новую указку. Он вел у нас географию, рассказывал наспех сочиненные байки про путешествия, курил трубку и мечтал хотя бы краем глаза посмотреть за границу. Стоя между чучелом кабана и пыльным глобусом, он высокопарно нес чушь про мои капиталистические замашки, про славные годы пионерии и траву, которая когда-то была зеленее. Директор хотел денег. Косой Ахмед, куливший на пожертвования, предлагал мне схемы и высчитывал, сколько нужно кидать шефу, чтобы лавочку не закрыли. Мама плакала и умоляла меня не связываться с большими деньгами.

Все маленькие черепашки бегут к большой воде, но достигают своей цели лишь единицы, думаю я, протирая запотевшее стекло. Маршрутку трясет, под ногами рваные резиновые коврики, за трещиной на лобовом синее Иссык-Куль.

Сейчас маршрутка остановится, и я пойду к берегу, расстелю на влажном песке полотенце, достану из сумки яблоко и замру на целую вечность.

Чтобы через мгновение очнуться, проснуться, стать снова живой.

Татьяна Калецкая

Рассказы

Татьяна Калецкая (1937—2019) родилась в Ленинграде в тот период, когда он уже и еще не был Санкт-Петербургом, в семье филолога Павла Исааковича Калецкого. Так случилось, что я тоже родилась в этом городе в том же достославном году и тоже в семье филолога. Больше того, наши с Таней отцы вместе учились в аспирантуре и были дружны. Это обстоятельство свело нас с Таней в раннем возрасте, сделало друзьями, и я была свидетельницей всех этапов жизни этой необыкновенно талантливой и вообще необыкновенной женщины.

Мы вместе с Таней поступили на филфак Педагогического института им. А. И. Герцена, где Таня поражала однокурсников своей начитанностью, а преподавателя фольклора потрясла на экзамене огромным количеством частушек, каких он раньше не слышал. Это было неудивительно, поскольку Таня сочинила их после того, как вытащила билет с вопросом о частушках. «Где вы их записали?» — восторженно глядя на нее, спросил преподаватель. «В Архангельской области», — не моргнув ясными голубыми глазами, ответила она и вышла в коридор, победоносно потрясая зачеткой с законной «пятеркой». К этому времени она уже давно сочиняла стихи.

На втором курсе Таня вышла замуж за начинающего журналиста Владлена Травинского и перешла на заочное отделение: надо было зарабатывать на жизнь. Она сменила немало работ: была литературным секретарем у известного филолога Бориса Томашевского, корректором в «Советском писателе» и даже кондуктором автобуса. В это время дом Калецкой и Травинского стал центром притяжения ленинградского андеграунда того времени. Возможно, мои слова показались бы странными тем, кто бывал тогда в этом доме, но Татьяна Калецкая в конце 50-х — начале 60-х годов была хозяйкой одного из литературных салонов Ленинграда. С выражением «литературный салон» обычно ассоциируется обставленная старинной мебелью гостиная, где в хрустальных бокалах подаются изысканные вина. В Танином «салоне», что находился в доме на узкой и темной Пионерской улице на задворках Петроградской стороны, в маленькой комнате запущенной коммуналки, подавалась водка с самой дешевой закуской и чай в эмалированных кружках и граненых стаканах. Зато там собирался цвет ленинградской богемы. Я хорошо помню, как там читал свои ранние стихи Иосиф Бродский. О нем у Тани был прелестный рассказ, который, увы, не нашелся в ее рукописях. Не помню, назван ли его герой настоящим именем, но знаю, что речь идет о Бродском. Всю ночь молодой поэт проводит с друзьями, они веселятся, выпивают, и под утро он вспоминает, что на холодной лестничной клетке стоит «топтун» — тот, кто обязан за ним следить. Ему вдруг становится жалко этого парня, который там мерзнет, и он выходит к нему с недопитой бутылкой водки и выпивает с ним. С Бродским Таня оставалась в дружеских отношениях до конца его дней, встречалась во время поездок в Америку. В дружеских отношениях до конца своих дней она оставалась и с Михаилом Шемякиным. Его самую первую выставку организовал в 1962 году в журнале «Звезда» Травинский, когда стал ответственным секретарем этого журнала.

Приезжая в Москву, Шемякин встречался с Таней и ее вторым мужем Александром Гельманом. Она всегда бывала на его московских выставках и только на последнюю, которая проходила нынешней зимой, не смогла пойти, о чем очень горевала.

В начале шестидесятых Таня начала писать прозу. В ее архиве сохранились неопубликованные повесть и рассказы. После развода с Травинским Татьяна Калецкая уехала в Тюмень и занялась журналистикой. Ездил в экспедиции, писала очерки и репортажи, они печатались в местной прессе. По возвращении в Ленинград продолжила журналистскую деятельность, сотрудничала с ленинградскими газетами и журналами, ездила в командировки. В одной из командировок она встретила с Александром Гельманом, о котором должна была написать материал. Результатом этого журналистского задания стал прочный и счастливый брак, а также замечательное творческое содружество двух талантливых людей. Вместе они написали свой первый сценарий «Ночная смена». Фильм по нему был снят в 1970 году и имел большой успех. Его и сейчас иногда показывают по телевизору, как и вторую снятую по их общему сценарию ленту «Ксения, любимая жена Фёдора». С этого времени начался новый этап жизни Татьяны Калецкой. Она поступила на Высшие сценарные курсы и стала самостоятельно работать как сценарист. В восьмидесятые годы вышло несколько фильмов по ее сценариям: «Плывут моржи», «Время для размышлений», «Подружка моя». В них заняты замечательные артисты: Юрий Богатырёв, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Евгения Ханаева, Люсьена Овчинникова, Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова. Киноленты, снятые по сценариям Татьяны Калецкой, пользовались зрительским успехом. В это же время фильмы по сценариям Александра Гельмана и спектакли по его пьесам становились культурными событиями. Творческое сотрудничество Александра Гельмана и Татьяны Калецкой продолжалось до последних дней Таниной жизни.

Эти рассказы были написаны в начале шестидесятых годов прошлого века, но, как мне представляется, ничуть не устарели, потому что ситуации, описанные в них, постоянно повторяются, а человеческие переживания остаются неизменными.

Елена МОВЧАН

Случай с машинисткой

Я все писала, писала стихи, а потом подумала: снесу-ка я их в редакцию.

Взяла и отнесла.

И такой удивительный случай — они вдруг понравились главному редактору.

Это мне секретарша сказала. Она сама была удивлена до крайности. Ей-то самой они не понравились, она мне сразу сказала, что ей не нравятся и что, значит, дело почти безнадежное.

А потом вышел просто редактор, не главный, позвал меня в кабинет и стал хвалить. Что вот какая я молодая, а пишу не по возрасту. И что их журнал как раз сейчас выискивает таких, как я, молодых, которые хоть и молодые, но в общем соответствуют чему-то там. Что у меня есть, конечно, недостатки, но мы с ним при совместной работе их ликвидируем. И что очень хорошо, что для меня не существует слова «мелкотемье». Что я хорошо знаю и люблю простых людей, их мысли и чувства и всякие там события из их жизни, и все это мне дорого. Что у меня меткий глаз и чуткое ухо. Или наоборот — ухо меткое, а глаз чуткий, я точно не запомнила, я в то время очень волновалась.

Потом он сказал, что все это, конечно, очень хорошо, но в таком виде рукописи обычно не читают — в рукописи. А надо перепечатать на машинке. Когда рукопись

перепечатана на машинке, редактору легче выискивать недостатки. И даже удивительно, что главный в таком виде взял читать мои стихотворения.

Короче, надо срочно перепечатать. Лучше всего — к завтрашнему утру. Надо ковать железо, пока горячо. Железо — это, видимо, главный.

И спросил, есть ли у меня машинистка. А откуда она у меня?

Позвали тогда секретаршу, и она сказала, что у нее есть такая машинистка, которая может быстро перепечатать. Пусть я оставлю секретарше свои тетрадки, а она созвонится и передаст их той машинистке. А утром пусть я приду и принесу деньги, машинистка тоже утром придет, и мы с ней рассчитаемся.

Я очень робко спросила: а сколько?

Секретарша с презрением на меня взглянула и сказала, что эта машинистка дешевая и берет за лист гривенник. У меня там было примерно сорок страниц. Значит, надо четыре рубля. Ясно?

Я сказала, что, конечно, ясно, и сказала ей спасибо.

Утром я пришла очень рано, еще никого не было в редакции, даже секретарши. Только уборщица.

Я в приемную не решилась войти, а там возле дверей снаружи такой один стульчик стоял почему-то, вот я и села на этот стульчик.

Сижу и жду.

И думаю: вот придет сейчас моя машинистка.

А ведь для меня, если разобраться, эта машинистка не просто машинистка. Это ведь первый мой читатель. А кто в редакции читал мои стихи, я тех не считаю, они ведь прежде всего редакционные работники.

Какая же она, интересно, эта машинистка, моя первая читательница?

Она, наверное, женщина лет около сорока или немного больше. Она среднего роста и скромно одетая. Скорее всего на ней будет серая плотная юбка и кофточка серая трикотажная, вся после стирки вытянувшаяся. А под кофточкой блузочка белая или в горошек и воротничок бантиком. Сейчас воротнички бантиком не носят, это просто у нее очень старая блузка. И волосы у нее темные, жиденькие и поэтому завиты мелким перманентом. А лицо простое, очень усталое.

Мы с ней вежливо здороваемся, она протянет мне аккуратный сверток и скажет:

— Вот, возьмите, пожалуйста. Уж простите, я запоздала, — всю ночь печатала, боялась — не успею.

Я отогну обертку, посмотрю — там не сорок, а тридцать восемь страниц.

Вот я ей протяну четыре рубля. Но она покраснеет и скажет, что вы, что вы, не надо. И начнет рыться в своем потертом кошельке — искать мне сдачу.

И мне станет неловко не взять от нее эту сдачу.

А разговаривать мы будем, конечно, уже в приемной. Будем сидеть на большом кожаном диване возле круглого стола, посреди зала. Этот стол и диван этот специально для авторов, вроде меня. И все, кто будут проходить мимо, ну там всякие другие авторы или там редакционные работники, все они будут со мной здороваться. Ведь всем уже станет известно, что мои стихи настолько понравились самому главному редактору, что он их взял читать даже в рукописи!

И вот я возьму от машинистки свои стихи и начну их разбирать, считывать или как там полагается после машинисток.

А машинистка не уйдет. Она встанет с дивана, потом снова сядет и вдруг опять покраснеет и скажет:

— Вы меня извините, девушка, но мне бы хотелось с вами поговорить. Можно?

Я так ласково ей скажу: ну, конечно, можно. Я вас слушаю.

Потому что я хорошо знаю и люблю простых людей, их мысли и чувства и всякие там события из их жизни, и все это мне дорого. И еще для меня не существует слова «мелкотемье».

А машинистка мне скажет:

— Вы знаете, вот я всю ночь печатала ваши стихи, и так они мне понравились, так понравились, вы просто не представляете. Я их печатаю, а сама плачу. И знаю, что нельзя мне во время работы плакать, могу опечаток наделать, а все плачу и плачу все... Спасибо вам большое!

Я ужасно смущусь и скажу:

— Ой, что вы! Это вам спасибо. Я так рада, что мои стихи вам понравились.

И пожму ей руку. Нет, руку я ей не пожму, это как-то не по-женски, а ведь стихи у меня, редактор сказал, очень женские. Я ее поглажу по плечу.

А машинистка еще больше растрогается и скажет:

— Вот вы знаете, ведь жизнь у меня очень-очень нелегкая была. Мне бы так хотелось вам про себя рассказать, про свою жизнь. Я одна живу, никого у меня на свете нет, и поделиться не с кем. Все в себе коплю. А вот прочитала ваши стихи и почувствовала, что вам все как есть рассказала бы, вы бы все поняли. И лицо у вас, смотрю, хорошее, человеческое очень, вроде как ваши стихи.

Я еще больше смущусь, я ей скажу:

— Ой, что вы... Зачем вы... Спасибо вам... Ну конечно, я с вами с удовольствием поговорю. Да вот и сейчас можно поговорить, чего ж откладывать. Вы не вставайте, сидите, сидите. Мне так будет интересно вас послушать!

И машинистка сядет, и вдруг у нее слезы из глаз потекут, она вынет из-за рукава кофточки своей платочек и начнет глаза вытирать. А я буду чувствовать себя очень неловко и буду пока молчать.

И вдруг мимо пройдет с какими-нибудь бумагами та секретарша. Она так удивленно посмотрит на нас с этой машинисткой. Но ничего не скажет.

А я вдруг подумаю: это она решила, что я недовольна машинисткой, поругалась с ней, оттого она и плачет. А ведь машинистка по ее рекомендации. Я вскочу, догоню ту секретаршу и скажу ей: я хочу вас поблагодарить, очень хорошая, грамотная машинистка. И принесла вовремя, и мы с ней уже рассчитались. А это она плачет от волнения, она немножко такая странная, плачет чего-то.

И секретарша понимающе улыбнется и пойдет дальше.

А я вернусь к машинистке. Она уже перестанет плакать, и глаза утрет, и скажет:

— Вы меня извините, просто я много горя в жизни перенесла, вспомнила и разволновалась. Ну, чего уж там, решила, так надо рассказывать. Значит, родилась я в городе...

И вдруг я ей скажу:

— Пожалуйста, извините, подождите минуточку! Я сейчас!

Потому что вдруг увижу, как в зал входит сам главный редактор. И он смотрит на меня таким зовущим взглядом, чтобы я подошла.

Я подойду.

Он пожмет мне руку. И скажет:

— У вас замечательные стихи. Вы для нас просто открытие. Такие у вас женские стихи, и столько в них любви к простым людям, столько знания жизни и тонких наблюдений, столько понимания и бережного отношения к людям! Мы будем, мы будем вас печатать. И вы пишите, пишите и все несите к нам. Мы первые вас открыли, и вы прежде всего должны нести свои произведения нам.

И он еще раз мне руку пожмет и выйдет.

Потому что он специально в зал заходил, чтобы со мной познакомиться. А так вообще-то он очень занятый.

Он выйдет, а я вдруг посмотрю и увижу, что вокруг меня толпа. Разные там авторы и вообще редакционные работники. И секретарша среди них, и мой тот редактор, который не главный.

Все будут меня поздравлять. Говорить, что я талантливая, что я свежее молодое

дарование, что я новая поросль. Что мне теперь открыты все дороги. Что пусть я подам заявление в Союз писателей, и мне обязательно дадут путевку в дом творчества, за треть стоимости.

Я, конечно, буду всем скромно улыбаться и молчать. В таких случаях молчать, наверное, лучше всего. А то скажешь что-нибудь не так и всех разочаруешь.

А потом я украдкой кину взгляд на диван. Но машинистки уже не будет, ушла машинистка.

Пока я разговаривала с главным, пока все меня поздравляли, она ушла. И про свою жизнь мне не рассказала.

И вдруг мне станет грустно-грустно. Как же я так? Как же я ее в такой момент оставила? Мне даже станет немножко стыдно оттого, что она ушла.

Ну ничего, ничего, я придумаю. Я у секретарши попрошу ее телефон, этой машинистки. Я с ней созвонюсь, и все обойдется. Я к ней приду, и она пусть расскажет мне всю свою жизнь, и я ее всегда буду просить печатать мои новые стихи...

Вот так я сидела на стульчике у дверей и все это представляла. А машинистка все не шла.

Разные люди проходили мимо. Может, авторы, может, редакционные работники. И диван возле круглого стола посреди зала был уже занят, все там сидели, и курили, и громко разговаривали.

Я всем кивала, кто мимо проходил, а со мной почему-то не здоровались. И секретарша, и тот просто редактор проходили мимо и тоже не здоровались. Может, не узнали, что ли?

Я сижу себе, жду. А машинистки нет. Час жду, два. Просто странно, почему ее нет. Заболела, что ли?

Вот еще подожду полчаса и подойду к секретарше, спрошу, в чем дело.

От скуки я стала людей разглядывать. Хотя ничего интересного. В основном мужчины.

И вдруг поднимается по лестнице девица. Ну, девица — сила! Примерно моих лет, может, немножко старше. А скорее всего и не старше, просто очень накрашенная, и это ее немного старит. Великолепная девица! Прическа — как будто только что из модной парикмахерской, да еще сверху лаком покрыта. Одета в ярко-красную широкую вельветовую юбку с большими карманами и в белый нейлоновый свитерок с двумя красными пуговицами у выреза. Прелесть просто. А туфельки, конечно, на гвоздиках, и носы, как полагается, вытянутые, но на конце обрубленные.

И в руках квадратная белая сумка с блестящим замочком.

Она очень независимо и слегка покачиваясь вошла в приемную. И я вижу, все мужчины перестали разговаривать и стали смотреть на нее.

Она куда-то там в глубину вошла. Потом вдруг снова показалась в дверях. Смотрит недоумевающим взглядом вокруг, и губы недовольно надуты. И сумкой размахивает.

И тут она увидела меня на моем стульчике. Осмотрела меня с ног до головы. Потом спросила:

— Скажите, случайно не вам я должна отдать работу, стихи?

Я сказала:

— Наверное, мне. Это я.

Она, сразу видно, очень обрадовалась. Говорит:

— Значит, это вы. Ну, приветик.

Я машинально отвечаю:

— Салют.

Она говорит:

— Хорошо, что вы еще не ушли. Я в универмаг по дороге заскочила, там такие

платица немецкие сегодня выкинули, восторг, а не платица. Между прочим, вам бы очень пошли. Как раз на худеньких, вроде вас.

Я ее спросила строго:

— Вы принесли работу?

— А как же, — она отвечает, — все в полном ажуре. Я как раз последнее время очень заинтересована в деньгах, иначе бы и не стала на вечер брать работу, с какой стати иначе перерабатывать. А сейчас вот приходится подхалтуривать, такова наша жизнь.

Я взяла сверток и смотреть не стала, спрашиваю:

— Значит, сколько я вам обязана?

Она покачалась немного на своих каблучках и говорит:

— Стихи печатать — это ужасно. Строчки короткие, а внимания больше, чем при перепечатке накладных. Я стихи вообще-то не люблю, а тут приходится преодолевать настроение. И вообще это была ужасная работа — такая срочность, такая гонка. Я всю ночь не спала, печатала. Сорок листов за ночь — это же страшное напряжение. Мне муж сказал: еще одна такая ночь и беру развод. Я просто измучилась вся.

Я опять спрашиваю:

— Ну, сколько я вам должна?

— Знаете, — она говорит, — вообще-то я беру по гривеннику за лист. Но за такую срочность, за такую переработку я должна с вас взять по двадцать копеек. Такая ужасная ночь. Я просто не могу иначе, чем по двадцать. Я ведь чуть не заболела после этой ночи.

Я и спорить не стала. Достала свой кошелек и стала в нем рыться, чтобы набрать ей восемь рублей. И мне так неудобно: она ведь видит, что я не ожидала, что так много денег придется платить, а кошелек у меня потертый, и я считаю, все боюсь, что может не хватить. А она спокойно стоит, ждет, пока я подсчитаю.

Мимо проходили какие-то молодые люди, кивнули ей. А я все копаюсь в своем кошельке.

Последний рубль я ей медью наскребла. Положила ей в ладонь.

Она щелкнула замочком своей белой сумочки, ссыпала деньги прямо на дно.

Говорит:

— Ну, все в порядке. Я тогда пошла. Привет!

Да, еще на прощанье я ей спасибо сказала, этой машинистке.

Потом я отнесла свои дорогие листы секретарше. Она взяла, записала что-то куда-то и говорит:

— Теперь можете прийти только через две недели. Раньше члены редколлегии не прочтут.

Я говорю:

— Но как же так... Ведь главный редактор уже читал, ему понравилось.

Она очень мило улыбается и отвечает:

— Знаете, девушка, между нами говоря, наш главный — очень увлекающийся человек. Сегодня ему нравится, а завтра уже нет. Вот прочтут ваши стихи все редактора, обсудят, выскажут свое мнение главному. И тогда решат, стоит ли печатать. Всего вам хорошего.

На улице я зашла в одну парадную, вытащила снова кошелек, смотрю — а там осталось только-только на трамвай. Опять придется у соседей занимать.

Вчера я договорилась с одним моим приятелем, что после редакции пойду к нему, поделюсь. Он очень за меня всегда переживает.

А тут чувствую — неохота мне делиться.

Пойти, что ли, в этот универмаг, что там за платья такие? Денег, правда, нет, так хоть погляжу. Может, мне еще и не понравятся...

За литературу (сатирическое)

Когда меня взяли в наш журнал на работу, все меня очень поздравляли. Конечно, это не шутка — работать в толстом журнале. Да еще во всесоюзном. Хотя у него тираж и самый маленький, а зато все равно всесоюзный тираж!

А для женщины, девушки попасть в такой журнал — тем более не шутка. Да еще сразу после института!

Меня Пашка предупредил насчет этой работы. Пашка отвел меня в Публичке в угол и сказал:

— Ты не думай, все не так просто. Самое главное — правильно сориентироваться. Твой главный — дико правый. А твой заведомо Эдька Носов — дико левый, я с ним всю аспирантуру в одном и том же общежитии водку пил, знаю... Так что все учитывай, каждый свой шаг.

Как только я пришла в наш журнал, меня вызвал главный. Он так сказал:

— Поздравляю, идите к Эдику, постарайтесь сработаться. Если встретятся какие-нибудь трудности — обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу.

Я пошла к Эдику. Там у него в комнате сидела еще вторая редакторша отдела, Стелла Михайловна. И парень какой-то, мы познакомились — он, оказывается, тоже из нашего журнала, из публицистики парень.

Ну, они сначала меня расспросили — откуда я, что уже напечатала. Я им все сказала, даже вспомнила, как в «Пионерской правде» мою заметку однажды напечатали, это когда я еще в школе училась. Стелла Михайловна вздохнула так и сказала:

— Как я вам всем завидую. А я так давно ничего не пишу. Все кому-нибудь помогаю. Борюсь с правыми. Это так утомляет. Даже «Иностранную литературу» перестала читать... Ужас что такое.

Эдик, дико левый, вдруг подскочил ко мне и взволнованно спросил:

— Да, чуть не забыл, ты же от шефа. Что он тебе сказал?

— Ну, что он мне такого особенного сказал? Ничего вроде бы. Такое обычное, как и полагается в таких случаях.

Но Стелла Михайловна мне заговорщицки подмигнула и сказала:

— Вы его не стесняйтесь, этого другого товарища. Он хоть и из публицистики, но вполне свой. Мы ему во всем доверяемся. Он наш.

И Эдик тоже говорит:

— Не бойся, мы никому не скажем. Передай дословно, что тебе шеф сказал.

— Ну, что он такого сказал? Ага: поздравляю, говорит, теперь идите к Эдику, постарайтесь сработаться, говорит... Все как будто.

Эдик так и подпрыгнул.

— Видите, — кричит, — Стелла Михайловна, а вы мне не верили! А вы еще сомневались! В глаза — так всегда Эдуард Николаевич. А тут — просто Эдик. Да еще при молодом сотруднике. А что все это значит? А это значит — меня здесь не уважают! Не считают. Это значит — нашу статью собираются зарубить. Это значит — шеф уже без нас провел предварительное совещание с замом. И все без нас решили. Как обычно.

Стелла Михайловна тогда нервно прошла в зад и вперед по комнате, потом подошла к Эдику, поцеловала его в затылок и сказала:

— Да, Эдик. Да, вы правы. Вы, как всегда, оказались проницательнее всех нас. Но им это так не пройдет. Надо сплотиться. Надо бороться. Надо пострадать за литературу.

А парень из публицистики буркнул:

— В чем дело. Пострадаем. Не впервые.

Эдик пожал им руки и вдруг опять подскочил.

— Слушайте, — говорит, — а самое-то главное? Как он ей сказал? Постарайтесь, сказал, сработаться? Это же прямой намек! Это же чистое оскорбление! Он что этим хотел сказать? Что у нас в отделе нездоровая атмосфера? Какая гнусность! Какой позор — таким путем выживать из журнала своих идейных противников! Нездоровая обстановка, моральное разложение, а потом — салют, до свиданья по собственному желанию! Не выйдет! Не то время! Прошли времена культа!

Тут Стелла Михайловна снова восторженно поцеловала Эдика в затылок, а потом густо покраснела и прошептала:

— Вы знаете, мне только что пришло в голову... Но пусть это останется между нами... Мне кажется, что, говоря так, главный намек на наши с вами отношения, Эдик... Ну, будто вы и я... Ах, вы меня понимаете... Будто мы с вами... Такая мерзкая клевета!

Парень из публицистики вставил:

— Я знаю, кто это распустил — Евсей Петрович. У нас вся проза такая — ни правая, ни левая, только сплетничает.

Эдик тогда у меня спросил:

— А когда шеф с тобой прощался, он не подмигнул так вот левым глазом?

Я подумала, постаралась вспомнить. Подмигнул, говорю. Только не левым глазом. Правым.

Все опять заволновались.

— Нет, — Эдик спрашивает, — пожалуйста, вспомни точно, это очень важно!

Мне даже приятно стало. Первый день на работе — и такое ко мне внимание. Все так слушают здорово, Стелла Михайловна даже авторучку в рот засунула от напряжения. Я уж решила — надо действительно быть максимально точной.

— Пойдите, — говорю, — сейчас соображу. Я, значит, стояла тогда спиной к двери, окно было справа. Так?

Парень из публицистики восхищенно подтвердил:

— Верно!

— А главный, — продолжаю, — стоял ко мне лицом. И я совершенно отчетливо помню, что подмигнул он мне глазом, который был ближе к окну. Значит, окно было от меня справа, шеф стоял ко мне лицом, мне казалось, что глаз этот справа, но для него этот глаз ведь не правый, а левый? Так ведь? Выходит, я ошиблась, он подмигнул левым глазом!

Эдик даже засмеялся от радости:

— Вот-вот, а я что вам твержу уже который месяц! Ему мало, что всю редколлегию на нас натравливает. Стоит только новому человеку попасть в журнал — он его сразу же ориентирует против нас! Что мы, мол, левые, а левых он раздавит! Только так я расцениваю это гнусное подмигивание!

И парень из публицистики подтвердил:

— Только так!

Но Стелла Михайловна покачала головой и проговорила:

— Товарищи, товарищи, не надо их недооценивать. В том, что она нам рассказала, заложен глубокий скрытый смысл. Он подмигнул левым глазом, но ведь он не мог не знать, что ей он покажется правым! Вдумайтесь — и вы наконец уясните, в какой тяжелой обстановке постоянной травли и обструкции мы вынуждены работать! Нет слов, друзья, от такой низости. Как хотите, Эдик, а на следующей редколлегии я встану и все-все им скажу... Пусть предлагают потом уйти из журнала, но я больше не могу! Советская литература не должна страдать от косности и пережитков наших руководителей.

Парень из публицистики пробурчал:

— В чем дело. Поддержим. Поборемся. Покажем.

И пошел к себе в публицистику.

А Эдик посмотрел на часы и сказал:

— Пора и обедать.

И мы пошли обедать в Дом писателей. Так все было интересно, так интересно. Я даже не ожидала такого счастья: думала, просто удачная работа, а тут еще и борьба. Другие, я знаю, еще и сами бы деньги платили, лишь бы допустили побороться, а у меня вообще красота: каждые две недели получка грандиозная, в два счета можно комнату обставить, да еще и борешься каждый день! Пока мы обедали, я вспоминала, как именно шеф стоял во время нашей беседы, и даже вспомнила, что авторучка у него коричневого цвета.

Стелла Михайловна мне в ухо шепнула:

— Это мы знаем!

После обеда снова пришел тот парень из публицистики, и мы уже боролись и против Евсея Петровича из прозы. Он, оказывается, в тот день не поздоровался с тем парнем из публицистики. Вернее, поздоровался, но не за руку, а только головой махнул. Эдик сразу понял, что это он переметнулся. Но Стелла Михайловна, видно, тому Евсею Петровичу сочувствовала в душе, она сказала, что он еще не совсем правый, что его надо понять — он личность думающая и трагическая, он типичное порождение...

День первый этот прошел просто незаметно. Он так много мне дал. Во-первых, я поняла, что всю жизнь буду левая, это так увлекательно. Во-вторых, что впредь надо быть внимательнее к действительности — глупо же было так долго вспоминать, каким глазом подмигивал главный. И еще, еще мне показалось — уж не влюбляюсь ли я в Эдика Носова, своего заведомо? И как же мы тогда будем со Стеллой Михайловной, я ж вижу, что и она тоже. Хотя мы все и левые, а не помешает ли ревность нашей борьбе?

От всех этих переживаний я до двух часов ночи не могла уснуть. И вдруг вся похолодела. Что же я наделала! Я обманула своих! Предала! Не рассказала! Не рассказала, что шеф на прощанье добавил: «Если встретятся какие-нибудь трудности, обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу!»

Боже мой, боже мой, какой ужас! Какой глубокий, но скрытый смысл заложен в этой фразе! «Если!» «Встретятся!!» «Какие-нибудь!!!» «Трудности!!!!...» И дальше, дальше — «обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу!» «Непосредственно ко мне... всегда поддержу!!!» Господи, ведь это значит...

Я больше не могла томиться в одиночестве. Я понимала, что должна немедленно сообщить друзьям о своем открытии. Ждать до завтра нельзя, невозможно, промедление грозило гибелью. Я чувствовала себя ответственной не только за наш отдел, передо мной встал могучий и величественный образ всей нашей многонациональной литературы, он толкал меня, он велел мне — иди!

Я вскочила с постели и быстро оделась. За окном лил проливной дождь, на улице была непроглядная темень. Ну и пусть!

Телефон-автомат стоял на углу. В будке кто-то разбил стекло, дождь хлестал по моим плечам, я вся дрожала от холода и от страха.

Но я все равно набрала номер Эдика Носова и упрямо ждала, не обращая внимания на бесконечные длинные гудки. Я ведь знала, что он все равно проснется.

Я так была счастлива. Я боролась. Я страдала. За литературу.

Публикация Александра ГЕЛЬМАНА

Минская ініцыатыва

«Я нарадзілася тут, я здзейсніла хібу»

СТУДИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА «ШКЕРЕБЕРТЬ»

Представляем переводы на русский и украинский языки стихотворения известной белорусской поэтессы, эссеистки и переводчицы Марии МАРТЫСЕВИЧ, выпускницы Белорусского государственного университета, автора книг: «Драконы летят на нерест: эссе в стихах и прозе» (2008), «Посольство: эссе в стихах и прозе» и «Сарматыя» (2018). Переводит поэзию и прозу с чешского, польского, украинского, русского, английского и других языков. Живет в Минске.

Мария Мартысевич

* * *

Не совершай ошибки.

И.Бродский

Знайдіть десять праведників в цих містах.

С.Жадан

Я здзейсніла гэтую хібу, я выйшла з дому.
На плошчы Гаморы ў самым цэнтры Садому
дзеці скаталі няроўную белую глыбу,
робяць снегавіка, як сіві рудому.

А вось і яны. Маюць белыя палітоны,
на гладкіх грудзях — з квадратным пісьмом жэтоны.
Суседзі спярша іх абмацюкалі ад страху,
а пасля атачылі. Здаецца, вядуць трахаць.

Яны гаварылі, ім трэба ўсяго дзесяць.
Калі б было лета і я мела хоць бы месяц,
я б усіх абзваніла, выкалупала з норак.
А цяпер мне халодна й ляніва. Мне хутка сорак.

Здаецца, мне варта таксама вярнуцца ў норку.
Госпад над намі раскачагарвае зорку.
Я нарадзілася тут, я здзейсніла хібу.
Я хачу прысніць перад залпам вялікую рыбу.

* * *

Не совершай ошибки.

И. Бродский

Найди десять праведников в тех местах.

С. Жадан

Я совершила эту ошибку, я вышла из дома.
На площади Гоморры в самом центре Содома
дети скатали неровную белую глыбу,
делают снеговика, как CV рыжему.

А вот и они. Имеют (У них) белые пальто,
на гладких грудях — с квадратным письмом жетоны.
Соседи сначала их обматерили от страха,
а после окружили. Кажется, ведут трахать.

Они говорили, им нужно всего десять.
Если бы было лето и я имела хотя бы месяц,
я бы всех обзвонила, выколупала из норок.
А теперь мне холодно и лениво. Мне скоро сорок.

Кажется, мне следует также вернуться в норку.
Господь над нами раскошегаривает звезду.
Я родилась здесь, я совершила ошибку.
Я хочу увидеть во сне перед залпом большую рыбу.

Подстрочный перевод Ольги Сульчинской

ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ И НА УКРАИНСКИЙ

Евгения Джен Баранова (Москва)

* * *

Я совершила ошибку, я вышла из дома.
По тупику Гоморры в третьем кольце Содома
дети снежок катают — бабу из грязи липкой.
Делают CV рыжему как живому.

А вот и они... Плащи их белы-просторны.
На гладкой груди — с квадратным письмом жетоны.
Соседи дичатся, потом матерят со страху,
потом окружают — и кажется, будут трахать.

Они говорили, им нужно всего лишь десять.
Стояло бы лето, нашла бы таких за месяц.
Тащила б знакомых силком из привычных норок.
Теперь мне холодно и лениво. Мне скоро сорок.

И кажется даже, что в норку и мне не поздно.
Господь заряжает огнём золотые звезды.
Я здесь появилась. Я сделала этот выбор.
Во сне перед залпом увижу большую рыбу.

Наталія Бельченко (Київ)

* * *

Я зробила оцю помилку, я вийшла з дому.
Де майдан Гоморри в самому центрі Содому,
грудоману нерівну білу скатали діти,
ліплять сніговика, як біо рудому.

А ось і вони. Білі пальта вони вдягнули,
на грудях в жетонах — квадратні у них цидули.
Сперш сусіди їх матом обклали, страхопуди,
тоді оточили. Здається, трахати будуть.

Вони говорили, їм треба лише десять.
Якби було літо і часу було досить,
я б всіх обзвонила, дістала з найменших шпарок.
А зараз — ліниво й зимно. Невдовзі мені сорок.

Здається, я маю також повернутись у нірку.
Отець небесний над нами розжарює зірку.
Я народилася тут, і я в цій помилці винна.
Хай перед залпом насниться велика рибина.

Герман Власов (Москва)

* * *

Я совершила ошибку, я вышла из дома.
Площадь Гоморы, в самом сердце Содомы:
там детвора снеговика лепила —
белую глыбу — делала рыжему био.

Вот и они. Все в белых пальто, однако.
На плоской груди с квадратными буквами знаки.
Сперва их соседи обматерили со страху,
потом окружили. Сдаётся, ведут трахать.

Они говорили, им нужно десять — не больше.
Вот было б лето и был бы с месяц, не дольше, —
я всех обзвонила бы, я выволокла из норки.
Сейчас мне лениво и зябко. Мне скоро сорок.

Сдаётся, и мне стоит вернуться в норку.
Господь над нами раскопчегарит зорьку.
Я здесь народилась, но села в чужие сани.
Хочу перед вспышкой выловить рыбу глазами.

Иван Волосяк (Донецк)

* * *

Я опять совершила ошибку и вышла из дома.
На площади Гоморры, что в центре Содомы,
дети скатали глыбу: безобразную, броскую,
делают снежную бабу, как советы СV Бродскому.

А вот и они: в пальто, рядом со снеговиками,
впрочем, любая одежда заменяется номерками.
Соседи сперва матерились, боясь силы их,
потом окружили и, кажется, будут насиловать.

Они говорили: нам нужно хотя бы десять,
и если бы лето, в запасе свободный месяц,
я б всех обзвонила, достала на свет из норок,
но теперь холода, и поймите, *мне скоро сорок*.

Так что правильной будет самой отсидеться в тепле мне.
Пусть по воле Творца звёзды-смоквы падут на землю.
Да, я здесь родилась, я ошиблась — кусаю локти,
но хочу оказаться в спасительной Божьей лодке.

Инга Кузнецова (Москва)

* * *

Я совершила ошибку, я вышла из дома
На площадь Гоморры в самом центре Содомы.
Дети катают нелепый ком, побросавши лыжи.
Так когда-то лепили био нашему рыжему.

Вот шагают люди в ангельски-белых пальто, но
Каждый левый лацкан обезображен жетоном.
Поначалу от страха соседи тряслись, матеря их,
А потом окружили и повели за сараи.

Они сказали: им нужно всего-то десять.
Долго решали: стрелять их или повесить.
Если б летом было, я б их предупредила.
А сегодня лениво, холодно. Вот в чем дело.

Мне сорок. Наверное, надо вернуться в гнездо.
Господь над нами греет небо звездой.
Я совершила ошибку, родившись не в Ницце.
Надеюсь, до залпа всплывшая рыба приснится.

Яна-Мария Курмангалина (Москва)

* * *

Я совершила ошибку, выйдя из дома
на площадь Гоморры, в самом сердце Содома,
где дети скатали неровного колобка —
будущего нелепого снеговика.

А вот и они, в белых плащах с подбоем.
Пришли и глядят, вне образа и подобья.
Толпа собралась, закричала, рты разевая,
А после их утащили, куда — не знаю.

Они говорили — им нужно всего лишь десять
душ непорочных. Но, кажется, был бы месяц,
и было бы лето, нашла бы я эти души.
Но мне скоро сорок, а в холод я быю баклуши.

Поэтому лучше вернуться к своим котлетам.
Я совершила ошибку, родившись в этом
городе, над которым туман раздув,
бог зажигает маленькую звезду.

Ольга Сульчинская (Москва)

* * *

Я совершила ошибку, вышла из дома.
Площадь Гоморры в самом центре Содома —
Дети снежную бабу на радость ближнему
Делают, как CV нашему рыжему.

Они появляются — в белых как снег хитонах.
Квадратные буквы на их нагрудных жетонах.
Соседи сперва их матерят со страха.
Потом, окружив, уводят, должно быть, трахать.

Они говорили, им нужно всего-то десять.
Будь это летом и будь у меня хоть месяц,
Я всех обзвонила бы, вытащила из норок.
А нынче лениво. Я мерзну. Мне скоро сорок.

Похоже, самой бы мне лучше вернуться в нору.
Господь нам звезду разжигает об эту пору.
Я здесь родилась, и в этом моя ошибка.
Приснись мне перед залпом, большая рыбка.

Анатолий Цирульников

Черкесские сады, или Плач под лезгинку

Фрагменты романа-исследования

Черкесия — лицо Кавказа, лицо редкой красоты. Адыги — древний, гордый народ. Зихией звали Черкесию древние греки. Меотский всадник — прототип черкесского рыцаря средних веков. «Черкес» — «пресекающий путь», так называли их монголы.

Черкесия считалась страной рыцарей. Кантемир писал: они всегда изобретают что-то новое в одежде и манерах. Татары им подражают, так что черкесы могут быть названы французами Кавказа...

Смотрим фильм с моим опекуном, провожатым, носителем смысла места Махмудом Каратабаном: пустыня, бедуины — и среди них черкесы. Как они попали туда?

— Турция, Иордания, Сирия, Египет, Ливан... — объясняет, — среди тех стран, куда привела судьба черкесов, где проявился «черкесский фактор». Он влиял не только на обыденную жизнь, но и на общественные процессы: черкесы добывали ключевые посты в армии, вносили свою лепту в политику и культуру...

Про черкесов можно понять что-то, когда ощущаешь их мировым народом — включенным в ход мировой культуры. А проблема наших историков в том, что у них нет мирового видения, они сосредоточены только на адыгах в нынешнем ареале их обитания, мыслят по трафарету. У них нет понимания, что к Черкесии интерес международный: филологов, историков, демографов, культурологов — людей из разных стран. Наоборот, они восемьдесят лет считают, что это никому не интересно, только нашим братьям абхазам и кабардинцам. И восемьдесят лет вот так науку ведут: «Нет, мы особенные, нас это не касается, это требование не к нам, мы не можем добиться такого “индекса интереса”, как мировые народы».

Три поколения горожан

— Почему адыги остаются в аулах? — спрашиваю Махмуда.

— Это иллюзия... Кавказская война, революция, Великая Отечественная. Опустошение произошло за эти века...

В советское время задачей для всех считалось встроиться в советскую систему — для поколения родителей моей мамы, у которых было по девять детей, успех означал — дать дорогу детям, фактор успеха — выучиться.

Они учатся в школах, университетах, встраиваются в систему. И таким образом получается первая волна девушек и парней, которые получили образование в Москве, в Ленинграде. Всех отправляли по разным «направлениям»: готовили будущих деятелей культуры, ученых, которые должны были заниматься адыгской наукой, образованием. Центр науки — Тбилиси, они занимались в грузинском университете, центр культуры — Москва, театральный круг, ГИТИС...

Выходили первые филологи, учителя русского языка, первые советские адыги — партийные руководители, председатели колхозов. Первые кандидаты наук, доктора. Этим людям сегодня по восемьдесят лет.

Вторая волна — поколение моих родителей, учеников предшествующего, — более массовая.

Это волны адыгов, которые стали городскими жителями.

И я — следующая волна, которая уже родилась в городе. И мои дети...

А у городских как? У меня еще была причина ездить в аул — к родителям мамы. У моих детей ее нет. Адыгский язык — на нуле. Среди родных нет никого, кто не жил бы в городе. Теперь городской едет в аул если только на похороны, лишь потому, что когда-то там жила мама... Дом заколочен. Человек уже почти ничем не связан с аулом. А у его детей нет вообще ничего. Для них это — быть-небыть, сказка. И повода ездить туда — нет, разве что дедушка постареет, повезет показать.

А там, в ауле, проблема в том, что эта сельская среда уже мало сельская, это не адыгская среда. Все хорошее, ступень народной культуры, традиции, все, чем можно было бы город подпитывать, исчезает — нет уже почти этого.

Интеллектуальный слой выветривается. Продолжения нет — такого, чтобы выявлялась национальная элита, и встраивалась в республику, и развивала ее. Вот брат моей жены кончил мехмат, выбрал французский банк, и в чем смысл его жизни? Помайлся и вернулся...

Но перемен, которые бы формировали нас как этнос, не видно. Есть отдельные национальные инструменты, песни, пляски, республиканские детские и взрослые коллективы. Появляются какие-то мультикультурные явления... мастера, ремесленники, но это вовсе не потому, что есть государственная система, культурная политика. Поэтому для этноса — большая надежда в религии и репатриации на историческую родину потомков прежних эмигрантов. Причем это идея не наша — федеральная. Это ресурс для нашей страны...

Получается, две тенденции, думаю я. Одна — старая, как империя, ассимилирующая. А другая — сохраняющая народ, собирающая — репатриация...

Дипломатическая игра

После окончания Крымской войны правительствами Российской и Османской империй было заключено соглашение, определявшее порядок переселения российских мусульман в Турцию. Первоначально переселение не было многочисленным и шло под видом паломничества в Мекку. Но по мере активизации русской колонизации переселенческий процесс набирал силу. Сотни семейств устремились за море. Причина — всеобщий страх, вызванный падением Шамиля, недоверие к русским. Бедственные последствия (как писал военный советник российского посольства в Турции Франкини) «системы переселения, давно уже применяемой в разных местах кавказского края, составляющей отрицание всякой личности, всякой самостоятельности, превращающей население в стада»².

¹ Половинкина Т. В. Черкесия — боль моя и надежда. Нальчик, 2014. С.194—196; Трагические последствия Кавказской войны для адыгов. Вторая половина XIX— начало XX века // Сб. документов и материалов. Сост. Р.Х.Гугов, Х.А.Касумов, Д.В.Шабаев. Нальчик, 2000. С.98.

Блистательная Порта была не против принятия небольшого числа кавказских горцев и даже звала их, обещая хорошую жизнь на земле правоверных. Турецкие власти рассчитывали извлечь из кавказской эмиграции определенные выгоды: пополнить боеспособными солдатами армию, заселить пустующие территории империи, заполнить христианские районы, где беженцев можно было бы использовать для борьбы с национально-освободительным движением славян.

Однако темпы и масштабы переселения оказались непредсказуемыми и обременительными для Турции. Только за один год (1858—1859) из Прикубанья ушло две трети мирного населения. Когда Турция стала ограничивать прием, Россия заявила, что мусульмане ходатайствуют о выезде не для переселения, а для паломничества: «Мы не хотим и не можем противиться исполнению желания, внушенного религиозной убежденностью».

Это была дипломатическая игра. На самом же деле российская власть подталкивала давлением, военными мерами выселение всех горцев. В 1861 году часть из них, испытав бедственное положение в Турции, стала возвращаться на Кавказ. Если возвращение было официальным, ему всячески препятствовали, селили людей в пустоши и неудобицы во внутренних губерниях. А если возвращенцы относились к «непокорным племенам», да были еще и с просроченными паспортами, таковых отправляли в Сибирь «на поселение навсегда».

Новый главнокомандующий кавказской армией пришел к блистательной мысли, как «окончательно решить черкесский вопрос».

Когда черкесы правили миром

Да, и о таком вспоминают: о временах, когда, мол, столицей черкесского государства был... Каир.

Речь идет о государстве мамлюков — в состав их султаната входили Египет, Судан, Ливия, Кипр, Сирия, Палестина, Ливан, Киликийская Армения, Хиджаз (Саудовская Аравия), часть современного Ирака и Турции.

Удивительна история того, как пленники стали во главе огромной державы.

В годы апогея монгольских завоеваний большая часть рабов, поставляемых в Египет, была тюркского и кавказского происхождения. Плененные монголами и проданные ими на рынках мальчишки-кипчаки и мальчишки-адыги стали мужчинами, из которых комплектовалась воинская гвардия мамлюков, составлявших главную вооруженную силу султанов и эмиров. А затем эти выросшие мальчишки, гвардейцы и их потомки, сами стали властелинами Египта на несколько столетий!

Мамлюки разгромили и монголов, и крестоносцев. Османские правители были вассалами мамлюкских султанов и именовали себя «уч бейрели» (прифронтовые беи). Их завоевания проходили с одобрения султанов Каира.

Конечно, далеко не все, кого очередные волны завоеваний столетия за столетием выбивали с кавказских предгорий, оказывались в кругу властителей держав; большинству приходилось куда труднее, но селения черкесов распространились по всему Ближнему Востоку.

И во всех них сохранялась память о своей родине на Кавказе.

Единственный аул в столичном районе

Вместе с Махмудом и его детьми — пятилетней Аиссе, семилетним Кантемаром и десятилетней Мадинат — минуем поселок Пролетарский и приезжаем в Мафэхабль — счастливый аул, «аул счастья».

Единственный аул в Майкопском районе, остальные — поселки.

Здесь живут репатрианты из разных стран мира. Ребята играют на улице. Эти дети родились уже здесь.

На благотворительные средства в ауле построили прекрасные дома, двухэтажные, для многодетных семей. Они живут на улице Косовской, в ауле счастья, который отпраздновал свое восемнадцатилетие.

Аул возник в девяносто восьмом году. Люди сами выбрали место. В «ауле счастья» нет ни одного забора. Асфальт положили в этом году, а дома, показывает Махмуд, новые репатрианты построили себе сами.

— Здесь вы найдете всю карту мира: и Америку, и Турцию, и Сирию, и Израиль... В Израиле, на Голанских высотах, было четыре черкесских аула. Во время шестидневной войны два исчезли, остались Кфар-Кама и Рейхания. В аулах жили потомки тех, кто после изгнания попал в Османскую империю, а та привлекала их к войнам. Так они и оказались в разных странах.

При Ельцине приняли решение вывезти косовских адыгов в Россию.

Несколько лет назад поселку присвоили статус аула, расширили площадь, проводят воду и электричество.

Не без боя, конечно. Пока люди не устроили митинги, воды не было. И с асфальтом: положить положили, но не везде.

— А где репатрианты работают?

— В медицине, в образовании, в торговле...

Мы встретились с жителями одного из домов, построенного год назад на их собственные средства.

Наша родина здесь

Репатрианты из Турции — чистые, аккуратные люди, видно по всему, благополучная, обеспеченная семья. Садрытын Тэбэр, по-адыгски Утыш, сказал, что в Турции им не разрешали брать адыгские имена и фамилии, а теперь — пожалуйста. Его детей зовут Олджан Тэбэр, по-адыгски Чурмут, Шамиль (ему 33 года), Ясин — ему 29, Эрдинч — 36, и у них свои семьи, дети, самому маленькому полтора года...

Отец, которого я расспрашиваю, — из пятого поколения, которое родилось в Турции. Там родились и дедушка, и прадедушка... А первого переселенца звали Исхак.

«Что-то от них осталось?» — спрашиваю. «Ничего не осталось, — переводит ответ отца представитель шестого поколения. — В Турции они жили в городе Измир, на побережье — напротив Греция, Эгейское море. А Исхак уехал в Кальуль 120 лет назад. Папа — из пятого поколения, в Турции на стройке работал...»

— Как получилось, что сюда приехали?

— Сначала у меня брат приехал, потом мы.

— Нет, — уточняю я, — как вышло, что вернулись?

Отец отвечает, а сын переводит: «Так как дядя с семьей и дети были уже здесь, и пенсия наступила, мы с женой решили переехать. Но там, в Турции, дома остались за нами. Каких-то проблем не было, из-за которых надо было переезжать».

Я пытаюсь понять мотивы, которые заставляют людей сняться с места в ущерб собственному благополучию, вопреки здравому смыслу, сдирая кожу о камни, как

рыба, идущая на нерест. Эти обеспеченные в Турции люди приехали в бедную страну и говорят, что в Адыгее все прекрасно. Почему?

— Причина в том, — переводит сын слова отца, — что это родина. Главное — это. — И от себя добавляет: — Они всегда там были не в стабильном положении, им в Турции, если что, указывали: идите туда, откуда пришли. А здесь — земля дедов. И если им посмеют сказать что-то, они ответят с достоинством. А там — кто такие черкесы?

Паспорта у них уже есть. И собственность в России в разных местах тоже. И если не случится ничего такого, что их заставит назад уехать, они не уедут.

Единственное, родного аула, где жил их прадед, уже нет — он затоплен. Аул Чичикай. И их фамилии в этих местах уже нет...

«А адыгский язык в Турции сохранялся?» — спрашиваю. Они отвечают: было 75 адыгских аулов. Людей заселяли в места дикие, от Чёрного моря до Израиля. Такой, как сегодня, цивилизации не было. Чем дольше не приходило радио, телевидение, тем дольше сохранялся язык.

А дети попали уже в цивилизацию.

Брат женился на девушке, репатриантке из Майкопа.

«Смешений не допускали?» — «В ауле, — отвечает отец, — были только адыгские невесты. А в городе попадались другие» — «Но в аулах же были родственники, кровно-родственные связи исключали?» — «Да».

«А куда-нибудь ездили уже по стране?» — спрашиваю репатриантов из «аула счастья». Сыновья отвечают: Ставрополь, Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар... По году, по два-три работали. Петербург, Москва...

— И какое отношение?

— В республике Адыгея, — отвечают, — отличное, а когда выезжаем в другие города — другое. Люди не уважают друг друга. Когда говорим: мы адыгейцы, они на нас и не смотрят.

— А вы знали об этом до приезда?

— Дядя рассказывал. Ну, мы уже привыкли. Научились по-русски говорить...

— Все сложности, — говорит отец, — надо воспринимать как вынужденные, их надо преодолевать. Осложнения с документами, с ОВИРом были... Мы привыкли, что в Турции эта система гораздо легче, но сейчас, говорят, и в России улучшается.

До приезда он знал немного по-адыгейски. А так они не особо на этом языке разговаривали, в школе английский был. Здесь в английском нет потребности.

«Где будете работать?» — «Сейчас тут работы нет. Брат в Волгограде строит, у него фирма, строительный комбинат. А в самой республике ничего нет...»

Пришла мать семейства.

— Вы не разочарованы, что приехали?

— Нет. Это наша родина, как мы можем быть разочарованы? Там — не наша родина, — повторяет она, — а это наша родина.

Ее муж замечает: «У нас там собственность, и земля, и проще в плане бытовых вопросов». Жена стоит на своем: «При всех сложностях мы все равно довольны». — «Место было прекрасное, возле моря, — продолжает муж вспоминать то место, откуда они приехали. — Большой и красивый четырехмиллионный город...»

Чувствуется, что ему жалко прошлого. А жена — о настоящем...

Вспоминаю рассказанную мне историю. В ауле умирает старуха, ей 100 лет. «Чего ты хочешь?» — спрашивают. — «Я хотела бы, — отвечает, — из нашего колодца воды выпить». Поехали туда, в станицу Ильскую, нашли колодец, привезли ей воды. Она узнала: «Да, это вода из нашего дома...»

Репатрианты в ауле общаются, стучат в дверь, заходят к односельчанам. Свадьбы, поминки вместе... Америка, Турция, Израиль, Сирия, Югославия — все тут, в одном «ауле счастья».

Только ситуации и судьбы разные.

Гонимые войнами

Во время нашего разговора пришел старый человек в кальсонах, беженец из Сирии. Говорит по-кабардински. Зовут Мухамед Имин Шора. Ему восемьдесят четыре года. «О, — говорю я, — хорошо выглядите».

Он рассказывает через соседа-переводчика: добирался в Россию через Иорданию. Жена умерла здесь, в Адыгее, тут и похоронили. «А когда приехали?» — «Четыре года назад. Да, из-за войны».

В светлый месяц Рамадан, во время поста, он сидел дома. Заскочили «религиозные», все уничтожили.

«Это гражданская война?» — «Непонятно, — переводят его слова, — что за драка. Дерутся соседи. Он не понимает, что за причина».

«Благополучный отец», репатриант из Турции, излагает версию, что все исходит от Европы с Америкой, они между собой разбираются, а ни в чем не повинные люди страдают. Одних поддерживает Америка, других Россия, третьих Саудовская Аравия, и из-за этих междоусобиц два миллиона человек в Турции находятся, полтора миллиона в Иордании, столько же в Ливане... «Это все люди, которых кормить нечем, они страдают, за ними не смотрят, не поддерживают. А сейчас стало еще хуже, все двинулись в Европу, на лодках, половина гибнет в пути. До трех тысяч человек погибли в воде в этом году. В десятиместную лодку набивается до тридцати человек, и тонут...» — говорит он, и я вспоминаю, я видел эти лодки в Италии.

— Недавно был случай, в лодку на шестьдесят мест двести пятьдесят человек набилось. Несколько десятков утонули. Европа заявила, что примет миллионы. Германия заявила, что примет миллион восемьсот тысяч, но когда пятьсот тысяч пришло, сказали — все, достаточно, и остальные застряли в дороге.

— В Сирии, — продолжал он, — война пять лет, и с каждым годом все хуже и хуже, никакого просвета. Разрушают все, бомбят города вместе с женщинами, детьми.

— Где вы в Сирии жили? — спрашиваю я.

«В ауле, — переводит слова “сирийца” сосед из Турции, — в пятнадцати километрах от Дамаска аул». — «Чисто адыгейский?» — «Да».

— Когда первые беженцы оказались в этом ауле?

— Во время шестидневной войны.

— Вы жили тогда в Израиле?

— Да. Из домов повыгоняли.

— А кто выгнал?

— Израиль.

— А сколько лет там жили люди, в этом селении?

— Много... Сразу после русско-кавказской войны приехали.

— А почему Израиль выгнал?

— Потому что адыги числились сирийцами. Они были официально гражданами Сирии. Это была сирийская земля. Когда израильтяне отвоевали ее у Сирии, они всех, кто там жил, убрали. Поквартально израильская армия двигалась, выгоняли из домов. У кого был собственный магазин, даже пачку сигарет взять не давали, в пижаме выгоняли, со словами: «Идите к себе в Дамаск».

— Не разбирали, кто сирийцы, кто адыги?

— Нет, арабы ли, адыги — не выясняли.

— А жили рядом с Голанскими?

— Населенный пункт назывался Хышнеа. Прямо на Голанских высотах.

— Вы перебирались с отцом, матерью, братьями, сестрами?

— Да.

— А чем вы занимались в Сирии, когда туда перебрались?

— Физическим трудом. У нас было хозяйство, земля, сады. Трехэтажный дом в Сирии остался. И у сыновей отдельные трехэтажные дома. Закрыли двери и ушли.

— Дом остался нетронутым?

«Он не знает, в каком состоянии дом сейчас», — перевел слова беженца из Сирии переводчик из Турции.

— Сколько у вас детей?

— Девять. Восемь мальчиков и одна девочка.

— Самой младшей сколько?

— Тридцать шесть лет.

Его дети первыми прибыли в Адыгею. Старший сын приехал, потом младший, стал учиться в университете.

«Давно это было?» — «Лет двадцать уже». — «Потом постепенно другие?» — «Не помнит, как было. Говорит, лет десять как другие приехали». — «Чем они занимаются?» — «Стройкой... Один еще не женился, а четверо семьями здесь обзавелись. Девочка в Америке, замужем за адыгейцем. Двое в Иордании».

— А помните, кто первый отсюда уехал после русско-кавказской войны? — спросил я, не предполагая, что он может знать и помнить. Оказалось, ошибся.

— Осман, — назвал он имя человека, жившего полтора столетия назад.

«От него здесь что-то осталось?» — «Нет».

От «турка» Исхака ничего не осталось и от «сирийца» Османа...

— Но вы все-таки к детям бежали, — обращаюсь к беженцу из Сирии. — А те, у кого никого тут нет, — в каком они положении?

— У тех плохи дела. Они иногда появляются в гостях, их видно. Плохо с едой, одеждой, деньгами, документами...

— От себя скажу, — добавляет Махмуд, который в цепочке перевода третий (старик в кальсонах говорит по-кабардински, его переводят на адыгейский, а Махмуд для меня на русский), — никто для них не делает исключения. Просят справку: возьмите оттуда, где война идет. А приносит справку — говорят, устарела.

— Как же они живут, за счет чего?

— Помогают друг другу. Из Турции, Иордании, Сирии, Израиля... Тут в Майкопе более двух тысяч человек делают какую-то работу, дешево. Дают им пожить в каких-то аулах. Построили двадцать три дома в Панахасе, возле Краснодара. Это не государство — люди строили, бесплатно. Кто-то покупал материал, кто-то находил мастеров, строители из Турции приезжали.

Сохранились память, культура, традиции, танцы...

— Потому что вместе жили, ни с кем не общались, вот и сохранили, — говорит сын главы семейства из Турции. Когда Османская империя вела войны и черкесы воевали, о них турки говорили: это герой-народ, уважали адыга. В Йемене воевали, на Балканах воевали...

Экстренная хирургия

Мы уехали из «аула счастья», но история про репатриантов не закончилась. Махмуд завез меня в больницу к своему товарищу — хирургу, беженцу из Косово. Молодой, симпатичный доктор Бинас Цей был нам рад, напоил чаем в ординаторской.

Бинас — специалист по челюстно-лицевой и сосудистой хирургии. Учился шесть лет, плюс пять — в ординатуре. Главная проблема: кадры — требуется высокая квалификация.

— Экстренная хирургия — это аварии, драки, челюстно-лицевые травмы. А на все население в 450 тысяч человек — одно отделение на 17 коек. Количество коек

в последнее время уменьшилось вдвое. А когда больше нагрузка на хирурга, коэффициент полезного действия меньше. После третьей операции думаешь: отдохнуть бы.

Срок пребывания больного сокращают — был месяц, стало десять дней, страховой полис не оплачивается.

Лекарства, обезболивание — отечественного производства, но какое качество, так себя больной и чувствует. Материалы, которые нужны, препараты, наркозы — американские, швейцарские. Даже бинты, даже гипс элементарный: если импортный — не чувствуется. А наш — бетон...

Я, — продолжает рассказывать Бинас, — приехал из Косово 1 августа 1998 года — это теперь официальный День репатрианта. Мне было семнадцать лет. Отец, мать, трое детей. В Косово учился на первом курсе ветеринарного училища, а здесь поступил в медицинское, без подготовки. Сербский язык похож на русский. В училище медицинских сестер готовили, я там один был пацан среди девочек. На отработки ходил каждый день. Ректор приказал дать мне стипендию, очень хорошую... Когда мы приехали, нас поселили в центре адаптации, в детском саду в Майкопе («Разбили на комнатухи гипсо-картонные», — пояснил его товарищ, Махмуд). Общий санузел. И зал для питания, трехразового. Приехала делегация, сказали: есть спонсор плюс средства из федерального бюджета. Сказали — будем строить дома, двадцать один дом. Бумажки перемешали, вытащили — моему отцу достался спонсор в лице Тахтамукайского района. Так отцу построили дом для семьи.

За три года построили семь домов. Наш — полтораста квадратных метров и хозяйственные помещения. И сразу стали там жить. Газ, вода, все коммуникации — в гостиницах этого не было, а у нас было.

После училища я поступил в Краснодарский университет, потом — в интернатуру, ординатуру. Женился, девочка местная, тоже врач, невропатолог. Двое детей, мальчики.

Потом заасфальтировали дорогу по федеральной программе благоустройства села. Потом мечеть построил один небогатый человек, Мухамед.

В ауле не пьют, не дебоширят, каждый тихо занимается своим делом.

— Вы помните, что было в Косово? — спрашиваю я его.

— Все помню, — отвечает Бинас. — Там мы жили в селе Донестановце, «доне» — значит «ниже». Верхний был и Нижний. Албанцы тоже называли «верх» и «низ». Это село находилось между двумя городами — Приштина, столица Косово, и Косовская Митровица. Университет был в одном городе, а средняя школа в другом. И все по утрам ездили, кто налево, кто направо. Общественный транспорт очень дешевый, кто работает, кто не работает — всё учитывали. Социальная сфера хорошо развита. Мы ходили в детский сад, школу, она была официально признана. А албанская школа не была признана официально...

Мы учились в селе Прилужье, туда ходил поезд «Славянская Германия», немцы во время войны использовали эти рельсы. Там мы учились, никогда о национализме не говорили, с уважением относились друг к другу. Но в девяносто восьмом году, когда закончили школу, отец сказал — забирайте документы, война начинается. Я помню, как в те времена бегали подростки с оружием, пугали друг друга, не сознавая, что делают. Однажды отец сказал, что надо в Россию ехать. Родные мамы жили в Турции, но отец сказал: там образование не получишь. И первым записался. За ним другие. Прилетел самолет МЧС в Белград, оттуда в Болгарию и в Минеральные воды. А потом сюда, в Майкоп, на автобусе.

А часть осталась, где жили, — сказали: у нас имущество, бизнес. В том же году, в мае, американцы начинают бомбежку, и те, кто остался, звонят каждый день: нас убивают, присылайте самолет. И вторая часть людей была эвакуирована. Еще, забыл... Мало того что людей спасти, еще нужно было загрузить в машины трактора и прочее, что принадлежало семьям. Сюда приехала двадцать одна семья.

Вторая волна разместились в санатории, но им не понравилось. Несколько семей

вернулись обратно, когда война кончилась. А остальным дали уже не дома, а квартиры в Майкопе, одно-, двух-, трехкомнатные. Ну, они стали возмущаться: почему им дома, а нам квартиры? Потом адаптировались. Каждый нашел себе учебу, работу, жену — обычное дело...

Когда оказываешься в такой ситуации, постоянно требуешь, — говорит Бинас, — ты же себя со стороны не видишь. А я смотрю на «сирийцев», которые позже приехали, думаю: неужели и мы такими были? Все время: дай, дай... Я замечаю: когда человек поступает с челюстно-лицевой травмой, он недоволен мной, медсестрой, хотя мы не виноваты в его несчастье. Так же в других случаях — люди всегда недовольны...

Ну, а я лично доволен очень, — говорит молодой хирург, — не устаю радоваться. Работа приносит удовольствие, и я не ругаюсь с недовольными, не кусаюсь с ними. Мама умерла в 2008 году, рак желудка. Мы делали все, что могли, но, к сожалению... Братья не женаты. Живем все в одном доме. Но я сейчас занимаюсь жильем — хочу уйти, чтобы братья свои вопросы могли решать...

Университет, заполненный школьниками

Дауд Казбекович Мамий — современный, интеллигентный, европеизированный, свободный, самодостаточный человек. Директор республиканской естественно-математической школы при университете, декан факультета математики и компьютерных наук. «Вектор университета, — говорит он, — поддерживать ребенка».

Естественно-математическая школа выросла из математической, которая появилась в конце 1990-х годов указом президента республики. В стране был кризис, но это не остановило.

Школа развивалась, и потихоньку возник спектр направлений, помимо физики и математики — информатика, химия, биология, астрономия, история и культура Адыгеи...

— А почему вдруг история и культура? — спрашиваю я математика.

— Пока еще есть люди, — отвечает Дауд, — носители того знания, тех практик, которые они могут передать.

Который раз убеждаюсь, что настоящие математики — гуманитарии.

В школе два уровня: углубленный и базовый, и в зависимости от того, какая у ребенка подготовка и мотивация, он может выбирать. И есть система отбора — олимпиады охватывают все районы и школы республики.

Мамий приводит аналогию: человек в системе «кока-колы» — где бы ни находился, может выпить бутылку. У нас в школе вроде этого — способный ребенок, где бы он ни жил, может к нам попасть. Ученика отбирают через олимпиады, дополнительные вступительные испытания — по-разному, да и обычная школа, где учится ребенок, на это работает, учителя настраивают.

А дальше кружки: математика с 5 класса, физика с 7-го, биология...

Университетские лаборатории, компьютерные классы доступны всем. Больше тысячи учеников из большинства школ республики занимаются в университете. Во второй половине дня университетские аудитории заполняются школьниками: приходят пятые-шестые классы, приезжают из разных районов, университет дает транспорт. Когда естественно-математическая школа перешла в новое здание, стали работать с детьми в дистанционном режиме, не только с сельскими районами Адыгеи — со всем Северным Кавказом, Грузией, с другими странами, без всякой предоплаты. Ученица Дауда сделала магистерскую работу по дистанционному обучению.

— Удивительно, — говорит он, — у детей усилилась мотивация. Хотя технология такая, что преподаватель и ученик не видят друг друга из-за того, что не везде в селах

интернет. Но то, что один пишет у себя на мониторе, другой видит, и наоборот. И можно, не видя (но слыша) друг друга, прекрасно общаться.

В естественно-математической школе нет штатных работников — к сотрудничеству приглашают самых лучших ученых, педагогов из разных сфер.

Ежегодно уже более двадцати лет проводят летнюю математическую школу в предгорьях Адыгеи. Приезжают дети из полутора десятков регионов России, включая Камчатку. Приглашаются и самые известные преподаватели, и молодежь. Так складывается особая атмосфера. В результате каждый год — море призеров, и обязательно среди них оказывается финалист всероссийской олимпиады.

«Молодежи очень много», — замечает Дауд Мамий. Его ученики — он ведет кружок в школе — уже выращивают своих призеров. Не только математики — биологи, химики стали регулярно побеждать на олимпиадах.

Формы работы разные. Более десяти лет проводят всероссийскую смену по математике в «Орлёнке», на три недели собираются ребята из нескольких десятков регионов. Образовательный центр в Сочи «Сириус» предложил участвовать в проекте, Мамий будет руководителем смены по математике.

Финал Всероссийской олимпиады уже четыре года проходит в Майкопе. Это что-то значит. «В российском математическом пространстве нас знают».

Кстати, с моим покойным другом, учеником академика Колмогорова и руководителем олимпиадного движения, директором знаменитого «Мироса» Александром Абрамовым, Дауд знаком, встретились в нулевые годы...

Провинция — это не отсталость

Я удивляюсь: везде, говорю, распад, осколки, а у вас активная педагогическая молодежь.

— Нужной «пассионарности» без молодежи не получится. Я очень рад, что я считаюсь одним из «старейших», — говорит мне лидер математического движения Дауд Мамий, молодой еще в общем-то человек. — Приезжают, думают: убогая республика. Один сказал: «Меня удивило: на вашем факультете столько молодежи, почему не уезжают?» Я ответил, что это сложно сказать: кто-то учится в университете в Москве, а кого-то тут старики поддерживают...

— Выходит, котел варится?

— Варится. У меня много ребят на мехмате, в «Вышке», но беда в том, что немногие из них идут в науку. Правда, ребята стали звонить — предлагают поработать с финалистами. Оказать помощь. Это здорово.

— Значит, сообщество?

— Но все равно отток — беда. Молодым нужна и среда общения, и достойная работа.

Кажется, что только в большом городе есть возможность реализовать себя. Но это пока не попробуешь. А в маленьком городке, комнатном (верней, «кампусном»), можно реализоваться не хуже. В Дубне, например, есть университет, работают замечательные ученые. «Да, это хорошо, — говорит Мамий и добавляет: — У меня сумасшедший ритм, я ношусь между университетом и школой. И свои дети маленькие. А в Москве — прибавьте расстояние...»

Я думаю, то, что он говорит и делает, очень важно не только для Адыгеи. Важно наконец нам понять: провинция это не отсталость, она может быть во многом, включая образование, впереди столицы.

Вспоминаю, как выходец из сельских учителей математики, беспримерный труженик, инноватор — можно сказать, современный земский деятель — Роза Моисеевна Шерайзина открыла в Великом Новгороде первый в стране региональный

центр развития образования. (Затем — Институт непрерывного педагогического образования при Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого, а когда вынуждена была оставить ректорство по «возрастному цензу» — что совершенно не соответствует ни ее внешнему облику, ни энергии, — тут же открыла Центр образования для взрослых!) Так вот, Шерайзина говорила мне, что ездит из Новгорода в Москву, смотрит и думает: «А у нас интересней...»

Дауд Мамий — из той же когорты людей, делающих провинцию интересной. Он рассказывает: в регионе в работе с одаренными детьми произошел взрыв. Катализатор — молодежь.

Так и в других местах. В Татарстане молодые пришли, поехали на летние школы, олимпиады, и дело закрутилось, Татарстан поднялся. А все дело в том, что пришли молодые...

А в Кировской области основатель Центра дополнительного образования для одаренных школьников Игорь Рубанов вместе со своими коллегами включили детей со второго по одиннадцатый классы в турнир юных биологов, уральские турниры математиков, в кубок памяти А.Н.Колмогорова, олимпиаду им. Леонарда Эйлера и в международный конкурс «Кенгуру».

— Там несколько миллионов ребят участвует, потрясающе, — восхищается коллегами Дауд, — разные страны, университеты, Академия наук... — И добавляет: — Как говорил Арнольд (выдающийся советский математик, академик), будущее побеждает не потому, что старшее поколение ему обучает, а потому, что новое поколение, которое приходит, им владеет.

Город в долине яблонь

Приближаемся, вдалеке виднеется город. Майкоп в переводе — «долина яблонь». На гербе города, правда, не яблоневые сады, а две бычьи головы, глядящие в разные стороны.

Это золотые бычки из Майкопского кургана.

Отголосок нашего археологического путешествия...

В Майкопе двести пятьдесят тысяч жителей. Высоких зданий практически нет, пяти-девятиэтажные. Город как шахматная доска: прямые улицы образуют квадраты. Сохранились все советские названия. Обшарпанное здание «Почта России» (бывшая — Почта СССР). Герб сняли, а почта осталась.

Город очень популярен среди северных пенсионеров, рассказывает Махмуд, сюда переезжают (говоря словами законодателей РФ, «на дожитие»). Впрочем, северные пенсионеры помирать в пику законодателям не собираются, вносят лепту и в политическую, и в национальную картину города.

Есть частные дома и спальные районы вроде московских, есть и «трущобы» (так иронически называют тут дворцы, выстроенные на окраине и в центре Майкопа). Наряду с дворцами — домишки и мазанки, заброшенная дореволюционная фабрика, пивзавод 1892 года, к нему пристроена гостиница «Биба»...

— Майкоп, — рассказывает мне Махмуд Каратабан, — возник на базе крепости, которую использовали как плацдарм для завоевания края. Есть картина: с той стороны черкесы, а с этой — крепостные стены. Выходят солдаты, зачищают долину...

Майкоп строили с нуля, по-военному, поэтому-то прямые улицы. На месте университета стоял православный храм. Город жил предприимчивостью, нефтяные акции его компаний принадлежали Ротшильдам.

Впрочем, когда в 1909 году обнаружили качественную, добротную нефть, то первую дюжину нефтяных компаний организовал Герберт Гувер — который во время

Великой депрессии был президентом США¹. Вслед за нефтяными концернами появились банки, а в 1910-м от станции Белореченская провели железную дорогу.

Во время Великой Отечественной Майкоп был оккупирован. В августе 1942 года появились диверсанты, переодетые в форму советской армии. Гитлер рассчитывал через Майкоп и Грозный выйти к бакинской нефти. Эшелонами вывозили в Германию майкопский чернозем, слой которого доходил до двух метров.

Несколько партизанских отрядов сопротивлялись стрелкам дивизии «Эдельвейс», которые пытались перейти через перевалы к Чёрному морю. Сделать это немцам не дали.

В феврале 1943-го Адыгея была освобождена, и началось возрождение хозяйств.

Бурно развивались предприятия. Два мощных консервных комбината обеспечивали всю страну продукцией овощеводства и фруктами. Продукция была скоропортящаяся, работали в три смены. Мебельная фирма «Дружба» поставляла изделия английской королеве. Был огромный военный завод Точрадиомаш и другие предприятия, работавшие на внутренний рынок и на экспорт. Майкоп был промышленным городом; от промышленности той остались крохи.

Средний уровень зарплаты на сентябрь 2015-го — 22 тысячи. «Вот какие блондинки в Майкопе живут», — показывает Махмуд на идущих по улице девушек с длинными волосами, в джинсах.

Город северных пенсионеров и блондинок, музеев и университетов. Много студентов. Несколько православных церквушек и мечеть.

На мой вопрос об образовательном медийном поле Махмуд отвечает, что оно отсутствует. В Майкопе такая же ситуация, что и по всей стране — образовательных газет, журналов практически нет. Адыгский государственный университет выпускает «Вестник АГУ» — о жизни университета. «А радио, телевидение ведут тему образования?» — «Нет, время от времени...»

Они, по словам Махмуда, находятся как бы в ситуации народного эпоса, передаваемого из уст в уста. «Наше информационное поле — циркуляры из Минобра», — смеется он.

Дикоплодовые леса с многовековой культурной биографией

Гази Кушукович Чемсо, которого мой любезный провожатый попросил сегодня пообщаться со мной, один из тех, кто помогает обрести потерянное.

Он основатель фонда, который занимается и репатриантами, и памятниками, и черкесскими садами... А в прошлом был руководителем администрации главы республики, несколько раз министром культуры, представителем министерства иностранных дел по возвращению адыгов из Косово.

Рядом со скромным домом правительства стоит трехэтажный, как будто жилой дом, а на нем, среди разного, табличка: «Комиссия по вопросам помилования при главе Республики... Дни приема...»

Нам вроде не сюда, но странно, какая-то ниточка протягивается между милосердием к саду и к человеку. Или жестокостью... В русско-кавказскую войну солдаты рубили старинные черкесские сады — делали просеки, чтобы добраться до аулов в ущельях.

¹ А перед тем — в начале 1920-х годов создал и возглавил Американскую администрацию помощи (ARA), которая в 1921—1922 годах массированными поставками продовольствия и организацией сотен столовых спасла в Советской России от голодной смерти десятки тысяч людей.

Культура садоводства на Северо-Западном Кавказе и Черноморском побережье насчитывает свыше трех тысяч лет. О наличии садов в древние времена на Кавказе упоминает в «Одиссее» Гомер. Некоторые ученые (среди них был и П.М.Жуковский — учитель Н.И. Вавилова) считали, что население регионов у Эгейского моря заимствовало искусство разведения садов у жителей Черноморского побережья.

До XX века садами были заняты огромные пространства в горных районах. Первоначально плодовые растения — яблоня, груша, сладкие каштаны, слива, кизил, алыча, черешня, грецкий орех — произрастали в лесах в диких формах. Впоследствии их начали окультуривать.

В основе лежал многовековой опыт черкесов, которые тщательно охраняли плодовые деревья, отбирали наиболее урожайные и размножали прививками. Неизвестными нам садоводами было выведено большое количество плодовых сортов. Практически в каждой местности были свои, наиболее приспособленные к особенностям климата. До нас дошли некоторые названия (например, у яблók: «розмарин черкесский», «азиатка», «яблоко княжны», «черкесское длинное», «черкесское кислое», «черкесское сладкое»).

С Кавказской войны начался упадок садоводства. Значительная часть садов оказалась заброшенной и погибла.

Старых черкесских садов сохранилось сегодня не много. При этом, как отмечают исследователи, до сих пор не проводилась селекционная инвентаризация дикоплодовых лесов, несмотря на заявления об их высокой генетической ценности.

Об «изумительном богатстве старых черкесских садов» писал академик Мичурин, призывая селекционеров обратить на них особое внимание. В советское время, с 1940-х годов, окультуриванием дикоплодовых лесов занимались отдельные сотрудники опытных станций. В 1960-е — в дело вмешались политики. Подобно среднему всеобучу семидесятых («два пишем, три в уме»), была запущена кампания «массового облагораживания» дикоплодовых лесов Северного Кавказа. Дикорастущие груши и яблони были переданы колхозам и совхозам. Начались интенсивные вырубki деревьев разного возраста и неумелые прививки, делавшиеся случайными людьми. Искусственно привитые насаждения партия требовала создавать и на пологих склонах, и на крутых.

Это было ошибкой — только в Краснодарском крае погибли десятки тысяч гектаров высокопродуктивных дикоплодовых древостоев.

Еще через десять лет поняли, что положительный эффект дают прививки только на небольших площадях при условии постоянного и дорогостоящего ухода...

Были и другие выводы.

«Дикоплодовые оказались необыкновенно светолюбivы...»

Как о людях: словно о светолюбии/свободолюбии горцев.

Вот и еще на заметку неагрономам — словосочетание «облагораживание дикорастущих».

О чем это?

Образование, воспитание, просвещение... Если это возможно с деревьями, почему невозможно с людьми? Или «дикие» — агрессивные, не хотят облагораживаться?

Но прививка культурой — продолжение традиции, связи поколений.

Интересно, что плоды дикорастущих деревьев в прошлом ценились выше, чем домашних (не исключено, что в будущем мы придем к тому же выводу). «Дикорастущие плоды, — утверждают исследователи, — экологически безопасный продукт... По содержанию полезных веществ и витаминов они превосходят культурные сорта и в благоприятных условиях дают высокие урожаи... Дикорастущие... обладают неизученными пока до конца и очень ценными качествами — долговечностью, устойчивостью к заболеваниям, быстротой роста, хорошим плодоношением...»

Все это как будто и о людях.

А вот цитата из исследований профессора Ю.В.Сухоруких, опубликованных в

2008 году: «За последние тридцать лет площадь грушевых и яблоневых деревьев в лесных массивах сократилась на треть, а за 80 лет — в 12—15 раз. Преобладают старые деревья, от 70 до 100 лет (преддверие возраста отмирания). Молодые, до 20-летнего возраста, занимают 1%. Напрашивается вывод, что у дикоплодовых лесов Адыгеи нет будущего, если лесное хозяйство срочно не перестроится и не начнет замены спелых древостоев на молодняки».

(Не то же ли самое происходит и с обществом? — заметим для себя в скобках.)

Эта история была бы неполной без человека.

Первые десять лет плодов не будет, но в этом и есть культурная политика

Гази Чемсо поясняет:

— Мы с вами сейчас поедем по садам с завкафедрой агрономии технологического университета Ириной Анатольевной Бандуриной, она ими занимается. И отец ее занимался... Тут я проявил инициативу, это проект нашего фонда. Три десятка разных плодовых сортов с помощью селекции получены, создали изумительное адыгейское подворье, развиваем конный туризм...

Двадцать шесть с половиной гектаров — собственность фонда Чемсо, а еще четырнадцать гектаров старых и заросших черкесских садов передало фонду правительство республики.

— Адыги жили в лесах, и было принято: каждый мужчина уходил к солнечной поляне, прививал к дичку культурное и шел дальше. И сейчас люди, между прочим, здорово воспринимают в обществе замыслы садоводства, просят саженцы. Это как движение к наследию нашему. Любые сорта можно купить, достать, но мы выделили участок, чтобы можно было разводить.

Махмуд хочет, чтобы возникло большое движение, школы участвовали, выпускники культурные сорта прививали — ведь везде заросли есть. Курсы открыть сельского хозяйства, заниматься этим на уроках биологии и труда... Это же здорово. И начиная от Кабарды, возродить эти садовые места.

— В лесу деревья двухсотлетние плодоносят, и старше, — продолжает Гази Ушукович. — Я говорю: через 150 лет, быть может, мы язык потеряем, а сады будут расти. И это будет влиять на людей. Как дольмены или курганы. Тут, в Майкопе, есть улица археолога Веселовского, он раскопал майкопский курган, и с тех пор пошло название — *Майкопская культура*. Человек живет недолго, а название тысячелетней культуры им определилось.

Нужная эта работа, но она трудная. Десять лет плодов не будет. Но сад будет расти. Человек должен именно такими вещами заниматься. А мы всё о политике, о политике... Так в этом-то и состоит культурная политика.

Перед поездкой по черкесским садам заехали подкрепиться в кафе. Ели чудный адыгейский сыр (позже мне сделали на заказ — ни за что не хотели брать деньги — два больших сыра, которые я увез домой), баранину, сушеные груши в меду, пили теплый напиток «Черкесский сад»...

Хозяйку кафе зовут Мира Кимовна Галюкова.

Между прочим, кандидат технических наук, доцент технологического университета, профессиональный эксперт-дегустатор.

Ученый, преподаватель и предприниматель в одном лице — в Адыгее такое встречается...

Мечта о советском Вильморене

Ирина Анатольевна Бандурина, с которой мы собираемся ехать по старинным черкесским садам, говорит, что истинно адыгейские сорта определить трудно. Много заброшенных садов. Думают, что адыгейские, а это европейские старые, просто одичали.

Но сохранились старые деревья. С той стороны хребта, где Шапсугия, Черноморское побережье — Туапсинский, Лазаревский районы — там сохранились особые сорта яблок: розмарин черкесский, например. Нух Ахмедович Тхагушев, первый доктор наук по плодоводству, описал эти сорта.

— Мы, — говорит Ирина Анатольевна, — решили сохранить их. Но эти деревья старые. Мы с трудом залезаем, слезаем, привозим оттуда черенки — и можем привить часть деревьев, создать ландшафт...

Ландшафт, конечно, другой сегодня, но что-то в нем есть от садов, росших в незапамятные времена: как в являющемся на свет ребенке проглядывают черты его известных и неизвестных многочисленных предков.

Адыги выращивали яблони на полянах, где был и сенокос. Или же на возвышенности, на террасах.

Все черкесские сорта яблок очень устойчивы к ветру, некоторые — пшебашхонский сорт, например, — плотные, морозоустойчивые.

Одно плодовое дерево могло производить тонну яблок. Груша — и того больше. Груша бергамот, по-черкесски «хутемы», когда созревает, мякоть — как шоколадка. В ауле Понежукай с одного дерева собирали до двух тонн груш.

Кужарыз — золотая груша; мне ее вручают с дерева, которому более 130 лет. Его неоднократно обрезали, омолаживали, это в традициях адыгов — «омолаживание среза».

Район водопадов Руфабго, там груши сорта бжихакуж, зимние, осенние.

Пасека Псепэ, что означает «добро»...

Ирина Анатольевна показывает мне слайды — все это ее фотографии, на которых видно, как они собирали плоды со старых деревьев.

Стопятидесятилетняя яблоня. «Вот, видно, как это происходит, как получается "золотой привив" — новое дерево, вырастающее на пеньке от спиленного старого, с привитым череночком. Так продолжается традиция черкесских садов. И людей, — добавляет она: — Одна из преподавательниц кафедры — внучатая племянница первого доктора наук по плодоводству Тхагушева».

Ирина Анатольевна — потомственный садовод-селекционер.

Любовь к делу — рассказывает дочь — привил отец, Анатолий Степанович Туз, он с Украины, из-под Полтавы. Работал во Всесоюзном институте растениеводства, потом на станции им. Вавилова.

Ирина Анатольевна и ее коллеги обучают прививке разных людей: жителей аулов, студентов колледжа, даже первый президент Адыгеи был среди учеников.

Старые деревья сохраняют во многих школах...

А это место, Майкопскую долину — долину яблонь, Вавилов сам выбрал для станции. Говорил, здесь будет «наш советский Вильморен» (Вильморен — старая французская семеноводческая компания). Вавиловская станция была организована в тридцатом году, а всего в системе ВАСХНИЛ было больше 30 станций. Сейчас все это распалось. Но в каждой республике бывшего Союза станция превратилась в институт растениеводства.

— Папа работал здесь с шестидесятого года, был замдиректора станции, занимался грушей, ездил в экспедиции. А мне интересно стало, — рассказывает Ирина

Анатолевна. — Правда, он в экспедиции меня не брал, я без него, в другие ездила. Раньше было по две-три экспедиции в год, в разные места — Грузию, Абхазию, на Дальний Восток, на Курилы... Коллекция огромная была собрана. Времена сейчас неважные, сохранять сохраняем, но существуем на грани выживания. У себя на домашнем участке я где-то сорок семь сортов сохраняю, чтобы не потерять. Если потеряем, не найдем ведь.

По дороге к старым садам заехали в яблоневую долину. Здесь у Гази Кушуковича двадцать семь гектаров, технология выращивания индустриальная, яблоки нескольких сортов, от шестилеток и моложе. Основное: обрезка, механическое опрыскивание, капельное орошение. Пять-шесть лет — и такое вымахивает...

— Сейчас многие стали сажать сады, — говорит хозяин участка Гази Ушукович, — потому что для чего другого земля не особенно плодородная, а сады растут прекрасно.

Поменьше бы пестицидов применяли... Еще град бывает, в прошлое лето все побил. Где-то стоят противоградные установки, нам их сюда бы... И сетки, чтобы птицы не склевывали; есть ведь сети и от града, с мелкими ячейками. А скворечники (на зиму снимаются) — поверх ряда идут...

Ирина Анатольевна замечает:

— Да, урожаи, конечно, впечатляют — 30—50 тонн с гектара, не меньше.

Постоянно работают в саду Чемсо восемь человек. Землю покупали на деньги зарубежных адыгов.

— Если бы, — вспоминает Чемсо, — была возможность, они бы из Иордании купили вкладчину. Но нужно было, чтобы адыги из Иордании получили гражданство. Наши не дали. Даже вида на жительство лишили. Его потом, правда, восстановили, но что получается? Ведь даже если миллион долларов захотят вложить адыги из других стран в сады России — не смогут. Пусть проверяют, как деньги используются. Но чтобы деньги не допускать ввозить в страну?!..

Важно, чтобы была политика правовая, оценка того, что было, возможность возвращения, — продолжает он (и я уже не понимаю — о старых ли он черкесских садах толкует, о беженцах ли репатриантах). Если Россия скажет: было, мол, да, и мы сожалеем, — не все возвратятся, но это повлияло бы на всех.

Уезжаем из долины и едем мимо станицы Новосвободной, бывшей Царской. Как раз здесь в 1861 году Александр II встречался с делегацией адыгов, надеявшихся на мир. Не договорились. Остались развалины белокаменной часовни — в память о встрече.

Когда Чемсо был министром, он *возвращал культуру*. Возвращал национальные музыкальные инструменты, делал это через сопротивление — родителям не надо было. А теперь ребята, закончившие школы искусств, — среди них уже аспиранты есть, — играют на разных народных инструментах. Возвращал адыгский язык — тоже через сопротивление. Мы (говорили в аулах) не будем тратить время детей на родной язык, имеем право. А он отвечал родителям: не хотите — пусть ваши дети уходят с уроков, но класс останется адыгейским.

В городе еще труднее было.

— А сейчас — и национальная музыка, и все-таки родной язык в школах... Но разве это нормально, что дольмены используют как стройматериалы? Что кладбище раскапывают на курганах? — Чемсо помолчал. — Джавахарлал Неру сказал — человек все равно умрет, годом раньше, годом позже. А самое страшное после войны — злоба, ненависть, остающаяся в народе. Нельзя жить с чувством ненависти...

В «Российской газете» фотография нового оружия — ракеты «Кинжал» — и крупными буквами на первой полосе: *«Оружие — лучший показатель достижений науки»*. Россия в милитаристском бреде. И это не впервые, ее история полна ощущением кольца врагов, вражды и агрессии, захватнических войн, тихих аннексий, пактов, делящих мир на части. Но разве такова история одной только России? Есть ли

затянувшемся всеобщему психозу альтернатива? Можно ли вообще разъединить жизнь и смерть, ум и безумие, войну и свободу?

Война за войной. Дорога над пропастью, все более узкая и опасная. Рассчитывать, кроме себя, не на кого, да и некогда.

Но «пессимизм для евреев — роскошь», — напомнил слова Голды Меир чудесный адыг-закройщик. Побольше оптимизма. Не жалуйся на время, ты в нем родился. Будем делать положительное, негатив убивает. Будем жить по-человечески.

...Выращивать, как Аслан Негуч, на месте бывшей помойки райский парк-сад. Привьем к яблоне из заросшего леса привой, чтобы помолодели, зацвели старые черкесские сады.

...Вырастим на самой высокой плантации такой чай, чтобы люди сказали: «Да, пожалуй... кто его пил, у того жизнь удалась».

...Отыщем в старом кургане, как археолог Аслан Тов, удивительный ритон-пегас и при этом постараемся ничего не сдвинуть с места.

...Повесим при входе плакат «Ими гордится наша школа», вроде того, какой висит в школе аула Джангачи, где гордятся не отличниками и знаменитостями, а сохранившими честь и достоинство.

...Построим сами хоть один аул «Мафэхабль» — для семей из Америки и Турции, Израиля и Сирии, Югославии и Косово ... — аул счастья для граждан мира.

...Будем мягкими и терпимыми к больным, как экстремальный хирург-переселенец Бинас, считающий, что в жизни и без того хватает экстрима.

...Объяснимся в любви (если нельзя по-адыгски — на любом языке мира).

...Будем жить тысячу лет и сохранять, передавая детям, «адыга хабз» — образ жизни и поведения человека в обществе.

...Сошьем костюм из скрипичных ключей, чтобы звучала музыка. Станцуем быстрый танец нартов — джэгу. Будем, несмотря ни на что, пить и плясать и пить из выращенного винограда вино, только обязательно с благопожеланиями.

Слова офицера царской армии, участника русско-кавказской войны К.Сталя звучат как обращение к будущим поколениям. «Пройдут годы, изменятся обстоятельства, и постепенно успокоится Черкесия. Страна, на которой нет места, не окупленного подвигом, не ознаменованного кровавым событием. Когда-нибудь досужий писатель соберет материалы, прислушается к преданиям, опишет просто, без прикрас эту войну».

Время это еще не наступило.

Но уже прорывается на свет, тянется, как травинка, сквозь горькую песню-плач свадебная лезгинка-жизнь. Прекрасная, щемящая чеченская, абадзинская, осетинская лезгинка. Кабардинский, как будто парящий над ущельем, вольный исламей. Молодой, горячий армянский арцапар. Быстрая, веселая адыгская джэгу. Что бы ни случилось, идет свадьба. Собираются старики и молодежь. Хлопают в ладоши, кричат: «Асса!», «Жги!»

Обжигающий танец.

Джэгу! Джэгу! Джэгу! Джэгу!

Оксана Матиевская

«ХОТЬ ЧЕМ-ТО ПОЧТИТЬ...»

На странице популярного блогера в социальных сетях появляется фото стены дома в Санкт-Петербурге, где установлены таблички «Последнего адреса». Подпись: «Семь человек из одного дома. Массажистка-то чем провинилась?» И под этой фотографией завязывается разговор; кто-то пишет, что была бы машинистка — было бы ясно, там за опечатку можно было поплатиться, а так... Другие возражают — арестовывали всех подряд, по разнарядке, хоть массажистка, хоть домохозяйка. Обмениваются ссылками на документы, на сайты, где можно узнать поподробнее, в том числе и об этом конкретном случае...

Теперь, когда общее число мемориальных знаков постепенно приближается к тысяче, а число городов и населенных пунктов, куда пришел «Последний адрес», перевалило за пятьдесят, можно уверенно говорить, что эти стальные таблички, тут и там попадающиеся на глаза, стали частью городской среды. Пройти мимо или остановиться — каждый волен решать сам. Поэт Дмитрий Воденников пишет у себя в Фейсбуке: «Я всегда подхожу и читаю эти таблички. Хоть чем-то почтить...»

Из диалогов с жильцами в Москве:

— Чем знамениты эти люди?

— Ничем. Наш знак — не мемориальная доска, мы не увековечиваем заслуги, каждая такая табличка — одна загубленная жизнь. Человек был убит ни за что.

— У нас в доме были герои войны, почему вы с их именами не вешаете таблички?

— Займитесь этим! То, что мы делаем, — гражданская инициатива, вы можете организовать свою, что мешает?

— Вы это мне предлагаете? Мне некогда этим заниматься! Но я против, чтобы устанавливать знаки всем подряд.

Прообразом «Последнего адреса» стал проект немецкого художника Гюнтера Деминга «Камни преткновения» (Stolpersteine), который существует уже более двадцати лет и постепенно распространился на всю Европу. Небольшие латунные пластины с именами тех, кто стал жертвой нацистского режима, встроенные в мостовую перед домами, — о них как бы спотыкаешься и замираешь на минуту. Только имя, дата и еще — место. То самое, откуда увели навсегда, последнее место, которое человек помнил еще будучи свободным.

Оксана Матиевская — режиссер-документалист, родилась в 1969 году в городе Сумы (Украина), закончила Воронежский государственный университет и Всесоюзный институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Режиссер документальных фильмов «Страна чудес Рины Зелёной», «Марк Бернес. Не только о любви», «Игорь Ясулович. Актерские пробы» и др. С 2016 года постоянно сотрудничает с проектом «Последний адрес» в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

10 декабря 2014 года, в Международный день прав человека, первые таблички «Последнего адреса», посвященные жертвам политических репрессий в СССР, появились в Москве, а очень скоро и в Санкт-Петербурге, Перми, Твери, Барнауле...

Сначала памятные знаки мы устанавливали только на старых домах, доживших до наших дней, где, как говорится, и стены помнят... Но по мере поступления заявок столкнулись с ситуациями, когда дом снесен, на его месте построен другой — бывает, что и целый квартал целиком изменил облик окрестностей — тогда сверяем место по карте, и на табличке пишем: «Здесь был дом, где жил...», потому что близким важно знать, что где-то на земле есть место памяти родного человека — неслучайное место.

Такой способ нашло наше время отразить не такую уж и давнюю, но как бы спрятанную от глаз историю.

И оказалось, что эта рефлексия нашему времени дается нелегко. Консенсуса в отношении к сталинизму общество пока так и не нашло, не нашло даже той тональности, в которой можно было бы описать время государственного террора так, чтобы ни у кого не вызвать негодования.

Казалось бы, все точки над *i* расставлены давно, есть Закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый еще в 1991 году, есть Концепция государственной политики по увековечению жертв политических репрессий, но это — буква. А есть дух, который чувствует общественное мнение, и бюсты Сталину, что появляются то в одном, то в другом регионе страны, как нельзя лучше этот дух характеризуют.

Сейчас, когда чьи-то оскорбленные чувства могут стать поводом для уголовного преследования, мы все отчетливо понимаем, в каком диапазоне этот закон точно работает, а где опасаться нечего.

Если историки, поднимая дискуссию о стратегии ведения войны, целесообразности тех или иных действий военачальников, рискуют попасть в западню, то решения Военной коллегии Верховного суда СССР об отмене приговоров подвергать сомнению можно, а многие уверены, что и нужно.

Проект «Последний адрес» живет как гражданская инициатива и осуществляется только доброй волей: с одной стороны, кто-то иницирует установку знака, а с другой — сегодняшний частный собственник должен принять решение. Чтобы табличка с именем погибшего жителя дома могла появиться на стене, необходимо договориться с владельцами каждого дома.

Из разговора с собственником здания:

- Я по поводу нашего официального письма об установке памятного знака.
- В этом письме нет подробной информации о людях, которых вы хотите увековечить, нам нужно знать подробную биографию.
- Но в письме указаны их профессии, даты арестов, расстрелов, реабилитации, какая еще информация нужна?
- Все, что можно о них узнать из дел! Особенно это касается иностранца — там же чех, если я не ошибаюсь?
- Да, а что вас смущает в этом случае?
- **НО ВЕДЬ ДО СИХ ПОР НЕ ЯСНО, БЫЛ ЗАГОВОР — НЕ БЫЛО ЗАГОВОРА!**

Вряд ли чиновник отдает себе отчет, что ставит под сомнение решение Верховного суда, которого никто не отменял и которое формально уже поставило точку в этом деле. Но он чувствует общий тренд — все чаще в поле общественной дискуссии сам факт политических репрессий ставят под сомнение, а методы управления, практиковавшиеся в то время, признают исторически оправданными.

И вот оказалось, что «Последний адрес» — это не только скрупулезный сбор всех

архивных материалов, какие только удастся раздобыть, — семейные воспоминания, письма, фотографии, документы, — но еще и борьба за эту память, еще и преодоление ошутимого сопротивления.

Вот как раз в той части работы, которая делается не в архиве, а непосредственно в общении с жильцами и собственниками домов, и происходит много неожиданного.

Из диалогов с жильцами в Москве:

— Но вот у меня тоже родственники погибли во время репрессий, и что-то никто не бежит, чтоб память о них сберечь!

— Подайте заявку, буду бегать и по поводу ваших тоже!

— Не буду я ничего подавать.

— Тогда чего же вы ждете?

— Вот вы лучше скажите, почему не вывешивают списки тех, кто доносы писал? Ведь все же в домах знали, кто это был, мне бабушка рассказывала!

— Где же вы предлагаете их вывесить?

— А вот так вот на домах и вывесить — чтобы и пострадавший, и тот, кто его сажал!

— Понимаете, мы ведь не судим. Наш знак говорит только о том, что здесь жил человек, которого убили за то, чего он не совершал. И это подтверждено документами. Большинство арестов совершали по разнарядке сверху, а не по доносам. А показания, выбитые на допросах, под пытками, — как за них судить?

— Вот видите, как только до справедливости доходит — так у вас все сложно! А мне — обидно! Идите отсюда, не буду ничего подписывать!

Выходит так, что помимо основной своей задачи по сохранению памяти невинно убитых «Последний адрес» еще и отработывает механизм гражданской инициативы снизу — и это, как выясняется, пока нечто диковинное для нашего сознания.

Оказавшись перед необходимостью принять решение относительно своей — пускай и частично, если речь о многоквартирном доме, но все-таки своей — собственности, наш человек теряется и начинает растерянно озираться в поиске опоры. И тут включается натренированная годами чтения между строк интуиция! Потому что, как бы там ни было, а к колебаниям линии партии ему не привыкать, и маркеры он знает четко. Можно показывать ему распечатки законов и выписки из протоколов, можно говорить с гуманитарных позиций и точки зрения здравого смысла, однако последует вопрос — а почему же, если это такое правильное дело, вас не показывают по телевизору?

По правде говоря, нас, хоть и редко, все же показывают, но здесь бывают казусы.

В декабре 2018 года Большой театр поставил оперу Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» по повести А.И.Солженицына, к столетию писателя. На афише спектакля был изображен деревенский дом, к бревенчатой стене которого привинчена та самая наша стальная табличка с прорезью — символом пустоты и утраты. Здание на Никольской улице, где теперь расположилась Камерная сцена Большого театра, в 30-е годы было жилым, и среди его обитателей нашлись те, для кого этот дом стал последним в годы Большого террора. Одной из них, бухгалтеру отдела культуры Моссовета Альвине Карловне Петерсон, памятный знак установили прямо перед премьерой, вместе с дирижером Игнатом Солженицыным, он собственноручно прикрепил табличку к стене театра. Так они и висели рядом — рисунок на афише, приглашающий на спектакль, и живая табличка на доме, зовущая остановиться.

Такое событие заметили и телевизионные новостные каналы. Однако журналистка, читая в кадре выгравированный на металле текст, опустила строку «расстреляна».

Получилось: родилась, арестована и... реабилитирована! Ошибка допущена — ошибка исправлена.

Вольно или невольно, но журналистка воспроизвела здесь ход мыслей, по которому родственникам выдавали фальшивые справки о времени и причине смерти расстрелянных. Такая практика была продиктована специальной директивой, которую КГБ издал в 1955 году. Согласно ей, следовало указать произвольную дату в течение десяти лет и вымышленную причину — родные узнавали о смерти в лагере от туберкулеза, перитонита, инфаркта, заворота кишок — на что хватит воображения у сочинителя. Этим государство снимало с себя частично вину, оставалась ответственность за арест по ложному обвинению — ну так ведь потом была реабилитация, ошибку обнаружили, дело пересмотрели, а что человек не дожил до освобождения, тут уж кого винить, умер, как говорят, своей смертью.

На самом деле именно об этой строке, где речь о непоправимом, об этой прорези, об этой зияющей пустоте и сообщают в первую очередь знаки «Последнего адреса». О потере, которую не восполнить. О каждой из них — отдельно. «Одно имя, одна жизнь, один знак» — такая идея в основе проекта.

Волна репрессий коснулась всей территории бывшего СССР и даже вышла за ее пределы — в странах, которые принадлежали, как тогда говорили, к социалистическому лагерю, тоже было немало пострадавших. В 2018 году первые таблички «Последнего адреса» появились в Чехии.

Стоит заметить, что на церемониях установки знаков в память о чехах, казненных в Советском Союзе, официальная чешская делегация бывает представлена очень высокими гостями в лице посла Чешской республики и спикера парламента.

Я об этом говорю только потому, что представителей российских федеральных властей, впрочем, как и городских, не увидишь на установках наших табличек, а на них ориентируется то самое телевидение: есть важные персоны — есть событие, а нет — значит, нет.

Конечно, такая разница в представительстве, а проще говоря, в отношении, бросается в глаза — это и есть тот самый дух, который чувствует общество, от старшего по подъезду до высокопоставленного чиновника.

Ну и конечно, идея «Последнего адреса» распространилась на страны бывшего СССР, сейчас такие знаки есть в трех из них: в Украине, Молдове и Грузии. Очевидно, что это как раз те страны, с которыми сейчас у России на государственном уровне самые непростые отношения, но это только доказывает, что там, где не могут договориться государства, общество может искать и находить точки взаимодействия. Кажется, что общая история и общая трагедия роднят нас сильнее, чем любые парадные лозунги, но вот сегодняшние различия в восприятии сталинизма в общественном мнении очевидны.

В Молдове появились только первые таблички, а в Украине и Грузии движение уже встало на крыло.

Дмитро Билобров, координатор проекта «Остання адреса», Украина:

Жизнь «Останней адресы» — странное сочетание несочетаемых вещей. Мы были уверены, что на нас посыплются обвинения в сотрудничестве с россиянами. Но этого не случилось. Мы были уверены, что нас будут закидывать чем-нибудь крайне правые. Но и этого не произошло. С другой стороны, нас почти не замечают государственные структуры, у чего есть позитивные и негативные стороны. Мы оказались незаметным крохотным флагманом декоммунизации, который, может быть, однажды заметят. Бороться чаще всего приходится с безразличием чиновников и жителей домов, но это тот налет, который легко поддеть и убрать. Многие критикуют нас даже за слишком скромный дизайн

табличек, другие требуют не маленьких персональных знаков, а больших массовых памятников. Большое количество людей, приходящих в ОА, хотели какой-то быстрой славы или легких денег и очень огорчились, когда этого не находили, хотя неясно, почему они решили, что найдут их именно здесь. Никогда не ожидали, что эта работа будет требовать такого количества сил и ресурсов, казалось, в какой-то момент она выйдет на автоматический процесс, но этого совсем не происходит. И многие церемонии мы устраиваем с тем же надрывом и тем же волнением, с каким делали это впервые. Главное удивление, пожалуй: наибольшее количество заявок приходит из-за границы.

Огромное количество сталинистов после 2014 года перестали громко о себе заявлять. Остались только совсем сумасшедшие, которые не боятся говорить вслух. Другие же благоразумно помалкивают. Географический фактор играет важную роль. Чем дальше на запад — тем сталинистов меньше. Чем больше на восток — тем, соответственно, больше, там коммунистические смыслы сильнее.

Прекрасно помню, как в моей родной Одессе до две тысячи четырнадцатого года на Девятое мая выходили люди с флагами с лицом Сталина и надписями «Партия Сталина». Значит, они здесь и никуда не исчезли.

Я бы сказал, что все украинские сталинисты просто перестали упоминать в массе своей эту фамилию. Однако по сути остались сталинистами. Их можно узнать по характерному риторическому вопросу: «А кто, по-вашему, выиграл войну?» Другие косвенные признаки — отрицание аннексии Крыма («Хрущёв по-пьяни подарил»), упоминание к месту и не к месту Великой Победы, отрицание присутствия российских войск на Донбассе. Но повторюсь, эти признаки косвенные, и полностью уверенным быть нельзя. Главный признак — примат державности над человеком.

Очевидно, что как для нас, так и для ближайших соседей эта тема непростая, поэтому и оценивают происходящее по-разному.

Олена Приймач, журналист, Украина:

Личность Сталина в украинском общественном сознании имеет строго отрицательную оценку. Поскольку советский период в истории Украины зачастую трактуется как оккупация Советской Россией украинской территории, Сталин как руководитель советского государства является ответственным за все преступления тоталитарного режима. Активных сталинистов в Украине я не наблюдаю. Позитивная оценка событий и руководителей советского периода была бы воспринята как моветон.

Трактовка советского периода в истории страны как оккупационного характерна и для Грузии, где, как и в странах Балтии, есть Музей советской оккупации, а следовательно, есть общепринятый вектор, который задается в отношении к советскому прошлому. В Москве — масса популярных сетевых ресторанов, где дизайн интерьеров, костюмы официантов, даже названия блюд и музыка творят образ доброй сказки о счастливой советской жизни, в которую так хочется вернуться. А в Тбилиси, в самом центре, на проспекте Руставели — Музей советской оккупации.

Ираклий Хвадагиани, соучредитель проекта «Последний адрес», Грузия:

Люди в основном избегают разговоров о терроре, хотя в Грузии он был жестоким и беспощадным, но аргументируют это тем, что все это было давно, — в целом культура памяти о жертвах на очень низком уровне. Эмоциональная связь со сталинским временем слабая, большинство людей не находят причин задумываться об этом. Но это — в общем, а вот на личном уровне, когда обращаемся к потомкам жертв с тем, чтобы они

поучаствовали в установке памятных знаков, здесь получаем отклик всегда — когда речь идет о каждом конкретном случае, это всегда эмоционально.

Для городских властей в Тбилиси вся эта история с табличками оказалась очень непривычной, потому что всем понятно, что такое мемориальная доска — она вешается редко, в честь писателя, спортсмена, ученого, она утверждается специальной комиссией, которая собирается редко, а наши ведь таблички в центре города могут висеть почти на каждом доме, да не по одной, и оказалось, что система совсем не готова к такой задаче.

Что касается Сталина и его места в истории — то это во многом проблема поколений. Для людей, выросших во времена застоя, это — воздъ, который выиграл войну, и они не знают другого Сталина. Есть еще и национальный мотив, поскольку они считают, что наш человек правил великой державой и в мире Грузию знают благодаря ему. Для грузин — это комплекс маленькой нации тоже.

В доме-музее Сталина в Гори очень было смешно читать книгу отзывов, которая лежала на выходе и куда все желающие могли записать свои впечатления. Я всегда, там бывая, ее читал. По тому, что писали туристы из Европы, Америки и бывшего Советского Союза, сразу была видна разница в ценностях — причем эти книги из прошлых лет все были выставлены, и можно было читать и сравнивать. К сожалению, сейчас они эту книгу убрали...

Лаура Мафицели, социолог, антрополог:

Есть такая парадоксальная ситуация: советская власть идентифицируется с российским империализмом, и, связывая с фигурой Сталина свою национальную идентичность, в Грузии нередко считают, что Сталин предал свой народ и свою родину, и люди стыдятся того, что это их соотечественник. Если Грузия — жертва советской оккупации, то говорить о Сталине как о грузине очень неловко. Это с одной стороны, а с другой, поколение постарше связывает имя с победой — после выступления Хрущёва на XX съезде в Грузии это многие восприняли как личную обиду — в любом случае эта фигура воспринимается очень эмоционально.

Разумеется, в советский период и в Грузии были люди в агентуре КГБ, а сама советская оккупация, которой посвящен музей, осуществлялась и руками местного населения, но позиция жертвы позволяет избежать углубления в этот анализ. Как сказала мне одна женщина: «Когда Сталин жил в Грузии, он писал стихи, а уехал в Россию — и смотри, что вышло!»

Молодое поколение училось уже по другим учебникам, и в школе здесь активно изучают исследования, которые проводились в Германии, Великобритании, США относительно истории двадцатого века, и это тоже оказывает больше влияние на то, как теперь воспринимают здесь советский период.

Татьяна Красовская, руководитель проекта «Последний адрес», Грузия:

В самом начале проекта мне дал совет директор архива ГБ Грузии: если вы не хотите столкнуться с проблемами с кем-нибудь и где-нибудь вдруг, говорите «в годы террора советской власти». И это действительно так. Даже с родственниками репрессированных беседуя, никто не называет имя Сталина, по крайней мере, я не встречала. В государственных структурах тоже. В русскоязычных СМИ тоже. Его конкретно как бы не было. Единственный день в году — Девятое мая, когда оставшиеся ветераны выходят с его портретами в парк Ваке (там вечный огонь, и ежегодно они встречаются), там проходят мероприятия памяти погибших в годы Великой Отечественной, приезжают власти, ветеранов с портретами Сталина охраняет полиция, в речах его никак не упоминают. Потом сажают ветеранов в микроавтобусы, везут в Гори, им там организуют банкет, и там они пьют за Родину и Сталина. Вот и все, потом опять все тихо.

Когда уже зарегистрировались, проблем нигде не было, от Дома юстиции, нотариусов, архитектора (если дом культурного наследия, то нужно и их заключение), архива ГБ все помогают, многие даже за свои услуги не берут денег.

Наметилась тенденция — заявки присылают грузины, живущие за границей, потом идем получать согласие жильцов, если кто-то в доме живет из родственников репрессированных, то они присоединятся тоже, просят и их родственнику установить табличку.

С оговорками, но все же понятно, что в соседних странах мы имеем схожие проблемы — неготовность системы, выросшей из образа советской бюрократии, да и отсутствие опыта частной собственности, которое тоже наше общее слабое место, а главное, конечно — страх. Глубинный, утробный, плохо понимаемый, ищущий хоть какой-то рационализации, чтобы быть оправданным.

Из диалогов с жильцами в Москве:

— *А какие у вас есть доказательства, что они жили именно в нашем доме?*

— *Мы смотрим дела, там есть вся информация, в том числе и адрес проживания.*

— *Но откуда вы знаете, где их арестовывали?*

— *Мы не фиксируем место ареста, наша памятная табличка — там, где человек последнее время жил свободным.*

— *А если потомки станут претендовать на квартиры?*

— *Какие же могут быть претензии у потомков? У нас нет закона о реституции, да и не было тогда частной собственности на квартиры, о чем вы?*

— *Сегодня нет закона, а завтра есть закон, я юрист, я знаю!*

Каждый такой знак посвящен одному человеку. И каждый такой знак появляется в ответ на чью-то просьбу — кто-то из нас, ныне живущих, должен принять решение сохранить память о погибшем там, откуда его увели против воли навсегда.

Что движет теми, кто подает заявки и берет на себя расходы на изготовление мемориальной таблички? Думаю, что уже в скором будущем здесь найдется много интересной работы для социологов, а пока скажу, что это отнюдь не только родственники, как часто думают многие, — хотя, конечно, родные в первую очередь. Еще живы дети репрессированных, им уже много лет, но они приходят на церемонии установки знаков, приносят уцелевшие письма, фотографии, делятся воспоминаниями детства, и вместо казенных строчек справки появляется человек — с характером, привычками, увлечениями...

Но во многих семьях предпочитали — до сих пор предпочитают! — не говорить о трагедии. Табу на все разговоры и вопросы. Иногда находится настырный внук или правнук, который все-таки начинает копать и находит подробности жизни и гибели своего деда или прадеда. И рассказывает, как вдруг из пустоты стал проступать образ и как важно было этот образ найти.

Но кто-то молчать не мог, и тогда память о погибшем деде, прадеде, двоюродном дяде, а иногда даже соседям по коммунальной квартире — не зря же говорили, что жили как родные — передавалась через поколения. Как знать, может быть, именно потому, что эти рассказы были вплетены в семейную историю, что они очень личные, прочно связаны с памятью о бабушках-дедушках и собственном детстве, они так эмоционально заряжены.

Из диалогов с жильцами в Москве:

— *Скажите, а кто эти люди, которым вы хотите установить знаки?*

— *Это известный экономист, ученый, автор книг и актриса латышского театра «Скатувэ».*

- Латышка?! Ну, знаете, может, их и надо было...
- Подождите, но ведь мы говорим о реабилитированных — судом доказано, что не было состава преступления!
- А вы знаете, как они к нам относятся?
- Кто — они?
- И латыши, и литовцы, все прибалты, они нас ненавидят!
- Подождите, но нельзя же вот так, по национальному признаку, чем же мы тогда отличаемся...
- У них фашисты маршируют по улицам, вы телевизор смотрите?
- погодите, но ведь речь идет о тридцать восьмом годе, о человеке, которого расстреляли, а потом признали, что без вины, есть документы.
- Я не верю этим документам!

30 ноября 1937 года была издана директива НКВД (приказ 49 990), направленная против латышской диаспоры в СССР. Это были и политэмигранты, и тысячи людей, не имевших никакого отношения к политике: рабочие, инженеры, творческая интеллигенция.

Латышская диаспора в России была достаточно многочисленной, особенно после Первой мировой войны, когда из Риги были эвакуированы несколько предприятий вместе с сотрудниками, многие из которых потом так и осели на новом месте.

Москва 20-х годов привлекала и творческую интеллигенцию расцветом авангарда, возможностью эксперимента, пестрым космополитизмом, театральная жизнь развивалась лавинообразно, в том числе и появлением большого числа национальных театров и клубов.

«Латышская операция» была не первой в череде национальных операций, развернутых в годы Большого террора. После «кулацкого» приказа НКВД, который устанавливал расстрельные лимиты для разных регионов страны и еще был известен тем, что специально для его реализации были созданы пресловутые «тройки», последовали три первые кампании, нацеленные на уничтожение «шпионско-диверсионной базы» стран капиталистического окружения. Объектом репрессий стали национальные общества, иностранные колонии — все, что хоть как-то могло быть связано с границей. Моделью для всех таких операций стала польская кампания, за ней последовали немецкая и харбино-японская, а к ноябрю 1937-го очередь дошла и до латышской.

Массовые аресты заранее определялись контрольными цифрами, которые спускались сверху. Дело доходило до поиска по приписным листкам в милиции.

В это время в Москве, в самом центре, на Страстном бульваре, располагался латышский театр «Скатувэ». Он был весьма популярен среди москвичей, достаточно сказать, что трамвайная остановка так и называлась — «Латышский театр». Основанный в 1919 году учеником великого Вахтангова Освальдом Глазниксом как театр-студия, в 1932 году «Скатувэ» получил статус государственного театра, и уже через год его признали лучшим национальным театром в России.

Мария Лейко, звезда немецкого немого кино, после прихода к власти нацистов покинула Германию, вернувшись в родную Ригу. В 1935 году, проездом оказавшись в Москве, получила приглашение поработать в «Скатувэ». Неудивительно, что театр хотел заполучить актрису, игравшую в Берлине у Макса Рейнхардта и снимавшуюся у Фридриха Мурнау. Как оказалось позже, решение принять это предложение стоило ей жизни. Но последние два года существования театра Лейко была примой «Скатувэ».

Последний спектакль состоялся 8 декабря 1937 года. На сцене не было ни одного мужчины — всех их уже арестовали, и все роли исполняли актрисы. Остается только

гадать, как восприняла такую неожиданную постановку ничего не подозревавшая публика. После этого вечера аресты в театре уже пошли лавиной. К концу декабря были арестованы практически все сотрудники, включая художников, администраторов и рабочего сцены. Всем им инкриминировали «принадлежность к контрреволюционной националистической фашистской организации, созданной в 1933—1935 гг. из артистов латышского театра “Скатувэ”».

Театр был закрыт решением президиума Моссовета от 27 декабря 1937 года «О латышском, литовском, эстонском, финском, польском и китайском клубах».

Тогда же был закрыт и Центральный латышский клуб.

Марию Лейко расстреляли вместе со всей труппой в феврале 1938 года на Бутовском полигоне. Этот день вошел в историю как день латышских расстрелов — 229 человек, обвиненных в рамках латышской операции, были убиты в этот день в Бутово.

Впоследствии все они были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

В ходе так называемой латышской операции был уничтожен и замечательный художник Александр-Рудольф Древин, член культурно-просветительского общества «Прометей», чьи работы представлены в Третьяковской галерее, — в 2003 году там проходила его персональная выставка.

Всего по латышской репрессивной кампании были осуждены 21300 человек, из них 16575 приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

В начале двухтысячных Общество латышской культуры в Москве обратилось к городским властям Москвы за разрешением установить мемориальную доску на доме, где находился театр «Скатувэ». Но разрешения не получило — получило рекомендацию поискать какую-то другую форму сохранения памяти о расстрелянном театре.

Из разговора с собственником здания в Москве:

— Мы не отвечаем, потому что у нас идет ремонт вестибюля, а когда он закончится, мы можем рассмотреть вопрос, чтобы повесить ваши таблички внутри вестибюля...

— Нет, наши знаки мы вешаем на фасад здания, снаружи.

— Передайте это вашему руководству, будут подходить люди, будут возникать вопросы, вот отремонтируем вестибюль и найдем место...

— Нет, мы не устанавливаем наши таблички внутри вестибюлей!

— Так, вы не хотите меня услышать, до свидания!

Когда-то в Берлине меня потряс тамошний Музей кино. То, как там организовано пространство, какие метафоры там читаются, — авторы получили множество призов.

Особенно понравилось, как сделан зал, посвященный периоду национал-социализма в немецком кино. Там стоят стеллажи с металлическими ящиками, как в огромной картотеке. Выдвигая такой ящик — внутри зажигается свет, и можно увидеть документ, афишу, газету. Или маленький монитор с видео — кино, хроника... Все — есть, но все — задвинуто в ящик.

Изучать можно и нужно, а так — лучше бы на глаза не попадалось. Гениально придумано.

Я этот музей вспомнила, когда в очередной раз на предложение разместить на фасаде табличку «Последнего адреса» услышала — а давайте внутри, в вестибюле. Где-нибудь в уголке, в музее.

Из разговора с собственником здания:

— Алло, здравствуйте! Мы как раз проводим совещание по поводу вашего письма насчет установки таблички. Мы решили, что нам это подходит — ваша табличка соответствует дизайну нашего фасада!

Спасибо и на том!

Когда-то, много лет назад, ученый-биохимик, член-корреспондент АН СССР В.Л.Кретович с горечью вспоминал о судьбе своего учителя, основателя кафедры биохимии МГУ Александра Робертовича Кизеля. Об этом он говорил со своим внуком, показывал дом в Померанцевом переулке, где Кизель жил и откуда его увели на смерть. Это случилось в 1942 году, когда сын 62-летнего преподавателя сражался на фронте. Сын защищал Москву от нацистов, а отца расстреляли свои.

И вот уже после того как не стало деда, дорожившего памятью об учителе, внук подал заявку в «Последний адрес», и табличка с именем А.Р.Кизеля появилась на стене дома в Померанцевом переулке. На церемонию установки пришли ученые-биологи и подхватили эстафету: по инициативе кафедры микробиологии МГУ была установлена табличка гидробиологу Е.Е.Успенскому, вслед за этим Микробиологическое общество подало заявку на установку знака памяти академика Г.А.Надсона, и профессиональное сообщество намерено продолжать.

Разумеется, многие из тех, кому появляются знаки «Последнего адреса», заслуживают мемориальных досок. Академики, актеры, драматурги, художники — некоторым такие доски даже и установлены. Однако мемориальная доска на доме В.Э.Мейерхольда ничего не сообщает о том, почему, собственно, он перестал жить в Брюсовом переулке в 1939 году. И в этом есть чудовищное лицемерие. Вроде бы, восстановлено доброе имя человека. А что с ним случилось и почему это случилось — спрятано в ящик. Нет вины, нет ответственности, не о чем говорить.

Знаки «Последнего адреса» не увековечивают заслуги. Они говорят со стен домов только о последнем, самом страшном эпизоде, который оборвал жизнь, оставив за собой зияющую пустоту.

О каждом, кому установлена табличка, есть статья на сайте «Последнего адреса», где тщательно собраны документы, письма, фотографии, рассказы родных и коллег — число этих статей, как и число табличек, приближается к тысяче.

Еще большее число заявок ждет своей очереди, и каждая обязательно дождется.

Увидите на стене дома маленькую стальную табличку с прорезью — остановитесь и прочитайте. Чтобы хоть чем-то почтить...

О страхе и мужестве

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей!

Детство и юность моего друга Рауфа Гасана-заде прошли в глухой азербайджанской деревушке. Русский язык Рауф освоил только в университете, зато на всю жизнь сделал его своим языком, естественно, вместе с родным. «Почему у нас (в СССР) вырождаются национальные литературы?» — спрашивал он. И сам отвечал: «Да потому, что в России после революции исчезла двуязычность, как массовое явление». Свои собственные рассказы Рауф мечтал писать так, чтобы они воздействовали на читателей буквально. Прочел рассказ — и отказался от пива, прочел другой — и поехал на студенческий фестиваль, прочел третий — и занялся выращиванием цветов. Не перекупкой и продажей цветов, а их выращиванием. Пусть цветут сто цветов. Почему нет? Мир един, хотя разъединен тщательно.

Казалось, личная и литературная судьба Рауфа складывается вполне благополучно, но в ночь на новый 1990 год из благополучного новосибирского Академгородка он уехал в Азербайджан, где зенитки уже лупили в упор по пятнистым армейским машинам, и я долго ничего не знал о его дальнейшей жизни. Доходили смутные слухи о том, что мой друг жив, что он принимает участие в выступлениях антивоенной оппозиции, что в знак протеста против гражданской войны он не раз приковывался к памятникам на площадях, объявлял голодовки.

Потом меня разыскало его письмо.

«Поздравляю тебя с Новым годом, желаю больших успехов в вечной и радостной жизни, — писал Рауф. — Помнишь слова: "Поэт, не дорожи любовью народной"? Вот они, наверное, и подорвали истоки моего бедного творчества, ибо на каком-то высшем суде я проиграл свое дело вчистую, а никаких адвокатов под рукой у меня не оказалось. Так что, музы молчат не только, когда говорят пушки, но и когда бурчат животы — у одних от голода, у других от обжорства...»

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им.Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов»: цикл эссе: «О красоте» (2016, № 1); «О молчании» (2016, № 6); «О понимании» (2017, № 4); «О пошлости» (2017, № 7); «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12); «О цели и направлении» (2018, № 5); «О знании, непостижимом разумом» (2018, № 10); «О хороших и не очень» (2019, № 2); «Об одиночестве» (2019, № 5).

И дальше — о страхе окончательно утратить интерес к творчеству.

Куда ж нам плыть? Что мы боимся терять?

Писатель Виктор Петрович Астафьев, к сожалению, уже ушедший, не раз жаловался: «Вот все кричат, прямо в крик идут: “Ох, ах, берегите природу!” А почему-то никто не кричит: “Караул! Караул! Вон какие выросли дети в наших малосортных квартирах!” А это ведь они, наши дети, губят природу. Подросли и губят. Я не тогда почувствовал страх, когда увидел на берегу осетров сдохших, а когда увидел дохлых ершей. Ерши обычно все переживают, но если уж и они сдохли — дрянь дело. К тому же наши браконьеры, они ведь везде проникают, и такие они талантливые, что могут уничтожать все живое, даже не касаясь его. Стали активно кедр оберегать, не стали его валить, просто вырубил все вокруг, вот кедр сам и попадал...»

И дальше о страхе — жить на мертвой земле.

Виталий Волович, прекрасный художник, к сожалению, тоже давно ушедший, в девяностые лихие жаловался мне: «Везде иступленные речи, клятвы, священный бред, а веры никакой, одни шаманы». Свой чердак в обычном доме в Свердловске Виталий переоборудовал под мастерскую и, конечно, время от времени выходил на пленэр. «Когда пишешь с натуры, чувствуешь себя голландцем». Однажды писал Виталий в ясный солнечный день какие-то страшные камни, коряги на заброшенной заболоченной поляне за городом. Все полумертвое, в плесени, в ржавчине, хотя небо над головой сияло чудеснейшее! Казалось бы, пиши этот свет, эту синь небесную, к тому же вывалил из-за кустиков поддатый местный мужичок, агрессивно подышал, покурил, стал указывать. «И это у тебя неправильно. И это у тебя неправильно. Душа поет, какое над нами синее небо, а у тебя?» Виталий ответил: «Скоро и этих красок не будет...»

И дальше — о страхе, не имеющем цвета.

Прекрасный сибирский писатель Михаил Петрович Михеев рассказывал мне: «В конце тридцатых, Мартович, работал я монтером в электроцехе в Бийске, о литературе еще не думал, но стихи мучили. “В фабкоме встретились шофер и комсомолка”. Однажды на свадьбу друга песню написал. “Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов”. Песню запели, а городская газета вдруг разразилась статьей об ужасном состоянии алтайских дорог, о частых авариях, о плохой дисциплине. “Да и какой может быть дисциплина у наших шоферов, если они такое поют?” — восклицал автор статьи, приводя строки из моей песни. Утром являюсь в цех, выкликают: “Михеев! В особый отдел!” Я шел, Мартович, и ноги дрожали. В конце тридцатых из особого отдела можно было куда угодно отправиться. Ну, вошел, снял кепку. За столом особист в форме. Долго молча смотрел на мои оттопыренные уши. На столе перед ним тетрадный листок с переписанным от руки текстом. “Твоя работа?” Я честно ответил: “Моя”. Тогда (неисповедимы пути господни) он с силой ударил кулаком по столу. “Михеев! Ты же у нас поэт! Мы тебя учиться отправим!”».

И дальше — о страхе, непреодолимом, невнятном.

Или киевский писатель Владимир Иванович Савченко.

В апреле 2003 года мы выступали с ним в Киеве во Дворце техники перед читателями. Двадцать первый век не внес успокоения в славянские души, горячее свое выступление Владимир Иванович закончил словами: «Боюсь, при нынешнем состоянии духа нам третьей мировой не избежать». И побледнел, услышав из зала бездумный беспечный голос: «Ну и что?»

У меня есть книжка «Азбука вины».

И в то же время — нет у меня этой книжки.

Она напечатана, десяток экземпляров ходит из рук в руки, но весь ее тираж сгорел в Луганске, после обстрела типографии — в пятнадцатом году. Отсюда еще какой-то страх, трудно выразимый, внутренний. Сгорела книга, значит, может сгореть и город. Сгорел город, может сгореть страна.

Дальше по расписанию.

Писателем (если ты действительно писатель) движет чувство вины: за то, что ты не успел сделать, за то, что ты успел сделать. Каждому отпущен определенный срок, мало кто планирует жизнь, скажем, на столетие. А ведь именно события, определяющие конкретно твою жизнь, определяют, в конце концов, историю. У Александра Блока события свои, у Льва Толстого другие, у академика Вернадского — третьи, четвертые — у Ландау или Стивена Хокинга, пятые — у твоего соседа по лестничной площадке.

А все вместе они — история.

В отличие от полетов на самолете меня несколько не пугает машина времени — наша жизнь. Благодаря этой удивительной машине (жизни) я побывал в далеких сороковых, видел пятидесятые, шестидесятые, пережил страх карибского кризиса, страх столкновений с маоистским Китаем, помню распад огромной страны, формирование новой...

Наши страхи крупнее нас.

Похоже, они встроены в нас изначально.

Но *что* мы так боимся терять? Почему одних пугает гражданская война, других — особый отдел, третьих — речной берег, заваленный дохлыми ершами? Почему висит над нами ничем не снимаемый страх одиночества, возможной нищеты, голода, боли, потери близких, даже пресловутой темной комнаты. Ты устаешь, ты теряешь силы, тебе уже все равно, но страшно и томительно думать о будущем уходе. Боишься не вырастить ребенка, не дописать книгу, не довести до конца некое открытие, потерять родителей, государство, страну, красоту мира, оставить после себя только то, что можешь оставить... — что нас так томит, что пугает?

Году в шестьдесят седьмом я с коллегой-вулканологом поднимался на вулкан Стокап. На его склоне мы и заночевали. Редкая жаркая ночь стояла над островом Итуруп — теплая, звездная. Бесчисленные огни над головой, бесчисленные огни в океане, мелкие огоньки в поселке внизу, и в звездной сумеречности по всему склону — лиловые ирисы, порожденные вулканическим гигантизмом.

День оказался нелегким.

Я лежал на траве и задыхался одновременно и от красоты, и от изматывающей тахикардии, никак не мог уснуть, странный страх мешал мне: вдруг не вернусь к этой земле, к этому океану, к этим звездам? Вдруг ничего этого больше не будет? Лежал и прислушивался к бьющемуся сердцу, смотрел на звезды, почему-то думая о тех, кто первыми высадились на этих берегах. Они-то вообще могли надеяться только на самих себя. А вот оставили нам целый мир.

А я уйду, что останется?

И стоит ли вообще задумываться о таком?

Ведь, похоже, итог предопределен — и не нами?

В те годы я только начинал задумывался об истории, о нашем месте в ней, о вечном неумолимом страхе терять осознанное, казалось бы, навсегда обретенное. Надо было пройти через массу самых разных страхов, чтобы осознать свою причастность к истории. Вот я и лежал на склоне вулкана, прислушивался к своему бьющемуся сердцу и вспоминал записку некоего Михайлы Захарова, семнадцатый век.

Звезды, невидимые течения, отсветы в океане, в небе.

«В коробе у меня кабалы на промышленных людей, да закладная на ясыря — якуцкую женку именем Бычия, да пищаль винтовка добрая. Еще шубенко пупчатое, покрыто зипуном вишневым. А что останетца, то разделить в четыре монастыря: Троице живоначальной и Сергию чудотворцу, архимариту и келарю еже о Христе з братиею. А они бы положили к Солекамской на Пыскорь в монастырь 20 рублей, и в Соловецкий монастырь 20 рублей, и Кирилу и Афанасию в монастырь 15 рублей, и Николе в Ныром в Чердынь 5 рублей, и еще Егорию на городище 5 рублей. А роду и племени в мой живот никому не вступатца, потому что роду нет ближнего, одна мать

жива осталась. И буде мать моя все еще жива, взять ее в монастырь к Троице Сергию. И где изустная память выляжет, тут по ней суд и правеж».

Внизу — острова.

За островами — Сибирь.

В Сибири холод, снега, траурные лиственницы по горизонту.

По белым снегам пробежит олешек, оставит след, рассеется, как дым, тучка.

А сейчас там... Да, именно там, где раньше бежал олешек, где плескалась толстая рыба, где левиафан играл в океане... Там бочки с мазутом, там огни, свалки, городская суэта, правеж без суда, никакого чувства вины, только страх (явный или неявный), страх ухода.

Так что же мы боимся потерять? Что боимся оставить?

Бренное тело? Усталую совесть? Душу?

И как встретят нас *там*?

Вообще — встретят ли?

Алексей Буров

Страхи идут на нас со всех сторон, дорогой Геннадий Мартович. Их так много, что страшно и перечислять. Их тьмы и тьмы и тьмы. Да и как оно могло бы быть иначе? Человек стремится удержать и прибавить ресурсы жизни, но почти никакой власти над ними не имеет. Нить везения может оборваться в любой момент—разве можно спорить с такой самоочевидностью? Страх фундаментален, вездесущ, биологичен, а потому в особых объяснениях, кажется, не нуждается. Что нуждается в рассмотрениях и объяснениях—так это сила, побеждающая страх.

«С человеком, следующим благому, не может случиться ничего дурного ни в этой жизни, ни в следующей».

К такому выводу пришел отец рационализма Сократ, чьи дни закончились казнью по приговору сограждан. Мудрец имел полную возможность уйти из тюрьмы, где он ждал затянувшегося исполнения приговора, но отказался этим шансом воспользоваться, свободно и безмятежно приняв назначенную ему афинянами чашу с ядом.

Если он был прав, то, как минимум, казнь не нанесла ему никакого вреда.

Но слова Сократа звучат странно, даже вызывающе. Как вообще с таким можно согласиться?

Не будем, однако, торопиться в отвержении его слов: Сократ был кем угодно, но не поверхностным болтуном и не носителем предрассудков (да и предрассудки афинские были здесь против Сократа); его вызов самоочевидностям был глубоко продуман и жертвенно подтвержден.

Выбранный нами жанр не позволяет слишком входить в подробности сократической этики, но, думаю, вполне допускает краткие указания на ключевые элементы. Пользуясь этим, отмечу, что согласно Сократу, основанием и источником всего сущего является таинственное единое всеблагое начало, или Благо. Подлинно бытийствует лишь благое; злое же и дурное есть проявления недостатка благого, принадлежа таким образом к небытию. Человек есть свободный дух, лишь временно пребывающий в теле; мера бытия человека, стало быть, определена мерой его свободного следования благому. В материальном мире благое неполно, есть много злого; тело человека обречено на страдания и смерть, но тело есть лишь своего рода одежда или текущий интерфейс души. Истинной сущности, нематериальной вечной

душе, страдания ее временного телесного облачения сами по себе не могут причинить никакого вреда. Вред ей будет нанесен, если она, испугавшись угроз телу, пожертвует благим ради преходящего, ради комфорта или избавления от телесных страданий поступится, скажем, справедливостью. Примерно так, в общих чертах, смотрел на человека Сократ; отсюда органически проистекали его мужество, активность и безмятежность духа, бесстрашие в постановке вопросов и поиске ответов. Здесь же коренилась и его ирония, тонкое оружие укрощения страстей и страхов. На века вперед Сократ задал образец мужества, парадигму, доведенную до предела Христом, принявшим мучительную смерть ради спасения нас всех, свободно следуя воле Отца Небесного. Греки приняли Христа столь естественно еще и потому, что уже долго чтили Его предтечу, Сократа, как знали его со слов «евангелиста» Платона.

Разумеется, было и есть немало отважных людей, смотрящих на мир атеистически-материалистически. Отвага может быть поддержана героической эстетикой, обостренным чувством справедливости или националистической идеологией; но следует отличать подобные виды отваги от сократического или христианского мужества. Отвага такого рода соседствует или с явной верой в финальную абсурдность, бессмысленность жизни, в отсутствие высшей правды, или с бездумным отношением к этим сущностям. Последним судьей здесь оказывается или мой произвол, или воля партии, вождя. Если я даже и справедлив, если мне дорого благо города, народа или человечества, и я готов на жертвы ради этого, то потому, что так хочу, такова моя воля — сама по себе, или слитая с волей партии. Но что такое это хотящее *Я*, неизвестно откуда явившееся и неизвестно куда пропадающее? Почему оно хочет того, а не другого, и какой во всем этом смысл? Почему моя жизнь должна приноситься в жертву народу, империи, светлому будущему или справедливости? Разве абсурд и бессмысленность, явно или неявно признанные здесь за последнее основание всего, не захлестывают, не уничтожают буквально все ценности, низводя их до пузырей на воде? Разум (что чистый, что практический) здесь принципиально унижен абсурдом, возведенным, осознанно или нет, в высший исток и основание бытия. Разница между эгоцентриками и фанатиками партии лишь в том, что первые это основание открыто признают, а вторые стараются не замечать.

Выше я написал, что страх, кажется, не нуждается в объяснениях. Точно ли так?

Видный германо-американский теолог и философ Пауль Тиллих (1886—1965) выпустил в 1952 году философское исследование «Мужество быть» («Courage to Be»), в котором ввел принципиальное отличие страха (fear) от тревоги (anxiety). Согласно этому различению, у страха всегда есть определенный объект, источник, на котором можно сосредоточиться и попытаться снизить его влияние. Тревога же есть осознание субъектом своей конечности, подступающего и пронизывающего небытия; здесь нет никакого специального объекта, создающего угрозу. Тиллих выделяет три вида тревоги: вечной смерти (онтологического небытия), вечного проклятия (морального небытия) и вечной бессмысленности (смыслового небытия). Тревогу можно забывать в механическом однообразии рутины и конформизма, от нее можно бежать в фанатичные группы, избавляться от нее пьянством и наркотиками; эти виды бегства весьма детально рассматривал Эрих Фромм в своем классическом исследовании «Бегство от Свободы», изданном в Штатах в 1941 году.

На принципиальную разницу между мужеством и чуждым ему бегством от бездны обращал внимание и Ницше, веривший, что человек, ставший сверхчеловеком, может своей силой преодолеть ужас небытия, не пряча от него глаз.

«У холодных душ, у мулов, у слепых и у пьяных нет того, что называю я мужеством. Лишь у того есть мужество, кто знает страх, но побеждает его, кто видит бездну, но с гордостью смотрит в нее. Кто смотрит в бездну, но глазами орла, кто хватается бездну когтями орла — лишь в том есть мужество».

Могу лишь согласиться с тем, что здесь сказано в отношении *холодных душ, мулов,*

слепых и пьяных. А вот заявление о когтях орла Заратустра выдал не иначе как будучи и сам крепко выпивши, уподобившись пьяному хозяину Эзопа, Ксанфу, похвалявшемуся выпить море.

Мы появляемся в этом мире на краткий миг, приходя неизвестно откуда и уходя неизвестно куда. В бесконечности времен и пространств мы обнаруживаем себя на маленьком островке с весьма специальными условиями для возможности жизни и мышления, островке, окруженным чуждыми жизни, неведомыми безднами Вселенной. Мы знаем лишь малую долю условий нашего существования и роста, будучи лишь немного властны над уже совсем ничтожным их числом. Мы подобны тропическим птичкам, с недоумением обнаруживающим себя в комфортабельной клетке, вольере, за стеклами которой стоит уходящая в бесконечность, чреватая всеми видами катастроф полярная ночь. Ну, схвати-ка эту ночь коготками, Заратустра!

В противоположность Ницше, Тиллих увязывает в одно мужество быть и веру.

Но что же есть вера? Что это — результат самоубеждения, насилие над разумом, выдача желаемого за действительное, удобный теоретический посыл?

Нет, ничто из перечисленного.

Вот ответ Тиллиха.

«Faith is not a theoretical affirmation of something uncertain, it is the existential acceptance of something transcending ordinary experience. Faith is not an opinion but a state. It is the state of being grasped by the power of being which transcends everything that is and in which everything that is participates. He who is grasped by this power is able to affirm himself because he knows that he is affirmed by the power of being-itself. In this point mystical experience and personal encounter are identical. In both of them faith is the basis of the courage to be». То есть «Вера не есть теоретическое признание чего-то неопределенного, но экзистенциальное приятие того, что сверх уровня обычного опыта. Вера — не мнение, но состояние. Это состояние захваченности той силой бытия, что превосходит существующее, и в которой всякое существующее принимает участие. Захваченный этой силой способен утверждать себя, ибо знает, что утвержден силой самого бытия. В этой точке мистический опыт и личная встреча тождественны: и там и здесь вера есть базис мужества быть».

Христос учил бесстрашию, в основе которого — доверие Богу, нашему Небесному Отцу, и готовность идти на жертвы вместе с Ним ради движения вперед. *Ищите Царствия Небесного и правды его, а остальное приложится вам.* Остальное включит все, в том числе чашу или крест, и дай Бог не сплеховать перед ними.

«И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны», — вполне в духе Сократа писал обретший мужество апостол Петр. Не сплеховать в глазах Всевышнего — вот единственное, чего нам заповедано бояться. И это единственный страх, который возвышает душу, потому он и является *началом премудрости*.

Особого внимания заслуживает напрямую враждебный разуму страх перед ним, *мизология*. Разума есть за что бояться: его оправдание чего бы то ни было, укладов жизни, картин мира, целей и ценностей, требует продуманного и честного обоснования на его поле; не добившиеся такого оправдания или хотя бы продления его суда получают клеймо недостойности, знак скорой гибели. С другой стороны, люди живут и мыслят тем или иным образом в силу исторически сложившихся, насыщенных противоречиями обстоятельств и традиций, часто не имея оправданий этим традициям перед лицом рациональной критики. Таким образом возникает оппозиция разума и традиции. На критику разума традиция может ответить либо *репрессивно*, блокировкой опасных вопросов, табуированием и преследованиями, либо *адвокативно*, оправдывая себя на поле разума, либо *реформативно*, пойдя на разумную модернизацию. На уровне социума предельная форма репрессивности выражается в тоталитарности. На уровне личности репрессивная реакция соответствует фанатизму.

Борьба разума и традиции — гигантская тема, ядро истории, которую нет возможности здесь даже и затронуть. Скажу, однако же, несколько слов о фанатиках, или *мизологосах*, как их называл Сократ. На Западе вообще и в моих родных Штатах в особенности есть две весьма заметные фанатичные партии, ведущие холодную войну друг с другом: библейских буквалистов и научных атеистов. Своим фанатизмом каждая из них на деле порочит ровно ту сторону, которую как бы защищает. Отрицание возможности чудес так же вненаучно, как и утверждение такой возможности, ибо научными средствами тут ничего доказано или опровергнуто быть не может; отрицание чудес есть кредо особой веры научных атеистов — сциентизма, абсолютизации науки. Наука изучает регулярные, повторяющиеся явления, к которым происхождение жизни, видов, мышления и самой науки относятся не более чем вопрос о том, почему Вселенная подчинена одним, а не другим физическим законам. На более же фундаментальном уровне само существование современного естествознания, с его глубоким, хоть и весьма неполным пониманием Вселенной, есть величайшее чудо, величайшее подтверждение нашего родства с Создателем. Фанатизм научных атеистов заключается в табуировании ими одних вопросов происхождения и безосновательной декларацией объясненности других атеистическим дарвинизмом. С другой же стороны, требования религиозных фанатиков привести школьное образование в соответствие с буквальным прочтением Библии есть признание серьезного дефекта их понимания св. Писания, понимания, не допускающего пересмотра данных о Вселенной, сложившихся задолго до великих открытий науки. Я склонен думать, что обе эти партии фанатиков уйдут со сцены в недалеком будущем — ни за одной из них нет достаточно мощной традиции, чтобы долго бросать вызов разуму. С этой точки зрения, весьма характерно появление на интеллектуальном поле Америки ярких *адвокативных* фигур, *консервативных рационалистов*, среди которых я бы особо отметил профессора психологии Университета Торонто Джордана Питерсона, журналистов Денниса Прегера и Бена Шапиро и епископа Римской Католической Церкви Роберта Бэррона. Мое видение будущего Америки и Запада состоит в том, что фанатики всех сортов остаются во вчерашнем дне, авансцена же — за творческими, глубоко мыслящими сопрягателями разума и библейской традиции, консервативными рационалистами.

Завершая свой ответ, еще и еще раз перечитываю ваше послание, Геннадий Мартович.

«Я лежал на траве и задыхался одновременно и от красоты, и от изматывающей тахикардии, никак не мог уснуть, странный страх мешал мне: вдруг не вернусь к этой земле, к этому океану, к этим звездам? Вдруг ничего этого больше не будет?»

Да, ничего этого когда-то не будет, дорогой друг. Но что станет с нами, любителями странствий? Эта благородная страсть присуща человеку как никаким иным существам, и редко кому удалось реализовать ее в той степени, как Г.М.Прашкевичу. Я и сам немало где побывал, но вам по-доброму завидую! Когда-то каждый из нас покинет этот прекрасный, грозный, премудрый, безумный и чудесный мир, покинет задолго до того, как успеет насладиться его бесчисленными красотами и чудесами. Хотя оно и противоречит постановлениям священных соборов, я полагаю, что мои и, если не возражаете, ваши путешествия не закончатся. Не исключено, что мы еще вернемся и сюда, подзабыв детали прошлых воплощений, но не утратив, как подсказал мне сын Лёва, самого главного: интегралов вкуса, правды, мужества, любви вообще и любви к истине в частности. Может быть, впрочем, и так, что в следующий раз мы воплотимся уже в иной Вселенной, но сути дела это не меняет. Важно, что наши возвращения будут не ектлезиастовыми *возвращениями на круги своя*, не кошмарными *вечными возвращениями* Ницше, не бессмысленными кручениями в колесе страданий, но возможностями еще одного шага вперед и вверх. И кто знает? Может быть, в числе прочих у нас будет и возможность продолжить соавторство в еще невиданных условиях :^).

Валентин Курбатов

Наводка на резкость

Из дневниковых записей

«Я пришел». Говорят, так здороваются народы на Крайнем Севере, входя в чужой дом. И это «я» с непреложным «пришел» кажется мне прекрасным. Значит, ты успел увидеть и себя в мире, и свое право занять место в чужом сознании, как в общем порядке жизни. За этим ясно стоит: я пришел, чтобы мы были вместе. И пришедшему отвечают: проходи, раздевайся, садись, рассказывай! Ну да, раз ты пришел, значит, ты пришел зачем-то. Вот и рассказывай.

Рассказываю. Минувший век, как, впрочем, и век девятнадцатый, был временем дневников. Человек еще был интересен себе, потому что еще не был «завален» другими людьми, всеобщим нынешним растворением в уличном, газетном, телевизионном, интернетовском хаосе. Он был медленнее и любопытнее, вглядываясь в себя, как в чужого, и тем научаясь видеть другого, пока не осознавалось, что видеть и слышать этого другого занимательнее интереса к себе и что другой — это счастье и чудо. Тогда твои личные дневники легко и безболезненно терялись, а записи встреч и разговоров как-то сами собой сохранялись, чтобы ты однажды увидел, что они — это твоя жизнь, твое время. И вы вместе и были частью общественной истории, где нет чужого.

Эти мои давние (и не очень) записи — не мемуары, не запоздалые воспоминания, когда минувшему придается стройность из опыта устойчивых лет, когда ты успокоился, нашел место, устроил кое-как свое мировоззрение и теперь подгоняешь под него все прошедшее. Это действительно дневник минувших лет. А он может быть уместен и интересен только как исповедь, как прямое свидетельство: «Так было». Трудность только в том, что даже и в посмертной публикации не раз оглянешься, а уж когда живой, то и того более. Что-то в этом «было» непременно придется и «поприжать», смягчить, сгладить, потому что один из героев твоих записей жив, другой болен, у третьего — дети. И поправляешь, смягчаешь, оберегаешь. И это уже как бы и не совсем дневник. Извиняешься только тем, что вмешательства твои минимальны и касаются не самих событий, а только нравственных оттенков. Что дороже: «милость к пашим» или неуклончивая правда, которая тоже «плавает» в зависимости от дня и порыва: сегодня скажешь одно, а завтра, смутившись, — другое?

Вся наша литература во многом «дневник». Как «Капитанская дочка» — «дневник» Петруши Гринёва, а «Казаки» — дневник Оленина, а «Жизнь Клима Самгина» — дневник этого самого Клима, а за ним мятущегося Горького. И если бы на полях этих книг печатать

живые дневники их авторов и их несчетных современников, они обнаружили бы живое родство. И было бы особенно видно, как гений аккумулирует время и человека, оставляя вместо сонма частных дневников — один на всех, который зовется потом «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Рудин», «Подросток», «Последний поклон» и т. д.

А отчего решаешься показать дневник при жизни, тогда как предшественники оставляли свои дневники в тесноте столов и шкафов, иногда даже не по разу перепрыгивая, чтобы нечаянно близкие не увидели тебя «неодетым»? Ну, во-первых, мы уже таких исповедей, как Лев Николаевич, чтобы прятать от Софьи Андреевны, не пишем — глубиной не вышли, чтобы видеть в своей жизни отражение небесной всеобщности. А во-вторых, все равно бы отваги не хватило. А уж в самых последних — ведь начинаешь то писать просто из неожиданного чувства отстраненности, словно себя со стороны увидел, а уж потом втягиваешься: жалко провожать день, не оглянувшись.

А теперь вот еще думаю, что это даже не мы, а само время ухватывается за нас, чтобы остаться (отчего если все в мире живо, то время безлично и безгласно?), и ему хочется увидеть себя со стороны, отразиться в слове — единственном организме, неподвластном смерти. Не зря еще в евангельском детстве человечества было сказано, что «слово — плоть бысть». Вот и время, одетое в слово, говорит, что все мы — плоть едина, что мы и есть то, что зовется жизнью, а она не сама по себе идет мимо. Как замечательно было написано Арсением Тарковским: «Вот почему, когда мы умираем, оказывается, что ни полслова не написали о себе самих, и то, что прежде нам казалось нами, идет по кругу спокойно, отчужденно, вне сравнений и нас уже в себе не заключает»!

Вот и теперь, оглядываясь, вижу, что подлинно «все идет по кругу» и, значит, кто-то увидит в этих страницах и свое нечаянное отражение, потому что всякий дневник — только эхо нашей общей разговорчивости, старая тень Достоевских «трактирных мудрецов», которые через две минуты после встречи уже решают вопросы мира. Торопятся «назвать» мир, а «назвав» — победить и «присвоить». И если уж и при тирании нас хватало «на полразговора» (О.Мандельштам), то в семидесятые-восемидесятые-то, к которым относится большинство записей дневника, нас уж и вовсе было не удержать. Разговоры всегда были наши «парламент» и наша «дума». И как часто они были глубже нашего «общественного» бытия! Что-то бы, конечно, и скрыл (слишком свое, единичное), но теперь вижу, что тогда пропадет «подлинность» и не будет понятна домашняя бесхитростность свидетельства: писалось-то не для других, а чтобы самому не забыть.

Как было не записать, не удержать в памяти то, что говорили Астафьев или Нагибин, Елизар Мальцев (помнит ли кто теперь этого лауреата Сталинской премии?) или Валентин Берестов, Анастасия Цветаева или Арсений Тарковский (Господи, я застал их всех!). И, поверьте, это записывалось не для возможных публикаций и тем более — не для «грядущих поколений». Не было тут честолюбия. Было счастье встречи и желание поделиться ею с друзьями, с самим собой (ведь непременно скоро забудешь, а разогнешь дневник — и благодарно вспомнишь и их, и себя той поры).

Конечно, при записи чуждой умной мысли я неизбежно приделывал в ней кончик, чтобы завершить, вынуть завершённый смысл из текучего хора речи. И конечно, часто завершал «из себя», так что мой собеседник, покажи я ему потом написанное, может быть, и не узнал бы себя. Хотя однажды я показал уже больному Семёну Степановичу Гейченко¹ записи его импровизаций, которые нет-нет записывал за ним при наших чайных сидениях, и он обрадовался, как на минуту вернувшемуся здоровью, и радостно сказал, что это «надо паки и паки печатать». Он ухватывался этими невозвратными импровизациями за жизнь, но, значит, эта жизнь в них была — и она была его. Это сейчас ободряет меня и при чтении других записей.

Мне почему-то кажется, что сегодня дневники ведутся реже. Потому что нет «провинциальных юношей». Все благодаря телевидению стали «столичны». И нет «великих людей». Есть «раскрученные». А это разные люди. «Раскрученные» не поразят сердца ни отличностью взгляда, ни нежданностью мысли, ни новым поворотом мира.

¹ Гейченко Семён Степанович (1903—1993) — русский и советский писатель-пушкинист, музейный работник. В апреле 1945 года был назначен директором Пушкинского заповедника в селе Михайловское Псковской области. В этой должности в течение 45 лет работал над воссозданием пушкинских мест.

Уходит иерархия, та сложная система духовного строения общества, где все соединено — живая простота «уличного» повседневного человека, прорывы «ищущих» и небесный синтез великих умов, которые собирают мир и на которые мир смотрит с благодарностью, словно препоручая им себя, свою жизнь, свое страдание, свою любовь, свою веру, зная, что они не подведут, не дадут пропасть в забвении, запишут.

Большинство этих дневников так или иначе растворилось в очерках, в моем «Подорожнике», в «присвоенных» мною у моих собеседников мыслях, разошедшихся по страницам разных лет. Но теперь мне бы хотелось оставить их «как есть», потому что они уже интересны как портрет времени и собственный мой портрет как одного из человеческого потока, «типичного» прохожего уходящего поколения. А кое-что оставить уже «обработанным», переведенным в очерк, потому что там живо слышно дыхание дневника, который обычно по окончании труда выбрасывался, — он ведь и писался как подспорье. И вот теперь видишь, что переодетый-то переодетый, но все — дневник.

Писал давно — со школьной поры и в пору флотского служения, когда особенно нетерпеливо оглядывал жизнь. Но там одно жадное чтение, выписки и комментарии — «самодельная школа». Там Сартр и Ницше, там Ясперс вперемежку с Толстым и Р. Гароди с Ю. Трифоновым. Там удивление богатству мира и детское желание упорядочить и подчинить его. Потом все это обнимется одним словом — «шестидесятники». Я видел такие дневники у великого графика Ю. Селиверстова и читал позже у Венедикта Ерофеева. Что значит сверстники! Кажется, мы заглядывали друг другу через плечо: эти общие попытки заговорить на древних языках, эта высокая заемная философия, это тайное обещание себе быть чем-то. Слава Богу, все это как-то само собой пожелтело и осыпалось. И все, что казалось годным и «носимым», постепенно вытерлось и поистлело, как сукнецо на шинели Акакия Акакиевича.

Сейчас, наверно, перечитал бы с жадностью, потому что память с годами меркнет, да вот уж что съедено молью времени, годами и переездами, то съедено, и начинается оставшееся «в живых» уже с семидесятых. Ну и с Богом!

6 января 1970 года

Все время ловлю себя на желании соперничества с теми, кто сегодня был моим собеседником и противником. Привязанности могут меняться в течение дня, а с ними и порывание ума в разные стороны. Утром еще думал заняться описанием характеров, чтобы потом на равных беседовать с Лабрюйером¹, а в обед уже манят дерзости Вольтера и хочется надавать пощечин времени. И уже так и видишь, какие могли явиться язвительные страницы и какой парад масок, даже если и не заглядывать далеко, а ограничиться, как Джойс², временем с утра до полуночи.

Но потом неожиданно спотыкаешься о последнюю фразу «Кандида»³ «Но надо возделывать свой сад» — и только что измышленная тобою толпа лжецов оборачивается товариществом несчастных подвижников, созидających из того, что есть, обыкновенный завтрашний мир. К вечеру забыто и это, и рука рвется к сочинению бесовского романа в подражание Лакло⁴, чтобы тень дьявола летела над каждой страницей, вызывая в читателе отвращение и привязанность.

А к ночи наткнешься на старенькую книжку ядовитого Минаева⁵, и она подsunет тебе остужающее зеркало: «И, как ум разнообразный, всяких принципов держусь». Вот-вот — всяких.

¹ Жан де Лабрюйер (1645—1696) — французский моралист.

² Джеймс Огастин Алоушес Джойс (1882—1941) — ирландский писатель и поэт, представитель модернизма. Автор романа «Улисс», где на 600 страницах повествует об одном дне (16 июня 1904 года) дублинского еврея Леопольда Блума.

³ «Кандид, или Оптимизм» — наиболее часто публикуемое и читаемое произведение Вольтера.

⁴ Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (1741—1803) — французский политик, изобретатель, военачальник и писатель, известный главным образом как автор эпистолярного романа «Опасные связи».

⁵ Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — русский поэт-сатирик и переводчик, журналист, критик.

14 сентября 1972 года

С особенной отчетливостью я заметил это в Глубоком в счастливую поездку 12 мая 1972 года. Вздох восхищения при въезде был почти мучителен, исполнен какой-то физической боли. Я тогда сказал об этой боли от красоты, пока мы ехали с московским критиком Толей Ланшиковым в Глубокое¹, в гости к Юре Куранову², и Толя легко объяснил, что мне просто постоянно хотелось бы жить в виду этой красоты, но не достаёт мужества, потому что отравлен городом. В этом была какая-то слишком узкая практическая правда. Я наверное знал, что порыв был пробужден не сожалением о недостатке мужества, что боль была другого истока.

Такое у меня было в прошлом году в Ялте в день отъезда, когда я почти плакал, не желая оставлять море и горы. Так было теперь в Изборске в холодный ветреный день середины сентября, когда я вдруг отчетливо понял, что все прочитанные книги, вся услышанная музыка, все холсты и фильмы меркнут перед этим небольшим (вот только тем, что перед глазами) пространством. Движение холмов, лезвие реки, притупленное зарослями камыша, безлюдные деревни на холмах и в долинах, одинокие деревья и крест оставленной церкви — все это неподвластно слову. Гоголь, написавший «Русь! Что зовет и хватает за сердце», ничего кроме своего смятения не назвал. А бессильный бег букв выдал только такое же отчаяние сердца.

Отшельники, потрясенные однажды этим безмолвием, уходили из мира, кормили медведей с руки, молились, смотрели на звезды и вслушивались в молчание, пока Бог не открывал им тайну небесной полноты мира, и лицо их светало. Но «в награду» он отнимал у них речь, и они сами становились безмолвны и непостижимы, как деревья, холмы, камни и небо.

Слово тут инструмент слабый. И не один Гоголь тому подтверждением. Толстой однажды увидел небо Аустерлица и протянул его полог над князем Андреем. Но разве испытываем мы что-нибудь, кроме умственного удовлетворения, читая этот прекрасный текст? Разве есть хоть тень того ужаса и восхищения, которое испытывает человек перед пространством, в этих хоть и смятенных, но все-таки слишком повседневных словах? Мы можем мимолетно подумать о суетности жизни, но никогда не испытаем мучительного потрясения, которое готовы предположить в князе Андрее.

В живописи об этом пытался сказать Рерих, но роскошью цветковых плоскостей, мощью звучания почти симфонического заслонил первородство впечатления. Нестеров, знавший обезоруживающую красоту природы и умевший сказать о ней с самой русской нежностью, все-таки слишком благостен и как-то литературно мягок. И хоть человек в его холстах уравнен с деревом, камнем, водой в духовной полноте (скажем, «Пустынник»), да я-то вхожу в его согласное молчание посторонним. И умом это согласие слышу, а в себе как был беспокоен, так и остался. Может быть, боль, приносимая красотой, как раз от этого — от посторонности, от того, что не знаю тайны молчания, не вошел в тайну безмолвного Господнего согласия. И там, в Глубоком, и в Ялте, и вот тут, в Изборске, Малах, оттого и мучаюсь, что не решусь на молчание, которое одно может ответить и Гоголю, и Толстому.

Дай ответ? А он перед глазами.

¹ Глубокое — деревня в Опочецком районе Псковской области России, расположена на берегах озера Глубокое.

² Куранов Юрий Николаевич (1931—2001) — прозаик, поэт, автор лирических миниатюр.

18 января 1975 года

Бог лишил меня судьбы и биографии. Да и у других с биографиями дело обстоит никудышно. Нет ни классической неторопливости старых биографий дворянско-мужичьего века, ни безумных путаных, страшных революционных и военных. Есть пустое вращение лет, задержавшееся младенчество. Не то что презрение,

а неозабоченность биографией. А уж о судьбе и говорить нечего. Она почти не выпадает нам. Поглядываю на своих сверстников и ни в одном не чувствую шага, направляемого Промыслом и предназначением, — все сами. Не эта ли скука и зовется «хозяева своей судьбы»?

6 июня 1976 года

Умирают дружба, салоны, искусство беседы, посиделки, дурашливые общества, розыгрыши, товарищества художников и актеров, писательские объединения. Умерла культура узкого круга, маленького космоса, который заменял отцам и дедам (именно дедам) вселенную, и они вместо хождения вширь глядели вглубь. Стены их комнат, их гостиных были выше, а картины висели маленькие, потому что вдох и выдох были просты, каково и должно быть дыхание. Нынче мы вдыхаем каждый раз, как будто хотим спеть «Интернационал» или прокричать «ура», и поползли по стенам мастерских огромные холсты, забывшие о полотне, на котором писаны, и упорно притворяющиеся стенами небоскребов. Живопись упорно притворяется фреской не только размером, но и техникой. Комнаты опустели, цвет в них угас. Пришло царство графики, и графики тиражированной, тоже довольно урбанизированной, потому что умерла миниатюра, искусство небольшого портрета и пейзажа, которые во всяком доме одушевляли стены. Началось писание для музеев и выставочных залов, разговор сразу с толпой, а не с человеком. Холсты стали бояться доверчивого собеседника с человеком и не умеют оставаться наедине с ним, потому что вдвоем нельзя кричать, а шептать и говорить вполголоса они не умеют.

14 июня 1976 года

Нельзя уезжать от родных мест, где жили поколения твоих предков, пока твой ум не окреп настолько, чтобы унести их в своем сердце. Да, к сожалению, не властны мы в самих себе в этом возрасте, а уж если бы были властны, так и того хуже, потому что непременно черт унес бы в неведомые страны, о которых успеваешь наслушаться к семи годам из разных рук. И вот война сдергивает всех со своих мест, и люди едут, бросая свои гнезда, неизвестно куда, где их ждет новая жизнь, новые обычаи, новые люди, среди которых они найдут друзей, с которыми потом породнятся, и начнется новое поколение. Они будут первыми, начнут называть мир первыми словами и расставлять новые огни. Историческая память окажется почти чужой, почти литературной, словно прочитанной, потому что не будут шуметь вокруг родные ветви и не будет дали наследования: от дедов к отцам и детям. Все это осталось там, на далекой уже, скорее исторической, чем реальной, земле. Все, что будут рассказывать близкие о той жизни, покажется почти придумано — так неотзывно далеки имена и связи, так безмолвно будет внимать душа этим мифам уже отшумевшей крови. Новое, первое поколение перенесет утрату без особенной боли, разве только иногда блеснет луч любопытства, но сейчас же угаснет.

А вот кому будет действительно трудно, так это тем самым, семилетним, кто уже успел задеть краем ту жизнь, наполнить легкие тем воздухом, а потом растерял, растворил все в беге дней, в новых впечатлениях и товарищах. Он долго не будет подозревать об утрате и будет оборачиваться к прошлому с улыбкой, все туманнее различать его черты, пока оно не обернется в одно только светлое облако на самом горизонте, на самом утре жизни — дальше, легкое сияние, одно только ощущение без плоти. Но однажды кровь окликнет бывшего мальчика, и он рванется назад, но уже не будет знать дороги.

Где они, эти деды, эти тетки, эти дядя, это поколение соседей с их мифами, где та деревня, та единственная река, тот единственный лес, населенный преданиями, та глубь времен, переданных поколениями незаметно, как-то само собою, в застольных домашних разговорах, в простом ежедневном быте? Где память рук, где память глаз,

память слуха к земле, где, наконец, родные могилы, которые воспринимаются так естественно, потому что умершие живут в той же деревне, вместе со всеми, так что можно еще обернуться на их оклик?

Ничего не осталось — и облако вдаль делается дорогим, и ты всматриваешься в него, пока не выступят слезы. Вот тут и понимаешь, что у тебя не осталось корней, что они невозстановимы и остается только с болью проститься с той небывалой жизнью и, скрепя сердце, начать сызнова, чтобы твой сын не узнал этой тоски и страдания (тут поместилась вся тихая деревенская лирика, с печальным бессилием стремившаяся восстановить ампутированную историческую память).

12 июля 1976 года

Невольничество, постыдное рабство устойчивых форм и есть, наверное, символ безвременья. Литература, томясь, бьется в тисках канонов и, кажется, не замечает этих канонов, обманываясь ложными противостояниями и фальшивым новаторством. Единственное новаторство, недостижимое почти во всякое время, — совершенная свобода духовного собеседования. Не устного домашнего, а публичного. И сколько падает талантов, рожденных для слова и славы, жертвою безволия, жертвою своей безгласности к средствам утверждения.

Война — удел гениев, и они вознаграждены благодарной, часто невольной признательностью поколений. Судьба, как бешеная лошадь, несет их напролом и часто выносит к славе уже мертвых всадников, которые видели одну сиявшую впереди идею и не глядели под ноги своим безумным коням.

Талант осмотрительнее. Он не забывает взглядывать на препятствия и порою мог бы перескочить, но от робости объедет. Так будет длиться, пока судьба не бросит его на произвол биографии и не пустится искать более отважных седоков...

Время равнодушно принимает жертвы, списывая их без осознания утраты, не видя, что закапывает неотпетой свою возможную славу.

Бедная художественная история, жалкая художественная история. Она все никак не выучится оглядываться на свои брошенные кладбища, где врастают в землю надгробия книг, холстов, симфоний, которые обещали быть прекрасными, в которых под породой таилась чистота бессмертного мрамора, но их создатели были только талантливы. Они не были богами, гениями. Они были только людьми и ждали простого дружеского приветствия, доверия к своему делу, чтобы отдарить мир чудом. Да и Бог с ним, с приветом. У них только не надо было выдергивать перо или резец, не кричать под руку этого вечного, торжествующего подлого «не так!» Не надо было методически пугать их культурой освященных образцов, мумифицированными идолами, божественным вчера, превращенным в дьявольское сегодня.

Но история по-прежнему остается школой без учеников...

19 августа 1977 года

Видно, напрасно я ищу того детского товарищества, когда страшно было расстаться друг с другом и утром я торопился к несколько часов назад оставленному товарищу, как после долгой разлуки, — улыбаясь, ликуя, всей душой обнимая его. Это невозвратно, потому что избрал дорогу сочинителя. С той поры как выбрал в собеседники бумагу, она стала и другом, и возлюбленной, и братом. На живое общение души не остается. Все время чувствуешь столб воздуха, разделяющего тебя и собеседника.

Мы все отгорожены друг от друга письменными столами. Не заплачешь и не засмеешься без того, чтобы разум не успел сделать ситуацию литературной. Как тургеневские барышни из «Рудина», которых Пигасов никак не мог заставить искренним движением души, — непременно успеют или платочек к глазам поднести, или подбоchenиться. Вот и мы так. Хотя при этом первенствуют самообман и ложные клятвы. Сам себя обманываешь видимостью дружества, потому что без этого нельзя,

это есть правила игры, которые ни правилами, ни игрой не сознаются. Есть память детства и попытка сохранения тех состояний, пока не взглядишься и не увидишь, что все выгорело и идешь по пустыне.

20 августа 1977 года

Это одна сторона, и, может быть, не самая главная. Главное-то, наверно, в том, что дружба возможна только при условии полной доверчивости. В детстве наши тайны так малы и так нестыдны, что мы делимся ими счастливо и открыто, и это соединяет нас с нашими наперсниками. Потом заводятся тайны, которых уже не откроешь. Скрытность овладевает нами все решительней, она становится условием существования, — и прощай, дружба. И, если ты научился писать, — здравствуй, сочинительство! Не оттого ли люди заводят дневники, эти бумажные двойники друзей, эти бумажные стены от друзей реальных? А прозаики пишут прозу и открываются тут? Хуже всего тем, кто и без дневника, и без дара сочинительства. Ему остается одно чтение, которое не приносит полного освобождения.

13 октября 1977 года

А ведь скоро у нас не останется народа — тех мудрых деревенских, именно деревенских, стариков и старух, которые выросли среди трав и небес, на тяжелой работе и умели слышать землю, как человека, и не знали врагов, кроме засухи, ранних морозов и града. Литература благодарно славит их с той поры, как стала сознать себя и восхищаться их простой мудростью, потому что настоящая мудрость и настоящая философия просты, и выковала уже некоторый стереотип такого мудреца, и расторгнула его простоту на копейки заурядного здравого смысла, переодетые в рубли откровений.

Уходит человек от земли, все выше поднимает его сиденье трактора над пашней и полем, и он все больше начинает ассоциировать с полем запах бензина, а не дыхание жаркого хлеба. И умирает мудрость. Старики еще живут, но редют непоправимо, и скоро явится новое поколение стариков, уже не исповедующих живую религию полей и облаков, и деревенские старики станут похожи на городских. А кто видел в литературе спокойного мудрого городского старика, в котором была бы настоящая сила природы? Нет стариков, есть старые пролетарии, тоже с устойчивым стереотипом, но это уже другая жизнь — социальная, урбанистическая, и философия тут книжная, рассудочная, конструктивная. А «народ» умирает. И этого не остановишь.

27 ноября 1978 года

Трагическое чувство утрачено вместе с утратой эсхатологических представлений. Как только смерть перестает быть осмыслена как эсхатологическая ступень и как только ужас смерти перестал быть просвечиваем светом преображения, так трагедия и отошла. Трагедия осуществима на стыке, на границе Царства Духа и Царства Кесаря. Сами по себе эти Царства — одно свет, другое тьма, а пограничье — трагедия.

21—28 февраля 1979 года

Кострома.

Иней. Пополам согнутая старушка идет к заутрене в Воскресение на Дебре¹ и, насили разгибаясь, стоит и шепчет почти с испугом перед красотой Божьего мира: «Господи!» И легкая тень печали задевает глаза, как усталая улыбка костлявой спутнице, уже поселившейся в теле: «Что, безносая дура, понятно теперь, почему, и пополам сломанная, все не тороплюсь уступить твоей ласке?»

Веселый нищий Кудеяр, еще не уставший от набегов и полюбовниц, радостно просит подавание под синим небосводом паперти. Служба спокойна, празднична, проста (все вместе). Школьники в синих форменных костюмчиках подходят к причастию и, дожевывая тело Христово, весело блестя глазами, шмыгают между не

сердито одергивающих их старух. Молодая женщина с милым, нежно-русским лицом счастливой матери (поди, сельская учительница из недавних петербурженок, начитавшаяся про народоволок) поднимает младенца навстречу евхаристической ложечке, и белая вязаная шаль спадает ей на плечи, открывая прекрасные волосы, которые она вновь тотчас прячет под инейно-легкой шалью.

В соседнем Трехсвятительском приделе молоденький священник, едва из мальчиков, готовит аналой для исповеди, а седенький, с жидкой косицей дьячок в вытертой рясе (на пояске уже не разобрать выношенного текста 90-го псалма) макает палец в купель, проверяя: не холодна ли вода? Детей крестят много, и крик стоит, как в поликлинике на уколах. Шумно, обыденно, а хор светло гремит сверху, и народ тянется приложиться к иконе Фёдоровской Божьей Матери и кресту.

Иконы уже не видать. Горит одна золотая риза. Старушка прерывающимся голосом спрашивает у меня: «Ты ведь приезжий, сынок? — и сует вспотевший в ладони рубль: — Помолись за болящего Юрия». Плач перехватывает ей горло, и во мне обрывается от жалости сердце. Наверное, и моя мама вот так просила кого-то, когда болел брат. И я молюсь о неведомом Юрии и всеми силами прошу о его исцелении. Потом отдаю рубль старику на паперти и прошу сделать то же.

Правильно ли делаю — бог весть. Оторвавшиеся от церкви, мы темны и неловки в ней и слишком думаем о себе со стороны и мешаем молитву с оглядкой, чтобы было как у людей, возвращаемся в начальную школу веры и молитвы.

А день горит радостно, настоящей Масленицей, и я иду к Ипатьевскому монастырю² прямо по Волге, а он, приподнятый розовым светом, солнечной дымкой, словно висит над снегами вдали и медленно проступает из света. Купола затуманены сиянием инея, кружевно затканы им, и только под самой стеной я вижу, как они горят сквозь ветви деревьев, золотые на синем.

Смотрю на пир росписи и не могу насмотреться. И опять торжествует синее, словно подсинен сам воздух, словно обнимают тебя чуть выцветшие небеса, а стены горят под пробивающимся в окна солнцем, и энергичное библейское человечество строит храмы. Молится Богу, слушает пророков, воюет, страдает и умирает. И нет этому человеческому празднику жизни ни конца, ни истления...

¹ Церковь Воскресения Христова на Дебре — православный храм в Костроме, на берегу Волги.

² Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — мужской монастырь в западной части Костромы на берегу реки Костромы, недалеко от ее впадения в Волгу. Обитель сыграла заметную роль в событиях Смутного времени. В честь монастыря названа найденная там Ипатьевская летопись.

Эта тетрадь 1979 года мне особенно памятна. В 1978 году я был принят в Союз писателей и впервые «равноправно» засобирался в Дом творчества. Тогда «писателей» (как посмеивался Астафьев) народ еще жаловал, и держали эти Дома творчества в Переделкино, Пицунде, Малеевке, Коктебеле, Дубултах. Это было недорого и удобно. Я купил себе толстую тетрадь, и мне не терпелось заполнить ее новыми впечатлениями, потому что казалось — теперь у меня и зрение будет другим. Отсюда и прыгающее начало, как при наводке на резкость.

13 сентября 1979 года

Читаю «Писарева» С.Лурье и вдруг обращаю внимание, что Базаров у Тургенева умирает двадцатилетним. А мы его по песочным бакенбардам и красным рукам и наклонности к Одинцовой чуть не к сорока уводили, чему отчасти и кинематограф способствует. Вот теперь я и понял, почему и Базаров, и Пьер Безухов с Андреем, и множество других героев в кино и театре глядят стариками, словно мы не слышим

указаний текста. А тайна тут простая — в нас живет школьный ребяческий стереотип: нам они в школе все старики, а когда выйдем из школы, уже ничего не меняется, и хоть нам самими пятьдесят, а те, школьные, Базаровы и Безуховы все равно кажутся нам старше нас годами./.../

18 сентября 1979 года

Его зовут Seppsterreicher. Этого молчаливого до времени старика за столом в галстук бабочкой. Это псевдоним. На самом деле он Борис Львович Брайнин¹. Целый день сегодня я слушаю его — и смеюсь и плачу. И к ночи устаю и прощаюсь, только чтобы хоть немного донести до этой тетради.

— Моего следователя звали Далингер. Немец. Это было в саратовской тюрьме, куда меня в октябре 1936 года привезли из Энгельса (коммунист, он бежал из Австрии с приходом фашизма, когда подпольная жизнь стала невозможна, и работал в Энгельсе учителем среди поволжских немцев. Его жена и дочь погибли в Майданеке, а подпольная его квартира в Вене работала и тогда, когда он уже сидел у нас в лагере как шпион фашизма. — В.К.).

Я очень любил свою мать и не мог переносить русских ругательств. Далингер скоро понял это и провоцировал меня. И вот уже в 44-м году, когда я был в трудармии (уже не в лагере, уже вместо «гражданин» можно было говорить «товарищ»), я узнаю, что Далингер на соседнем лесном участке. Я прошу туда наряд, и, когда меня спрашивают, зачем, я отвечаю: «для коллекции судеб». Начальнику это нравится, и я иду. Вместо цветущего толстяка я нахожу доходягу и спрашиваю его: «Ты узнаешь меня, Далингер? Ты помнишь дело Брайнина?» Он бледнеет, и я успокаиваю его, что свою пайку он получит вовремя. Узнав, в чем дело, мужики начинают его бойкотировать, и ему остается только попроситься на другой участок, дальше на север.

Когда меня освобождали в 1946 году в ссылку, я еще раз поехал повидать его: «Далингер, меня освобождают. Скажи, за что ты посадил меня? Неужели ты верил, что я шпион? И что сделала с тобою судьба? Почему ты здесь?» Он был немногословен и только, подняв глаза, спросил: «Я защемлял тебе левую руку в дверь, чтобы правой тебе оставалось подписать протокол?» — «Нет». — «Я накачивал тебе воду в живот?» — «Нет». — «Вот поэтому я и здесь». Мне стало так стыдно, что я извинился перед ним. Их было много тогда — прокуроров, следователей, кто не выполнил план, кто еще во что-то верил.

Нижнетагильский комендант ссылки, знавший меня еще по лагерю, однажды спросил: «Что-то я не верю, что ты шпион. За что же ты сидишь?» — «Я сижу за то, что я коммунист». — «Ну, это ты брось, я тоже коммунист», — но лицо у него стало серьезным. Он вообще когда-то много сделал для меня. Теперь, если бы я стал писать о лагере книгу, я назвал бы ее «Похождения бравого зека вридола». Вридол — это слово встречается у Солженицына, но автор его я. Когда мы с братом — доктор математики Венского университета он и доктор филологии того же университета я (он потом уточнит, что учился еще в Сорбонне, слушал в Вене лекции доктора Фрейда и т.д. — В.К.) — валили первое дерево, это стоило видеть. Нам дали топор, вонючую тряпку в керосине, какой-то клин и пилу и показали, какое дерево валить. Нарядчик ушел дальше, а мы глядели на дерево и не знали, как за него приняться. Брат сходил на звук к соседям и, придя, поделился: они пилят его поперек.

И мы тоже стали пилить поперек. Скоро пилу заело. «Ты зачем ее держишь! — кричу я. — Мне тяжело». «Это ты ее держишь!» — орет он. Мы позвали нарядчика, он сказал нам, кто мы такие, и научил, что сначала надо делать заруб. Мы сделали, забили клин, и я сел отдохнуть, конечно, на тряпку с керосином, и брат уже боялся курить рядом со мной. Пила немного пошла, но скоро дерево опять село на нее, потому что надо было пилить с противоположной от заруба стороны, а нам казалось, короче с этой. Дерево не просто село, а как-то вдруг завертелось и пошло падать во все стороны

сразу. Брат кинулся в одну сторону, я — в другую, конвоир кинулся посередине сразу за обоими, решив, что мы ударились в бега, но нас и след простыл. Чуть потом обратно дорогу нашли. Обоих на сутки упекли в карцер.

Через месяц такой работы я весил 45 килограммов без гроба, у меня началась куриная слепота, и днем я видел одни круги, а вечером вообще ничего. Меня отправили на блатную работу — возить кирпичи на обжигной фабрике. Я обжигался, падал, это было очень смешно. Лучше не делалось, и тамошний начальник однажды позвал повара и меня и спросил у повара: «Как, по-твоему, он долго протянет?» — «Нет, — ответил тот, — он сдохнет довольно скоро». — «А кто же нас будет смешить? — развеселился начальник. — Возьми его и корми». Меня стали кормить как на убой. И это было очень страшно. Я съедал ведро баланды, не мог встать и сидел голодный. Это никак нельзя было объяснить. Но зрение стало лучше.

Я не знал русских песен, даже блатных, а петь очень любил, и возил тачку, наступая себе на портянки, которые так и не научился наматывать, и пел тирольские песни. Голос у меня был звонкий, и я ничего не видел вокруг. Однажды пришло начальство, и, услышав мое пение, вот тот будущий тагильский комендант окликнул меня: «Эй ты, Лемешев! Ты что кричишь? Ты в опере? Ты чем тут занят, кем работаешь?» — «Разрешите доложить, — говорю, — я работаю вридолом». Они переглянулись, вспоминая, что это за профессия: «Каким вридолом?» — «Разрешите доложить, временно исполняющим должность лошади». Начальник захохотал: «Ладно, зайди ко мне. Ты не будешь вридолом». И меня послали учиться на десятника, и я узнал марки древесины, правила валки и много других премудростей и вернулся в лагерь десятником. Мы валили строевой лес. План был большой. А тут однажды смотрю: какой-то шкет сложил сухие палки и ходит вокруг них. Я подошел: «Ты кто?» — «Заключенный Полгжебинский!» — «Ты считаешь, это лес? Тебя и последней пайки лишат, и ты протянешь ноги». — «Это не лес. Дайте мне ваш молоток». Я отдал ему свое маркировочное клеймо, ничего не понимая, а он вдруг пустился стучать им по своим палкам, и вышла чистая, звучная, даже веселая мелодия. Это был настоящий ксилофон. «Слушай, ты кто?» — «Профессор Варшавской консерватории». А я всегда безумно любил музыку и хотел играть. «Научи меня играть на скрипке». — «На чем угодно, — говорит доходяга, — только корми».

Скрипку он сделал сам (из «щепок, которые летели»), два дня не работало радио: он отрезал провода на ля и ми, и его никто не выдал. А смычок было просто сделать из хвоста — лошади в лагере были. Это был суровый учитель. Но зато я не только научился играть на скрипке и на гитаре, но читать ноты и даже записывать их с голоса. И потом выпустил два песенника народных немецких песен. Для этого в издательстве «Просвещение», где я их печатал, меня спросили о моем музыкальном образовании. Я назвал венскую школу дирижера Мойера, хорошо зная, что он давно помер и школы этой нет, а в душе поблагодарил великого Полгжебинского, который сгинул в 1942 году. Я писал ему норму по 200 процентов, отнимая у других по 0,25 процента, и никто нас не выдавал, а на утренних разводах его вызывали перед строем и показывали всем: «Ведь вот же, совсем не голиаф, а стахановец, а вы, сучьи дети...» Профессор скромно опускал глаза.

Там были прекрасные люди. Герои. Я читал Солженицына всего вдоль и поперек. Там все правда. Но только черная правда. А там были герои. В немецких хрестоматиях есть моя сентиментальная баллада «Иоганн и Иван», о том как на сплаве в заторе русский спас заключенного немца. Этот русский был конвоир. Я держал его винтовку, пока он сушился у костра (уже был снег) и, не попадая зубом на зуб, умолял нас, чтобы никто не проговорился о его поступке. И там были мудрые люди. Один добрый ветеринар при мне на конюшне, когда мы вошли и увидели, что конюх Гофман уже приладил веревку и продел голову в петлю, не закричал, не кинулся, а только окликнул: «Гофман, ты, кажется, собираешься повеситься?» — «Да», — просто и

печально ответил Гофман. «Но тогда пропадет твой ужин!» — так же просто сказал ему ветеринар. И Гофман пошел за баландой.

«Господи! — говорил мне, допивая в Переделкино за ночь вторую бутылку водки, Твардовский. — Ты дурак, Сеп, ты выбалтываешь это вместо того, чтобы писать и писать». — «Александр Трифонович, — сказал я ему, — я еще не устал ходить без конвоя».

Я перевел на немецкий первую главу «Онегина». Вот послушайте... Это страшно трудно, потому что каждый член предложения в немецком языке ведет себя, как добропорядочный филистер, у него обязательно должно быть свое место, и в этом его *Ruhig* и его *Ordnung*. Что хотите, а *war*, *hat*, *ist* должны стоять в начале или конце предложения, как перронные билеты, без которых немец не выйдет к поезду даже при землетрясении.

Лагерный жаргон я узнал еще в тюрьме и там же начал составлять словарь и записывать блатные песни. Это помогло мне потом выжить. Однажды уркачи взяли лагерный ларек. Дело было чистое, и, хоть все знали кто, начальство смолчало. Брал ларек бандит по кличке Москва — красавец и чистюля — с друзьями. После передела имущества остался «лишний» кусок колбасы, и тогда Москва объявил назавтра конкурс матерщинников. Пришло начальство, урки, политические. На столбе посреди двора висел кусок колбасы, под столбом сидело жюри: Москва, его заместитель Гарцев и шеф лагерных проституток 22-летняя красавица Роза Завьялова. Перед этим я не спал всю ночь. Вдохновение пришло под утро.

Соискатели выходили один за другим. Москва кривился от дилетантизма и звал следующих. «Можно я?» — я наконец решился. «Фраера не допускаются!» Но публика загудела, и жюри ушло совещаться. Через минуту мне было разрешено выступить в виде исключения. И я сказал! Москва встал и без обсуждения снял колбасу. Я рванул в женскую уборную и там смолотил кусок. Колбаса была копченая, и я не понял, сколько ее было.

¹ Брайнин Борис Львович (1905—1996) — австрийский и советский поэт, полиглот, переводчик поэзии на немецкий язык (в том числе «Евгения Онегина»). Был арестован НКВД в 1936 году, находился в лагерях Северного Урала и в трудармии, в ссылке в Нижнем Тагиле и в Томске. Реабилитирован в 1957 году. Написал мемуары о пребывании в лагере и в трудармии.

7 июня 1980 года

В «Литературном обозрении» затеяли дискуссию о роли критики. И никто не хочет признаться в главном, что критика сейчас — анатомирование трупов, а не соучастие в жизни. Проза и поэзия уже не хранят жизнь, а умерщвляют ее в муляжах и подобию. И критик ходит по мертвому дому и говорит с мертвецами, как с живыми. И выходит дом сумасшедших. Горше же всего, что и там, где книга жива, критик уже сам превращает ее в труп, что уж и вовсе бесстыдно и неблагодарно. Корабль плывет под парусами, надуваемыми самой командой, — корабль дураков, притворившийся «летучим голландцем».

15 июля 1980 года

Давно хотел записать, как на Введение внезапно был поражен лицами старух, идущих от причастия. Одно лицо краше, покойнее, печально-сосредоточеннее другого. На каждом так легко читалась судьба, полная лишений, преображенных Господом и смирением — в свет. Взгляд их был еще там, в Тайной вечере, и они не видели других молящихся и были впрямь отделены от них таинством. Не знаю, смогла бы схватить это сосредоточенное *со-причастие* жертвенной свободе кинокамера, но когда бы смогла, то лучшего портрета русской матери снять было бы нельзя.

22 мая 1985 года

Вечер и половину ночи с С.А.Алимовым¹, В.Клыковым и С.Ямщиковым. Решали национальные вопросы и разрабатывали меры по выправлению положения. При этом, естественно, перессорились. Клыков все время обвинял Алимова в слишком отвлеченном мышлении и требовал прямого дела. Алимов терпеливо вызывал в клыковской душе широту и терпимость, потом, видя напрасность этих апелляций, напоминал, что были иронисты по отношению к России не только среди евреев.

— А Некрасов! — восклицал Алимов.

— Это неудачный пример! — торопясь, отклонял Клыков.

— А Салтыков-Щедрин?

— Это неудачный пример.

— А Гоголь? — Это неудачный пример.

— А Чехов? — Это неудачный пример.

— Но что же удачный-то?

— Фет! — обрадованно противопоставлял Клыков.

— Это какой же Фет? Это тот, который родился от Афанасия Шеншина и дочки еврейского корчмаря, соблазненной им? Этот «полтинник»? — удивлялся Алимов.

— ...! — терял дар речи Клыков.

Славный вечер.

¹ Алимов Сергей Александрович (род. 1938) — российский художник мультипликационного кино, график.

23 мая 1985 года

Пошел показывать Булату Шалвычу, что написал о его романе «Путешествие дилетантов». Окуджава показывает портрет 45-летней Лавинии из своего «Путешествия» и рассказывает, что американцы прислали продолжение ее судьбы — замужества, замужества... Корит художника книги («Мятлев у него как преуспевающий член Союза писателей, а Лавиния — сущая дура из купчих»), потом записывает пронзительное стихотворение, из которого я делаю вывод, что схватил суть «Путешествия» верно. Дом тяжеловат, как-то буржуазен, хотя на стенах шемякинские картинки, карточки Набокова и все «виды» самого Окуджавы с друзьями и без, чучело ворона на черепе, безделушки, шпаги, пистолеты, кирзовый сапог с надписью «Будь здоров, Булат!» Иллюзия семьи (после принудительного возвращения его в эту семью при помощи партийного бюро, когда он улетел по следам своего бедного князя Мятлева за нечаянно явившейся Лавинией) с неслышным свистом сквозняков по дому. Было тяжело. Хотелось поскорее проститься, и я бежал. /.../

16 июля 1985 года

Не выходил весь день. Читал Конечского о Казакове и о том, как Е.С.Булгакова, ища на задах бесхозных кладбищ плиту для надгробия Булгакову, нашла таковую. Когда ее привезли и перевернули, на ней было написано: Гоголь.

28 ноября 1985 года

ОКНА. Однажды среди старых фотографий, которые оседают в наших домах, как пыль времени, я вдруг увидел, что часто снимаю окна. В деревнях, гостиницах, в домах, куда заносила судьба и под рукой оказывался фотоаппарат. Просто подходил к окну и снимал, не заботясь, чтобы в кадр попадало что-нибудь замечательное. Это было и не фотография, а так — настройка света и впечатления. А вот сейчас смотрю на эти ничего не содержащие снимки — и рама растворяется, врывается шум ветра, голоса и входит простое, как этот случайный снимок, воспоминание...

24 июня 1988 года

Сутра зашел в «мою» комнату Виктор Петрович <Астафьев>, поставил Альбинони.

— Нет еще равного ничего. То прибалты порнографию какую-нибудь сунут, то наши какие-то слюни. Есть еще нечто похожее в «Неоконченной» шубертовской симфонии. Всегда слушаю и думаю: как же ты, бедняга, намаялся! кто же это тебя так изранить успел? Там есть даже прямо в зал обращение: помогите! Хотя не мне, так себе помогите. Но — куда там человеку? До того ли? Наши вон дурни на эту музыку девок под водой показывают, как они ноги высовывают и попами вертят. Нет, правильно Толстой говорил: не жалко, что люди погибнут, а музыку жалко. Раскопают археологи однажды и все поймут про наше идиотство и гибель, но, если не восстановят музыку, ничего не поймут.

Тут же рассказывает, как Мравинский репетировал в Токио. Подымет руки, сыграет пару тактов — опустит, подымет — опустит. Никто ничего не понимает, и он сам говорит: «Ничего не понимаю».

Потом вдруг:

— Марк Соломоныч, — показывает на одну из вторых скрипок, — вы на чем играете?

— Да понимаете, Евгений Александрович, у вас строго, а я сегодня при сборах не успел забежать в отель — боялся опоздать — и вот играю на дежурной скрипке.

Репетиция была остановлена, и Марк Соломоныч отряжен в отель. Ох они Мравинского и боялись. И он никогда не ошибался в подборе музыкантов: если уж взял, они у него как прикипали, не менял. /.../

20 марта 1990 года

Позавтракал — и в гостиницу. А там почитал его <Астафьева> «Прокляты и убиты». Роман матерщинный. Бог ведь как и печатать будут. А отступить нельзя, потому как мат тут не для красноречия, а чтобы был как был, потому что мат — это часть общего тоскливого ужаса, какой-то привычной смертности, помойной заброшенности бытия в запасном полку: лагерь и лагерь, и от человека скоро мало чего остается. Особенно сильно и страшно написана смерть близнецов Снегирёвых — расстрел мальчиков, сбегавших к маме и счастливо вернувшихся с едой для своего отделения. И сколько поправок в сцене любви и в сцене расстрела! Как трудно укладывается текст, как ищет точности! Все до строчки переписано, и даже на обороте листа наворочено. Мысль выпрастывается тяжело, наглядно, бережно — подлинно роды, смотреть больно. /.../

12 июня 1991 года, Красноярск

— Видал, кедр-то? Ожил! Чистый медведь! А ведь я его на дороге нашел с раздавленным корнем. Принес, посадил. Хочешь, говорю, жить — живи. Смотри — принялся. Видать, не из балованных. Видал, шаг какой, стрелу какую пустил. Сразу видать — деловая древесина. На бумагу нашему брату — романы писать. И елки как взялись!

Тетка все качала головой: «На какого лешего ты их насадил? Ведь на их ниче не растет».

— А марьины коренья уже отошли, опали вон. И стародубы — это уж остатки. А так тон у него зеленее, гуще, тяжелее и сам цветок плотнее цветом. А сколько было медуницы! Все было сине! А это видишь? Это подснежники с Урала. И водосбор уже отошел. Я его теперь как-то больше люблю. Когда понял, что детство уже не вернуть, по цветам по этим больше тоскую и их жалею. Погляди вон у меня на столе. Это ведь только с моего огорода — белая сирень, жарки, водосбор, стародуб, венерин башмачок. А в лесу это еще чище, ярче. И птиц было весной! Шуры, зяблики, снегири не улетели еще.

Приехал, а тут снег вот такой! Западали птицы без корма. Я ходил разгребал снег, ребятишкам говорил: разгребайте, говорю, ведь птицам ись надо. Ласточки-береговушки уже по застрехам живут. Яры-то извели — норы не сделаешь. А прилетают всегда 21 мая. Еще 20-го глядел — не было, а утром выхожу — вот они! И так каждый год! Календарь! Никуда не садятся, летают, летают, оглядываются. Скопа жила прошлый год за Караульным Быком. Вороны прогнали. Они ведь, падлы, скворцов таскают. Чуть зазевались где мать с отцом — они цоп из гнезда, и пошла-а-а в лес молчком, боком летит, знает, что преступление совершила. У меня вот в скворечнике жил, все поглядывал. Я говорю: смотри, довысовываешься! Слава Богу, недавно вылетел. Ну давай, говорю, с Богом!

А во мне все разорено. Как и во всех. Роман-то потому и нейдет. Пока себя не соберу, и в нем ничего не уляжется. Даже первую часть не соберу, а во второй материал пойдет вовсе тяжелый. Сначала думал так во тьму и увести. А потом все-таки вижу, что надежда должна быть, выход должен теплиться. Не живет русский человек без надежды. Думаю, увезу своего героя к старообрядцам северным. Пусть к ним прибьется и с ними устоит. Они вон только сейчас из тайги стали выходить, землю брать. А как их травили! С вертолетов гнали, бензином жгли, загоняли совсем в смертные места, где и хлеб не родился, и картошка в ноготь. Но устояли! Если еще России постоять — она от Бога пойдет.

Ни хрена эти наши умники не понимают. Какие мы европейцы! Какая там литература? Откуда наплодилось этих снобов: «Я русскую литературу не читаю, советскую тем более»? Ну и дурак. А там на мир хватит, и мир это понимает. Да и в советской не все Бабаевские да Кочетовы. Одни Гоголь с Достоевским у нас чего стоят! Да и «малых» наших на их великую литературу наберется. Даже одной провинции, которую мы вторым сортом держим, — Случевский, Майков, Полонский. Романсы-то не зря на них Чайковские и Римские писали. Есть там этот тон пронзительный, судьба...

Сами себя не умеем читать. По Чигиринову вон какую уж серию показывают. Чего материал портить! Рижскую тут какую-то такую же безразмерную картину смотрел: ссылка, поселение, тоска. Подробно, скучно. И вдруг эпизод, как мать шестерых детей помирает в поезде и они ее где-то на полустанке хоронят. Наспех какую-то не могила — канаву вырыли, кладут, лицо закрывают, заваливают, торопятся. Младший руками гребет грязь, заплакать некогда. Отец мечется: не успеют, отстанут дети. Пошел поезд, бегут машут грязными земляными руками... Вот и все! Не снимай больше ничего! Тут тебе и ужас, и ссылки, и горе без исцеления. Нет, разведут...

22 июня 1992 года

Бесчеловечная отвага Н.Берберовой, горько хвалящейся, что у нее нет детей и внуков и потому она свободна говорить то, что говорит, и беспристрастно взвешивать добродетели и пороки своих бедных современников. Это блестящее мастерство, эта холодная ослепительность, эти мужество и ирония в конце концов вызывают жалость, словно эта блестящая жизнь на глазах изошла впустую. Как будто она жила не среди людей, а *сквозь* них или по касательной и вечно обернутым наружу зрением ни разу не впустила их в себя и не вошла сама. Человек был истреблен ни на минуту не закрывавшим глаза художником. Как это в письме к ней чудно выговорено Георгием Ивановым: «Бешеная, рвущаяся к жизни одаренность, как если бы была разорена оранжерея — весной *сквозь* выбитые стекла, покрывая весь мусор разоренья и то, что в почве уцелело еще от редкостных цветов, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь соками, лопухи».

Боюсь, так будет и с моими дневниками и более всего та же опасность будет касаться дневника монастырского, где наблюдательность отобьет веру и загорodит

глаза на самое существенное, без чего даже и самые точные страницы будут лишены живой правды.

5 сентября 1993 года

Астафьев стареет и злится, как старели и злились Толстой, Бунин — все жизнелюбцы, «естественные» люди, кто знал плоть жизни и умел писать ее лучше всех. Все на определенном пороге становятся желчны, публицистичны, «не могут молчать», разочаровывают читателя, выказывают дикие реакции на события и выпадают из жизни. Читатель не по инерции слушает их, но отходит в печали, потому что сам этот читатель именно в силу сродности своей, как ни странно, оказывается более духовен и вернее слышит середку правды, умеет найти равновесие духа и плоти.

28 марта 1994 года

Чем внимательнее всматриваешься в течение времени, вчитываешься в газеты, тем очевиднее делается, что история как шла, так и идет старинными дорогами лжи, двоедушия, притворства, насилия и решает все те же бездарные задачи — как прибавить себе территории. Выкачать из ближнего побольше денег, надавить и преуспеть. Бог ничего не переменял в мире, несмотря на внешний успех мировых религий. Вместо Него дела прочно ведет Инквизитор господина Достоевского.

Достаточно поглядеть на происходящее в Чечне, Таджикистане, Абхазии, Пакистане, Сирии, Югославии, Косово (только поворачивайся), чтобы увидеть, что новые силы зло и безжалостно теснят старые и нагლეют. И бесстыдство скоро берет верх над нормами века. Уже видно, что, как мы ни упираемся, арабы займут Европу, а мусульмане — наш юг и будут медленно теснить «белые» народы, пока не сживут их со свету, перестроят центр мира, родят новые государства и границы, выживут старые веры, отведя им в лучшем случае, как турки в Константинополе, приличный уголок, который никому не мешает. Но из которого можно сделать туристический угол и сдавать его заезжему иностранцу.

Страшно сказать, но похоже, что христианство — только ветвь эволюции, но эволюции не идеальной. Царство Христа не от мира сего. И христиане — это ветвь небесная, и ей нет места на земле. В истории мы только помеха, потому что не можем, не должны принимать ее правил, а по нашим она не может развиваться, потому что должна для этого стать историей небесной, то есть просто отменить себя. Пока на эту отмену не похоже, и значит, мы будем выметены вон или сплотимся и выйдем против мусульманского мира, но тогда перестанем быть христианами, ибо убийство даже в высших целях все-таки в последнем суде оправдано не будет. Мы можем победить только безоружностью, но это высшее оружие никто, кроме Христа, не использовал. На уровне креста не использовал, а одними святыми истории не перевернешь, даже если их накопится армия. Это все-таки армия одиночек. Христианин, кажется, вообще изначально одинок. То есть собеседник одного Бога, и больше, чем двое или трое, во имя Его собраться не могут. Если больше, то уже начинает действовать закон не Его, а эра четырех-пятерых, их промежуточное, объединяющее право, которое постепенно закрывает Бога.

16 марта 1995 года

Не написал Достоевский второго тома «Преступления», пообещав, что там начнется новое, сжег Гоголь свой второй «Мёртвых душ», где должно было явиться новое... И сколько еще! Не потому ли, что Россия все только обещает это новое и это обещание так явственно, что каждый слышит его в себе, но это вечно несбываемое новое не то что несбываемое, но и вовсе не имеющее сбыться, иначе русский перестанет быть русским. Вот мы сейчас на этом последнем пороге необходимой перемены и есть.

16 июня 1995 года

Съездил с соседом на Ману. Как все успело загадаться и обеднеть, обрасти дачками, каким-то жалким временным жильем! Какое-то вечное переселение, табор, шатры изодранные с иллюзией уюта и покоя. Каждый метр берега в битом стекле. У магазина «Рябинушка» вездесущие связки бананов, чужих апельсинов и такого глупого в русской земле киви.

Нет, теперь он <Астафьев> мне не даст покоя. Иногда он ведет себя так, будто его обманули. Он пришел в литературу, как все мы, — с испуганным почтением, с религиозной верой в святость «литературного иерея» и всякого «катехизиса». А они постепенно обнаруживают бедность, и лживость, и предательство жизни. И вот он крушит их всех подряд, не вчитываясь в оттенки. Устал быть верным. Наконец почувствовал полноту сил и счастливую возможность доверять себе. Опыт лет и читательское внимание понемногу исцелили от комплексов, и стало ясно, что можно говорить, что думаешь. Это зыбкое преимущество. На одно попадание тут приходится два промаха. Но эта бедная, хотя и выигрышная осмотрительная арифметика не для него: он узнал отравляющую сладость свободы прямого высказывания и уже не страшится поражений и разрывов, потому что освобождение покрывает все и все искупает.

Есть у Мандельштама в «Египетской марке» выражение «у него было ложное воспоминание». У В.П., как кажется, большинство «воспоминаний» ложны. Он не выносит мусора и незавершенности жизни, и тотчас одевает ее в сюжет, и так уже и носит воспоминания упакованными в сюжет, пока они не окаменевают там. Сравните воспоминания М.С. о поездке в Киев в вагонном сортире с изложением этого сюжета в повести «Так хочется жить», и станет ясно, что я имею в виду. При этом оговорки, что это «проза» и «повесть» и что герой не В.П., а Коля Хахалин, не будут иметь значения, потому что я слышал этот сюжет за десятилетие до повести в устном воспоминании с подлинными героями и сюжет там уже был построен. Со всей антропологической хищностью он тотчас оденет в сюжет и воробья на своей яблоне, и ворону, прилетающую из-за реки.

Вот, пожалуй, такая еще мысль: когда человек из народа уходит в интеллигенты, он чаще прописывается по новому сословию и уже мыслит «народ» отдельно, «они». А В.П. переехал в интеллигенцию со всем народным добром в себе и хоть тоже про них «они» говорит, но эти «они» все в нем, и способ поведения его вполне народен. Реакции крестьянские, живые, как у дерева и птицы. Только народ обыкновенно отстаёт от самого себя, пересиживает, до последней минуты удерживает привычное, чьи законы знает. А этот полетел вместе с историей и реагирует не сообразно ее историческим хитростям, а как птица под ветром — сразу, но только, в отличие от птицы, не безусловно, потому что исторические ветры не то же, что природные: они дуют во все стороны сразу, и не всегда выцелишь стержень. Он как в рукопашной. Пока еще разберешься, где кто, а пока в горячке сунул этому и тому. И нет-нет и своему заедет. Хотя нет, это не подойдет. Тут важно схватить именно природность реакции.

Народный интеллигент хорош в устойчивые времена, а когда все сорвалось, он в реакциях куда как неудобен. А тут еще пора зрелости, готовность мысли, да и общее вслушивание, уже избалованность, привычка к тому, что тебя не перебивают и ты всегда в сольной и активной партии, а остальные только сопровождение. Даже если не попадающее в тон и диссонансное сопровождение, то все-таки как реакция на тебя как вторичная, тобой вызванная. Утрачено диалогическое чувство, вслушивание полноты чужого и доверия этому чужому. Это возможно только при церковной или высокой нравственно-интеллектуальной дисциплине. Он не нажил ни того, ни другого. Он просто живой, естественный человек, который всегда в России тяжел.

18 августа 1997 года

Прочитал в переписке Б.Пастернака о его отце, который пишет дневник с беспредельной верой в историю — наивной и неколебимой. Только так и надо писать, иначе вообще браться за перо не стоит — без доверия к истории, без наивной веры, что твоё сочинение будет прочитано и верно понято. Настоящее писание не отнимает время у читателя, а строит это время, наполняет его, оформляет, попросту делает временем — из ничего, из пустоты. Время проступает в человеке при чтении, и он говорит себе: я есть. Только это и есть чтение — извлечь человека из пустоты бытия, из прочерка и наполнить.

21 декабря 1997 года

Читал А.Л.Шишкову — И.Бродского, «Письма к Постуму» («Римские элегии»), а он, перебивая, норовит прочитать мне Рубцова как ценность абсолютную по отношению к ценности субъективной, узкой, краткой, частной. Я понимаю его, но вдруг открываю, почему молодые люди больше любят Бродского и не слышат Рубцова. Они живут вместе с Бродским в словесном мире, за которым уже нет живой земной реальности. Слово взяло верх над миром. Оно наконец наполнилось сладостным тысячелетним для нас и двухтысячелетним для Европы смыслом, вобрало в себя все оттенки каждого понятия, нажитого за этот срок, и неизбежно стало больше сузившейся реальности. Реальность сиюминутна и коротка. А слово содержит и её, сиюминутную, и помнит все оттенки тысячелетия, и в нём космос мира, смыслы — дальше, чем в реальности. Между тем реальность ведёт себя так, словно в неё ничего не вместились, и она полнее слова.

Это легко проверяется на маленьких художниках. Совершенно послушные реальности, они списывают её верно и удивляются, почему глупый мир предпочитает им «словесников», которые ведь «мертвее» их «живой правды», тогда как на деле «словесник» охватывает большее поле ассоциации и ближе к полноте мира, чем этот бухгалтер мелочей. Но это совершается только при условии, когда поэт, как Бродский, обнимает словом смысл больших культур — иудейской, русской, английской. И слово-то остается вполне наше, но оно начинает мерцать глубиной, проступаниями иных столетий и вер, и мы легко узнаем в нём и свое, сквозь которое светит ещё и острота чужого, словно мы разделили чтение с кем-то умнее нас.

Настоящее, наше, рубцовское, этого не содержит. Оно только я и Бог, я и земля, полное слияние с материей мира, слышание, как «звезда с звездой говорит». А там мы слышим и поэта, и его слушателей, и тех, у кого звезды говорили до него. Потому поэзия Бродского — это всегда усталость, чуть пресыщенность миром. А у Рубцова — благодарность за «я есмь», даже когда пишет о тоске. Но тут есть опасность породить поэтов, которые сами-то слышат в слове глубину, но мы слышим в слове другое значение и потому равнодушны к нему. Он берет только оболочку слова, его интеллектуальный ряд, именно сразу ассоциативный, а не корни слов, не полноту его природных значений, не кровь их, как Бродский.

А короче сказать — пришло время, когда слово вошло в ряд реальности, стало не одним отражением мира, а самим миром. Мы «надышали» его за тысячелетия всей полнотой реальности, как надышана силой молитва, которая вытаскивает за волосы даже первый раз произносящего её человека, как намолена икона, содержащая в себе все мольбы и слезы стоявших перед нею в столетиях. И художник ищет в слове не только инструмент, но и соратника и противника. Это уж как подойти.

Если ещё по-другому сказать: будешь думать полно, страстно любить всем существом своим — слово откроется во всю ширь, а чуть себя выпятил — оно, как улитка, свернулось: и одно и то же, да не то. Выдохлось...

Кто-то сказал, что у древних было перед нами замечательное преимущество: они располагали временем, чтобы, не торопясь, разрешать для себя смысл происходящего и понимать природу вещей. И оттого их поэзия была высока, трагедия очистительна, а мысль несравненна. А уж сегодня, оглядывая происходящее хотя бы в литературе и театре, которые мне поближе и получше известны, машешь рукой: чего обдумывать-то! Уже никогда не будет ни «Войны и мира», ни «Короля Лира».

А вот причину разобрать недосуг. Отговариваемся, что талантов нет. Однако, если приглядеться, заметишь, что культура слова выросла чрезвычайно, что объявилась бездна стилистов, умеющих тончайшим образом воспроизвести мимолетное, способных задержать и описать дуновение ветра. А уж великолепных ремесленников и просто без счета, и они тебе хоть Гёте, хоть Достоевского передразнят. Но сказать долгой объединяющей правды некому или некогда. Художнику оказалось не по силам выбраться из мира, спрятаться для долгого размышления. Общество настигает его газетами, телевидением, радио и в последней глуши. Незаметно умерла культура частного человека и окрепла культура общественного, изводящегося в бегах пропитания и сиюминутной славы. А ностальгия осталась.

Мы тоскуем о духовной родине. Но тоска, если в нее вглядеться, какого-то странного свойства. Похоже, «Война и мир», как и шекспировы «Гамлеты», и не нужны. Нужны истины на каждый день, и они выделяются со скоростью дня, чтобы уже завтра перестать быть ими и уступить новым «истинам». Надо успеть понять и одеть в слова нынешнее утро. Будущее, пожелав узнать нас в лицо, найдет сотни маленьких книг и океан Соляриса, переосмыслив их, вытолкнет на поверхность дробного человека, в котором «отразится век», «и современный человек» будет изображен довольно верно. И явится из этого странный вывод, что умерла культура общественного человека, объединенного верой во всечеловеческое единство (как у толстовского Пьера Безухова: «И все это во мне, и все это я»), и окрепла культура частного человека, бежавшего из слишком общего мира к себе или малой группе собратьев.

6 ноября 2003 года

Прочитал Бродского о Платонове.

Вывел для себя нечто, о чем он говорит вскользь, что раз уж взялся за такое дело, как сочинительство, надо идти до конца. Не стесняйся успевающих или не успевающих. Не гляди на то, что рынок ищет поспешности и побеждает. Не бойся того, что макулатура может вытеснить все, не оставив никакого места твоим «умствованиям». Умствуй! Где-то сидит такой же «умник» и только ждет твоего приветствия, потому что сам робеет больше тебя.

Увы, я уже никогда не буду идти до конца. Не выучился ценить себя. Пропустил порог, за которым можно было напрячься и устоять перед натиском «города», «общего мнения». Все время бегал за «умными», стыдился своего деревенского. И когда осознал, было уже не догнать. Душа уже была опустошена.

Он замечательно говорит о том, что прочитать сегодня список более или менее значительных русских писателей — это все равно, что прочесть список жертв воздушной катастрофы, что катастрофа произошла именно в воздухе — в мире идей. Подлинно «взлетели на воздух» — заигрались в идеи! И оттого предали человека, а с ним, кажется, и веру, хотя только и твердим о «православной твердости».

Вот это — о вере — особенно болезненно. Я это очень чувствую по своему «Небесному Отечеству». Неуверенность в каждой строке. Незнание загоняет в угол, а сложность и метафизичность предмета и вовсе отнимает отвагу. Тоже, в общем, отделиваешься общими местами, декорируешь незнание уборами красноречия. Выезжаешь только на том, что другой еще неувереннее, чем ты, и знает не больше. А выход все равно в том, чтобы стоять перед Богом с достаточной твердостью. Не можешь узнать, хотя бы не притворяйся знающим, говори, что чувствуешь, опытом

души и лет. И говори, что это опыт души и лет. Легче простят, да и сами будут увереннее в себе, в голосе своей души. Обманчивость «успеха» развращает и, в сущности, унижает душу. Сам-то знаешь — что сделал. А все-таки поперек не скажешь и будешь выпячивать грудь, как будто действительно сделал что-то стоящее. Впрочем, что об этом сто раз? Тоже уж вроде кокетства. Молчи себе.

16 декабря 2004 года

Долгое чтение «Библейского словаря» с опять неожиданным чувством тесноты истории. Эти Неемии и Ассур, эти Ниневии и Вавилоны... Как начнешь отсчитывать от Рождества Христова, которое уже навсегда сняло время, сократило его на две тысячи лет, то все сразу кажется так недалеко. Словно с Рождества Христова это наша собственная биография, одна человеческая жизнь, а там уж деда и прадеда. И как начнешь с первого-то года при спокойно укладывающихся в уме двух тысячах, как одном мгновении, то и увидишь, что время — это только слово. А позабудь его — и мы все сверстники. Кто постарше, кто помоложе. И опять потянуло к этим камням, где время стоит, как полдневный зной (легко почувствовать, что Иисус Навин действительно остановил солнце).

Вечером смотрю финал «Жертвоприношения» Тарковского, эту несчастную атомную бомбардировку и неисконность. И общие мысли. Что вот жили, сустились, а все напрасно. Любили одних, а вышли за других, все чего-то хотели, а вот времени, оказывается, уже нет. И уже ничего не поправишь. Бедный, он из своей гениальности думал о том же, о чем думает каждый человек. И опять не был услышан.

26 августа 2005 года

Псковское радио в рекламе пригласило ветеранов войны зайти узнать о новом благоденствии властей, обещающем бесплатную доставку в морг, похороны за счет государства и оградки с плитами. Умирай на здоровье! Последний подарок героям.

26 сентября 2006 года

Все меньше различаю искусство — неискусство. Все слипается в ровной срединности. Один получше, другой похуже, но кажется, могут в другой час поменяться местами, потому что оттенки зависят только от твоего душевного состояния: сегодня повеселее, завтра погрустнее. Мощное дыхание ушло, а на уровне комнатного существования все одинаково. Один погромче, другой потише. Но все комната. Общий уровень очень возрос, но возрос опять же массой, толпой и оттого как был неразличим, так и остался. Только неразличимость стала эффектная и умеет удержать тебя, пока читаешь, в уверенности хорошего качества, так что, будучи в жюри чего-нибудь, можешь подумать: вот! Но не торопись, дождись завтра и другого сочинения и опять поймашь себя на мысли: вот! Но уже как будто чуть подпорченной мысли. А когда и третье, и четвертое «вот!», то это уже смущение: то ли ты оглох, то ли они все поумнели. Они поумнели, вот ты и оглох. И не оглох, а слух притупился, устал от высокой равнинности.

13 октября 2006 года

Вознамерился было, в подражание Дурьлину и Шмеману, вернуться к дневнику мысли. А мысли-то и нет. И день за днем откроешь тетрадку вечером, посидишь-посидишь над нею, да и закроешь, потупив глаза. А то, что придет на минутку, то тотчас норовишь в дело пустить, «вставить в книжку». Экономный стал. У Шмемана вон открою и только вздохну — каждая страница каждого дня полна сокровищами. А все потому, что небо не терял из виду, потому что диктует-то нам оно, а земля только слова и примеры подставляет.

9 декабря 2006 года

Вот, может быть, наше отличие от Европы и Америки. Они — дети дня и дела, а мы — дети ночи и сомнения, дети созерцания, памятования смерти, которая сразу отменяет все усилия, обесценивает их.

22 августа 2008 года

Эмигрантская литература подарила нам Россию — нежную, отдельную, словно и у нас ее отнимали и мы увидели ее впервые: эти прекрасные облака, которые не летят так ни над какой другой страной, эта тень «русской ветки» на руке, эти Бунин, Зайцев, особенно Набоков, его «пятнистый русский свет». И за всем вечный Адамович: «Когда мы в Россию вернёмся, о Гамлет российский, когда?»¹

Вдруг перечитал набоковскую «Машеньку» и заволновался, как при встрече, и даже на минуту отложил книгу, когда Ганин увидел фотографию Машеньки. И как ярко увидел последнюю главу, где Ганина поражают «трезвые» рассветные тени там, где он привык видеть поэтические закатные. И рабочие строят совсем новый дом, и стропила сияют свежестью, и все молодо. Значит, все — с тем кончено! И все впереди! Но мне уже не разделить этой бодрости Ганина, и всякое воспоминание прощально: оно уже не сулит нового. «Трезвый свет» уже только холоднее и холоднее, и под ним облетающее дерево печально, голо и не утешено светом заката. И теперь кажется, что и там, в Рождестве, тени Машеньки и Ганина уже не найдут приюта. Они и там сгорели, и «перрон!» портика навсегда опустел. Может быть, что-то насильственно театральное еще и может быть вызвано под эти колонны, но уже не нами и не для нас.

¹ Стихотворение Георгия Адамовича «Когда мы в Россию вернёмся...».

23 декабря 2014 года

/.../ Открыл свою адресную книгу недавних лет и ахнул: половины не помню. Кто это? О чем мы с ними говорили? Какие журналы они представляли и где эти журналы, какие проблемы занимали нас? И вот вычитал глубокую мысль у Р.Музиля, что «великой литературы нет потому, что она не нужна времени». Гений и Бог помешали бы сытым людям почувствовать, что их жизнь правильна. Так что нашим дням нечего сетовать на отсутствие большой литературы.

25 сентября 2015 года

Было у матушки русской литературы три сына. Старший, Виктор Петрович, — веселый, храбрый, нежный, умный, все норовивший взять на себя и за всех ответ. Средний, Василий Иванович, — как все средние, чуть с царапинкой, словно ему уже меньше любви досталось, чем старшему, да еще и ростом не очень вышел, так надо характером взять. И младший, Валентин Григорьевич, — тихий, все старающийся пройти незаметно, — чистый Алёша Карамазов. И столько было в нем тишины и любви, что его любили все и глядели с нежностью, именно как на младшего брата глядят. И оттого, что ему больше всех материнской любви досталось, он и узнал женское (не одно материнское, а вообще женское) сердце как никто: взять ли великую старуху Дарью из «Прощания», Настёну ли из «Живи и помни», переводя которую на японский, Харуко Ясуоко взяла да с последней точкой и крестилась в Православие с именем Анастасия, потому что знала теперь, как и за кого жить и как душу держать. И Тамара Ивановна («Дочь Ивана, мать Ивана»), берущая в руки оружие и возвращающая миру справедливость, раз государство не решается сделать это, — жизнь защищает жизнь. И назвав эту женскую и материнскую красоту, младший ушел, выполнив Господне задание до конца.

Ушел за старшими, сказавшими свою часть правды о русском человеке раньше. Теперь она в том человеке, каким он был от века, сказана вся. А нынешний родился

уже не в истории, а из перевранных ее учебников, он словно стал частью самого себя, и его осколки можно писать только осколками же. Жизнь ушла, осталась, как сердито говорил Толстой о Тургеневе, «литтература». Те трое были последними.

28 января 2016 года

Вот я прожил 76 лет. И что понял в жизни, в людях? Какие мог бы прошептать сыновьям слова, чтобы они держали их в памяти и нет-нет вспоминали и говорили: как был прав наш старик! Ни-че-го! Даже, кажется, и глупее год от года (как старый — что малый). Вот читаю Пушкина. Готовлюсь к слову о нем 10 февраля и вижу, как он чертит судьбу в любой запятой в вымаранном тексте, как читает замысел Бога о себе и боится пропустить эту запятую. А я вдруг вспоминаю, что и в текстах своих журнальных просил только не вписывать чужих слов, не править, а вычеркивать сколько угодно, как будто не понимал (да и не понимал), что вычеркиванием можно составить новый контекст, не переписав ни буквы. Уверен был, что всякое слово держит другое и они смысл в обиду не дадут. И никогда не перечитывал изданного, уверенный, что там все «по делу».

А уж теперь и не вспомню. И только по бедности «окончательно теперь вижу», что так ничего и не сказал. И не от трусости, а оттого, что всегда был дитем уличного контекста (какое бы ни стояло время) и только подтверждал «правду» этого контекста. Всю жизнь кивал. И так особенно было смешно, что кивал «независимо» в своей нарядной стилистике, так что будто был свободен и даже временами «смел».

Уж не первый раз думаю: какие дураки эти наши ученые! Все-то они пытаются писать и исследовать великие жизни и имена. Это так красиво и заметно. А пора бы написать и «почву», на которой всходят эти имена. Может, самое-то интересное и есть эти «прохожие», на кого никто не обернется. Ну, это понятно. Я пытаюсь спасти себя и «заинтересовать» мир, что вот-де зачем был нужен, а нет, не додумаю, потому что боязно: вдруг увидишь, что даже «почвы» нет, а есть одно «общее место» Голос из хора, перекрываемый этим хором до полной неслышимости. И хор-то унисонный, не многоголосье.

И чем далее с каждым днем, тем очевиднее это чувство пустоты и напрасности. Умри пораньше — и все казалось бы более-менее цельным, а вот время переломалось, поменялись ценностные границы, и все, что вчера числилось добродетелью, а то и отвагой, вдруг выветрилось и обнаружило внутреннюю пустоту. Оттого особенно мучительную, что время-то пришло более бедное, чем было, только одето пестрее и свободнее. Хотя коли распутинским взглядом поглядеть, то свобода эта поверхностна и развращает человека, освобождая его от нравственной серьезности и ответственности перед Богом и миром. Когда все «свободны», греха нет. Хватит, мол, находились строем, дайте по своей воле пожить, а своя воля-то только в потреблении да потакании себе.

17 января 2017 года

А оказывается, мечта-то моя сбылась! Как в детстве завидовал брезентовым ссутулившимся мужикам, которые ехали на последней площадке товарных составов! Качался над ними тусклый фонарь, а перед ними — уходящая вдаль матушка-Россия, во всю ширь, с полями, лесами, городами, полустанками сквозь солнце, тихий дождик, снег, долгую ночь. Теперь оглядываюсь и вижу, что так и проехал жизнь на подножках и площадках чужих текстов, сопровождая их до конечной станции — читателя — бедным часовым, автором предисловий и послесловий, такой же незаметный, как этот брезентовый человек под одиноким фонарем. Спасибо авторам и издателям, что нашли мне это для чего-то, значит, нужное место в конце состава, с которого так далеко видна жизнь.

Самостоятельная система

Разговор на полях Форума молодых писателей

В середине сентября в Ульяновске отгремел XIX Международный форум молодых писателей России и стран СНГ, который организывает и проводит Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, — традиционно самое важное событие года для начинающих авторов.

По наблюдениям участников, в этом году форум оказался особо плодотворным — тексты, которые молодые писатели предлагают для обсуждения, становятся сильнее и смелее, дискуссии ярче, на семинарах и круглых столах спорят, аргументированно отстаивают собственную позицию и не хотят останавливаться на компромиссах.

«Дружба народов» выступила в этом году полновесно: два семинара, четыре мастера — семинар прозы вели главный редактор журнала Сергей Надеев и прозаик, член редколлегии «ДН» Ольга Брейнингер, семинар поэзии — зав. отделом поэзии Галина Климова и поэт Дмитрий Артис. Двадцать пять участников из Челябинска и Алма-Аты, Смоленска и Нальчика, Ульяновска и Ставрополя, Москвы и Санкт-Петербурга, поселка Ключи Камчатского края, Бишкека, Ставрополя... (по популярности «ДН» поделила лавры со «Знаменем»), волнослушатели из других семинаров.

Президент Фонда СЭИП Сергей Филатов предложил модернизировать повестку форума. Литературным событием стал вечер поэзии мастеров. И не только по именам участников: эти люди никогда бы не выступили на одной площадке — в силу разности политических взглядов и эстетических платформ.

Тон работе задал круглый стол, открывавший форум: «Новое поколение молодых писателей на пути к читателю».

Модератор дискуссии, Дмитрий Бак, выдвинул несколько тезисов и возможных направлений разговора: например, о том, что жизненный опыт поколения не равен его же стилистическому опыту и что сегодня происходит демонтаж не столько советских, сколько постсоветских параметров культуры. Также Дмитрий Бак предложил следующее: поколение — это абсолютно самостоятельная система — стилистически, идейно, интеллектуально.

В развитие состоявшегося на круглом столе разговора публикуем размышления молодых писателей — и из числа тех, что прозвучали в Ульяновске, и специально написанные для «Дружбы народов», спорные, дерзкие, они подтверждают: пришедшее поколение писателей — это действительно самостоятельная система и во многом новое явление на российское литературной сцене.

Сергей Диваков, критик (г. Тверь)

Необязательность речи

Откуда вообще появляется такая проблема: объединить кого-то в поколение, говорить о молодых авторах как о поколении? Поколение — generation — этимологически это «воспроизводство». Не является ли в таком случае пресловутый поиск поколения поиском утрачиваемой функции культуры — функции воспроизводства определенных механизмов вычеловечивания, через подключение к которым и происходит появление и дление самой этой культуры?

Если это так, если утрачивается сам механизм (или эта функция переходит от культуры к технической цивилизации), то поиски некоего возрастного (поколенческого) среза оказываются лишь формальностью, не несущей в себе никакой содержательной структуры. Иными словами, поисковый запрос сформулирован так, что мы не можем получить на него релевантный ответ.

Отсюда — постоянно озвучиваемые мысли о замещении литературы другими средствами осмысления реальности. Например, телесериалами. Получается, что сериал может выступать как механизм культурной общности, как культурный код, благодаря которому люди чувствуют свою сопричастность чему-то их объединяющему, а книга нет? Почему? Ведь изначально книга поставлена в равные условия с другими текстами культуры...

Как мне кажется, проблема в том, что современная литература больше не создает читателя. Долгое муссирование той мысли, что перед литературой не стоит задачи что-либо сказать (понятой в буквальном смысле), борьба с ветряными мельницами big ideas — привели к тому, что литературе, зачастую, и правда нечего сказать.

Литература как самовыражение превратилась в литературу как самопрезентацию. Самовыражение — это решение неких бытийных вопросов, в которые упирается твое развитие, попытка справиться с тем, что по определению больше тебя. Самопрезентация, напротив, — простейший способ номинации, называния себя. Отсюда: перечень фамилий молодых авторов — через запятую и с предполагаемым в конце etc, уводящим в дурную бесконечность.

Почему так? Молодыми авторами опыт понимается как непосредственное переживание, данное им эмпирически. Однако опыт — это не просто событие (причем не обязательно носящее личный характер), а событие отрефлексированное. Только отрефлексированное (понятое, постигнутое) событие жизни переходит в категорию опыта.

Такого рода опыта в молодой литературе, к сожалению, практически нет. Она превратилась в набор личностных переживаний, в спонтанную описательность. Никто, что называется, не хочет додумывать мысль до конца. Вот и получается, что каждый, кто написал пост на facebook'e, — писатель. Кто же тогда будет читателем? Только «френды», которым автор поста интересен как человеческий экземпляр, а не как писатель.

Отсюда, к слову, и популярность в современной литературе жанра эссе, где вроде бы рассуждение, но нет — впечатление. Да и направленность такой редуцированной и переформатированной рефлексии все чаще смещается в сторону литературных

опытов, а не опыта жизни. Сравните, скажем, литературную эссеистику Александра Гениса с экзистенциальной эссеистикой Александра Гольдштейна. Современные авторы идут по пути литературной эссеистики, а потом обижаются, что читают их только студентки филфака.

Рефлексия свелась максимум к аналитике — как в журналистике. И книга сразу потеряла свою уникальность. Поэтому и сравнивают сейчас литературу с сериалами, журналистикой и т.д. Она ведь не предлагает ничего такого, что не могут предложить они. Откуда тогда возьмется читатель? Тем более что сериал или ленту новостей тебе подsunут ТВ или соцсети. А художественное произведение предстоит найти самому, задавшись прежде такой целью.

И выход для литературы тут не в необычности содержания, не в шок-контенте — этим никого уже не удивишь. Выход — в умении додумывать мысль до конца, умении выйти из постоянного переживания одного и того же опыта путем его полного отрефлексирования. Еще раз подчеркну — не выговаривания, а отрефлексирования. Просто выговоренный опыт — не опыт, а сырой кусок мяса, который так и не был прожеван.

Площадок для высказывания у современных авторов много — но это поле с более или менее однородной порослью. Читатель, не видя опорных точек, отказывается бродить здесь. Это как город без вертикальных архитектурных доминант. Он обезличивается. Ландшафт формируется не равниной, а опорными для взгляда точками. Пока этих точек нет, мы не можем говорить о современном литературном ландшафте, или, если угодно, поколении.

В целом новое поколение русской литературы преследует синдром, который я назвал бы необязательностью речи. В том плане, что речь эта возникает как бы спонтанно, как треп. И возникая, не ставит перед собой обязательств — пересоздать язык, литературу, культуру, мысль. Это то, что можно пропустить мимо ушей. С современным поколением писателей у читателя возникают приятельские отношения, а не дружба, флирт, а не любовь. Просто. Без обязательств.

Женя Декина, прозаик (г.Прокопьевск Кемеровской обл.)

Поколение интеллектуального фастфуда

По мнению некоторых ученых, полным ходом идет четвертая промышленная революция — меняется вся культурная парадигма, и чтобы понять, как же молодому писателю прийти к своему молодому читателю, следует рассмотреть поколение в целом и попытаться определить новую картину мира. И после этого понять, какое место будет занимать чтение, и как сделать так, чтобы текст все же доходил до адресата в новых условиях.

Европейские ученые называют родившихся с 1980 по 2000 Поколением Z (англ. Generation Z), американские — iПоколением или поколением «MeMeMe». Это последнее поколение, выросшее без интернета, но успевшее к нему частично адаптироваться.

Гарвардский профессор Тони Вагнер написал книгу «Создание инноваторов. Как воспитывать молодежь, которая изменит мир», которая вызвавшая бурную полемику и породила волну социологических исследований. К примеру, Тони Вагнер говорит о том, что новое поколение социализируется через интернет и проводит с электронными устройствами больше времени, чем с людьми. По данным Pew, это так — они отправляют порядка 88 сообщений в день и живут под постоянным влиянием своих друзей. «Давление сверстников анти-интеллектуально, — говорит профессор Марк Баурляйн. — Истории не известны люди, которые могли бы повзрослеть под влиянием одногодок. Чтобы развиваться, тебе нужны те, кто старше: 17-летние не взрослеют, если общаются только с 17-летними...». Они сомневаются в авторитете старших, считают школу игрой, в которую придется сыграть, чтобы получить диплом. Они не умеют ждать, не терпят монотонной работы и сфокусированы на себе.

Джозл Штайн из журнала Time опубликовал статью со статистическими исследованиями в поддержку идей Вагнера. Нарциссическое расстройство личности встречается у нынешних двадцатилетних втрое чаще, чем у поколения тех, кому сегодня 65 и больше; студенты 2009 года на 58% более нарциссичны, чем студенты 1982-го. Это поколение настолько привыкло к постоянным поощрениям, что 40% из них рассчитывают на повышение каждые два года, вне зависимости от успехов в работе и личной эффективности. Они одержимы славой: опрос 2007 года показывает, что школьники, которые хотят стать личным ассистентом известного человека, втрое больше, чем мечтающих стать сенатором. Они уверены в собственной крутизне: 60% из них считают, что способны интуитивно определить, что правильно, а что нет. При этом большинство из них все еще живут с родителями. Они действительно ленивы: в 1992 году около 80% людей в возрасте до 23 лет хотели получить работу с высокой степенью ответственности; 10 лет спустя этот показатель упал до 60%. При этом по сравнению с предыдущими поколениями они проявляют гораздо меньшую гражданскую активность и почти не принимают участия в политической жизни. Постоянный поиск дозы дофамина снижает креативность. По данным тестов Торранса, креативность молодежи росла с середины 1960-х до середины 1980-х. Затем падала — и резко обвалилась в 1998-м. Начиная с 2000 года, аналогичное падение показателей наблюдается относительно эмпатии, которая необходима, чтобы интересоваться другими людьми и точками зрения. Это, вероятно, связано с ростом нарциссизма и нехваткой коммуникаций «лицом к лицу». В чем они действительно мастера, так это в умении превращать себя в бренды с огромными хвостами из «френдов» и «фолловеров». «На Фейсбуке люди раздувают себя, как шары», — говорит Кейт Кембл, профессор психологии университета Джорджии.

В этих условиях и литература не может оставаться прежней. Авторы поколения не способны выполнять монотонную кропотливую работу, они не могут править текст, поэтому неуклонно падает качество. По этой же причине сокращается объем текста и меняется уровень осмысления. Новое поколение — позитивисты, они настроены на просмотр забавного контента, и глубокого осмысления реальности от автора уже не требуется. При этом они осваивают технологии и знают, как продвигать свое творчество. Но это умение их же и топит — растет конкуренция, и фрагментируется читательское сообщество — нынешнего автора читают его друзья. Увеличивается количество Я-прозы, мемуаристики, что обусловлено эгоцентризмом и желанием славы, но из-за постоянного общения с друзьями и сверстниками художественного уровня эти тексты не достигают и достигнуть не могут. Потому что позицию вненаходимости, первичную для создания художественного произведения, современные

авторы занять не могут — они ежеминутно существуют в едином информационном поле со своими друзьями, они боятся остаться без связи и постоянно рассказывают о происходящем фотографиями. Это развивает визуальное восприятие и разрушает образное. Интеллектуальная ценность знания тоже нивелируется — есть интернет и факт всегда можно загуглить, а потому произведение искусства утрачивает познавательный компонент. По мнению Джоэла Штайна, это приведет к тому, что читатель будет требовать от текста коучинга, повышения мотивации и подчеркнутой позитивности. Естественно, в таких условиях трансформируется и сама литература, утратив привычную жанровую систему и превратившись в короткие исповедальные посты в соцсетях.

Такое неутешительное положение дел наступит не мгновенно, конечно, но это тот путь, который мы должны постоянно держать в голове, чтобы по нему не пойти.

Степан Гаврилов, прозаик (г. Челябинск)

Краткий дайджест писательских идентификаций

Титул писателя означает только то, что писатель есть писатель. Но это не софизм, не уловка логики. Все просто: писатель — это человек, который собрал все свои идентификации, разочарования, свою тревогу и тоску, свои вожеления, свое неумное либидо, собрал все самое сокровенное и профанное под единым определением. Доказать другому, что ты писатель, как и отобрать у другого право ношения этого титула невозможно.

Писатель — это дерзость и вместе с тем низость. Но это то единственное, что есть у расщепленного субъекта, который понимает, что не хочет всю жизнь быть расщепленным.

Само рождение писателя (которое всегда — самопровозглашение, аннексия, совершенная на территории энтропии) от глаз постороннего скрыто. Главным образом, скрыто оно потому, что постороннему просто пофиг.

Но в XXI веке совершенно точно можно говорить о науке «археология писательских идентификаций». Задача такого археолога — откопать момент (священный!) появления писателя.

У Джима Моррисона он случился на хайвее, залитом кровью индейцев; у Достоевского — на эшафоте (хотя есть основания полагать, что значительно раньше); у Генри Миллера — в грязном нью-йоркском переулке, во время доставки очередного письма; у Андре Бретона — сразу после написания фразы «вот человек, разрубленный окном пополам».

Но все это уже музейные экспонаты.

Теперь к главному: почему нет «новостей писательских идентификаций»? Нужно вести актуальную летопись. Создать единую платформу в интернете, нанять смм-щика, чтобы пилил сторис и стримы, выпускать еженедельный листок. Со временем нам дадут ежедневные 5 минут эфирного времени на центральном ТВ. В каком формате это будет происходить? Можно просто зачитывать имена людей, которые

осознали себя как писатели, а можно вести более подробный дайджест. Пример прилагаю ниже.

О писательских идентификациях этих людей мне известно хорошо (так случилось, что нас связывают личные отношения, иногда и имущественные).

Булат Ханов

Как случилась идентификация:

Осужденный на серьезный срок за угрозы высокопоставленному лицу, Ханов понял, что ту тонну литературы, которую он прочел в своей жизни, можно перековать в слово.

Что из этого получилось:

Романы «Гнев», «Непостоянные величины», «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями», рассказы.

Читатели и критики отмечают, что проза Ханова — это текст «с холодным носом». Но стоит всмотреться в то, что лежит за этим поверхностным уровнем, становится ясно: вся проза Ханова — это анамнез психотического расстройства. И пациентом выступает в его прозе наше время. Его герои либо сексуально-озабочены, либо асексуальны, всегда подвешены в пустоте. Чтобы хотя бы как-то помочь им, автор не считает нужным сочувствовать. Отсюда — скороспелые суждения читателей о холоде в прозе. Ханов имеет свою радикальную общественно-политическую программу, которую старательно обнаруживает в своих текстах, но ее попробуй эксплицируй. Ханов, как даосистский мясник, разделяет буйвола строго по волокнам. Этому искусству он отдается всецело, и метафора про мясо становится столь увесистой, что Ханову пришлось стать вегетарианцем.

Дмитрий Ретих

Как случилась идентификация:

На охоте с дядями маленького Диму внезапно окутал туман. В вязком, молочном нечто мальчик бродил по лесу три дня. С тех пор Ретих пишет.

Что из этого получилось:

Повесть «Та самая костистая мексиканская марионетка».

Ретих — это коми-пермяк с немецкой фамилией, которого не то обозвали, не то окрестили enfant terrible деревенской прозы. Его повесть густая и вязкая, как добротный drone-эмбиент. Действие ее происходит у диких берегов коми-пермяцких речушек. Короткое исследование смерти, происходящее как бы со сбитой оптикой (вдохновленный Платоновым язык здесь служит именно таким инструментом); попытка осознания этого явления не в христианских терминах.

Михаил Фоминых

Как случилась идентификация:

На Чукотке и случилась.

Что из этого получилось:

Повесть «52 воскресенья на Чукотке. Записки военного врача».

Самая что ни на есть литература опыта. Герой, молодой медик, распределяется после учебы на край мира — под Анадырь. В то место, где, стоя на мху и кедровом стланике голыми ногами, титаны держат на своих плечах небесный свод. Это не просто инициация, это путешествие в миры жесточайшей концентрации бытия. Резать или не

резать, брать на себя ответственность или гнусно зассать? Вся нелепость в том, что это уже было; и мы, и, что главное — герой — читали подобное да хоть бы у Булгакова. Но в этом «уже было» приходится жить и спасать чужие жизни. А это уже не фикшн.

Владислав Городецкий

Как случилась идентификация:

На исповеди у святого отца в католическом приходе г. Щучинск.

Что из этого получилось:

Рассказ «Сверхновая», другие рассказы.

У Городецкого в прозе присутствуют два пласта: необъяснимый пласт глубоко-личных откровений и сухой и рассудительный пласт нарратива. Будучи католиком, Городецкий отдает предпочтение нарративу. К этому можно добавить его постоянные заигрывания с актуальной повесткой (политика, русский рэп). Но как художник Городецкий выбирает глубоко-личные, почти исповедальные мотивы. На этом неотрефлексированном конфликте и строится очарование его прозы: рождение ребенка, взрыв Бетельгейзе, судьба девушки-модели из веб-чата имеют единое основание. Еретический подход, если задуматься. Святой отец бы не одобрил.

Я очень надеюсь, что неравнодушные к литературе люди поймут важность ведения подобных дайджестов и приступят к составлению своих. Так вместе мы сможем создать хороший опорный материал для будущих археологов писательских идентификаций.

Юлия Рудченко, прозаик (г.Санкт-Петербург)

Молодая проза как пациент

В названии круглого стола «Новое поколение молодых писателей на пути к читателю» кроется два неизвестных.

Первое — есть ли в современной русской литературе те, кого можно считать новым поколением литераторов, представляющих молодую прозу. Второе — справедливо ли утверждение, что молодое поколение авторов является выразителем определенной общности.

Определений поколения и в истории, и в литературе было множество. Можно вспомнить «потерянное поколение», «поколение рассерженных» и поколение «дженерейшн пи» (поколение пепси). В названных определениях есть ядро — это общность, члены которого придерживаются одних и тех же идей и ценностей. Эти ценности едины у поколения в силу одного хронологического периода — 90-х.

Общая история и память, информационное общество, формат сетевого общения и поведения — все это объединяет молодых авторов в попытке осмыслить происходящее и вплести именно современность красной нитью в ткань повествования.

Темы:

— *Насилие и домашнее насилие*

Кристина Гептинг «Сестренка» — калейдоскоп современности: домашнее насилие, права женщин, булимия и Инстаграм.

— *Болезни, в т.ч. психические болезни*

Анна Козлова «F20» — провокационная и бескомпромиссная повесть о диагнозе F20.

Кристина Гептинг «Плюс жизнь» — жизнь Вич-инфицированного парня, который всегда хотел стать хирургом.

Обе этих писательницы рассуждают о необходимости дестигматизации болезней, выявляют стереотипы и штампы.

— *Школьный буллинг*

Евгения Некрасова «Калечина-Малечина» — о «выросших и невыросших», о школе, школьной травле, детстве и взрослении.

Феминизм и борьба за права женщин. «Феминистический тренд»

Оксана Васякина «Ветер ярости»

— *Культурная апроприация*

Ольга Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» — одиночество и свобода в век глобализации;

Азамат Габуев «Холодный день на солнце» — проза о Кавказе, свято чтимых там обычаях и глобализации, создающей настоящее вавилонское смешение.

«Мы живем неправильно», — в 2009 году сказала петербургская писательница Ксения Букша. В сборнике рассказов «Открывается внутрь» Букша пишет про людей сегодняшних — странных, сумасшедших, счастливых, несчастных, но непременно настоящих, утопающих в человеческом бытии.

В прозе Букши нет какой-либо поколенческой риторики и морализаторства, но есть самое главное — связь с современностью и особая оптика, созданная самим обществом.

В ста пятидесяти миллионной стране, где женщин значительно больше, чем мужчин, формируется так называемый запрос на представленность прозы о женщинах, написанных самими женщинами. Особый женский почерк и своеобразие тем.

Отличительной особенностью прозы молодого поколения авторов сегодня является восприятие созданного текста как продукта.

Инструменты маркетинга: изучение способов продвижения продукта и определение целевой аудитории.

Это способствовало появлению сетевой литературы, злободневной, ироничной и актуальной. Формирование литературы в жанре — Я-эссеистика как формы самовыражения.

Сегодняшний день дает молодому автору следующие возможности: представлять я-эссеистику на интернет-площадках с большим охватом аудитории; публиковаться в толстых литературных журналах, где текст получает экспертную оценку и проходит через профессиональное сито отбора; участвовать в литературных конкурсах с репутацией.

О состоянии современной русской литературы есть анекдот. Сердце бьется. Пациент поправляется. Уже начал ходить. Под себя.

В этом контексте современная молодая проза как пациент. Уже ходит. И пусть она далеко ушла от великой русской литературы XIX века — полнокровной и просторной — но в современной прозе есть главное — пульсирующий нерв времени и исповедь молодого поколения под масками лирических героев.

Артемий Леонтьев, прозаик (г.Екатеринбург)

Манифест новой российской литературы

Считаю, что на данный момент в современной российской словесности сложились две главные проблемы. Во-первых, я убежден, что нам, авторам, вне зависимости от возраста и степени известности, нужно научиться ярко выраженной стилистической индивидуальности. Для наглядности достаточно обратиться к живописи. К счастью, в конце 19-го — начале 20-го веков общество постепенно осознало, что крупного живописца не может существовать без своеобразного видения мира, творческой манеры и красок. Когда это начинали делать поздний Тернер, ушедший от академического реализма, осознав всю его несостоятельность, или романтик Делакруа, поздний Гойя, потом Мунк, Ван Гог, Гоген, Сезанн, Матисс, Климт, почти все импрессионисты, — современники считали их по меньшей мере дилетантами, по большей — сумасшедшими. Импрессионисты и постимпрессионисты, фовисты, экспрессионисты, сюрреалисты создали новую живопись — они расширили представление о ней, показав, что живопись это необъятная вселенная, в которой великое множество не открытых еще не только планет, но даже солнечных систем. Если наложить на российскую и мировую литературу матрицу живописи, то можно сказать, что подобный опыт расширения литературных границ и подрыва ее застывших традиций в полной мере состоялся в 20 веке. Так, например, можно сказать, что Андрей Платонов близок с ранним Пикассо и Иеронимом Босхом, во многом еще с Павлом Филоновым. Вместе с тем в эстетике Павла Филонова чисто энергетически и даже технически очень много Томаса Пинчона... Маркес и Кортасар в своих красках и атмосфере близки к Гогену, в цветах и энергетике Варлама Шаламова лично я вижу Эндрю Уайета, а, допустим, к таким, как Томас Вулф, Бруно Шульц и Пруст — опять же по своей изобразительной манере, краскам и энергии ближе всего импрессионисты.

К чему я, собственно, веду. То, как живописцы в 20 веке изменили представление о живописи, точно так же в свою очередь многие писатели 20-го века изменили представление о литературе, в каком-то смысле обогатили палитру литературных красок. Большое количество авторов создавали новую литературу, меняли представления о ее возможностях, формах, законах. Спрашивается, почему в современной отечественной словесности с трудом можно найти продолжение языковых экспериментов и опыта ПОСТРОЕНИЯ ПРОЗЫ, например, «Распада атома», «Щепки», «Москва-Петушки», «Романа с кокаином», «Красного смеха», малой прозы Замятина, текстов Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Поплавского, Велимира Хлебникова,

Введенского, Хармса, Андрея Битова, Фридриха Горенштейна, Аксенова, Евгения Попова и многих других? Я говорю не о подражаниях и стилизациях, а о продолжении освоения нового художественного пространства, новых форм — то есть пространства не в тематическом смысле этого слова, а именно в изобразительном.

Серьезная проблема современной отечественной литературы в том, что большинство авторов считает, будто проза может писаться только в сфере историй, то есть сюжетов, но литература — это не только сюжет. Какого бы совершенства изобразительности не добился автор исключительно сюжетной прозы, он все равно слишком ограничивает себя. Возьмем, например, Романа Сенчина, одного из крупнейших современных писателей, который достиг выдающегося мастерства и даже виртуозности в изложении простых житейских сюжетов. Да, местами это очень пронзительно и сильно, но что это по большому счету как не талантливые фотографии и качественные ксерокопии, снятые с окружающей нас действительности? Действительности очень серой и мрачной, которая и без того лезет из всех щелей повседневности, стоит ли плодить ее еще и в литературе? Художник — не ксерокс, не фотоаппарат, и он способен на нечто большее, чем просто качественные, пусть и очень талантливые фотографии и копии мира...

Или, например, очень большой писатель Леонид Юзефович, который ищет сюжеты в современной бытовой сумеречности, излагая их хорошим разговорным языком. Юзефович находит сюжеты в истории России и тоже излагает их *таким же хорошим разговорным языком*. Но проблема в том, что даже если Юзефович и Сенчин напишут еще по 50 томов, чего я им искренне желаю, по большому счету ничего принципиально нового они не скажут. Современные авторы слишком часто забывают, что писатель — это не только повествователь, рассказыватель, но еще и художник слова и формы. Нашей литературе сейчас, как я думаю, больше всего не хватает этих художников слова и формы. Литература не была только лишь сюжетом и историей даже в прошлых столетиях, уже в 14 веке Данте показал, что литература способна проламывать стены и делать почти невозможное, а интересно рассказывать истории могут и дедушка с бабушкой у печки... Я думаю, что здесь сказывается еще и определенный сложившийся среди большинства современных авторов стереотип, будто после эпох модернизма и постмодернизма ничего нет, поэтому лучше вернуться к стандартным литературным схемам реализма, в одних случаях очень среднестатистического, в других — высокопробного. Допускаю, что это даже не стереотип, а определенный комплекс творческой неполноценности.

В этом смысле кардинально отличаются — Пелевин и Сорокин. Они максимально дистанцировались от сюжетов и историй, вообще от содержательности. Сорокин с самых своих ранних вещей по сей день сфокусирован прежде всего на изумительных стилизациях и разрушении традиции соцреализма или реализма как такового, он весь ушел в стиль, но после прочтения очередного его эксперимента я понимаю, что во-первых, в общем и целом, все это уже было у него же самого, во-вторых, Сорокину как художнику попросту нечего больше сказать миру, то есть он, как талантливая рыба прилипла, вцепившаяся в тело литературной традиции и питающаяся тем, что можно высосать, высмеять, разрушить, но сама по себе не способная создать нечто новое, не смоделировать, а именно создать. Пелевин работает похожим образом, также играет в постмодернизм, выстраивает свои тексты по одним и тем же рецептам, как уставший бармен, готовит коктейли, набившие оскомину своим однообразием, жонглирует одними и теми же темами, образами и своим коронным чемоданчиком с доморощенной

философией. То есть если Сорокин, быть может, и не пытается наполнять свои тексты содержательностью, ограничиваясь работой со стилем, то Пелевин пытается дать своим текстам содержание через свой философский наборчик. Я хочу сказать, что в случае с примером авторов-постмодернистов, здесь хоть и другая крайность, казалось бы, в отличие от приведенных выше авторов-реалистов, но эта другая крайность воспринимается мной так же, как нечто не до конца полноценное в контексте всех тех ресурсных возможностей, которые в принципе скрываются в литературе.

Теперь несколько слов о сложившейся современной литературной моде, к моему глубокому прискорбию, таковая существует, к прискорбию, потому что ничто не тормозит развитие настоящей литературы так, как это делает мода-временка, которая здесь и сейчас работает на читательскую потребу, самым инертным образом отражая читательский сложившийся вкус, а подчас еще больше упрощает его, предлагая новым поколениям читателей упрощенные каноны и формы коммерческого склада; если вкус читателей 20-го века в России формировался на произведениях Гоголя, Достоевского, Чехова и Толстого, затем Серебряным веком и всеми теми ослепительными открытиями, сделанными позднее, сделанными вопреки нищете, вопреки цензурной изолированности, то есть **ИСТОРГНУТОСТИ МНОГИХ ТАЛАНТЛИВЫХ АВТОРОВ**, вопреки решеткам и расстрельным комнатам ГУЛАГа, то вкус молодых поколений читателей формировался в кризисные 90-ые годы, в годы развала не только страны, но и литературы. И если в 20 веке зачастую обворованный советской цензурой читатель все-таки умел отыскивать великую литературу своих современников-новаторов, опубликованную в самиздате или на страницах толстых литературных журналов, куда она чудом просочилась сквозь заслон цензуры, а потому эти журналы с тиражом в сотни тысяч экземпляров расхватывались и зачитывались до дыр, то сейчас читатель в новом темпе жизни, в условиях глобализации и переизбытка информации, слишком часто берет не самое качественное и ценное, а попросту то, что ему предлагают.

Самые яркие достижения литературы разных лет опережали свое время, именно они и делали литературу искусством. Почему-то современная, довольно незамысловатая наша литературная мода сложилась сейчас так, что большинство авторов пишут, будто Андрея Белого, Платонова, Фолкнера, Томаса Вулфа, Пруста Кафки, Бруно Шульца, Джойса или Достоевского просто не существовало. Я не вижу в современной российской литературе корневой связи с мировой традицией прошлого. То есть читать-то все всё читают, как филологи — и больше, но в своей прозе не тянутся корнями к опыту гениев.

Достаточно посмотреть, например, на «Письмовник» Михаила Шишкина, замечательного художника прозы, чтобы понять, вот какая своеобразная и интересная литература способна вырасти, если автор опирается на наследие, в данном случае Кортасара и Набокова. Интереснейший прозаик и драматург Дмитрий Данилов вырос из потрясающего Анатолия Гаврилова, Гаврилов в свою очередь вырос из Леонида Добычина — вот другой пример... Хочется, чтобы в России было больше самобытных писателей, таких как Денис Осокин, в котором есть что-то от Хармса и что-то от Саши Соколова; таких как Сергей Самсонов, который вместе с Осокиным, к слову говоря, слишком уж выбиваются из современной литературной моды, потому что растут не из прилепных и быковых, а откуда-то оттуда, из глубины земли... численность читательской аудитории Осокина и Самсонова или популярных и модных авторов — я уже не говорю про тиражи — сравнивать не приходится...

Хочется, чтобы было больше таких книг, как неординарная, очень кафкианская «Очередь» Михаила Однобибла, которая в итоге не входит даже в лонг лист «Большой книги», а в финале «Нацбеста» уступает, опять же, очень популярной «Зимней дороге» Леонида Юзефовича, написанной доступным разговорным языком.

Теперь несколько слов об упомянутом Прилепине, опять же для примера. Возьмем его роман «Обитель»... Да, это написано очень неплохим литературным языком, со своими определенными удачами, но несколько слов о сюжете: главный герой — Жан Клод Ван Дам, Рембо первая кровь — ходит-кришит безответных блатных, которые его почему-то не порезали в первую же ночь конфликта по тем законам и реалиям, которые так подробно описаны в мемуарах и литературе опытных сидельцев: Шириева, Шаламова, Солженицына, у которых почему-то даже десятки офицеров, сильные сплоченные мужские коллективы, очень редко одерживали верх над блатным беспределом, но у Прилепина герой чуть ли не в одиночку со всем справляется, всем раздает затрещины, с него всё — как с гуся вода, дальше у нас любовь с надзирательницей, которая, будучи женщиной, почему-то его допрашивает после всех тех дров, которые он наломал, еще дальше там и кладоискательство, и даже попытка побега возлюбленных, которые уплывают на лодке чуть ли не в закат, потом, правда, возвращаются. «Обитель» Прилепина построена по законам развлекательной литературы, опирается в своей традиции на какого-нибудь «Графа Монте-Кристо» — я не хочу сказать, что роман Дюма плохой, нет, это замечательная в своем жанре литература, я лет в 13 с упоением его читал, и я в этом возрасте его полностью исчерпал, никаких новых слоев открыть там при перечитывании в зрелом возрасте попросту невозможно! Тот же факт, что типично телесериальный сюжет Прилепина достаточно искусственно нагружен рассуждениями о жизни, приправлен поисками смыслов, борьбы с собой, и прочим, погоды, конечно, не делает... И когда мне в 21 веке премия «Большая книга» говорит, вот наш первый лауреат одного сезона и его роман, вот, мол, большая литература, а для меня это развлекательное чтиво для 13 лет, то я невольно думаю, то ли я дурак, то ли с нашей современной литературой что-то не так.

На мой взгляд, случай с «Обителью» очень симптоматичен — мы имеем за плечами опыт гениев, но опираемся то ли на Александра Дюма, то ли на традицию плутовских и любовных романов. И это ведь не случайно, что своеобразно опирающийся на опыт Кафки Однобибл пролетает мимо лонг листа «Большой книги», где на пьедестал ставится «Зимняя дорога» или «Обитель». Лично я отчётливо ощущаю в воздухе нашего литературного пространства некую тенденцию, которую можно выразить словами: «Дайте нам проще, дайте нам доступнее»... При этом всё чаще встречаются в критике какие-то дичайшие параллели и сопоставления наших современных авторов с величинами прошлых веков. Того же Романа Сенчина, например, часто сравнивают с Достоевским, не понимая, что талантливые романы и сборники рассказов Романа Сенчина это всего лишь несколько комнат в необъятной и очень разнообразной вселенной Фёдора Михайловича. Я думаю, что эти частые сравнения популярных авторов с величинами отечественной и мировой литературы также очень симптоматичны, потому что за неимением действительно объективных возможностей найти среди современных российских авторов кого-то, кого можно было бы поставить в один ряд с Достоевским или Платоновым, литературоведы и критики начинают ловить рака, потому что он, как известно, на безрыбье вполне сгодится за щуку. Для примера я открываю статью в Википедии на очень талантливый и действительно интересный роман «Петровы в гриппе и вокруг него». Читаю, дословно: «Роман

продолжает заложенную в произведениях Дж. Джойса, Т. Манна, Дж. Апдайка и др. модернистскую литературную традицию совмещения двух планов повествования — фабульного реалистического и глубинного мифологического. На поверхностном уровне история рассказывает о событиях в жизни семьи автослесаря Петрова как текущих, так и хронологически отстоящих от настоящего времени. На глубинном же уровне текста обнаруживаются многочисленные аллюзии к древним танатологическим и другим мифам, в частности об Аиде и Персефоне», дальше открывая портал Medusa и там, со слов Галины Юзефович, от этого романа «Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют» (конец цитаты).

Данные цитаты яркий пример того, насколько сильно наша задыхающаяся от однообразия российская литература оголодала. Стоит только появиться просто яркой, замечательной и своеобразной книге, то есть такой, какой она в принципе должна быть на уровне нормы, то на нашем безрыбье сразу же начинаются совершенно невероятные, на мой взгляд, слишком восторженные сопоставления и завышенные оценки. Сальников стал сейчас очень популярными, и это замечательно, автор этого заслуживает, но, во-первых, давайте не будем гиперболизировать наши оценки, приплетая сюда и Гоголя с Булгаковым, и Манна с Джойсом, а во-вторых, я не сомневаюсь, что среди молодых прозаиков уже началась волна подражания этому автору. Не сомневаюсь, что подобная волна подражания началась и с Яхиной, которая была также восторженно переоценена по той же точно формуле про рака и рыбу.

Нужно опираться на прошлый опыт мировой и отечественной литературы, цепляться за него корнями, растить в себе эти корни, чтобы дотягиваться до прошлого, а главное — начинать писать с того места, на котором закончили прошлые поколения, оборвав свой путь смертью. Отсутствие связи с гениальным прошлым наследием делает нашу российскую литературу местечковой и неполнозрелой.

Я считаю, что молодым авторам нужно научиться опираться не на старшее поколение писателей, потому что оно хоть и умеет писать хорошо, а иногда и виртуозно, и все у них вроде бы на своем месте, одно к одному, но по-настоящему удивительного в современной российской литературе все-таки почему-то практически нет.

Также я думаю, что говорить, о проблемах МОЛОДОЙ российской литературы в каком-то отдельном ключе не совсем верно по той простой причине, что нет и не может быть проблем молодой литературы, есть проблема всей современной отечественной словесности. Не говорить о кризисе прежде всего текстов старших авторов и цепляться за границу до тридцати пяти лет, значит не понимать закона преемственности поколений. Лауреаты «Большой книги» или «Нацбеста» пишут так, как будто в 20-ом веке русской литературы Кржижановский и Платонов просто не ночевали. Как будто в 19 веке не существовало Гоголя. А ведь смелый эксперимент в советской литературе так часто заканчивался арестом, травлей или расстрелом, поэтому совершенно без пафоса можно сказать, что лучшие из наших предшественников создавали свои самые яркие вещи с риском для собственной жизни... Произведений Кржижановского вообще не публиковали, Платонова превратили в затравленного мученика и изгнанника, при этом их опыт сейчас игнорируется современными авторами. Складывается впечатление, что все эти эксперименты и открытия в прошлом делались для того, чтобы университетским филологам в 21 веке было что изучать, а современные же крупные авторы: Сенчин и Юзефович, Быков, Прилепин, Яхина, а также Людмила Улицкая, о прозе которой очень точно сказал Андрей Немзер, что Улицкая «это литература для интеллектуальных домохозяек на пляже» (конец

цитаты) — все эти авторы пишут по большей части разговорным языком, используя самые стандартные схемы построения прозы, то есть держатся подчеркнуто изолированно от этого новаторского прошлого русской и мировой литературы. В последние лет тридцать у нас проза создается именитыми авторами так, будто наша литература находится в первобытном и пещерном состоянии, в своеобразном историческом вакууме, словно за плечами нет двух веков величайшего наследия, а есть только какая-то современная сомнительная мода на невзыскательную читательскую потребность... Современные авторы перестали осваивать новую языковую и художественную руду, перестали открывать новые материки...

Ну если уж старшее поколение авторов работает так, то и молодое невольно будет плестись следом за всей этой вторичной, умирающей, провинциальной — в масштабах мировой культуры — российской литературой, которая в своем грандиозном прошлом так многому научила и европейских, и японских, и южноамериканских писателей. Получается, что молодые авторы, равняясь на поколение лауреатов главных премий страны, имитируют имитации и подделывают подделки, а нужно просто вернуться если и не к первопроходчеству, то по крайней мере к смелому продолжению традиции всего самого яркого и выдающегося, что было в прошлом.

Обычно манифесты заканчиваются восклицательными знаками, в данном случае я предпочитаю закончить его риторическим вопросом: «Каков же этот путь к читателю? Спрос рождает предложение или же все-таки предложение рождает спрос, то есть в данном случае формирует читательский вкус?»

Василий Нацентов, поэт (г.Воронеж)

Как перед смертью

Я идеалист. Идиот-идеалист. Могу себе что-нибудь напридумать, искренне поверить и с верой этой жить и страдать от того, что все вокруг случается как-то не так (чуть ли не мне назло!).

Однажды я поверил в «оттепель». Через полвека. Поверил и решил, что родился не вовремя.

И вот теперь грущу. О времени и о себе. О том, что мы прошли мимо, разминулись. О том, что мы не хотели и не могли встретиться. Как птица и рыба. Единственная возможность понять друг друга — быть пойманными, взятыми врасплох. Навсегда. Без права переписки с прошлым. По-моему, слишком высокая цена за радость встречи с современником.

Есть у Цветаевой: «Быть современником — творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновика...»

Люблю эти слова. И при любом удобном случае цитирую. Они мне — костылями. Как рифма в жиденькой строчке. Все-таки важно оглянуться и найти: да, я не один,

да, может быть, не во мне дело, и это все — они. Оглянуться и успокоить себя — построить в воздухе, в языке дом и довольствоваться тем, что он хотя бы не на песке.

Действительно — так надежнее.

Тем более, что мой язык для современника — если не мертв, то причудлив и непонятен. Нам не только не о чем говорить — нечем.

За окном — городским и пластиковым — кипит ночная жизнь. Мое поколение развлекается. Из долетающего до десятого этажа потока слов могу разобрать только матерные. Это нас и роднит...

(Сейчас читатель должен поморщиться: «Делать ему нечего! Брюзжит в двадцать лет!» И ладно. Читатель, как покупатель, всегда прав.)

А моя желудёвая шляпка со старого Чёрного пруда (нашел ее, серьезную и детскую, похожую на промасленную шоферскую кепку, в кармане льняных брюк, когда прятал на зиму летние вещи) — и этого не понимает.

Счастливая.

...Самое интересное — выразить дерево. Или стрекозу. Наполнить ее жалостью — хотя бы к себе самой. В природе этого никогда не было. И никогда не будет. Сострадание подорвет самые основы животного существования. И оно станет прекрасным. И конечным. Все изменилось. Со времени моего выдуманного прошлого — все изменилось. Липы у старого здания института выросли, заборчик, окружавший овальную клумбу недалеко от парадного входа, сожгли, голубое небо стерли. Я, кажется, помню все. И послевоенного Лемешева в шикарной шубе, и американскую делегацию, целующую на коленях наш чернозем, и молодую Пахматову с мокрыми от дождя летними цветами, и сам долгожданный дождь, и американские колени, и шубу, и войну... Я помню все — я ничего не знал. Зияющий простор. Там, у Черного пруда, на мостике через небольшой бетонный водослив, уже на закате я увидел прадеда. В легкой куртке. С непокрытой лысеющей головой... И стало хорошо и страшно. Как перед смертью.

Каменная Степь, июль 2019 года

Булат Ханов, прозаик (г.Казань)

Число «35» утерало всякую условность

Само положение вещей подталкивает всех причастных к литературе к тому, чтобы разделять ее на молодую и взрослую. Число «35» утерало всякую условность и обосновалось в названиях и положениях премий и литературных форумов. Молодые авторы имеют двойственный статус. С одной стороны, им везде дорога и почет. С другой, целый набор плюшек и поблажек ведет к тому, что к писателям до 35 лет относятся со снисхождением и отводят им свою песочницу. Лермонтов написал «Героя нашего времени» в 26 лет, Диккенс в 25 выдал «Посмертные записки Пиквикского клуба», настоящую энциклопедию английского юмора.

Нельзя представить, что современный литератор, пишущий на русском, до тридцати пяти замахнется на энциклопедию. Не по Сеньке шапка и все такое. А если и замахнется, то размах его по достоинству не оценят. Молодость — это рекламный миф, но за молодость надо платить.

Но есть одно основание, которое объединяет «молодых» и «взрослых», а именно страх выпасть из обоймы. Субъект, угодивший в поле литературы, оказывается охваченным тревогой. Тревога эта носит особый оттенок, она подспудна и неочевидна. В ней редко отдает себе отчет тот, кто ею заражен. Если даже отдает, то никогда в ней не признается. Тревога предъявляет пишущего субъекта другому, срывает покровы, в которые литератор, боясь уязвимости, тщательно себя обернул.

Тревога эта выражается в чрезмерной озабоченности своей судьбой. Литератор живо реагирует на каждое упоминание о нем. Он оставляет едкие комментарии на ругательные рецензии, при этом подчеркивая свою невозмутимость, он благодарит критиков за хвалебные отзывы. Литератор напоминает о себе постами в «Фейсбуке», заводит «Инстаграм», канал в «Телеграме», периодически дает интервью и участвует в подкастах, если зовут. Время от времени он примыкает к определенным литгруппировкам, в крайних случаях подписывает открытые письма и присоединяется к флешмобам, но приверженность эта носит по преимуществу ситуативный характер, потому что литература — дело одинокое. Пожалуй, это единственное, что остается неизменным.

Подготовка к публикации Ольги БРЕЙНИНГЕР

Ольга Балла

Путешествие Книжника на край ночи

Виктор МАРТИНОВИЧ. Ночь: роман / авторский перевод с белорусского. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. (Другая реальность)

Первое, что стоит помнить, открывая новейший роман Виктора Мартиновича: это — текст никоим образом не для простодушного чтения (независимо от того — нет, вернее, в сложном взаимодействии с тем — что сделан он во многом по лекалам массовой культуры — и не столько даже литературы, сколько фильмов и компьютерных игр; назвав свою рецензию на книгу «Ночь как квест»¹, одна из первых ее рецензентов, Марина Охримовская, точно подметила ее структурную особенность). Это — текст адресованный, притом двояко, и не мы с вами, дорогие собратья по русской культуре, главные его адресаты. Хотя да, одна из двух версий, в которых писан текст, — русская, но это — символический шаг, адресованный едва ли не в первую очередь белорусской аудитории, сознательная работа с ее читательскими и прочими привычками.

Вообще со своим белорусским контекстом книга связана куда большим числом ниточек, чем мы можем себе представить. На самом деле книга очень во многом на него ориентирована — и не только в том отношении, что все многообразие, которое успевает посетить в своих странствиях главный герой, Книжник, уместается в пределах Белоруссии (он зашел вообще далеко, до самой Индии, но это уже за пределами его рассказа). Это — может быть, даже прежде всего прочего — высказывание ситуативное, актуальное, ведущее интенсивный диалог с соотечественниками, современниками и сокультурниками автора.

На всем протяжении текста Мартинович постоянно подмигивает своим белорусским читателям, знающим то же, что и он, и, насколько можно судить, они прекрасно это считывают. «Там-сям в повествование врываются, — замечает один из них, — реальные люди, например, Risky Guys, которые на велосипедах проехали по Беларуси. И тут же с ними жестоко расправляются. Наверное, фильм Мартиновичу не понравился»². Не говоря уже о скрытых и не очень цитатах из белорусских классиков. Так, фраза «Не одинок я, со мною Герда» (Герда — собака главного героя), в белорусском варианте — «Я не самотны, я Герду маю», на самом деле — реминисценция из Максима Богдановича: «Я не самотны, я кніжку маю», — так поэт писал о своем единственном сборнике, вышедшем при его жизни³. «В тексте романа, — замечает

¹ <https://schwingen.net/2019/noch-kak-kvest-novaja-kniga-viktora-martinovicha/>

² <https://euroradio.fm/ru/lyubov-i-vitya-noch-martinovicha-konec-sveta-v-epohu-heppi-end>

³ <https://schwingen.net/2019/noch-kak-kvest-novaja-kniga-viktora-martinovicha/>

интервьюировавший автора журналист из белорусской версии «Комсомольской правды», — есть цитаты из Короткевича¹, как раз и создававшего белорусский героический миф² (и Мартинович тут же подтверждает: «“Ноч” — это и трибьют Короткевичу»³, преследующий, как он признается, совершенно определенные цели: «Возрождая интерес к Короткевичу, я хотел напомнить: традиции есть»⁴). Читателям за пределами отечества Мартиновича вряд ли скоро придет в голову, в чем состоит белорусский героический миф, тем более, вряд ли он опознает цитаты из Короткевича и не всякий даже вспомнит, кто это такой.

Весь этот контекст, без которого книга читается по меньшей мере наполовину, известен читателям по эту сторону русско-белорусской границы едва, если вообще; но даже если как-то известен — мы, что гораздо важнее, не вовлечены в него эмоционально. Само по себе это, разумеется, не беда, такова обычная ситуация с инокультурными текстами. Правда, возможна разная степень контекстуальной привязки. Читая книгу вне ее родимого контекста, мы не только многое теряем — мы тем самым и повышаем уровень требований к ней, универсализируем ее: читаем ее не как реплику в разговоре со своими, но по большому счету. Выдерживает ли «Ночь» внеконтекстное прочтение, в какой степени она его выдерживает и чем предстает при таком прочтении?

Второй, немногим менее (или не менее?) главный адресат «Ночи» — аудитория всевропейская, а то, в пределе, и мировая.

«Для “Ночи” я ставил задачу <...> — признавался Мартинович с некоторым даже простодушием, — создать нечто новое не в Беларуси, а в принципе — сюжет, героя, текст, который можно продать в Европу, потому что там подобного нет. И для меня лучшей похвалой было письмо от моего немецкого литературного агента Томаса Видлинга. Он написал внутреннюю рецензию на «Ноч», сравнив ее с Мураками, отметив философские уровни»⁵.

Так удалось ли создать «нечто новое в принципе»? (Ну да, словечко «продать» само по себе наталкивает на мысли если не о коммерческой сущности проекта, то, по меньшей мере, о коммерческих его обертках. Но отвлечемся.)

Посмотрим.

Что касается жанровой принадлежности «Ночи», то в первом приближении (только в первом, но тем не менее) — это постапокалиптический травелог. Путешествие по Белоруссии и за ее пределы после некоторого — неизвестно, в силу чего произошедшего — конца света. В самом буквальном, буквально, чем когда-либо, смысле: прежний мир кончился не взрывом, но всхлипом — солнце просто перестало двигаться по небу. Время застыло в той самой точке, где его застала эта остановка. Над Европой встала ночь, предположительно вечная (если еще точнее — для Минска, который интересует автора главным образом, это — сумерки перед самым рассветом). А с нею, для полноты воздействия, — не менее вечный ноябрь — поздняя осень, почти зима, с постоянной температурой «каля нуля», с непреходящими заморозками. По крайней мере, в Минске и окрестностях — точно она. (Кстати, само это исходное условие всего происходящего в тексте, оказывается, — характеристика современной автору Белоруссии. Совершенно неслучайно то, что солнце над ней замерло именно в ноябре, а не в цветущем мае: «За прошедшую жизнь я привык, — высказывается главный герой «Ночи», — считать свою родину стылым, непригодным для жизни местом, скучать по которому можно разве что попав в пекло».)

¹ Владимир Короткевич (1930—1984) — белорусский писатель, поэт, драматург, сценарист, признанный классик, один из самых ярких белорусских авторов XX века.

² <https://www.kp.by/daily/26897/3942761/>

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ <https://www.kp.by/daily/26897/3942761/>

С остановкой солнца почему-то рушится — благополучно функционировавшая во все прежние ноябри и зимы — цивилизация. Исчезает электричество (тем не менее почему-то очень ценятся единственные сохранившие значение энергоносители — батарейки: под именем «цинка» они становятся в новом мире заменителем денег, которые исчезают тоже). Пропадают все виды связи, включая, разумеется, интернет. И вместе со всем этим гибнут прежние формы социальных связей, включая государственность. Районы Минска превращаются в очень различно устроенные города-государства: «Вольную Грушевку» — откуда и начинается свое движение главный герой, «Бандитский Институт культуры, рабовладельческую Кальварию и королевство Центр»¹ (это очень напоминает разное устройство жизни на разных станциях московского посткатастрофического метро у Глуховского). Что делается за пределами бывшей столицы — вообще неизвестно: ведь связи нет; разрывы между бывшими городами заполняет темнота, которую воображение немедленно населяет химерическими существами. Мир проваливается в архаику.

Происходит все это не в будущем, но, скорее, в параллельном настоящем: цивилизация, застигнутая катастрофой, имеет все признаки нашей сегодняшней, так что в некотором смысле перед нами — альтернативная история (хотя да, повествование ведется из будущего: рукопись Книжника нам представляет индус, годы спустя разыскавший ее в одной из лавок Калькутты и переведший ее на английский язык со специально ради того выученного белорусского). События, о которых пишет Книжник, отделены от катастрофы несколькими годами: мир еще подбедает прежние запасы, еще полны сил люди, все навыки которых сложились в докатастрофическом мире. В отличие, скажем, от «Кыси» Татьяны Толстой, где посткатастрофичность уже обжита, тут она еще нова — Мартинович описывает мир в состоянии перехода.

Сделать с этим, как со всяким порядочным (пост)апокалипсисом, ничего нельзя. Можно только — раз уж ты все-таки предполагаешь жить — как-то его обживать. Как-то в нем устраиваться — используя его возможности: хоть и редуцированные по сравнению с возможностями прежнего, докатастрофического мира, но все еще вполне многообразные.

И это, пожалуй, — самое интересное, самое плодотворное в «Ночи»: множественность смоделированных автором человеческих миров, возникших на обломках погибшей цивилизации (даже независимо от тех целей, иной раз вполне утилитарных, которые ставил себе автор при их моделировании), их быта, человеческих типов, языков.

Сама по себе постапокалиптичность «Ночи» — так сказать, выговаривание важных для автора идей постапокалиптическим языком — характерна и симптоматична (еще чуть-чуть, и можно будет сказать — рутинна). Есть времена, особенно восприимчивые к утопиям (таким был предыдущий рубеж веков), и есть те, что наиболее чувствительны к антиутопиям и (пост)апокалиптике, — наше как раз таково. Обилие (может быть, даже нарастающее) постапокалиптических текстов, сама востребованность таких сюжетов и писателями, и читателями — свидетельство высочайшей тревожности в социуме, своего рода защитный механизм: в этих проектируемых, управляемых сновидениях-кошмарах люди как бы заранее обживают мир по ту сторону вероятной катастрофы, примериваются к различным вариантам возможного обитания в нем.

Что из известного нам можно поставить в соответствие «Ночи»? Русскому читателю первым делом придет на ум цикл романов Дмитрия Глуховского о «Метро» 2030-х (и общих черт с миром «Метро» у «Ночи» множество), а из совсем нового — «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина (тоже травелог по части мира, уцелевшей после глобальной катастрофы), «Вонгозеро» Яны Вагнер (тоже «роуд-муви», как обращает

¹ <https://news.tut.by/culture/611552.html>

внимание Галина Юзефович в статье, где книги Вагнер и Мартиновича рассматриваются одновременно: «охваченная хаосом и смятением страна, где деньги обесценились, а продовольствие, чистая вода и бензин — единственный залог спасения, оказывается аренной, на которой герои вынуждены постоянно преодолевать страх, а главное — принимать тяжелые, порой безнравственные решения»). Упомянутый Юзефович там же «Пост» Глуховского — продолжение той же линии: за ярославским Постом «земли возрожденной Московской империи заканчиваются, а начинаются тянущиеся вплоть до Владивостока неисследованные пустоши»¹. (Как же тут не узнать накрытую Ночью, дичающую и неведомую Беларусь Мартиновича? — Вряд ли это влияние — «Пост» вышел только что, одновременно с «Ночью». Тут, скорее, устойчивые мотивы: вот-вот, и можно будет говорить о постапокалиптическом тексте современной словесности, а может, уже и пора.) Мне хочется припомнить еще и самый, пожалуй, сильный, тонкий и сложный из русскоязычных постапокалиптических текстов нашего времени — «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик. Он заметно выбивается из этого ряда, но при разговоре о постапокалиптике его не избежать. Было бы интересно однажды сопоставить все эти тексты — а также те, что сейчас не припоминаются — друг с другом.

(Кстати, для самого Мартиновича это уже второе постапокалиптическое высказывание, после романа «Мова», в котором после передела мира Минск стал китайским мегаполисом.)

И вот о второй, «европейской» адресованности текста.

Галина Юзефович — кажется, единственный на сей день русский критик, писавший о романе, — обнаружила в нем целый «парад литературных аллюзий и ассоциаций»: от андерсеновской «Снежной королевы» (на которую намекает, по ее словам, само имя «четвероногий спутницы главного героя»², не говоря уже о том, что «встреченные героем злодеи, выслушав его душещипательную историю, немедленно меняют гнев на милость и помогают ему в точности как Принц, Принцесса и Маленькая Разбойница помогали девочке Герде»³ до дантовской «Божественной комедии», трудов Карлоса Кастанеды, рыцарских романов и даже библейской Книги Иова. В этих настойчивых отсылках к европейской культурной памяти критик усматривает «манерную и намеренную игру со всей литературной традицией сразу» (что, конечно же, преувеличение; в ход у Мартиновича идут лишь очень избранные — пусть и прихотливо соединенные — элементы традиции) и, в конечном счете, — «вторичность» (что опять-таки не кажется вполне справедливым: всякий текст, возникающий в такой сложной и перенасыщенной памятью культуре, как европейская, вторичен неминуемо и по определению, другое дело, что не всякий отдает себе в этом отчет. Мартинович отдает себе в этом отчет безупречно).

Такое, довольно виртуозно выполненное, упражнение в постмодернистских техниках и практиках для Мартиновича вообще характерно (так, в вышедшем ранее романе «Сфагнум», по собственному его признанию, защиты отсылки и к Лакану, и к фильму «Залечь на дно в Брюгге», «и прямые цитаты из Линча», и еще «многое другое, менее очевидное»⁴). Нужды нет, что у нас подобные упражнения были актуальны лет двадцать-двадцать пять назад, а к западу от белорусских границ, надо думать, и того ранее: рано или поздно такая работа — работа *такой игры* — должна быть проделана во всякой культуре, претендующей быть европейской, и вот она делается. Более всего это кажется похожим на сдачу экзамена — как автором, так, желательно, и читателем (сразу скажу, в случае автора вполне успешную). Экзамена на полноправную

¹ <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-leto-vongozero-noch-post>

² <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-leto-vongozero-noch-post>

³ Там же.

⁴ <https://bolshoi.by/persona/8876/>

принадлежность к Большой Европейской культурной традиции и памяти, к которой автор отсылает на каждом шагу, а задача читателя — непрерывно это считывать и правильно внутри себя реагировать (не сомневаюсь в том, что мне, например, удалось считать далеко не все). Эта демонстрация эрудиции на самом деле экзистенциальна: автор не красуется, он заявляет позицию — ту самую, которую можно счесть одним из актуальных вариантов белорусской национальной идеи¹: мы — европейцы, крупнее того — мы граждане мира, мы — полноправные участники большого всемирного культурного разговора. Это символический жест — акт включения в две традиции сразу: всеевропейскую и белорусскую — отсылки к которой, как мы уже заметили, идут столь же непрерывно, — и установления связи между этими традициями. Включение это для автора тем важнее, что, как сокрушался он еще в 2013 году, «беллит не знают на Западе»²: и вот он (кстати, хорошо известный в западных странах, постоянно бывающий там именно как писатель) заговаривает «западным» языком, даже несколькими языками сразу — чтобы заметили и узнали.

Но Мартинович идет заметно дальше прилежного ученичества и сдачи экзамена. Стоит обратить внимание на то, что с элементами европейской культурной памяти (а заодно и с некоторыми элементами восточных традиций, которые он тоже сюда включает) он обращается весьма вольно, лихо их комбинирует (как справедливо замечает Галина Юзефович, объясняющий Книжнику суть происходящего в мире «таинственный демиург» представляет собой «диковинный гибрид Гэндальфа и Дона Хуана»³). Не менее вольно обходится он и с типовыми читательскими ожиданиями, сформировавшимися в русле все той же европейской традиции. Грубо говоря, он эти ожидания прямо-таки демонстративно нарушает.

Настолько, что даже среди соотечественников Мартиновича — у которых он очень популярен — не все приняли книгу безоговорочно. Белорусский критик Алексей Карпеко, например, совершенно беспощаден: «Книга Мартиновича, — припечатывает он, — это легкий интеллектуальный продукт. Обезжиренный, усваивается без остатка. Состав: банальная начитанность всем подряд и поверхностное знание массовой культуры»⁴. Карпеко вообще разбивает «Ночь» в пух и прах (делая это, правда, довольно грубо и не очень затрудняя себя обоснованиями): «“Ночь” — раздутая повесть, набитая множеством сцен без смысла. Под конец авторская фантазия иссыкает и начинаются самоповторы», «Пестрый мир, который вырисовывает Виктор Мартинович, состоит из множества лоскутов, которые кое-как сшиты в одеяло. Хорошая идея обломалась через топорную реализацию и недоработанность придуманного мира»⁵.

Действительно, в смысле сюжетной выделки текст выглядит откровенно сырым, собранным на живую, постоянно рвущуюся нитку — просто потому, что надо же как-то собрать. Эпизоды (они же — города-государства погруженного во тьму мира, которые посещает Книжник, двигаясь в сторону любезного автору Востока — присутствующего здесь явно затем, чтобы своим существованием указывать на границы европейских обыкновений и европейской картины мира; они же — ситуации, в которые герой попадает. из которых выпутывается) следуют друг за другом в совершенно произвольном порядке. То есть — этот порядок не держится общей логикой, от ситуации к ситуации ни с героем, ни с объемлющим его миром не

¹ На эту тему как-то расспрашивали Мартиновича его белорусские интервьюеры: <https://euroradio.fm/ru/martinovich-belorusskuyu-nacionalnuyu-ideyu-budet-formulirovat-google>. Да вот же он и ответил! — быть полноправной частью большого мира, не переставая быть собой и еще наращивая эту самость.

² <https://bolshoi.by/persona/8876/>

³ <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-letu-vongozero-noch-post>

⁴ <https://euroradio.fm/ru/lyubov-i-vitya-noch-martinovicha-konec-sveta-v-epohu-heppi-end>

⁵ Там же.

происходит никакого (чаемого европейской традицией) развития, кроме того, что герой постепенно теряет все свое вынесенное из Грушевки имущество, а с ним — примерно посередине повествования — и верную спутницу Герду (но развитием этого не назовешь. Скорее, освобождением: сперва от лишнего, затем и от необходимого, превращением героя, таким образом, из человека, встроенного в земные координаты — в чистую духовную сущность). Строго говоря, неясно, чего ради автору надо было заставлять героя брать ее с собой, а затем — в середине книги! — убирать бедную собаку из повествования, устраивая ей мучительную и медленную смерть, на какие смыслы это работает (кроме разве того, что дальше, одному, герою становится заметно легче двигаться и избегать опасностей). Интереснейшую линию Оракула он опять же рвет в середине. «Таинственный демиург» — как отмечает Юзефович — вообще «возникает лишь на трехсотой странице из четырехсот восьмидесяти <...>, а до этого ничто не предвещает его появления и вообще существования»¹.

Впрочем, если учесть, что среди формообразующих матриц текста были еще и компьютерные игры, требование связного последовательного сюжета и сквозной логики теряет смысл. Логика тут глубже, и она не совсем сюжетная: автору важно представить разные мыслимые варианты постапокалиптического существования, слепленные на разный лад из доапокалиптических элементов — хотя да, большому, разбухшему от любопытных подробностей тексту трудновато это выдержать. В равной степени теряет смысл и требование (упоминаемой Юзефович) «эмоциональной вовлеченности» в перипетии судьбы героя — «мы не боимся за Книжника, не мерзнем вместе с ним, не голодаем, не оплакиваем утраты»². Так это и не требуется. (Что, кстати, Юзефович фактически и признает, призывая читателей «совершить небольшое усилие, отрешиться от жанровых стереотипов и перестать, наконец, ждать от повествования динамики, эмоций и драйва»³. Именно!

Этот амбициознейший текст хочет быть всем сразу: и памфлетом, и притчей, и карикатурой, и травелогом по несуществующему, и этнографией вымышленного, и философским эссе, и метафизическим трактатом, и даже чуточку-чуточку любовным романом (но любовная линия вкупе с ее героиней, которая во плоти так ни разу перед нами и не появится, едва намечена и нужна единственно затем, чтобы выманить Книжника из Грушевки, где тот очень неплохо и осмысленно обжился, и увести его через непредставимые пространства в Индию, где вечное утро). Мартинович как бы наговаривает белорусской литературе множество возможностей, которые в ней еще не осуществились или осуществились не вполне. В этом смысле да: «нечто новое» ему создать удалось. Отдельный вопрос, что этому жанровому гибриду, перегруженному задачами и сверхзадачами, нелегко быть самим собой. Его разрывает в разные стороны. Он производит впечатление, скорее, гигантской лаборатории, в которой из набранного в изобилии материала вырабатываются будущие формы. Пожалуй, автор прав — подобного «там», к западу от Белоруссии, нет, просто уже потому, что «там» многое уже осуществилось. Вышло из статуса открытия. Здесь еще все предстоит.

Кстати, постапокалиптическая антиутопия — совершенно нетипичным для собратьев по жанру образом — оборачивается у Мартиновича своей противоположностью: утопией. Она — со счастливым концом. Книжник не просто выжил: он «стал носителем ответов, которые так ждет человечество». Он дошел до утренней зари.

¹ <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-letto-vongozero-noch-post>

² <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-letto-vongozero-noch-post>

³ <https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie-istorii-na-letto-vongozero-noch-post>

Келейное экспериментаторство или магическое мировыговаривание?

*Книгу Дениса Осокина «Огородные пугала с ноября по март» (М.: АСТ, 2019)
читают Ольга Погодина-Кузмина и Ольга Гертман*

Ольга Погодина-Кузмина

Пугало и нейминг

Если говорить языком современного рынка, Денис Осокин — мастер нэйминга. «Утка на барабане», «Ребенок и зеркало», «Мастурбирующая жена», «Половая связь еужена львовского с зеркалом» — названия рассказов, вынесенные на обложку нового сборника, интригуют. Как и заглавие всей книги «Огородные пугала с ноября по март».

Кстати, не так уж много у нас писателей, владеющих искусством придумывания эффектных названий. Сожаление вызывает одно — один раз поддавшись страсти к обозначению окружающих предметов, автор следует ей с маниакальным упорством.

*«пугало и паулина
пугало и глазурь
пугало и медведка
пугало и художница
пугало и шерстяная змея
пугало и зайчонок
пугало и юстина
пугало и велосипедисты
пугало и любовники
пугало и свадьба
пугало и погреб» —*

ну и так далее, все 526 страниц.

Нельзя сказать, что сюжетное повествование полностью отсутствует в новом сборнике. Вот заглавный рассказ «Ветлуга», обманчиво автобиографический, отсылающий к неспешной бытописательной прозе Дмитрия Данилова — вроде «Горизонтального положения». Так и представляешь их в одной комнате, в уютной домашней одежде — то есть в тех же джинсах и свитерах, в которых оба автора ходят в магазин и на литературные тусовки. Только Осокин еще и в фирменной своей

трикотажной шапочке. И вот они лежат на двух поставленных рядом диванах, и каждый пишет свое, но буквы странным образом перескакивают с одного экрана ноутбука на другой, образуя общий метатекст — гимн бессмертной русской обломовщине, вязкой и сладостной лени, неторопливому созерцанию малозначительных предметов и событий.

Вот сюжеты обманчиво фольклорные. Мы помним, что Осокин — этнограф, исследователь культуры народов Поволжья и, в частности, полумистического народа мари, обычаям которого посвящены самые известные вещи автора. Вот новые женихи отправляются за невестами в царство мертвых. Вот история о призрачных, небесных женах народа мари. Вот события революции, странным образом преломленные в народном сознании.

Большая часть сюжетов уже знакома читателю — по отдельным публикациям, по фильмам.

Возвращаясь к рыночным реалиям, нельзя не упомянуть, что медийный бренд Осокина сложился за счет кинематографических удач. Итогом успешного сотрудничества писателя с режиссером Алексеем Федорченко стало создание нескольких знаковых, рубежных картин, завоевавших мировое признание. Фильмы «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции» собрали множество фестивальных призов, вызвали бурные споры среди кинокритиков и кинозрителей.

Но самостоятельное бытование прозы Осокина далеко не так успешно. Скажем прямо, эти тексты на стыке прозы и поэзии, то ли насмешливые, то ли высокопарные, зачастую вызывают недоумение.

Вот, например:

*«т и п о г р а ф м а к с и м
типограф максим всю жизнь мечтал плавать на индейской пироге и не больно рас-
стреливать из лука смуглые женские попки. но где же здесь всему этому взяться?
нередко максим черпал полные пригоршни свинцового шрифта и кидал его в рабо-
чих. это все нервы. — говорили доктора и советовали ехать на отдых в финляндию».*

Осокин погружает читателя в некое выдуманное и выморочное пространство, где типографы все еще набирают шрифт свинцовыми буквами, где пугала вздыхают о прошлом на продавленных диванах, где несуществующие малые народы говорят на несуществующем птичьем языке, где выдуманы даже птицы — «снежные подорожники».

*«потому что эти птицы — сам теплый снег бессмертия, а имя коломна означает
с мерянского языка: смерти нет. я не сумею вам доказать — но это правда, поверьте.
колем — значит смерть. мна — значит нет. мне рассказали об этом люди, первыми
здесь появившиеся, давшие имена всем здешним тогда еще безымянным рекам».*

Картинки, которыми снабжен текст, несколько разряжают его абсурдистское однообразие, но и это никак не назовешь новаторским приемом.

Новый сборник Дениса Осокина вряд ли станет значимым литературным событием — не только потому, что самые удачные рассказы уже знакомы читателю. Так называемая «экспериментальная проза», еще недавно казавшаяся чем-то оригинальным, на наших глазах превратилась в тривиальность. Все же новаторство — это не писание прозы «в столбик», отказ от знаков препинания и заглавных букв. Не бесконечный подбор пары к какому-нибудь случайному слову.

На мой скромный взгляд, выдуманные обычаи и языки несуществующих народов мало кого интересуют сейчас, когда вокруг происходит столько всего интересного, настоящего, кипучего и порожденного самой жизнью. Подлинные экспериментаторы — Пушкин, Маяковский, Платонов — чутко слышали и слушали, отталкивались от бытования языка народного, ощущали в себе биение крови своей эпохи. А экспериментаторство келейное, литературное, чаще всего обречено на забвение — за очень малым исключением. Впрочем, может быть, этим исключением и станет проза Дениса Осокина.

Ольга Гертман

С библиотекарями следует быть осторожными

Спору нет, Денис Осокин нравился бы статистическому большинству читателей куда больше — отторгался бы общекультурным сознанием куда меньше — если бы писал только нежные, взволнованно-лирические тексты вроде, например, следующего:

«все устья рек — это свадьбы. бесконечные — лучшие на земле. в своем устье любая река превращается в невесту или в жениха. речные устья — свадьбы открытые всем. быть гостем на этих свадьбах особенно хорошо в апреле-мае. в это время поездки в устья рек могут превратиться в направленную важную деятельность. если у вас мало настроения, мало времени — попробуйте сделать над собой усилие. потому что будете правы и не пожалеете! когда реки вздуются, потом вскроются, у берегов зашелестит последний ледяной припай, а земля будет пахнуть и сохнуть — объезжайте устья! — их повсюду так много. и самые огромные — и средних и узеньких рек с ненаглядными именами...»

Где ни прерви цитату — все жалко. Или вот такое — персональная магия, глубоколичное переживание тайны мира, чудесности обыденного, обворожительной красоты будто бы некрасивого, подробное, внимательно-чувственное любование им (новый сборник, составленный из написанного автором лет за двадцать, завораживает этим точно переданным мировосприятием с первых же строк):

«25-го ноября я получил аванс за ноябрь. купил на рынке квашеной капусты — соевый соус — клюкву — две пачки зеленого чая с китайским императором в кресле — пять бутылок минеральной воды 'ветлужская' — и вступил наконец-то в свой долгожданный пост. я всегда в это время в него вступаю: радоваться и прислушиваться к декабрю — месяцу чудес — встречать и его и зиму. время с конца ноября до нового года — что-то вроде моего личного священного месяца рамазан. и ни при чем здесь пост рождественский. к декабрю я всегда стараюсь уволиться с работы — а если это невозможно — уйти в любого типа отпуск. тихо жить внутри дома — тихо гулять по улицам. в ноябре-декабре и короткие поездки до пения хороши —

были бы деньги. уехать вон в кировскую область — в лузу — пожить в гостинице дня два-три — или в марийский город звенигово вдруг приехать — или совершить паломничество в чувашскую столицу шупашкар. и в этом большом и уютном городе не жалеть что в гостинице 'мир' оказалось неожиданно дорого — с удивленным весельем поглядывать как красными лампочками мигает над улицами 'шупашкар — чебоксары' — и тепло приветствовать огромную маму на набережной — с надписью на постаменте 'благословенны дети мои живущие в мире и любви' — она глядит на темные пристани — волги скованной льдом.»

Опять-таки где ни остановись — все жалко. До пения хорошо, да. Почти пение и есть.

У него вообще много такого: трогательного, поэтичного, пронзительного, совершенно единственного в своих интонациях и ракурсах взгляда. Но много и совсем, совсем другого — единственного ничуть не менее. Даже и не знаю, кто сейчас так пишет-то, кто вообще такое пишет. Откровенная (почти экстатическая. Почти навязчивая. Уж не избыточная ли?) сексуальность, которой у Осокина пронизано все, буквально все, с прямым названием всего, что в нее вовлечено, — еще ничего (она как раз понятна — как следствие витального избытка). Бывает и куда хлеще. Рискнем процитировать?

«вы пришли в библиотеку и читаете на дверях табличку 'санитарный день' — ну вы приблизились так приблизились к границе двойки! — завертитесь на месте схватившись за пуговицу, заплюйтесь, закричите 'жопа' на разные голоса — и бегом от этой двери! если заглянуть к библиотекарям в санитарный день, наилучшее что с вами случится — это истерика, а в худшем случае — рухнете как подкошенный на пол — останетесь там навсегда. библиотекари в синих и серых халатах стоят на стремянках и мочатся — жуя мышинные хвостики. собирают тряпками свои лужи и протирают ими плафоны, дверные косяки. включают электрические чайники и плещут друг в друга кипятком. играют в жука-ползуна — это вот как: один библиотекарь ложится на пол, заталкивает в рот несколько каталожных карточек и начинает их усиленно разжевывать, все остальные разбегаются и прячутся по комнатам. как только лежащий — он и есть жук-ползун — разжеует карточки до кисло-желтой массы — начинает ползать по библиотеке, искать своих коллег и плевать в них тем что у него во рту.»

Ох, мамочки. Картина, достойная кисти Иеронимуса Босха, — чистый ад. (Да, к аду и отсылает. «Двойка» — это ведь он, антимир, брат-близнец нашего мира, постоянный его негатив, неразлучный его спутник, — о чем автор, на случай, если мы еще не догадались, говорит прямо (один из редких случаев, когда он говорит прямо): «библиотекари не пакость — а серьезные мистические фигуры — существующие на пограничье миров — там тяготеющие не к золотой желтизне но к густому фиолету вместе с проститутками манекенами и зеркалами — перемещающиеся мобильно из единицы в двойку — из мира в антимир — и наоборот».

Впрочем, строго говоря, здесь не вполне ад — немедленно возникающий в нашем (пост)христианском воображении по прочтении чего-нибудь вроде выше процитированного. У Осокина все сложнее, о чем речь впереди.

По поводу куда более невинных высказываний Осокину уже советовали никогда больше такого не писать — и тогда, значит, все будет хорошо. Однако что-то мне подсказывает, что если бы он не писал *такого* — он не был бы самим собой и тексты его лишились бы одной из своих важнейших порождающих сил — а может быть, и

просто важнейшей, — и своего основного смысла, который касается всех этих текстов вместе и каждого из них в отдельности.

Дело-то в том, что обе эти стороны его мировосприятия и мировыговаривания неотделимы, неотмыслимы друг от друга — как мир и антимир, «единица» и «двойка» (а есть, по собственным словам автора, еще и третий мир, «тройка» — создаваемый и постигаемый художественным воображением). Эти миры питаются соками друг друга. И даже попросту: они вообще одно. Просто взятое с разных сторон.

То, что и как делает Осокин, вполне осознанно определяется системой его представлений о мироустройстве — можно отважиться и на более ученое слово, поскольку тут, кажется, все тщательно продумано — его персональной онтологией. Попробуем же разобраться в том, как, по его разумению, устроен мир, как взаимодействуют между собой разные его части.

Первое, что бросается в глаза: здесь нет иерархий. Все значимо, все обращено к человеку, все волнует. Прежде всего: что угодно (в пределе — все) может оказаться, и часто оказывается, эротически значимым (хотя есть предметы, эротически заряженные особенно сильно, — таковы огородные пугала). Более того: все одушевлено, живо, не исключая и того, что мертво; мертвое даже особенно живо (даже эротизировано: покойные «барышни тополя» все сплошь таковы, и с ними возможно сексуальное общение), разве что на свой лад. Оно так живо, что не только способно испытывать боль: *«мертвые например всегда существуют с головной болью и не обращают на нее никакого внимания»*, но и — на свой опять же лад — смертно: герои «Овсянок» Аист и Мирон утонули, то есть получили мерянское бессмертие в реке, но это бессмертие, оказывается, условно — спустя тысячу лет совсем старые бессмертные растворяются в воде.

Любой предмет может стать прямым путем к сердцевине жизни — сакральным, главным: хоть велосипедные ключи (*«все без исключения радости и тайны лета — радости и тайны молодости — радости и тайны жизни — любви — можно извлечь и приблизить к себе при помощи этих инструментов. самая красивая фраза нашего мира — это: велосипедный ключ»*), хоть лодочные станции (которые, оказывается, — *«молитвенные поляны, самые главные в жизни»*).

Ужасы и погибель тоже могут скрываться где угодно и вырваться из любого источника (что и происходит, например, в тексте о библиотекарях — одном из самых невыносимых в сборнике, а то, пожалуй, и в самом). У чего угодно может оказаться злое хтоническое лицо (кто бы предположил такое, допустим, о скромных работниках библиотек), и это лицо в любой момент может к тебе обернуться. Вообще злое качества предметов и существ с их наблюдаемыми свойствами никак не связаны. Все опасности, исходящие от библиотекарей, никак не определяются тем, что они выдают книги, хотя могут использовать это занятие для своего проявления; а гибельная сущность зеркал минимальна, если есть вообще, связана с их отражающими свойствами (тем более, что зеркалами могут быть и люди — и ни об одном из них незаметно, чтобы он что-то отражал. Зато губительные свойства за некоторыми определенно замечены — как, например, за бывшей девушкой Еужена Львовского — которая на самом деле «была зеркалом»).

Что еще важно: ни библиотекари (самые, кажется, чудовищные из существ, населяющих осокинские страницы), ни зеркала (самые губительные из попадающихся тут предметов, с которыми, кстати, библиотекари образуют один, хотя и не очень устойчивый, тематический комплекс: деньги от штрафов за несвоевременно сданные книги библиотекари, предположительно, *«отдают зеркалам»*, а те в ответ *«оттягивают их головные боли»*; не говоря уж о том, что *«в угоду зеркалам они рвут ваших будущих или живых детей»*) вроде бы не желают людям зла. Они, так сказать, не злонамеренны.

Да, библиотекари «в угоду котам выворачивают руки вашим родителям, в угоду клоунам или птицам толкают вас к самоубийству», но разрушительны для человека они единственно потому, что такова их природа. А так вообще-то они людей по-своему любят и даже охотно идут за них *«замуж сразу — хоть в первый час знакомства»*.

Несомненно в тех же библиотекарях и зеркалах одно: все это — обитатели «двойки» — антимира и пограничья между мирами. Их злокозненность связана исключительно с этим.

Всякая вещь у Осокина вообще не вполне то — а может быть, даже и вовсе не то, чем предстает глазам. Всякая готова увести вглубь — и эта глубь с высочайшей вероятностью окажется далека от того, что дружелюбно или благоприятно человеку. Правда, оно, при всей своей невмещаемости умом с его привычками, чаще всего человеку соразмерно и готово вступить с ним во вполне осмысленный диалог. С населяющими мир хтоническими силами, по Осокину, возможно и договориться (как, например, могла бы, да вот на свою беду не захотела договориться с явившейся ей бесспорно хтонической сущностью, Овдой, одна из героинь «Небесных жен луговых мари», Оропти), и выработать — а затем строго соблюдать — правила взаимодействия. И даже если ты в них не очень-то веришь, имеет смысл адресовать им дружелюбные жесты (так герои «Танго пеларгония» раскладывали в мисочки из кукольного сервиза *«кашу для демонов»* и расставляли ее *«в оврагах и на тропинках — под вишнями — чертополохом и конечно у туалета»*. Кто-то ее съедал — может, ежики, а может, и вовсе нет). И даже с чудовищными библиотекарями может быть выстроена *«система поведений и отношений»* — хотя и *«бесконечно сложная»*. Некоторые ее принципы у Осокина уже и сформулированы. *«слишком много в общении с ними приходится маневрировать. можно знать тридцать две травы и закрыться ими — тогда библиотекари не опасны»*. Впрочем, предупреждает автор, «мы знаем не все». Во всяком случае, *«с библиотекарями следует быть осторожными и безусловно их уважать. нельзя стремиться использовать библиотекарей в грубо корыстных целях и вообще заигрывать с ними не будучи хотя бы средней руки колдуном. излишние контакты с ними — уже заигрывание»*.

У осокинского мира куда больше общих черт с языческой архаикой (вполне возможно, до сих пор сохраняющей актуальность в тех областях мира, которые особенно привлекают его внимание: в угро-финском Поволжье), чем с нынешней постхристианской культурой. Христианские элементы тут изредка попадают, но встраиваются в совершенно языческую систему взаимодействий с миром, ничем не отличаясь от прочих ее элементов (*«вот лошадь остановилась и не идет. дядя сказал: что-то здесь не то — конь немолодой — но старая собака на лишайник не залает. снял штаны и нам велел снять. папиросу закурил и перекрестился»*). Исламских элементов чуть больше, но все они, так сказать, исключительно эстетического свойства, без серьезного интереса к тому, на что эта сторона вообще-то призвана указывать, — или с какой-то другой, собственной верой: *«мне так радостен месяц рамазан! так мне дорог! в нашей волго-вятской полосе он — я думаю — самый светлый. <...> в месяц рамазан шелестят взгляды — походки дружат неторопливо: разбиты тротуары — грунтовки разжижены. в глубине спокойных лиц — улыбки-полумесяцы. и на моем лице тоже немножко похожая улыбка. или мне так кажется. благодаря тому что многие живущие рядом люди встречают свой чистый месяц который лучше тысячи остальных, думают о закованном в цепь шайтане отказываясь от питья и пищи — и наши жизни в это время года становятся значительнее и теплее»*.

То же касается большой истории — скажем, революции и первых лет советской власти, когда, как утверждает автор, происходит действие некоторых его текстов, например, «Ангелов и революции», датированных 1923 годом: *«на момент издания книги автору текстов исполнилось 22 года. он считает себя неплохим писателем-примитивистом»*

и в настоящее время работает в вятской чк», — комментирует книгу не кто-нибудь, а «господь бог». Революции и иных исторических обстоятельств там немного — они только дают материал для вылепки этого мира. Но вообще-то для его вылепки годится всякий подручный материал, и историческое тут — не главное. Происходящее в 1923 году — по существу, по структуре, по типу связи между явлениями — не отличается принципиально от того, что, судя по другим «книгам» Осокина (это, собственно, и есть жанр, в котором он пишет: ни проза, ни стихи, ни повести, ни рассказы — «книги»), делается в 2000-х, в 1970-х, в 1990-х, точно так же, как происходящее в неназванном южном французском городке («Ящерицы набитые песком»), не отличается по тем же признакам от происходящего в Сыктывкаре и Уржуме: оно может происходить где и когда угодно (не для указания ли на это нужна разная датировка и локализация?).

В этом архаичном, допсихологическом мире нет — или почти нет — характеров, есть ситуации. Есть, правда, резко-индивидуальные черты — и имена, составляющие важную часть чувственного облика героев.

Языческие божества здесь редко называются по именам, хотя иногда — в исключительных случаях — под своими именами и присутствуют (так марийское божество Кугарня присматривало за старым Капитоном, когда тот отправился покупать себе новые ботинки из родного села аж в самые Морки. Покидать место своего привычного обитания здесь дело куда более чрезвычайное, сопряженное с неведомыми опасностями, чем пересекать границу между мирами). Божества как таковые вообще появляются тут настолько редко, что впору говорить о «новом язычестве» без божеств — или с божествами ситуативными, мерцающими, преходящими. Как бы необязательными.

Зато, как бы в компенсацию этому, все, что ни есть, в этом осокинском мире не просто живо — оно еще и разумно (и вообще антропоморфно с большой буквальностью: насекомые иной раз носят трусы, которые при случае и скидывают). Жива и разумна сама плоть мира. И с каждым из ее участков человек — в телесном родстве.

Более того, кажется, этот мир — доэтичный. Жизнь и смерть тут явно есть, но добра и зла как таковых нет — если только они не тождественны, соответственно, жизни и смерти. А они явно тождественны не всегда: есть и благая смерть, и добрые живые мертвецы. Есть антимир-«двойка», но нет трансценденции. Границы между мирами — скорее, между лицом и изнанкой одного и того же мира — прозрачны, проницаемы и пересекаемы постоянно в обе стороны.

А вот фиксированные значения у вещей и явлений — по крайней мере, некоторые — все-таки есть и явно образуют систему: пугала, анемоны, зеркала что в Латвии, что в Чувашии и означают, и делают одно и то же.

Теперь, когда мы видим собранными вместе столько текстов Осокина за много лет, становится особенно понятно, что они, такие вроде бы разные, неспроста — сколько бы ни датировал их автор разными датами, включая те, что предшествовали его рождению, сколько бы ни назначал им различных мест написания (от германского Заснитца и румынского Рэдэуца до Ветлуги и Кукмора) — обнаруживают столько общих черт в стилистике, поэтике, интонациях, ритмах. И уж точно неспроста у них столько общих сквозных образов (тополь как представитель загробного мира, зеркало как проводник в него, анемоны как воплощение нежности, пугала как насыщенно-эротические, не без хтоничности и ей сопутствующих разрушений, но без всякой злонамеренности персонажи...), неспроста есть у них сквозные персонажи, а у некоторых текстов — общие авторы-гетеронимы (Аист Сергеев и отец его Веса Сергеев встретятся нам не только в «Овсянках») — заставляющие вспомнить Фернанду Пессоа, но тут же и отложить это воспоминание в сторону, потому что осокинские

гетеронимы не слишком различаются между собой интонациями и позициями; и даже сквозные, особенно важные для автора имена (например, имя «Валентин», объединяющие персонажей столь разных, как *«трухляк валентинс»* и один из гетеронимов автора — Валентин Кислицын. Строго говоря, Кислицыных-гетеронимов тут два, из разных времен, — дед и внук — и оба Валентины). Ну то есть попросту, все это — части одного большого текста: не имеющего начала и конца, способного быть начатым и оборванным в любой точке времени-пространства; отчасти уже возникшего, отчасти остающегося в области возможностей. Это — разные входы в одно многообъемлющее время-пространство, в одно большое «сейчас», соразмерное, может быть, самой вечности — только живее, чувственнее, уязвимее ее.

Все вместе эти тексты — как уже написанные, так и те, которым предстоит возникнуть — образуют ткань, полную точек роста. Причем такого, который гораздо ближе к природе, чем к культуре. Он почти совпадает с природой — и, подобно ей, не мыслит считаться с культурными условностями — вполне возможно, с условностями любой культуры, но, скажем, ныне действующей русской — точно. Так не считаться с ними люди отваживаются разве что наедине с самими собой, в фантазиях, снах, бреде, когда культурный контроль сведен к минимуму. Поэтому понятно, что многое в текстах Осокина вызывает сопротивление — еще прежде, чем сообразишь, для чего он так пишет, и даже одновременно с тем, что ты это понимаешь. Понятно, что он неудобен. Это не для удобства делается.

Картина мира у Осокина, как мы имели возможность заметить, — совершенно мифологическая. Возвращение — минуя запреты и ограничения рассудка — к истокам человеческого существования: к прасуществованию и правосприятию. С этим впрямую связано и вообще настойчивое внимание к окраинным, обыкновенно скрытым от рассматривания областям жизни, к «телесному низу», и, в частности, употребление «неприличных», табуированных (в центральных, устоявшихся и затвердевших областях культуры) слов и тем, ритуальное сквернословие, сакральное похабство («задница и жопа!» — поют одни из главных сексуальных фигур осокинского мира, пугала): характер его — магический. Отсюда и постоянные апелляции к неразрывным друг с другом до близнечества — как и положено в архаике, — мощнейшим началам: сексу и смерти.

Осокин наговаривает, наборматывает мир, в котором еще не было по-настоящему ни христианства, ни ислама (да и язычество-то как следует не прояснилось), ни нас самих. Всему еще предстоит возникнуть.

Если бы было твердо известно, где, собственно, проходят границы литературы (но они, подобно границам осокинских миров, проницаемы, подвижны, теряются во мраке), можно было бы отважиться сказать, что это — не вполне литература. Написание таких текстов — вызывание мощных жизнеобразующих сил, по сути, магическая практика. Да и чтение — по крайней мере, отчасти — тоже.

Евгений Ермолин

Испанская грусть

Начнем с того, что «Жизнь А.Г.» — это красивая книжка, хорошо сочиненная. Иные эпизоды ее читаются даже с наслаждением. Прозаик Вячеслав Ставецкий — виртуоз, каких мало. Я не понимаю тех странных читателей, которые публично жаловались в фейсбуке на то, что роман его длинен и труден для освоения; ленив стал сетевой рецензент, зато самоуверен и брюзглив.

Тем не менее дебютный роман Ставецкого некороток. И этому есть объяснение. Его размер — это размер сновидения, довольно кошмарного.

Не в первый раз в текущей словесности случился роман-сон. В его онирическом пространстве устало бредит гишпанская тема, с которой переспал еще Гоголь, и сходит с ума кровавый диктатор Авельянеда (но все никак до конца не сбрендит, а между тем блестящее лезвие гильотины нависает над его головой с неотвратимостью заката вечернего солнца). Спрятав в названии своего героя под инициалами, автор, возможно, хотел намекнуть на неполное равенство его самому себе; намек в руку: жестокий ребенок, мечтающий покорить обе Америки и космос в придачу, по ходу действия становится экспонатом персонального зоопарка: его возят в клетке и показывают публике, — а потом открывает для себя новую возможность существовать в этой клетке жонглером, и, наконец, очередная политическая конвульсия лишает его последнего баланса, но вроде как обещает разрешение внутренней проблемы.

Судьба играет человеком, а человек играет мячиками, слепленными из хлебного мякиша, пока смерть не снимает с его плеч и голову, и бремя жизни, которое, вероятно, в этой забубенной головушке и гнездилось.

Ставецкий, на первый взгляд, консервативен. Он работает в испытанной набоковской парадигме, и тут я мог бы первый раз (но не последний) порадоваться, потому что давно твержу, что современная отечественная словесность складывается в первую очередь, в самой продуктивной своей части, под созвездием певца Лолиты и Ады. Ады в данном случае — особенно, хотя нагромождение причуд у Ставецкого все же не приобретает столь устрашающего характера, как в незабвенном романе Набокова. Набоковский ветерок несерьезности, приносящий вдруг откуда-то издалика и ненадолго запах мистической мяты, есть и у нашего автора. А свергнутый диктатор временами начинает явственно напоминать набоковского Цинцинната; к тому располагают сами ситуация заточения и аура глумления вокруг нее. (К слову сказать, я, дремучий человек, впервые тут ощутил, что оный Цинциннат — это ильфпетровские, осмеянные наивными авторами Лоханкин и Паниковский; только глаз другой, острее и пронзительней.)

Консерватизм Ставецкого связан и с очевидной цитатой из Сервантеса. В тексте, можно сказать, странно отметились Дон Кихот и Санчо; и насколько при этом развенчан воинствующий идеализм, настолько же безупречно звучит скромная мелодия верности, которую наигрывает музыкант Сегундо.

А еще наш автор дает новую жизнь мотивам минувшего столетия, которое как бы кончилось, однако не везде и не совсем, и вот оно здесь.

Во-первых, разумеется, в романе происходит гротескно-сатирическое изживание тоталитарного деспотизма эпической гиперболой, которая с течением времени приобрела разоблачительно-комический оттенок и колорит. Ставецкий нам поёт про косметические прелести диктатуры что ваши Барбюс/Фейхтвангер, приснопамятные поклонники кремлевского таракана. (Я не читал оргазмическую книжку любовницы Муссолини Маргериты Сарфатти «Дуче» — а она, возможно, наружно даже ближе к нашему роману; или наш роман к ней.) Но поёт он неискренне; точнее, его средства здесь есть продукт эстетической (и не только) переоценки, они стали орудием насмешки. В этом он продолжатель контрдеспотического латиноамериканского эпоса, в котором парадная помпезность продернута ниткой иронии и сарказма.

Однако Ставецкому не откажешь в понимании как утопической декоративности, так и интимной изнанки ветхого тоталитаризма, его романтической подоплеки, основанной на любви Вождя и Народа. Этой нездоровой, воспаленной страсти суждено у него далее пройти испытание позором; и она не выживет, нет. Но, впрочем, в духе романтической перверсивности сменится катастасисом ненависти, а потом перейдет в равнодушие...

...и тут на наш онирический пир всплывает еще один прошловечный корабль, под рваным парусом беды. Автор производит на нем свое каботажное плавание вокруг островов совпадения-несовпадения человека с собой. Экзистенциальная тема самоутраты закономерным образом сочетается в романе с одним из любимых акцентов, ей сопутствующих в искусстве XX века: отчаянной цирковой эксцентриадой, чуть ли не чаплинианой. Тут скачут косые зайцы мнимости в тотальном иллюзионе абсурда. Многие персонажи Ставецкого, родственно схожие с населением литературной ойкумены минувшего столетия, при всей своей узнаваемой простоте не тянут на нечто существенно-прочное, оказались картоном и ватой, не более чем. «Меняющий прикиды» А.Г. интересней почти каждого из них: за счет своей, пусть растянутой на десятилетия, внутренней (да и внешней) динамики. Хотя и его поиск заводит недалеко, причем в тупик. Герой манипулирует собой, но слишком

поневоле. (Кстати, ближе к финалу в романе появляется некто Санчес, еще один манипулятор самим собой, но с гораздо большей прикладной выгодой: будущий, наверное, тиран, чья макабрическая одиссея случится, надо думать, за пределами повествования.)

Традиции традициями, но Ставецкий вполне современен. В конечном итоге, при некотором усилии, мы даже можем актуализировать этот сюжет несовпадения героя с самим собой, жестом фокусника вытащив за уши из шляпы контекстов актуальное словцо «идентичность». То, что ищут давно, но не могут найти многие из — в нашем непрочном, нашем зыбком веке.

Какой еще мыслящий тростник! Протеистичный фантом и прибабах, продукт ситуативной метисизации, сумбур вместо личности...

Что такое жизнь? Вагон иллюзий и пещера скелетов, а в итоге почти что смех на палочке...

Острой неподлинностью припахивает у Ставецкого и от социально-политических развилек минувшего столетия. Революция, демократия, авторитаризм... набор забавных практик в белом венчике террора. Обмен овса на сено. К тому же, согласимся, красноречиво смотрится авторский геозскейп, ментальная эмиграция из пространства, где бытует язык, на котором написан роман. Возлюбленное отечество отмечено в этой прозе лишь «импортом революции», оно снабжает повстанцев оружием — и после триумфа оных сидит в сторонке от пошлых французских еврокоммунистов нахохленным мрачным эмиссаром в каракулевой шапке, bolshevikом Теодором Посконниковым, перед которым заискивает набежавшая на запах победы газетная шантрапа. О, проруха!..

Большой скептик наш автор. И едва ли оптимист. С ним, учтите это, не заплачешь, приходится держать порох эмпатии сухим. Верит ли он в людей? Слишком заметно, что его тайная свобода не покупается на сомнительную валюту надежд. Она уводит автора из мира состоявшихся детерминант в альтернативную историю, с которой ход событий в Испании XX века связан постольку поскольку. Или вообще никак. Ставецкому это увлечение квазиисторическим фантазированием критики уже поставили на вид, и поделом, но если сама история — одна большая шутка, то какие тут могут быть ваши претензии?

...Ну а все же: вы готовы принять такой подход, слишком сегодня понятный, на ура? Я — не вполне. Хочется однажды проснуться. Вот так, например, как просыпается для инобытия набоковский герой в финале упомянутого «Приглашения на казнь».

У Ставецкого финал романа тоже красив, но малость, мне кажется, смазан. То ли он пытался внести в него серьезный позитив, то ли сам над собой улыбался. ...Площадь переполнена, человеческая масса не вмещается на ней и выхлестывает на окрестные улицы. Надвигается смерть как неумолимая точка в конце затянувшегося рассуждения. Надрывается человек с красной папкой, зачитывающий приговор. В последний миг герой видит «глаза людей, обступающих эшафот, глаза, в которых впервые за долгие годы не было ни глумления, ни ненависти, ни преступного снисхождения, которое превыше всякого суда. Как и сам он когда-то на своих собственных врагов, они смотрели на него без торжества, они даже сострадали ему, скупым, сдержанным состраданием, но были готовы довести начатое до конца». В процитированных

полтора предложениях что-то выражено Ставецким удачно, что-то не очень, но в том, как сказано про узнавание героем себя в толпе, есть, ей-богу, нечто комичное. Учитывая и то обстоятельство, что от «себя» у этого героя осталось мало (может, всего лишь мундир, вытщенный чего-то ради из музейной витрины и напыленный на дряхлое тело?).

Молчание этой жуткой толпы, прихлынувшей к месту казни незадачливого героя, это, мне кажется, не апофатическое безмолвие народа, а что-то другое. Все же наш автор, не в упрек будь сказано, не мистик, скорее альпинист. Не выше Эвереста. Он знает фокусы, но не делает чудес.

А впрочем, Ставецкий тклет свою прозу, пожалуй, мягче, чем бестрепетный Набоков. И практическая гуманность, которую мы исповедуем даже тогда, когда исповедовать больше нечего, залетела в этот затейливо сочиненный бардак и помахала своим синим, выцветшим крылом в этом весьма приличном, как было сказано, романе, царапающем подчас душу не в шутку. А чего с ней церемониться, чего ее жалеть?

Евгений Абдуллаев

Тень осьминога

Хельга Ольшванг занимает совершенно трудноопределимое, зыбкое место в современной поэзии. Где-то на границе русской поэзии и американской. На границе пост-акмеистической точности и сюрреалистического сомнамбулизма. И на границе поэзии и графики.

В стихах крупного поэта часто угадываешь живописную технику. «И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш...» Чухонцев тяготеет к акварели. Гандлевский работает

углем, изредка добавляя мел и сангину. Кушнер верен гуаши.

Ольшванг работает в смешанной технике. Некоторые стихи точно набросаны тончайшим карандашом — или офортной иглой. В других поверх рисунка наносится цвет:

Вначале — грунт: суглинок, известь, прах.
Рисунок, намечающий кайму
земли, начало воздуха, размах
ствола. Коричневые ветви льнут к нему.

Это из «Версий настоящего» (2013), иллюстрированной ее черно-белыми гравюрами и рисунками.

В новой книге Олышванг обращается к цветной гравюре — *укиё*. «Картины плывущего мира». Или «возникающего на поверхности [и исчезающего]». Или — как перетолковали этот буддийский образ в кварталах любви эпохи Эдо — «мира мимолетных наслаждений».

Книга действительно получилась наиболее любовной из всего, что выходило у Олышванг.

В основе книги, говорится на вкладыше, «лежит легенда о ныряльщице и осьминоге. По одной из версий этой японской легенды, принцесса Таматори пыталась вернуть сокровище, похищенное драконом, но в погоню за ней пустились морские чудовища. Спасаясь от осьминога, Таматори разрежала себя и спрятала жемчужину в ране. Позднее эта легенда была не раз переиначена, сюжет погони дополнился сценой насилия, а в гравюрах японских художников Таматори изображалась любовницей осьминога».

Но «Свёртки», собственно, не о Таматори и ее своеобразном бой-френде. Лишь в одном стихотворении появляется танцующая принцесса — в чем-то полусне-полуяви.

Сейчас,
сейчас он оденется,
будет сниться ему представление в танцах
кабуки,
японцев замедленные, колышущиеся прыжки,
поясница болеть перестанет слегка и навеки.
О, как он болен, всунут в себя глубоко
и раздвоен,
как долго всё происходит — одевание,
кашель беззвучного моря.
Танцоры себя перекачивают
точно галька, пока
он глядит, еле видит
их подпоясанные кимоно,
осьминогов волнистых и умных,
сцену в точках на дне,
комнаты росчерк,
стекло в капиллярах травы, косяки
рыб, теней потолочных.
Таматори танцует,
а спящий лежит высоко на спине,
распрямив позвоночник.

Мы не знаем, кто этот «он», в чем ломком, болезненном сне возникают Таматори и актеры театра кабуки. Лирические герои «Свёртков» заведомо анонимны. И не только люди — но и предметы. Например, в моностихе:

Присохнет — взгляда не оторвешь.

Что «присохнет»? И в каком смысле — прямом ли или переносном («влюбится»)? Ответа нет, пространство для додумывания и дочувствования предельно распахнуто.

Иногда, напротив, называется только предмет. «Платан». И весь стих.

Почему «платан»? Скрытая анаграмма «плавания» и «танца» (танцующей в водах Таматори)? Или то, что крона платана напоминает спрута?

Субъект с исчезающими предикатами. Предикаты с неизвестным, размытым, нулевым субъектом.

Как же светло!
Выше, следи за моей рукой,
кто там летит — не пойму.

Здесь и не важно, *кто* летит. Важна интонация обращения к незримому, тоже не названному, но близкому собеседнику. А возможно — даже не обращение, а сам жест. Жест как движение, снимающее в себе привычное деление на субъект и объект. Неопределенность жеста, неясность того, на что он обращен. Неопределимость того, кому этот жест принадлежит.

Так и написано: «Жест, а не взгляд,
становится формой экспрессии,
и при том фальшивой,
театральной» — о людях
на фотографии — да, пожалуй.
Довоенные, видимо, годы:
за руки взявшись, сидят.

Опять же: кто эти безымянные сидящие люди? Мы не знаем — и не узнаем. Узнать, назвать — значит разорвать незримую пленку поэзии, которую накладывают на всё молчание и неизвестность. Остается лишь указующий жест — тоже не слишком определенный.

Жест в сторону окон.
Как будто лететь выпустили и летит
прямо в стёкла.

Ловлю себя на том, что сложно прервать цитирование — каждое стихотворение влечет за собой другое. Сами части книги напоминают квази-циклы, «прошитые» общей японской темой.

«Кабуки кабуки — звук начала пути»,
«Кабуки (первое действие)», «Кабуки (второе

действие)», «Кабуки (третье действие)», «Последнее действие», «Свёртки», «Понимает японец».

Япония присутствует в книге в виде привычных, хрестоматийных образов — но это не стилизация. Как и в «японских» стихах Ирины Ермаковой, «Япония» оказывается лишь инструментом любовного высказывания. «Япония» как двойное «я», «я» двух любящих, я-понимания (впрочем, это лишь мои словесные игры, спровоцированные чтением). Только высказывание это у Олышванг — более скрытое и отстраненное. (На это «работает» и билингвальность книги: половина ее — английский перевод русской части, выполненный Даной Голиной. Английский тоже оказывается своеобразным «свёртком» для русской любовной лирики — на нем она звучит более «приглашенно», отстраненно.) Япония «Свёртков», ее экзотика и эротика, пребывает как бы внутри, потаенно.

Ее можно лишь частично понять и — увидеть. На это «работает» и дизайн книги — каждая страница представляет собой свиток, «сверток». На внутренней стороне — фрагменты гравюр-укиё: женские лица, руки, шупальца осьминога. Можно было бы, конечно, разрезать страницы и разглядеть лучше. Я не стал.

«Эротика, — снова процитирую из вкладыша, — это явление тайного, скрытого...

Но предьявленная тайна, вынутая из защитного свертка, лишается глубины. Поэзия, как и эротика, спрятана. Тот, кто хочет ее разыскать, разрушает форму, в которую она облекается, поэтому название и устройство книги-«свёртка» неслучайны.

Эта же мысль — в последнем стихотворении сборника:

Напольная лампа — свёрток света,
стоит только плафон починить.
Карандаш, привыкший стоять
прислоненный в кармане — он, свёрток,
а также вышитое крестом дерево изнутри.
<...>
Чашка — свёрток воды.
Бинокль — свёрток зрения,
Бабочка — распрямленный кокон,
Женщина — свёрток желания,
вот он, раскрыть.
<...>

Но раскрыть можно, только разрушив первоначальную форму, через насилие. Изгнав из стихов неопределенность, разрезав страницы книги-«свёртка» и сложив фрагменты укиё в «понятные» картины, как пазлы...

Но тогда это будет уже другая книга. Другого автора. С другой поэтикой.

Я же вновь и вновь вчитываюсь в легкие, подобные иероглифическим росчеркам стихи Олышванг — на границе поэзии и графики.

Ольга Бугославская

Вне зоны комфорта

Основная профессия известного поэта и прозаика Александра Стесина — врач-онколог, его новая книга — серия рассказов о работе в разных госпиталях и больницах Нью-Йорка и Дели. Нью-Йорк — слегка уменьшенная модель мира. Рассказчик ведет читателя по тем его

местам, где пролегает наиболее отчетливая граница между контролируемым порядком и неуправляемым хаосом.

Неизлечимые болезни относятся к той серой, слепой зоне, где действуют неизвестные нам законы и очень немного зависит от человеческой воли. Что провоцирует болезнь? Почему в одних случаях лечение помогает, а в других — нет? По какой причине излечившийся человек вдруг заболевает снова?

Александр Стесин. Нью-йоркский обход. — М.: НЛО, 2019.

Отчего внеположные человеку высшие силы, если они вдруг есть, так часто и вопреки мольбам и упованиям поворачиваются к людям не милосердной, а суровой и жестокой стороной? Рак — не только огромная медицинская проблема. В широком смысле неизлечимые болезни, как и стихийные бедствия, разрушают традиционные религиозные представления о всеильном, милосердном и любящем людей Боге. Рак, от которого умирают и грешные взрослые, и невинные дети, ставит проблему теодицеи, можно сказать, ребром. Именно ее, в конечном счете, и изучает Александр Стесин.

Главный герой и рассказчик — врач. Кто такой врач в ракурсе главной темы? Книга содержит ответ: эту профессию выбирают люди, которыми движет стремление установить контроль и управление над страшной пограничной территорией между жизнью и смертью, осветить ее, изучить и тем самым раздвинуть пространство жизни.

Повествование начинается с рассказа о хирургической практике в больнице Бронкса, самого неблагополучного района Нью-Йорка. Здесь все неправильно, не так, как должно быть: много бездомных, много наркоманов, половина населения инфицирована ВИЧ, а в госпиталь чаще всего попадают участники и жертвы гангстерских налетов и разборок. Поэтому пациенты нередко сбегают из больницы, опасаясь прихода полиции. Доктор может подвергнуться нападению, но и врачебные ошибки легко сходят с рук. Абсурдно-трагическая концентрированная смесь человеческих грехов и несчастливых судеб порождает собственные закономерности существования, крайне далекие от того, что принято считать нормой.

Став доктором-онкологом, бывший практикант последовательно перемещается из госпиталя в Бронксе в клиники Квинса, Бруклина, Гарлема... Вместе с темой смертельно опасных заболеваний на первый план выходит грозный, тяжкий, злой и абсолютно иррациональный рок. В ходе путешествия по Нью-Йорку сменяется национальный фон, перемежаются портреты коллег и пациентов, а истории счастливого выздоровления соседствуют с чередой смертей. Смертей, которые повествователь переживает как личное горе, несмотря на профессиональную отстраненность. Смертей, о которые разбиваются все позитивные и оптимистичные

взгляды на мир. Какие гарантии предоставляет современная медицина? «Единственное, что мы можем гарантировать — это побочные эффекты». Тогда, наверное, остается уповать на чудесное спасение? «Только однажды я видел чудо. Оно выпало шестидесятилетней алкоголичке с криминальным прошлым». Но вдруг универсальное лекарство все же существует и его просто скрывают жадные коммерсанты? «Нет никаких альтернатив, никаких чудодейственных средств, о которых знает, но молчит коварная медицинская корпорация». В серой зоне почти не остается твердых опор и ясных ориентиров, там господствуют тревога и страх.

А как человек реагирует на страх? Чаше всего прячет голову в песок. В этом повествователь убедился на собственном опыте: когда возникло подозрение, что он мог заразиться опасной болезнью от одного из пациентов, он предпочел обойтись без проверки. Этим же стремлением отвернуться и не смотреть во многом объясняется тот факт, что больничные отделения радиоонкологии всегда располагаются в подвалах: «С глаз долой, из сердца вон». Пока одни прячутся и отворачиваются, другие демонстрируют беспомощность иначе: выходят на шествия «Против рака», чтобы грозить «смерти парадными помпонами и флажками».

В заключительной части книги действие переносится из Нью-Йорка в Нью-Дели, где начинается разворачиваться известный сюжет — западный человек ищет истину в восточной философии. Здесь рассказ становится несколько сбивчивым. Автор пишет, что аюрведа не может заменить химиотерапию, но в то же время отмечает, что иногда бывает полезной медитация. В одном месте имперсонализм назван столь же неутешительным, как и атеизм, но вслед за тем трактуется как средство от одиночества и философия любви. Изложенные здесь взгляды оказываются слишком гибкими для того, чтобы быть убедительными. В итоге весь рассказ об Индии, индуизме, практиках медитации и йоги не сильно приближает нас к разрешению тех главных противоречий, которым собственно и посвящена книга. Скорее он интересен отдельными эпизодами и персонажами. Наиболее впечатляющий фрагмент описывает отношения гуру и его взрослого ученика, доктора по имени Шарма. Из него следует, что стороннему наблюдателю индуистская духовная практика видится как

путь не к просветлению, а к вечной разлуке, пугающе похожей на смерть: «...гуру-джи даст Шарме сигнал, и тот откажется от своей нынешней жизни, уедет из Нью-Йорка, оставит медицину, пациентов, друзей и учеников. Он вернется в Индию, чтобы предаться окончательно одиночеству йогического созерцания... Иначе говоря, мы больше его не увидим».

Если же говорить об универсальной картине мира, то книга Александра Стесина все же намечает одно перспективное направление для ее создания. Персонажи разных историй внутри книги часто вступают друг с другом в диалог. В финале звучит вопрос: «Вот ты занимаешься педиатрической онкологией и при этом говоришь, что веришь в Бога. Так объясни мне, зачем Он создал опухоль, от которой умирают двухлетние дети?» Отвечает

другой герой, совсем не тот, кому вопрос был адресован: «Вера — это умение прощать Аллаху». Простить того, кто может помочь, но не хочет этого сделать, сложно. Простить можно того, что помочь и спасти хочет, но почему-то не может. Проблема теодицеи становится разрешимой, если допустить, что бог не всемогущ. Может быть, он слишком занят, может быть, устал, может, у него далеко не все получается так, как ему бы хотелось. Вдруг и у него бывают моменты, когда все валится из рук, все ломается, а он не успевает чинить. Тогда вряд ли он создал опухоль специально, для устрашения и наказания. Возможно, она непредвиденно возникла как какой-нибудь нежелательный побочный эффект и бог еще и сам пока не придумал средства от нее. А как придумает — даст нам знать...

Дмитрий Артис

Принцесса пишет

Стихи Евгении Джен Барановой возникают из абсолютной тишины, над ними не довлеет грохочущий внешний мир, они чисты и прозрачны. Работает исключительно фантазия автора. Случайно подмеченные (или неслучайно зафиксированные на уровне подкорки) ситуации перерабатываются, очищаются от шелухи — от «фантиков». Эмоциональная составляющая низводится, прячется за второй-третий план, а на первом проступает «светлая пыль» — акварельные — паучки, свиданьица, воробьи, кузнечики, зайки, лазалки и, конечно же, ручейки.

Сначала шрифт пойдёт курсивами,
а после сердце занырнёт,
туда, где лыжники красивые
с ботинок отбивают лёд.

Евгения Джен Баранова. Хвойная музыка//
М.: Водолей, 2019.

Героиня стихотворений — почти сказочная принцесса нового времени, которая перед тем как сесть за компьютер, чтобы написать очередной сногшибательный текст, говорит:

— Всем тихо! Принцесса пишет стихи!

Слуги начинают перешёптываться, шикать друг на друга:

— Тихо, тихо! Принцесса пишет!

...а потом замолкают.

Во все уголки королевства отправляются глашатаи, чтобы донести радостную весть до верноподданных:

— Всем тихо! Принцесса пишет стихи!

Королевство будто вымирает. Кузнец перестаёт стучать молотом по наковальне, торговец — зазывать народ в лавку, мельник стопорит мельницу, даже младенец в люльке не просит у мамы молока, а мирно засыпает.

Через некоторое время принцесса встаёт из-за компьютера и произносит:

— Всем радоваться! Принцесса написала стихотворение!

Во дворце объявляется званый ужин, собираются высокопоставленные гости, всюду музыка, песни, пляски. Кузнец берёт в руки молот, торговец объявляет день скидок, мельница начинает снова крутиться, а младенец орать в три горла и тянуться к мамкиной титьке.

Автор борется с реальностью (одно стихотворение — одна схватка, два — две, десять — десять и т.д.), и чаще всего выходит победителем, благодаря чему в сознании читателя возникают два равноправных мира — тот, с которым он ежедневно сталкивается, и тот, который рисуется в его голове во время чтения. Дальше сложнее: встаёт проблема выбора.

Ничто так не страшит, как опасность принять неправильное решение — обмануться, пойти не той дорогой, свернуть не в ту сторону. Одно дело, когда силой принуждают — есть на кого свалить ошибки, а другое — сам: винить будешь только себя. Ведь насколько проще существовать, когда нет выбора. Никакой ответственности, живёшь и радуешься в заданном направлении. А тут — на тебе... Уйти в мир «хвойной музыки» или остаться в своей реальности?

Попробуем внимательнее посмотреть в сторону мира «хвойной музыки».

В книге четыре части:

«*Какие все мёртвые*» — название первой — сухая реплика. Скорее, констатация факта, чем глас вопиющего в пустыне. Нет восклицательного знака на конце, отвечающего за экспрессивную окраску. Нет вопросительного, точки, троеточия... Из названия трудно вытащить какую-либо эмоцию: боль, печаль, сожаление. Но чем суше звучит название, тем ярче образы в стихах. Автор проводит параллель между своим миром, где «улыбаются киты», и тем, что мы видим и знаем из мира своего, в котором «киты спят».

Ключевая фраза первой части, брошенная в сторону, но будто обращённая в адрес читателя: «авось отыщет в женщине ребёнка». Первичен дух, а не материя, в которую он — дух — облекается. Важен не сам текст, а то, что он даёт читателю — его дух.

«*Цветные семена*» — вторая часть, по сути, тот момент, когда автор начинает отделять зёрна от плевел — «отбрасывает фантики»,

снимает шелуху «слой за слоем». Иносказания почти не используются. Больше прямых обращений. Ясная (декларативная) позиция, чуть свысока: вот это конфета, а вот это — обёртка.

Потому что вы не вечны.

Вечен лишь тулуп овечий.

В конце этой части «мёртвые», о которых так много писалось в первой, начинают мыслить и расти. Им приписываются способности живых.

Стоит отметить, что некая попытка оживить «мертвецов», научить их дышать, верить, чувствовать — это основная тема книги. Но здесь, безусловно, не игра в доктора Франкенштейна. Автор не собирается из разных частей тела умерших людей сшить нового человека и вдохнуть в него жизнь. Не берёт на себя функцию Бога. Частое употребление слова «мертвец» и всех производных от него в обращении к окружающим, скорее, желание растормошить живущих, вытащить из той условности, в которой они завязли, расширить рамки бытия.

На вооружении у автора напоминание о том, что все «мы» (условные «мы — читатели») были когда-то детьми. Отсюда вытекает название третьей части:

«*Когда был маленьким*». Автор набирает обороты. Всё реже встречаются уменьшительно-ласкательные. Слово «тихо» оборачивается в «тихохонько» — на выдохе, будто через междометие «ох», но никак не в детское заигрывание с читателем — «тихонечко». Речь становится жестче. Точность зашкаливает. Ничего лишнего. Дыхание строк прерывистое. Читаешь стихи, будто поднимаешься по лестнице. Картинки из детства, вспыхивающие перед глазами, больше похожи на первые признаки агонии, когда организм (сам, произвольно) начинает бороться с угасанием жизненных сил. Активируются все органы чувств: лучше видишь, слышишь. На языке появляется солоноватый привкус. Тянешься за сигаретой, но одёргиваешь руку, потому что замечаешь где-то там — вдалеке — курящего человека и тебе достаточно того дыма, который он выдыхает.

Когда был маленьким,

то всё казалось длинным:

фонарь, линейка, мусоропровод.

Теперь всё коротко — летит июль пчелиный, колючий март царапает живот.

Сиди себя тихохонько да слушай,
как пух пылинки городу сдаёт.
Когда был маленьким,
хотелось лампу-грушу.
Теперь не хочется,
теперь не до неё.

Закрывает эту часть стихотворение «Хвоя», от которого пошло название книги. К слову сказать, самого словосочетания «хвойная музыка» в сборнике нет. Есть только это стихотворение, построенное на обращении к «Матушке-хвое», которая молчит, какие бы вопросы автор ей ни задавал. Получается, что «хвойная музыка» — та самая абсолютная тишина, с которой я начинал разговор. Тишина, как ответ на все вопросы.

Интересно отметить, что образ хвойных веток обычно используется в двух случаях: когда речь идёт о праздновании Нового года или же когда описывается похоронное шествие. Здесь переплетаются две традиции, одна из которых связана с радостью, а другая — с горем. От подобного переплетения отталкивается четвёртая, заключительная часть:

«Несоответствие». Сразу не поймёшь, чего в этой части больше: глубокой человеческой трагедии или же лёгкой иронии / самоиронии?

Смысловой строчкой из стихотворения Ивана Сурикова «В степи» (строчка у Сурикова «Снег да снег кругом» в народной переработке «Степь да степь кругом») доводится автором до прямого высказывания: «Смерть да смерть кругом...» Слышны отголоски Надсона и Мандельштама. Упоминаются Блок, Пушкин, Булгаков. Мертвец, пробежавшийся пунктиром по первым трём частям, «улы-ба-ет-ся», то есть не просто двигается, но даже выражает эмоции со знаком «плюс». Игра с глаголами и прилагательными, сниженная лексика рядом с возвышенной, персонажи детских сказок и древнеегипетские фараоны — множество прямых линий соединяются в одной точке, пересекаются и, дополнив друг друга, снова расходятся в разные стороны, двигаются каждая по своей траектории.

Несоответствия зимы,
её пронзительная прелесть,
в пересечении прямых...

Зима, как полное обновление. Один мир умер, да здравствует мир другой! Прямые линии сходятся и расходятся, а в королевстве тишина, потому что принцесса пишет. Не будем ей мешать.

Леонид Бахнов

«Их протирают, как стекло»

Из тех мест на Земном шаре, о которых рассказывает в своей книге «Антропологические путешествия» Татьяна Щербина, в 77,8% я никогда не был и вряд ли когда-нибудь побываю (подсчитано приблизительно точно).

Завидую автору.

Но зависть быстро проходит, потому как прочитав буквально два-три эссе, из которых состоит книга, понимаешь: одно дело осваивать

описываемые автором места даже очень вдумчивым взором и совсем другое — знакомить с ними так, как это делает Щербина.

Суть даже не в том, что это, как говорится, проза поэта. Ну, кто иной может написать, например, так: «Во время дождя сидела и смотрела, как у океана пена изо рта идет и время от времени он плюется медузами. После дождя подошла к кромке, рассмотрела валяющихся на песке — будто из рисовой муки эти твари вылеплены, но ужасно несимпатичные, тесто комом».

Татьяна Щербина. Антропологические путешествия. — М.: АСТ, 2019 (серия «Table-Talk»).

А полустраницей раньше — про дождь, стекающий с крыш в домиках вьетнамского селения: «Не поток, а ровненькие такие стеклянные нити. И я подумала, что дождь, стекающий с таких крыш, и стал прообразом стеклянной лапши».

Чем вам не удаленная рифма?

Но, повторяю, суть не только в том, что эссе написаны поэтом. Взгляд автора не просто вдумчивый и чуткий, что бывает не чуждо и некоторым туристам. Я бы про такой взгляд сказал — *оснащенный*. Оснащенный тем, чего не почерпнешь только лишь из книжек, из энци- и википедий. Оно, конечно, не лишнее, всякие пикантные знания типа «что? где? когда?», такого в книге тоже полным-полно. Но разве что-то может заменить общение с кучей людей, изысканности-исхоженности пространства, неожиданных приключений, которые сваливаются на голову всякому путешественнику?

Вопрос не такой уж риторический — некоторые эссе на тему путешествий буквально намозолены трением об интернет.

Ну ладно, думаю я, пусть Франция, знакомая автору до глубины души, даром что признания в любви к этой стране разбросаны тут и сям. Или соседняя с ней Швейцария. Германия. Италия. Пусть даже вся Европа — не чужой все-таки континент. Но — Индия? Или тот же Вьетнам? Китай? О которых Татьяна Щербина повествует, может, не столь подробно, но с такой же пристальностью.

Отчего возникает этот эффект познания далекой, казалось бы, действительности? Может быть, секрет в интонации? Такого, знаете ли, полного погружения в стихию, которая окружает тебя на данный момент?

Да, автор умеет создавать и сберегать нужную интонацию. Здесь она, что называется, профи, умеет держать читателя в форме. До такой степени, что нелегко различить, где ей по-настоящему интересно писать, а где — не слишком.

Но секрет, я думаю, все-таки не в жестком профессионализме. Посмотрите, как она пишет о французских (и не только) виноделах. Описания вин и виноградников звучат, уж извините за прозу, как музыка, в оттенках вина она разбирается дай Бог специалисту-дегустатору. Не стану здесь приводить многочисленные цитаты, авось, вы сами сумеете ими насладиться, приведу лишь одно суждение: «Правила виноделов во Франции

столь строги, что занятие это может быть только служением, а не профессией. С первого века живут здесь виноградники, винодельческие династии — особая аристократия Бордо, никогда не догадаешься по внешнему виду, что перед тобой барон, чья генеалогия насчитывает десять веков. Здесь аристократ — это крестьянин-винодел, который хоть и владеет одним или несколькими винными шато (замки как таковые прилагаются, но не всегда это собственно замки, значение имеют гектары земли, а не здания <...>), но ничем не напоминает утонченного рыцаря. Я неоднократно ужинала с этими миллионерами и миллиардерами — если бы они продали свои шато, то стали бы таковыми, но они их продадут, только если будут подыхать с голоду!»

Вот! Именно такими людьми увлечена Татьяна Щербина. Будь то виноделы, архитекторы, инженеры, хозяева гостиниц, изобретатели никому не нужных приспособлений и — смотрите, какая пруха! — сумевшие на этом внезапно разбогатеть. Или, наоборот, разориться. Люди, умеющие работать, умеющие рисковать, люди, до корней волос преданные своему делу. Да, те самые, что готовы сдохнуть с голоду, но не похерить то, чему отдали свою жизнь. Кто-то назовет их прибабахнутыми, а кто-то — солью земли.

И вот ведь что интересно. При огромном изобилии мест, которые объездила автор «Антропологических путешествий», получается, что везде, в любой культуре такого склада люди ценятся превыше всего. Будь то старушка-Европа или куда более древние Индия, а также Китай с Вьетнамом. Не говоря про страны античности.

Как раз отсюда, мне кажется, и проистекает глобализм Щербины. Глобализм отчетливый, но не без иронии (и самоиронии) и без фанатизма. Глобальный интернет, глобальные консорциумы, глобальная зависимость каждого от всех — куда тут денешься, мир-то един. Тем более это заметно в отсутствии железного занавеса.

Собственно, об этом и говорит она в авторском предисловии. Но название предисловию дает вполне себе диалектическое: «Локал и глобал». Что такое «глобал», объяснять не надо. А о «локале» Щербина пишет так: «Но тут парадокс: всемирная "ВДНХ", к которой все, как мог, прихорошились, одни страны потянула в прошлое, считавшееся благополучно похороненным, другие в хаос.

Что дальше: будет лобовое столкновение цивилизаций или планета станет гомогенной, уподобившись всемирной паутине, но сохраняя "фольклорные" уголки и традиции?»

Ей, разумеется, не хочется лобового столкновения. Поэтому она и рассматривает так любовно и с таким вниманием людей, привычки, особенности психологии, сравнивает ценности обитателей разных мест — все то, что отличает одно сообщество от другого. Волей-неволей, а точнее, благодаря особенностям собственного характера, она скрупулезно вникает в открывающиеся ей национальные миры. Отсюда и возникает ощущение *вовлеченности* автора, постоянной личной *причастности* к тому, о чем она пишет.

Такое не подделаешь никаким мастерством.

Конечно, многие имена, исторические факты, да и просто истории, имена городов... — многое выветривается из памяти еще до того, как дойдешь до финальной страницы. Думаю, автор это прекрасно понимает.

«Антропологические путешествия» вовсе и не рассчитаны на то, чтобы быть сводом разного рода сведений о тех или иных городах, весях и об особенностях ментальности людей, их населяющих (хотя о том, чем отличается тот же бургундец от парижанина или житель

одного кантона Швейцарии от другого, говорится весьма впечатляюще).

Тогда о чем же книга? Вернее сказать — *для чего?*

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло, —

хрестоматийные строки Давида Самойлова.

Дело, понятно, не в обычности или замысловатости слов. Зрение ведь тоже надо время от времени протирать. Особенно если вам предстоит куда-нибудь съездить.

Вот для того и существует книга Татьяны Щербины. Чтобы иметь возможность протереть свое зрение. Причем, совершенно независимо от места, куда вы собираетесь — вовсе необязательно, чтобы это была страна, о которой сказано в книге.

А дальше — дальше, в поездке, пожалуй, неплохо иметь ее под рукой. Чтобы просто вспомнить, как это делать: протирать свое зрение. И вернуть себе способность смотреть на все свежими и незашоренными глазами.

Даниил Чкония

Счастьем оказалась сама жизнь

Начну с ключевой цитаты. Речь идет о временах, когда в изгнании в Париже пребывала чета Синявских, близких друзей Людмилы Сергеевой. Обстоятельства сложились так, что с автором книги воспоминаний «Жизнь оказалась длинной» и

Людмила Сергеева. Жизнь оказалась длинной. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. (Мемуары — XX век).

ее друзьями Синявскими случайно познакомилась француженка Кристина, занимавшаяся наукой и посещавшая тогдашний СССР с научными целями. Она прониклась сочувствием к этим людям, к их проблемам в отношениях с советской властью и помогала им в меру возможного. Именно по ее приглашению, несмотря на все препоны властей, Сергеевой удалось в советские времена вырваться в Париж. Ехала она, разумеется,

к Синявским, но кто же ее выпустил бы к ним?! Француженка была потрясена тем, какой широкий круг людей составлял это небезопасное духовное братство, это пересечение судеб разных людей, хранивших верность своему содружеству.

Людмила Сергеева вспоминает: «Кристин поражало, что мы все хорошо знакомы между собой и дружны, часто общаемся. Однажды Кристин мне сказала: "Я поняла, почему вы все так дружите и у вас есть время ходить в гости друг к другу. Потому что вы мало работаете, у нас люди много заняты работой, и им не до дружбы". Я ей постаралась объяснить: может быть, мы действительно работаем меньше французов, но и платят нам гораздо меньше, чем вам. Но дружим мы так верно и дорожим своими близкими отношениями не потому, что у нас много свободного времени, а потому что дружба — это единственное наше богатство, единственная наша дорогая недвижимость, самый надежный вклад в банке, других у нас просто нет».

Не стану делать вид, будто не знаком с автором книги. Мы достаточно долго проработали вместе в Литконсультации издательства «Советский писатель» и Союза писателей СССР. Людмила Георгиевна, Люда — человек неординарный. Филолог и редактор — не в смысле занимаемой должности, а по призванию. И главным ее талантом был и остался дар дружества. Она не только внимательно выслушивала людей, которых быстро располагала к себе, она принимала близко к сердцу чужие переживания, сомнения, держала услышанное в памяти, и без твоих просьб вдруг возвращалась к теме, когда возникал в ее голове толковый совет или возможность прямого участия и помощи.

Кое-что из того, о чем она пишет в своих замечательных мемуарах, иногда рассказывала и вспоминала в те времена, так что читателем я оказался пристрастным. В частности, о своих поездках в Париж и первых впечатлениях она рассказывала с неподдельным юмором и самоиронией.

В предисловии Сергеева пишет: «Я питаю робкую надежду, что мои воспоминания прочтут те, кто не знал лично этих удивительных людей и не жил в то время, которое выпало на мою долю. Хочу надеяться, что тексты заинтересуют и моих ровесников, которые детьми пережили войну, у многих погибли на войне или попали в "месиво, крошево" большого террора родители, наша

юность пришла на сталинскую диктатуру, молодость — на время "оттепели". Я принадлежу к поколению, которое, несмотря на все трагедии XX века, попыталось воссоединить "распавшуюся связь времен", дало толчок почти умершей нашей истории и рванулось к правде и свободе».

Эта книга читается как захватывающий приключенческий роман. Только роман не выдуманный.

Трудное детство, с постоянными переездами на новое место работы отца, талантливого инженера, отдавшего свои силы рудникам на пространстве «от Москвы до гор Сихотэ-Алиня». Обычная советская семья интеллигентов, которая испытала постоянную угрозу репрессий, теряющая близких людей, вынужденная выживать почти на положении нелегалов. Об этом периоде своей жизни — до студенчества — Сергеева рассказывает с болью, прикрытой иронической улыбкой.

Обычная советская девочка. Когда во дворе появляется другая — «принцесса», маленькая Люда, заводит двора, расположена к новенькой, но та высокомерничает: дочка, как видно, номенклатурного папы, не хочет свои роскошные игрушки делить с другими. На вопрос, откуда она приехала, «принцесса» отвечает — из Таллина.

«Мальчишки особенно невзлюбили эту задавалу и жадину, хотели что-нибудь сломать из ее игрушек, но я их решительно остановила: "Пойдемте играть отдельно, она ведь такая глупая, даже не может правильно назвать город, откуда приехала, говорит — из Таллина, а нужно сказать — из Сталина". Ис чувством превосходства над этой "принцессой" вся ватага ушла играть в свои привычные игры в другой конец двора». Дорого, что это воспоминание завершается словами надежды, что жизнь этой номенклатурной семьи «принцессы» не перемолота сталинскими лагерями — перед этой угрозой бессильны были все. В этом — характер Людмилы Сергеевой отражен точно. Даже из голодного и неуютного детства она вынесла расположенность к людям.

Об этом были написаны трогательные стихи Андрея Сергеева, мужа Людмилы, известного русского поэта, прозаика, переводчика английской и американской поэзии:

Для взрослых было — грохот стих,
А дети проникались былями.
Ты возникала среди них,
Одна бродившая сибирями.

Клубочек робкого тепла,
Отягнутый бурею от вымысла.
Вот как и почему росла
И вот откуда в люди выросла.

Именно в люди выросла! Не озлобилась, не почувствовала себя обойденной. Она и пишет: «За свои долгие годы я поняла, что счастьем на самом деле оказалась сама жизнь, просто непредсказуемая жизнь, вся, с радостями и бедами, любовью, дружбой и разлукой, болями и утратами, со всем, что тебе на роду написано. И главным в моей жизни стали встречи с людьми — отзывчивыми, интересными, добрыми, красивыми, талантливыми, которых я много повидала на своем пути».

Встреча с талантливым молодым поэтом Андреем Сергеевым стала судьбоносной для Людмилы Ельцовой — такую отцовскую фамилию носила она до того, как настойчивый поэт добился ее согласия на брак. Они жили одними интересами, были неразлучны, им было интересно друг с другом. Андрею Сергееву посвящены многие страницы воспоминаний.

Сергеев был серьезен и сосредоточен на творчестве. Людмила была предана ему всей душой. На многие годы атмосфера их семьи стала притягательной для разных людей — будь это сокурсники, преподаватели, друзья.

В кругу друзей оказался и поэт Иосиф Бродский. Воспоминания Людмилы ценны тем, что она пишет о Бродском как о любимом друге семьи, человеке который часто останавливался в их гостеприимном московском доме, приезжая из Ленинграда. Бродский, если сходил с кем-то, оставался преданным до конца, окружая теплом и нежностью друзей. Здесь мы видим поэта как фигуру не статуйную, живую. Со своими маленькими человеческими слабостями, которые только оттеняют масштабность личности.

«С моей стороны не было “удушающей привязанности” (чего так не любил Иосиф!), ежесекундного придыхания, а были преданность, забота, восхищение его даром и интерес к его личности. В его присутствии я точно становилась лучше и умнее», — пишет Сергеева.

Мысль о том, что ее жизненная позиция, ее ценности формировались общением с выдающимися людьми, повторяется неоднократно. Искренне восхищаясь ими, она оказывалась умным, достойным собеседником, добавлю я. А деятельная забота о них превращала ее в драгоценного друга.

Сергеевы дорожили дружбой с Бродским. Бродский отвечал тем же. Их многое объединяло. Бродский ценил творческое дарование Андрея, доверял его вкусу, оценкам. В Америке Бродский признался Томасу Венцлове (тот записал в дневнике): «В том, что я уехал в Штаты, повинен, в сущности, Андрей Сергеев, ибо с его переводов у меня начался роман с американской поэзией».

Жизнь неожиданно внесла свои коррективы. В Москву приехала Марина Басманова, возлюбленная Бродского. Она была беременна, а ее взаимоотношения с поэтом оказывались очень сложными и мучительными для обоих. Людмила вспоминает, что Марина плакала: «Я поняла, что ей плохо. А всякой беременной женщине, по моим понятиям, должно быть хорошо, чтобы выносить и родить здорового ребенка». На следующий день в телефонном разговоре Сергеева рассказала Бродскому о состоянии Басмановой, о том, что ей сейчас нужна поддержка, следует потакать ее капризам, быть бережнее... Бродский взорвался и положил трубку. А затем написал резкое письмо, смысл которого был в том, что если Сергеевы его друзья, они должны стоять за него. Ответ Сергеева был категоричным — никому не позволено в таком тоне говорить с его женой!

Переживали обе стороны. Людмила осознавала свою правоту в отношении к беременной женщине. Друга не предавала. Она пишет: «Но мне стало еще понятнее, какая же глубокая обида, боль, ревность, покинутость говорят в нем — все то, что почти постоянно сопровождало его сильную и трудную любовь к Марине. Именно сейчас ему особенно была нужна моя дружба, на которую он мог всегда рассчитывать и на которую я всегда откликалась охотно, а тут вдруг, по его понятиям, взяла сторону Марины. Иосиф не знал, что я всегда встану на защиту всякой беременной женщины... Это была единственная размолвка между Андреем и Иосифом в их долгой и прекрасной дружбе. Иосиф был очень верным другом, безоговорочной верности он требовал и от друзей. Такой у него был категоричный, яростный, но прямой характер, без двойного дна. Это вредило в первую очередь самому Иосифу». А размолвка друзей скоро разрешилась восстановлением отношений.

Сергеева прекрасно пишет о Литве и их с Андреем литовских друзьях — общих с Бродским.

Замечательные страницы посвящены

встречам с Ахматовой. Само первое знакомство уже создало атмосферу дружества.

«Когда Анна Андреевна подошла к телефону, Андрей выпалил: “Анна Андреевна, здравствуйте. С вами говорит Андрей Сергеев, я пишу стихи. Мне бы хотелось вам почитать”. Густой, обволакивающий голос Ахматовой, который слышу и я. “Пожалуйста, приходите”. — “Когда?” — “Сейчас. Только я позову к телефону кого-нибудь из более нормальных людей, они вам объяснят, как добаться”. Неслыханно! Вот так, позвонив из телефона-автомата, может тут же незнакомый человек поехать на встречу с великим поэтом. Было это в 1960 году...

Стихи Ахматовой, встречи с ней, ее незабываемое прекрасное лицо, Комарово, Фонтанный дом, Иосиф Бродский, Андрей Сергеев — все слилось воедино и осталось со мной навсегда. А через три года у меня родилась дочь, и я назвала ее Анной, теперь ученики называют ее Анна Андреевна».

В своей книге Сергеева вспоминает и о знакомстве и завязавшейся дружбе с Надеждой Мандельштам. Пишет о ее характере, о метком языке и самоиронии: «У Надежды Яковлевны распухло и побелело колено — артрит. Кого-то из позвонивших она попросила купить змеиный яд, но в дефиците была не только еда, даже змеиного яда в аптеках не оказалось. В это время у нее в гостях сидела Мария Васильевна Розанова, которая тоже за словом в карман не лезла. “Надежда Яковлевна, зачем вам змеиный яд? Вы поплывите на колено, и все пройдет”. — “Сейчас попробую”, — не моргнув глазом, ответила Надежда Яковлевна». Розанова называла Надежду Мандельштам «веселой вдовой». Людмила часто бывала у Надежды Яковлевны, дежурила у нее, так было до самой смерти вдовы поэта.

Сергеева подробно пишет о подвиге Надежды Яковлевны, собиравшей по крохам стихи погибшего мужа, сохранявшей их в своей памяти, переписывающей их, чтобы потом через друзей-иностранцев передать в руки надежным специалистам на Западе. Страх перед властью не покидал, она ожидала, что в любой момент может произойти обыск или арест. Но сильнее страха было желание сохранить для потомков, для поэзии неопубликованные строки великого поэта.

С некоторыми героями воспоминаний Людмилы мне довелось общаться. Двоим из них — поэту Николаю Панченко и польскому слависту Анджею Дравичу — в моих книжках

есть стихотворные посвящения, а А Володя и Лиля Кочетовы — друзья студенческой поры. Довелось познакомиться и с ее тогда уже бывшим мужем — поэтом Андреем Сергеевым, заглянувшим к нам на работу с какими-то вопросами к Людмиле. Впечатление было тяжеловатым: он был напряжен, чуть ли ни упрям, немногословен.

Вот еще одно воспоминание Людмилы: «Весной 1969 года я должна была родить ребенка, в планы Андрея Сергеева это не входило, и мы собирались разводиться. Мария Васильевна, как, впрочем, большинство наших друзей, в течение одиннадцати лет умилявшихся нашей паре, написала мужу об этом с болью и грустью. Вот ответ Синявского: “...Огорчительны Собакевичевы разводы... А Собакевичева история дика, и разве можно так против судьбы переть, из чистого рационализма, она за это накажет. И какой он веры, что так рассуждает. Только я надеюсь, когда появится маленький Собакевич, сердце его не выдержит, как тот самый камень, и размякнет, и расцветет удивленной любовью. А не расцветет — пусть катится к черту, туда и дорога, и не жалко”. На этом и раздружились навсегда Андрей Донатович Синявский с Андреем Яковлевичем Сергеевым. А ко мне и Мария Васильевна, и Андрей Донатович стали еще более внимательны и дружелюбны. Мария Васильевна звонила почти каждый день. А когда я родила дочь, в числе первых примчалась посмотреть на Анюту. Думаю, что Мария Васильевна захотела стать моей крестной матерью неслучайно».

И здесь, мне кажется, важно сказать: Сергеева в своей книге предстает как человек пристрастный, но объективный. Она говорила: «Разводятся с женами. С детьми не разводятся».

Работа в Литконсультации — занятие не для слабонервных. Люди, измученные бесконечными отказами в публикациях, шли в Союз писателей чередой. Беседа требовала не только профессионального уровня, но и психологического умения вызвать доверие возбужденного (нередко — агрессивного) автора — он же добрался до Москвы в поисках подтверждения собственной одаренности, это, по его мнению, была последняя инстанция и мириться с негативной оценкой своих текстов он был не намерен.

Меня восхищала способность Людмилы Георгиевны быть внимательной и терпеливой. Успокоить, убедить, посочувствовать, посоветовать. Быть искренне дружелюбной.

Но помимо примитивных текстов бездарей вдруг мелькали живые строки неумелого сочинителя, и тогда Сергеева привлекала автора, фактически занимаясь с ним индивидуально, доводя его до журнальной публикации, а бывало, и до книги, не скрывая своей радости. Порой случались тексты, в которых неправильность языка вдруг оборачивалась неожиданно звучащим словом, о чем сам автор не догадывался. Это было праздником филологического чутья. Дальше я привожу фрагмент воспоминаний Сергеевой: «Кое-что личное мне хочется вспомнить в связи с рассказом “Графоманы”. Андрей Донатович был большим любителем и ценителем “моих графоманов”, чьи стихи я рецензировала в Литконсультации с 1958 года и читала Синявскому. Три человека проявляли большой интерес к графоманским сочинениям и всегда просили меня почитать им наиболее интересные, восхищались ими и хохотали от души — Андрей Сергеев, Андрей Синявский и Томас Венцлова. Буйную фантазию и трогательно безыскусное, но всегда непредсказуемое и фантастическое обращение со словом графоманов Андрей Синявский почитал наравне с блатной песней, анекдотом, байкой, частушкой, народной сказкой. /.../ Синявский любил повторять строку одного моего подопечного автора, который верил в коммунизм и видел его восходящую зарю вот так: “И лучи того света видны!”»

Даже в лагере Синявский будет записывать, посылать жене, а потом вставит в свой непревзойденный “Голос из хора» графоманские вирши: “А вот как безграмотность оживляет штамп:

Я один кругом на свете,
Без подпорок и корней,
Без родных сестер и братьев,
Без отцов и матерей.

Тут вся сила во множественном числе”».

Дружбе с четой Синявских посвящена значительная часть книги «Жизнь оказалась длинной».

Один из любимых учителей Людмилы, Синявский, когда решалась его судьба после лагерного заключения (отсидел он полный срок, отказавшись признать себя виновным), понимая, что работать и жить спокойной

жизнью ему не дадут, писал в Правительство СССР: «Я — писатель и, независимо от того, как расцениваются мои вещи, вижу в этом единственный смысл моей жизни. За это я был судим в 65-м году, за это отсидел шесть лет в лагере — и не раскаялся, и если понадобится, готов за это же идти в тюрьму и в лагерь по новой... Вы болеете за Россию? За мощь государства? Но у таких, как я, нескольких человек, интеллигентов, извините за выражение, тоже есть своя боль. Поймите — нам стыдно. Стыд сжигает лицо. За Россию. Хотя все про все, чего мы стыдимся, о чем болеем, заключается в слабых словах: иск-во, лит-ра... Вам жаль Сталина. А нам жаль Мандельштама, Бабея, Пастернака, Ахматову, Булгакова, Цветаеву... Их — убивали. Не вы персонально, но те, кто тогда голосил и голосовал от имени Правительства...»

Мог оказаться в лагере снова. Обошлось. Выгнали из страны. А потом во время надежд и перемен пустили назад, вернули гражданство. Что знает об этом молодое поколение? Чего оно ждет от нынешних времен? Ведь, как пишет Сергеева, «Андрей Донатович Синявский научил нас тому, что “стилистические разногласия” с властью важнее, чем идеологические. “Стилистические разногласия” Синявского с советской властью — глубинные, сущностные и далеко идущие — касаются не самой преходящей власти с ее демагогией, ложью, репрессиями, популизмом, а воздействуют на структуру общества, на его нравы, его язык, на культуру народа, которая только и остается в истории отечества на века». И еще. «Синявский, прошедший арест, несправедливый суд и шесть лет мордовских лагерей, имел полное право, исходя из собственной жизни и судьбы, сформулировать писательское кредо в “Голосе из хора”: “Писать нужно так, чтобы сначала, с первых абзацев, отрезать себе путь к отступлению и жить уже по закону предложенного сцепления слов, как единственного пространства, которое ты имеешь в наличии... Творчество — это отчаянная постановка вопроса: жить или не жить?”»

Синявские решительно, смело и даже с азартом выбрали жизнь, замечает Сергеева.

Ее — жизнь — выбрала и сама Людмила Сергеева. Об этом ее книга.

Ольга Брейнингер

Мы только начали

Иногда случается так, что интервью принимает неожиданный оборот. Например, когда ты приходишь со своим списком тем и уже на первом-втором ответе понимаешь: рядом с тобой не просто человек, который отвечает на вопросы. Рядом с тобой человек, который, отвечая на вопросы, строит из них манифест — свой личный, блогерский, больше-чем-блогерский.

Сегодня в гостях у «Дружбы народов» Евгения «Книгагид» Власенко и ее манифест.

Ольга Брейнингер: Из твоих постов, комментариев и из личного общения с тобой у меня складывается ощущение, что ты, если так можно выразиться, блогер с миссией: ты поставила себе целью сформировать новое представление о литературных блогерах у большого литературного мира. Это осознанная позиция и рабочая программа?

Евгения «Книгагид» Власенко: Да, это позиция и программа, которая сформировалась в процессе роста и развития блога — раз и меня как блогера — два. А также самого понятия «литературный блогер», которое мы сейчас и формируем — тем, что и как делаем. Наличие миссии помогает в постоянной борьбе со стереотипами. Самые распространенные из них связаны с тем, что если блог в Инстаграме — значит, там автоматически существует перекося в сторону визуала и тексты пишутся не про книги, а про себя. Подобная дискриминация по соцмедиа платформе раздражает не меньше, чем по полу или внешности, you know. Но раздражение — чувство ресурсное. Площадка, безусловно, форматирует, но как только ты понимаешь правила, начинаешь видеть возможности. За три года блогинга я научилась использовать любые возможности, чтобы с нуля сформировать личный бренд в литературе. А личный бренд — это больше, чем блог. Человек всегда больше, чем блог.

О.Б.: Ты упомянула стереотипы, против которых борешься: то самое представление об Инстаграме как сумме селфи, коротких незамысловатых постов и самолюбования в сториз. Если не это — то что на самом деле сейчас происходит в Инстаграме?

Евгения «Книгагид» Власенко: Мы можем наблюдать процесс институционализации и профессионализации литературного блогерства. И это закономерный процесс. На мой взгляд, первое поколение литературных блогеров зародилось в недрах ЖЖ. Сейчас эти авторы успешно встроились в отраслевые медиа: когда они начинали, это был единственный путь. Никто не знал, что спустя 10 лет будет так просто построить собственное медиа, и что нас будет ждать расцвет такого явления, как гражданская журналистика.

Второе поколение — это уже поколение соцсетей. Причем здесь есть два подпериода: паблики и личные бренды. Одним из примеров успешного литературного паблика можно считать проект Артёма Сенаторова Вконтакте «Литорг». Личные бренды в литературном блогинге начали развиваться на площадках Ютуб и Инстаграм.

«Книгагид» относится к этой волне. С развитием мессенджеров и появлением Телеграма зародилось третье поколение литературных блогеров. И если предыдущие поколения (ВК, Ютуб, Инстаграм) эволюционировали от уровня простых любителей читать, то в Телеграм сразу пришло профессиональное сообщество: журналисты, писатели, критики. Именно они в последние год-два подняли текстовую планку литературным блогерам, но по части личных брендов у них большое отставание. В этом их ограничивает сама площадка. Замкнутый круг. Да, я называю поколениями этапы в 3—5 лет, но такое сейчас время, все очень быстро.

О.Б.: Соглашусь с твоей мыслью о том, что блогерское сообщество в последнее время осознало себя как активную группу, как игрока, завоевывающего свою позицию в литературном поле. Об этом говорит и большое количество блогерских низовых инициатив, и такие события прошедшего лета, как ситуация вокруг издательства «Фантом-пресс», и вовлеченность блогеров в премиальный процесс — «Фикшн35», чтение блогерами длинного списка «Ясной Поляны». Каковы твои прогнозы по этой ситуации? Веришь ли ты в то, что блогеры завоюют свое место рядом с профессиональными литературными критиками?

Евгения «Книгагид» Власенко: Мы уже это сделали. И это мы еще только начали. Литературной критике несколько веков, а литературному блогерству сколько? Блог — продукт эры интернета, а интернету всего 30 лет. Социальным сетям вдвое меньше, а блогерство, да ещё и литературное — это надстройка надстройкой. И это совсем отдельный жанр, требующий не только навыков обращения с книгой, с текстом, но и умения донести это до аудитории в виртуальном пространстве. Литературный блог — это такая форма медиадialogа с читателем, где важным аспектом выступает привлечение внимания к книге, а уже потом ее истолкование и оценка. Поэтому так хорошо работают фотоконтент и личная харизма. Подача через тексты о себе — не погрешность жанра, а условие выживания.

С другой стороны, понятие литературного блогинга одновременно и уже, и шире литературной критики. Уже в части интерпретации текста — не потому что блогер этого не может (бывает и так, но всему можно научиться), а потому, что такой задачи нет. А шире в том, что литературный блог — это жизнь вокруг книги. Не только рецензии и обзоры прочитанного, но и новости индустрии, и смежных областей (искусство, кино, политика та же). Но главное — это площадка для общения, возможность получать обратную связь и уходить в бесконечные ветки комментариев с читателем.

Закономерно, что раз литература выходит в новые форматы (я говорю об электронных и аудиокнигах), то и обсуждение вокруг книги перетекает в схожие пространства. Подкасты, блоги, в том числе видеоблоги. В любом случае, точка бифуркации уже пройдена, и система (литературная система) самоупорядочится естественным образом — так что и блогерам, и критикам в ней будет свое место.

О.Б.: По образованию ты маркетолог. Как ты используешь эти профессиональные навыки в работе блогера?

Евгения «Книгагид» Власенко: Активно использую. Нейминг, позиционирование, контент-планирование, подача информации — везде видна «рука маркетолога». Я вообще считаю, что блогер должен много уметь и много кем быть: и фотографом, и писателем, и пиарщиком, и таргетологом, и продавцом, и даже юристом и психологом. Последнее очень полезно, когда тролли приходят в комментарии. Я всегда удивляюсь, когда блогерство отождествляют с «письменными» навыками и талантами. Нет, господа, это 1/10 из необходимого в блогинге. В литературном в том числе.

О.Б.: Тебе удалось преодолеть главное ограничение литературного блогера — сделать блог чем-то большим, чем история о себе, рассказанная через книги. Ты участвуешь в серьезных отраслевых премиях, читаешь лекции в писательской школе журнала «Вопросы

литературы», выступаешь как приглашенный эксперт на ММКВЯ. Давай составим своего рода рецепт: как блогеру найти баланс между личным и литературой и заставить профессиональных читателей от мира литературы воспринимать тебя всерьез?

Евгения «Книгагид» Власенко: Чтобы тебя воспринимали профессионалы, надо самому быть профессионалом. Надо знать свои сильные стороны. У меня это маркетинг и коммуникативные навыки. С этих козырей я всегда и заходила. А ещё я постоянно учусь: читаю, слушаю, пишу, редактирую; стараюсь не упустить ни единого шанса, который представляется. Новая премия для блогеров — мне надо, приглашают на дискуссию в библиотеку — соглашаюсь, предлагают разработать программу обучения — с удовольствием. Предложили бы сделать книжный фестиваль — я бы взялась. Это не значит, что мне все легко даётся. Каждый раз это какой-то новый вызов, который сопровождается выходом из зоны комфорта. Мой рецепт банален — не упускать возможностей и постоянно развиваться.

О.Б.: Сейчас популярен термин «личный бренд». Ты сказала, личный бренд — это больше, чем блог. В чем особая актуальность этого понятия для литературного блогера? Как создавался личный бренд «Книгагид»?

Евгения «Книгагид» Власенко: Чтобы ответить на вопрос об актуальности, достаточно разобрать сам термин «личный бренд». Что такое бренд? Это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик в сознании аудитории. А личность — это человек и совокупность его личностных и социальных ролей, его предпочтений и привычек, имеющиеся у него знания и опыт. По сути, личный бренд — это когда то, чего ты достиг, что ты делаешь и как делаешь, становится узнаваемым, отличимым от других и приобретает ценность. Литература в данном случае выступает сферой применения, а блогинг — форматом. Чтобы выстроить личный бренд в литературном блогинге, нужно сначала осознать себя в точке А — это ты сам, твоё образование и навыки, манера и стиль, предпочтения (в книгах, формате вещания, площадке). Дальше необходимо определить точку Б — это то, куда ты хочешь прийти. Потом понять, чего тебе не хватает, чтобы оказаться там уже сейчас: экспертности, узнаваемости, знания среды. И идти туда. Это и называется строить личный бренд. Ничего нового — выявляешь сильные стороны, прокачиваешь слабые и трудишься, трудишься, трудишься. Личный бренд «Книгагид» создавался именно так.

О.Б.: Насколько изменились твои вкусы за годы ведения блога? По твоим старым постам мне показалось, что за последний год и твой выбор книг, и отношение к современной прозе очень сильно переменялись.

Евгения «Книгагид» Власенко: За время ведения блога мои читательские предпочтения и подход к выбору литературы действительно сильно изменились. Можно сказать, что от стихийного чтения я пришла к литературной осознанности: разобралась, кто и что издает, открыла новые имена и течения, но самое главное — распробовала современную прозу (потому что у меня на этот счет был полный комплект стереотипов). Неизменным осталось то, что я по-прежнему уделяю время восполнению литературных пробелов. У меня абсолютно обывательский литературный багаж. Это не мешает вести блог так, как это делают многие, но не дает разворачивать мысли так, как бы я хотела их развернуть. Иной раз не хватает знания теории и истории литературы. В общем, я решила на кое-что смелое и в ближайшие два года буду укреплять свои академические позиции в магистратуре филфака РГГУ.

О.Б.: А твой читатель? Как он реагирует на эти перемены?

Евгения «Книгагид» Власенко: Читатель растёт вместе с автором. Именно поэтому у литературных блогеров такая большая ответственность за то, что они несут в массы и как это преподносят. Безусловно, выбор блогера всегда будет обоснован личным

вкусом, кругозором, возможностями (например, читать что-то в оригинале). Ну и не стоит забывать, что блог — это живой организм, который постоянно меняется: подписчики не мертвые души, они приходят и уходят, иногда даже уходят, громко хлопнув дверью. Да, есть какие-то общие тренды, но по большей части аудиторией блога управляет блогер. Поэтому если на каком-то большелитературном уровне мы хотим формировать нового читателя, то вот вам понятный и работающий инструмент. На примере «Книгагид» могу сказать, что каждый раз, когда у меня менялся вектор развития блога, менялся и состав активной аудитории. Я четко вижу поколения подписчиков, знаю, на что они реагируют, и всегда различаю новых и тех, кто читает меня с самого начала. А еще важно сказать, что мой читатель нередко начитаннее меня. На блог подписано много филологов и просто людей старшего поколения, у которых чтение в меньшей степени конкурирует с другими формами досуга. И это очень сильно стимулирует.

О.Б.: Что сейчас читает Книгагид?

Евгения «Книгагид» Власенко: Сейчас в блоге сделан акцент на современную русскую интеллектуальную прозу. Я читаю или пробегаю почти все, что издается в Редакции Елены Шубиной. Алексей Сальников, Алексей Иванов — в принципе тех, кого я читаю, можно увидеть у меня на Ютуб-канале в проекте «PitStop с Книгагид». Я за это и люблю современную литературу: потому что с авторами можно познакомиться и поговорить. Краем глаза слежу за тем, что делают молодые. Например, Константина Куприянова и Вячеслава Ставецкого я читала до того, как их романы вышли отдельными книжками. В толстых журналах читала, в сборнике премии «Лицей». И мне очень нравится открывать своей аудитории новые имена. Жанровые вещи предпочитаю у зарубежных авторов. Люблю то, что издают «Азбука», «Корпус» и «Фантом». В последнее время стала регулярно читать нон-фикшн. Наконец-то дождалась его в том виде, в котором это не похоже на «Как стать душой компании». Последние несколько книг издательства «Индивидуум» потрясающие. За две ночи проглотила «Форпост» Ольги Алленовой и долго потом болела этой книгой о Беслане.

О.Б.: Твой проект-визитная карточка — это «PitStop с Книгагид» Расскажи, как и зачем он появился?

Евгения «Книгагид» Власенко: Проект на YouTube появился, когда мне стало тесно в Инстаграме. Как я уже сказала, блог всегда меньше человека. Пост имеет существенные ограничения по знакам, быстро улетает в ленте, и его не найти через поисковик. То есть ты заперт внутри платформы. Видео на YouTube не имеет этих недостатков, а еще у него более длительный цикл жизни. Но началось все с людей. Выходя из виртуального мира в реальный (я имею в виду книжные презентации, паблик-токи и разного рода литературные тусовки), ты попадаешь в мир удивительных и талантливых людей. Конечно же, у тебя к ним много вопросов.

О.Б.: Расскажи о закулисной жизни проекта. Как ты выбираешь гостей для новых эпизодов? Обговаривается ли заранее сценарий или все идет экспромтом? Можешь рассказать подробнее обо всех этапах работы над одним эпизодом, от самого начала до финальной точки?

Евгения «Книгагид» Власенко: Точкой отсчета выступают либо персона, либо идея. Когда идея — то думаешь, с кем бы на эту тему поговорить. Когда находишь — с кем, запускаешь несколько параллельных процессов: набрасываешь вопросы, начинаешь переговоры и ищешь под это бюджет. Последнее — самое сложное. У меня много идей! Я хочу снять выпуск про аудиоформат в литературе и подкастеров, а еще про графические романы и индустрию комиксов. Уже даже знаю, с кем хочу говорить об этом, но многое упирается в деньги. Не великие, так как я работаю компактно — с минимумом техники и, например, люблю снимать прямо у себя в машине,

«книгагидмобиле». Съемки выпуска занимают от полутора до двух часов, а дальше постпродакшн — монтаж, сборка, графика. Готовый выпуск — еще не конец, потому что дальше нужно сделать так, чтобы его увидели. И для этого недостаточно просто залить выпуск на YouTube. Удача, когда герой выпуска медийный и может помочь в продвижении, например, сделать репост в соцсетях, прокомментировать участие в проекте. Как правило, у тех героев, с кем мы объединяем медиаусилия, самые большие просмотры и самые популярные выпуски. Сейчас это интервью с Галиной Юзефович и Алексеем Поляриновым. А вот у выпуска с Алексеем Ивановым несопоставимо мало просмотров для масштаба его личности в литературе. И выпуск с ним отличный, про тоталитаризм в соцмедиа и угрозу, исходящую от литературных блогеров. Хотя это, наверно, даже поучительно — нечего на блогеров наезжать.

О.Б.: Какие youtube-шоу, на твой взгляд, являются сейчас конкурентами «Питстопу»? За кем ты следишь? Как ты отличаешься от других схожих проектов?

Евгения «Книгагид» Власенко: Я слежу за тремя литературными проектами на YouTube: «Книжным челом» Матридера как наиболее близким по формату, «Книгопадом» на POISK.MEDIA и «Закладкой» на «ещенепознер». Но я не считаю, что мы конкуренты, даже с Матридером. Конкуренция предполагает работу на одном поле, а у нас совершенно разные целевые аудитории. Могу предположить, что у нас могут быть схожие цели — мы оба строим личный бренд. Но опять же, мы строим личный бренд в совершенно разных нишах, хоть и используем для этого схожий инструментарий. Еще я смотрю Редакцию, Парфенон и ВДудь конечно же.

О.Б.: Чего ждать в новом сезоне шоу?

Евгения «Книгагид» Власенко: Ждать усиления проекта как в части повестки, так и технической: наша команда профессионально растет и каждый набирает в своем деле. Ребрендинга. И дальнейших экспериментов с форматом. «Книгагид» на YouTube очень подвижный, много пространства для маневров. И сейчас я замахнулась на кое-что новое. Съемки пройдут на Донбассе, в разработке три произведения современной русской прозы и цель — вывести вектор рефлексии этой темы в литературе. Будет микс интервью и документальной съемки, минимум меня в кадре, хотим попробовать больше работать с закадровым голосом, как мы уже делали в спецвыпуске с чтений в поддержку сестер Хачатурян. У нового проекта сложная система финансирования, но половина необходимой суммы собрана краудфандингом силами подписчиков «Книгагид» в Инстаграме. В августе я написала пост и попросила помочь. Деньги были собраны за сутки. После такого понимаешь, что у того, что ты делаешь, действительно есть аудитория. А еще — что людям нужны проекты о литературе.

Диалог в настоящем времени

В Петербурге, в музее Анны Ахматовой, закончила работу Открытая литературная школа «Россия: диалог культур» — проект на стыке профессиональных курсов для начинающих литераторов и творческих встреч с писателями для широкой публики. Свои мастер-классы провели Герман Садулаев, Владимир Попов, Мария Ануфриева, Вадим Левенталь, Михаил Елизаров и другие известные авторы. Каждое занятие состояло из литературоведческого введения (за него отвечали кураторы школы — Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов), спектакля-читки и интервью с автором. Автор идеи — режиссер и продюсер Мила Кудряшова.

Школу приурочили к юбилейным датам — 130-летию Анны Ахматовой и столетию Дома искусств, петроградской писательской коммуны, созданной по инициативе Чуковского и при ближайшем участии Максима Горького. Тогда ДИСК стал одновременно и лекторием, и школой, и общежитием — интеллектуальным центром города и местом для неформального общения.

Попытка возродить вдохновляющую атмосферу «сумасшедшего корабля» (по выражению Ольги Форш), кажется, удалась. Почти две недели курсисты каждый день собирались в Фонтанном Доме на трехчасовые встречи, затем вопросы из зала, автографы, интервью — публика выходила из музея затемно и только чтобы продолжить дискуссию в Шереметевском саду. Как заметил открывший школу писатель, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирёв, «именно сейчас, в эпоху бесконтактности, мы испытываем сильнейшую потребность в личном общении. Очная литература, чтение вслух пользуется спросом. Скакнув в будущее, мы нуждаемся в традиции Гомера».

Каждая встреча строилась вокруг нескольких ключевых вопросов: о трансформации русского языка, его обогащении или разрушении за счет сленга и регионализмов; о сохранении живой литературной традиции и преемственности в разреженной атмосфере сегодняшнего литературного процесса; а также о чувстве истории и о том, насколько вообще современные авторы способны ухватить и передать дух нашего времени.

В этой связи выбор гостей неслучаен. Писатели, выступившие с мастер-классами, родились в самых разных регионах. От москвича Снегирёва до беженца из Баку Валерия Айрапетяна или Ильдара Абузярова, татарина по национальности. «Для многих из приглашенных авторов актуальна проблема билингвизма. Но ведь любой настоящий писатель сознательно или бессознательно прочерчивает иностранный язык в своем собственном языке. Это одна из ключевых задач литературы, — цитировал Делёза Андрей Аствацатуров. — Мы можем сколько угодно говорить о свободе воли и личном опыте, но нас все равно в какой-то степени определяет ландшафт. Культура вырастает из ландшафта. И очень важно, чтобы, скажем, в имперский столичный ландшафт привносилась совершенно иная логика, иных областей, о которых мы не знаем».

Тему билингвизма продолжила Наринэ Абгарян: «Мне часто говорят, что у меня немного другой язык. Я пишу на русском, но в голове звучит армянский. И если я не могу выразить какую-то мысль, то ее проговариваю по-армянски, а потом перевожу». Кстати, в армянском переводе книги «Манюня» использован прием, невозможный в оригинале: некоторые второстепенные персонажи говорят на диалекте. По мнению самой Абгарян, такой вариант текста делает его значительно богаче.

Региональная литература часто становится полем для самых интересных открытий и экспериментов. По словам другого спикера, Алисы Ганиевой, это развитие чем-то напоминает дарвиновский процесс эволюции — все время, как новые организмы, возникают новые формы языка. Именно Ганиева, получившая премию «Дебют» за повесть «Салам тебе, Далгат!», первой ввела в художественный текст тот разговорный русский, на котором общаются современные молодые дагестанцы. «Этот опыт многих шокировал. Особенно людей, которые живут на Кавказе, потому что они воспринимают эту речь как постыдную, как язык каких-то маргиналов, которые не знают своих родных языков, коверкают русский, привносят туда криминальные словечки. Мне было очень интересно играть на столкновении авторского стиля и диалогов».

Вообще, важным вектором рассуждений стало взаимодействие частного опыта автора и литературной и национальной традиции, которую писатель одновременно воспроизводит и преодолевает. Герман Садулаев язвительно шутил о начинающих поэтах, которые пытаются не следовать никакой литературной школе (в итоге обязательно получается плохое подражание Бродскому). А Арслан Хасавов наоборот подчеркнул, что ощущает себя космополитом: «В моем случае творчество — это поиск себя, одного-единственного. Я кумык, родившийся в Туркменистане, приехавший в Чечню только родственников повидать, а с 12 лет живу в Москве. Этот опыт заставляет чувствовать себя равноудаленным от всех этих точек и близким к каждой».

Несмотря на многие противоречащие друг другу мнения, высказанные в рамках интенсива, большинство авторов сошлись в одном: в последние годы появились блестящие произведения, однако, и литераторы, и рядовые читатели ощущают нехватку книг, касающихся нас и настоящего времени. Книг, современных не только по изображаемому периоду, но по проговоренным мыслям. Алиса Ганиева сформулировала эту мысль жестче: «Мы просто не оставляем следов. Люди, живущие в 10-е годы XXI века, не создали достаточного корпуса текстов, по которым можно было бы проследить ощущение времени. Я пишу сатирические вещи, но сатира должна вырастать на чем-то. Сначала был Толстой, потом Щедрин».

Разговор о каноне большой литературы, о новых Толстых и Тургеневых, о семейных романах заходил в рамках школы не раз. Однако, пользуясь словами Андрея Аствацатурова, «время подталкивает к обрывкам, огрызкам, ожогам». «Мы себе испортили память. Мы не понимаем, что происходит, поэтому не умеем об этом писать. Я читала много книг о современности, они немного отдают беллетристикой. Чувствуется, что автор искусственно пытается понять то, что он не понимает» (Наринэ Абгарян).

Выходом из этого тупика видятся литературные школы и толстые журналы, о судьбе которых, разумеется, тоже говорили. Ведь литература не может существовать в безвоздушном пространстве. Наиболее значительные писатели возникают из контекста, из кружка. «Журналы сегодня это НИИ, это лаборатория. Они создают питательную среду, из которой вырастут гиганты», — уверен Александр Снегирёв. И если, как заметили все участники проекта, запрос на глобальную идею есть, то она обязательно появится. На пересечении традиций и в диалоге культур.

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Главный информационный партнер — журнал «Дружба народов».

Юрий Подпоренко

Мир узнаваемый, трагичный и загадочный

В сентябре нынешнего года исполняется два года с того момента, как решением высших судебных органов России была прекращена деятельность Международной конфедерации союзов художников. Не оспаривая это решение, все же стоит заметить, что, при всех выявленных нарушениях в ее работе, МКСХ являлась той структурой, в деятельности которой реально проявлялась дружба, если и не народов в широком смысле, то, по меньшей мере, их лучшей части — художников. Тех самых талантливых людей, творчество которых обретает новые качества от общения друг с другом, от регулярных выставок, дающих возможность представлять свои новые работы и сопоставлять их с творениями коллег по творческому цеху.

Мне, как главному редактору издательства «Галарт», ныне также прекратившему свое существование, довелось принимать активное участие в подготовке очередного Салона «ЦДХ-2017» — ежегодной масштабной выставки, представлявшей творчество художников всего постсоветского пространства. Салон этот не состоялся, но сохранились материалы его подготовки. И живет простое человеческое желание дать возможность читателям журнала увидеть то, что не смогли увидеть весной 2017 года посетители Центрального Дома Художника на Крымском валу, ныне также, увы, прекратившего существование.

На вклейке сентябрьского номера «ДН» представлены работы четырех армянских живописцев, рекомендованных к показу Союзом художников Армении, активно принимавшим участие в деятельности Конфедерации.

Один из них — *Карен Агамян*, талантливый живописец, продолжающий и развивающий традиции реалистического искусства, и активный общественный деятель, более двадцати лет возглавляющий Союз художников Армении. Реализм Агамяна неизменно обогащен обертонами. Лирическими, когда художник воссоздает эпизоды жизни обычных людей, как правило, интеллигентов. Романтическими, когда он обращается к темам любви, особенно в женских портретах. Интонациями преодоления — обстоятельств жизни, невзгод. Художник, чуткий к веяниям времени, нередко использует приемы полистилистики, сочетая в пространстве полотна, как правило, композиционно разомкнутого, полноценные образы с эскизными, символическими, давая тем самым простор зрительскому воображению. Творчеству Карена Гургеновича Агамяна, как и его устройству личности, присуще гармоничное сочетание частного и общего, национального и общечеловеческого, трепетное отношение к трагическим страницам истории армянского народа.

Всматриваясь в полотна *Хачатура Азизяна*, попадаешь в удивительный мир, полный философских и художнических реминисценций, одновременно узнаваемый и

загадочный. Художник не только не скрывает своей приверженности к традициям импрессионизма, но и обращается к стилистике своих кумиров, в частности, Анри Матисса, не только транслируя его пристрастие к красным тонам, но и воссоздавая образ мастерской одного из основоположников импрессионизма. Создавая свой собственный художественный язык, Азизян подтверждает редкостное владение цветом. Живописцу принадлежит, по сути, уникальный парадоксальный прием, когда в пространстве одного полотна он совмещает прописанную устойчивость человеческих фигур и зыбкость бликующих цветовых пятен окружающей природы.

Азизян создает симфонию цвета. Вот как отзывается о его творчестве известный армянский поэт Шант Мкртчян: «Он достигает присутствия света не только благодаря использованию белого, оранжевого или камедного, но и по полному спектру оттенков, например, самой ранней зелени, самой ранней синевы. И свет звонит. В Раю, который изумителен в темах Данте, он создан в виде цвета, перспективы и освещения путем гармоничного распределения разнообразных цветов на куполе деревьев, бесплодных гнезд, женского оркестра, лошади, всадника, ростка и цветка».

Творческие интересы *Арама Исабекяна* обширны и разнообразны. Подобно мастерам Высокого Возрождения, а это наиболее почитаемая живописцем эпоха в истории искусства, он обращается к различным жанрам, создавая портреты, натюрморты, пейзажи и аллегорические композиции.

В многочисленных портретах художник затевает своеобразную игру с историческим временем, помещая портретируемых в ситуации прошлых эпох, изображая их в классических позах. Символично, что один из портретов своей дочери художник выполняет в профиль и называет «Ренессанс», подчеркивая тем самым приверженность традиции.

Натюрморты Исабекяна изысканны, тщательно выписаны и, порой, гиперреалистичны. Это закономерно, если учесть, что мастер впитал и переосмыслил в своей творческой манере самые разные художественные веяния нового и новейшего времени.

Атмосферой таинственности наполнены аллегорические композиции художника. В них и условность игры, карнавальности, и стремление фантасмагорически совместить несовместимое, что, впрочем, и возможно только средствами языка живописи.

В безудержный мир фантазий вовлекает своими полотнами и *Тарон Мурадян*. Пожалуй, он самый неожиданный из представленных здесь современных художников Армении. И самый молодой, ведь он буквально ворвался в художественный круг в начале 90-х годов прошлого века, когда оказался на несколько лет в Париже и когда свобода, в том числе свобода быть таким как хочешь, быть самим собой стала реальностью. Работы Мурадяна не вписываются ни в какие каноны, ни в какие-либо признанные творческие направления. Кто-то может обнаружить в его полотнах следы примитивизма, кто-то — эклектики, а кто-то — яркого декоративизма. Впрочем, для последней из возможных точек зрения есть основания в биографии художника: Тарон Мурадян окончил дизайнерское отделение художественного колледжа. Картины художника — сказочные, ироничные, игровые — дают основания для бесконечного множества самых неожиданных ассоциаций.

Во всяком случае, Тарон Мурадян, как и его коллеги по творческому цеху, удивительно емко, порой знакомыми, а чаще неожиданными образными решениями выражает некоторые коренные черты армянской художественной культуры, особенно ее готовность, при возможной верности традициям, вбирать в себя все новое и интересное, что появляется на горизонте мирового художественного процесса.

non/fiction №21

Международная ярмарка
интеллектуальной литературы

Комплекс "Гостиный Двор"

(Москва, ул. Ильинка, 4)

5–9 декабря

Почетный гость ярмарки - Израиль

Разделы ярмарки:

Художественная, научная и научно-популярная литература

Детская литература

Детская площадка "Территория познания"

Гастрономическая книга

Форум иллюстраторов

Комиксы

Антикварная книга и букинистика

Vinyl Club

0+ moscowbookfair.ru

EXPO-PARK

non/fiction №21

Summary

The prose section of the October issue demonstrates the possibilities of the so called short genres.

Andrej RYABOJ. The Night Head

“Borya is a stockbroker and takes his job very seriously. In his childhood Borya liked to draw very much”. The author works wonders in his long short story: now his protagonist gets extra eyes on his cheek and top, and now he takes his dreams for reality. “But then my imagination recedes and I realize that all this is just a fantasy”.

Scattering of Short Stories

Some variations of running the life through by today's heroes. The circumstances given: the war, blood feud, faith for the temptation, old age in some deserted village, making a profit out of the stolen, filial duty, neighbours-gastarbeiters, terrarium of colleagues Style and “formal” methods of the authors: from searching new ways of following the classical traditions of psychological realism in the short stories by Acija UMAROVA, Valerij AYRAPETYAN, Polina IVANUSHKINA, DAYUR NACHKEBIA, Diana SVETLICHNAYA, Djasur ISKHAKOV, Tatyana KALETZKAYA to the travesty of Emelyan MAKAROV and strangeness on the verge of madness of Eli Smolkh.

Poetry

Poetry by Hanna SHEVCHENKO concentrated on everyday's details breaks through into metaphysical heights from where everything is better seen and understood. Close to it in spirit the verses by “the representative of oecumene” Pyotr MATYUKOV and “the granted guide” Andrej DMITRIEV give the idea of the poetry of the generation of the forty-years-olds. The subtle lyrical miniatures of Aigerim TAJI attract by their bright originality with the Asian accent.

Several versions of translation of the poem by Belorussian poet Mariya MARTISEVITCH are performed by the members of the Studio of the comparative poetical translation “Shkerebert”.

Gennadij PRASHKEVITCH, Alexej BUROV. About the Fear and the Courage

Another dialogue in essays from the cycle in which the writer and the physicist are meditating on the eternal questions.

Valentin KURBATOV. Pulling the Focus. Fragments of the diaries

“The hierarchy is slipping away – that complicated system of the spiritual structure of the society in which everything is connected: the lively simplicity of the “street” everyday man, the bursts of those who are searching and the heavenly synthesis of the great minds who gather the world together and whom the world is looking at with gratitude turning itself, its life, its suffering, its love and its faith to them as if knowing that they won't let it down, will prevent it from falling into oblivion, will put down everything”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру** в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



«Дружбе народов» — 80!

Нас поздравляют:

Восемьдесят лет назад с помощью «Дружбы народов» заговорило древнее пространство — от Владивостока до Тбилиси и Термеза, пространство, в котором одни наши предки — половецкие и скифские матери — кормили грудью других наших предков — русских княжат, пространство, которое затем было слито воедино, мучительно, с ошибками, не всегда добровольно со стороны его отдельных частей. Недавно оно, это пространство, — так же мучительно и так же не всегда добровольно — распалось. Как бы распалось, ибо ерунда это. Потому что русский организм всегда будет помнить половецкое грудное молоко и скифские колыбельные песни. Потому что Айтматов. Потому что Чиладзе и Искандер.

*Поздравляю вас. Поздравляю всех нас.
Спасибо, Алексей Максимович.*

Алексей Торк